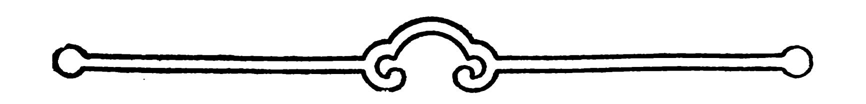

РАССКАЗЫ
И ПОВЕСТИ
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ
УРАЛА
1

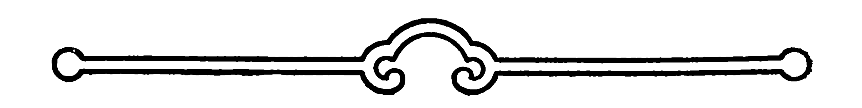


РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

В ДВУХ ТОМАХ



СВЕРДЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1956



РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

ТОМ ПЕРВЫЙ

А. А. КИРПИЩИКОВА
К. Д. НОСИЛОВ
П. И. ЗАЯКИН-УРАЛЬСКИЙ

СВЕРДЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1956

Подготовка текста и примечаний
И. А. Дергачева и *Т. Н. Мыслиной.*

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Литературное прошлое Урала в представлении широких кругов читателей чаще всего связано с именами Ф. М. Решетникова и Д. Н. Мамина-Сибиряка, оставивших заметный след в развитии русского реалистического искусства слова. Эти писатели в свое время были оценены читателями и передовой общественной мыслью. Их произведения и в наши дни заслуженно переиздаются миллионными тиражами.

Но вместе с ними в строении великой русской литературы принимали участие и другие, менее известные писатели Урала. Они также открывали читателям новые стороны жизни, отражали чаяния и желания трудовых масс. Однако их имена незаслуженно забываются. Многие талантливые произведения этих писателей не переиздавались. Между тем они, несомненно, заслуживают не только уважения, но и внимания. Картины жизни Урала в прошлом нарисованы ими зачастую ярко, выразительно, характеры людей выписаны задушевно, живо, проникновенно.

Среди них первое место занимает А. А. Кирпищикова. Сотрудница революционно-демократических журналов «Современник» и «Отечественные записки», она одна из первых в русской литературе тепло и интересно рассказала об уральских рабочих, об особом, своеобразном

быте Урала. Кирпищикова была одаренным художником в духе школы «трезвого реализма» 60—70-х годов.

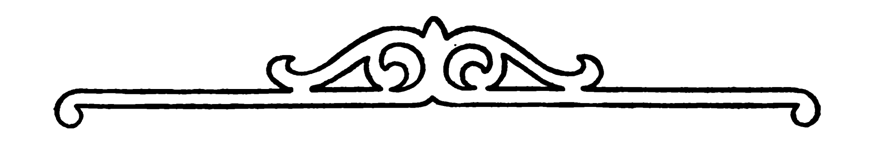
Наше внимание привлекают также имена активного сотрудника дооктябрьской «Правды» П. И. Заякина-Уральского и неутомимого исследователя Севера К. Д. Носилова, отличавшегося тонким чувством гуманизма и любви к природе.

Творчество этих трех писателей представлено в первом томе «Рассказов и повестей дореволюционных писателей Урала», выпускаемых Свердловским книжным издательством.

Во второй том войдут повести и рассказы писателей Г. П. Белорецкого, И. Ф. Колотовкина, А. Г. Туркина и А. С. Погорелова. Сотрудники демократических газет и журналов начала XX века, они каждый по-своему рассказывали о людях Урала, их тревогах и ожиданиях, о жизни, лишенной света и разума, о стремлениях к иным отношениям в обществе. Читателя порадует искусство построения короткого рассказа Колотовкиным, реалистическое воспроизведение народной жизни Белорецким, эпичность формы у Погорелова и острота сюжетных положений рассказов Туркина.

«Знание прошлого необходимо для того, чтобы молодежь научилась мыслить исторически». Эти слова А. М. Горького определяют задачу, поставленную издательством. Советские читатели, знакомясь с писателями дореволюционного Урала, в живых картинах увидят то прошлое, которое подготовляло настоящее, поймут величие и силу коллективных усилий людей, которые оружием художественного слова вели борьбу против антинародного строя, за освобождение тех, кто трудится.

А. А. КИРПИЩИКОВА



КАК ЖИЛИ В КУМОРЕ

I

Славный весенний вечер. Солнце уже низко, и его теплые золотые лучи, пронизав густые ветви лип и берез, еще покрытых цветом, уперлись в стену большого бревенчатого здания, называемого конным двором. Лицевая сторона этого здания симметрично прорезана тремя широкими дверями, запиравшимися толстыми железными полосами и большими висячими замками. Одна из этих дверей была отворена, и перед ней, на рундуке из толстых брусьев, сидел старик и починял сапог.

Лицо старика все было покрыто множеством мелких морщинок, сильнее сгущавшихся у углов рта и глаз, и носило на себе отпечаток трудовой жизни, сопровождаемой заботами и лишениями. Небольшая курчавая бородка, в которой еще виднелись кой-где темные волоски, соединялась на висках с такими же волосами и резко отделялась от его открытой коричневой шеи. Глаза у него были небольшие, белесоватые, будто выцветшие от времени, но не совсем еще утратившие свою подвижность и выразительность. Кротко и любовно смотрели эти старческие глаза из-под седых бровей; терпение и благодушие выражалось в них и во всей фигуре небольшого, но крепкого и бодрого старика.

Он был в белой холщовой рубахе и таких же штанах, из-под которых высовывались широкие ступни пожелтевших и растрескавшихся ног. Какими-то безобразными

наростами торчали ногти на пальцах ног, да и сами пальцы имели странную форму искривленных четырехугольников, несколько суженных у основания. Видно было, что не знавали эти мозолистые ноги другой обуви, кроме лаптей с баклушами, да разве изредка, в праздники только, обувались они в жесткие, точно из железа выкованные сапоги, подбитые чуть не вершковыми гвоздями, от которых остались глубокие знаки на толстых, покрытых мозолистыми наростами пятках.

И не один год служили эти сапоги своему хозяину, но, наконец, износились же и они. Сначала у одного сапога распоролся боковой сшивок. Помочил его старик, зашил и думал носить еще долгое время, как у другого сапога отпала подошва. Опять старик положил в воду свой сапог, приготовил крепкую дратву, выбрал острое шило и, вытащив сапог из воды, попробовал подошву шилом. Жестко, точно железный пласт. Уж, кажется бы, и острое шило, а не берет. Пришлось оставить сапог в воде до вечера, и только вечером мог он наконец приняться за свою работу. Приколачивая подошву, он плотно сжимает губы и наморщивает брови, точно думает прибавить этим силы своим неуклюжим, выпачканным в дегте пальцам, и щурит глаза, продевая дратву, и кряхтит, и стискивает зубы, стараясь продернуть ее с быстротою и ловкостью, свойственными коренным сапожникам.

Весь погружен он в свое занятие, и ничто не может отвлечь его внимания, кроме разве ржания застоявшихся жеребцов, смотреть за которыми была его обязанность. Уж несколько времени из лесу, с левой стороны от конного двора, слышна заунывная песня и потрескивание сухих веток, но старик не слышит их и не видит, как вышел из лесу молодой двадцатилетний парень в таком же наряде, какой был на старике, с тою только разницей, что голова парня была покрыта истасканной фуражкой, а ноги обуты в дырявые коты, привязанные у лодыжек толстыми шерстяными шнурками. Он подошел к старику и несколько времени молча стоял возле рундука, где сидел старик.

— Что, починил? — спросил парень, когда старик продернул дратву в последний раз, завязал ее узлом и отрезал.

— Починил, Гришенька, починил,— весело отозвался старик, поднимая голову и самодовольно поглядывая на

парня, появление которого, повидимому, нисколько не удивило старика.

— Починил,— продолжал он, разглядывая свою работу,— теперь крепко будет, ни вовеки не отпорется, потому дратва во какая здоровенная!

И он показал концы своей здоровенной дратвы парню.

— У тебя что это коты-то, не распоролись ли?— добавил он, поглядывая на ноги парню.— Давай подошью, во и дратва осталась.

— Не, это дыра; лопнули, значит. Не стоит починять, потому худы очень. Так только в лес надел, чтобы ног не кололо.

Говоря это, парень поднял свою ногу и подставил ее чуть ли не к самому носу старика. Тот посмотрел и, увидев, что действительно починять не стоит, стал убирать шило и дратву.

— А где серуха ходит? — спросил старик, вставая и подходя к отворенной двери.

— Здесь, недалеко,— ответил парень,— слышь, побрякивает? Это она.

— Ты разве брякунцы на нее навязал?

— Навязал, потому больно она лукава, без брякунцов ее и не сыщешь; затянется в самую глушь, да и стоит — не ворохнётся, только ушами прядёт; я это сколько места оббегал, искал ее, а она тут и есть — у Лысой горы ходит.

— А игренько где? — продолжал спрашивать старик.

— Игренько, во тут, у озерка.

И парень показал рукой, где ходит игренько.

Старик опять уселся на прежнее место и снова принялся рассматривать и разглаживать рукой починенный сапог. Налюбовавшись своей работой, старик поставил сапог возле себя, поглядел искоса на парня, как-то особенно сжал губы, будто собираясь заговорить, и опять искоса взглянул на своего собеседника. Тот упорно глядел в землю; его молодое красивое лицо было озабочено какой-то неприятной думой, густые прямые брови нахмурились, широкий лоб наморщился. Он глубоко вздохнул, тряхнул головой, снял свою истасканную фуражку и сильно почесал свои густые русые волосы.

— Что вздыхаешь тяжело? — спросил старик опять, с участием поглядывая на парня.— Скажи-ка, об чем?

— Да что сказать-то? Все я о том думаю, как бы мне из подконюшенников отпроситься; больно уж это мне не по нутру.

— Ну, ты потерпи маленько.

— И рад бы потерпеть, да коли терпенья нет, так что ты пособишь,— с досадой сказал парень, сердито тряхнув головой.— И ты сам посуди, дедушка Савелий,— продолжал он, оборачиваясь к старику,— что сколько я здесь ни живи, ничего путного не выживу. Вот пятый месяц пошел, как я здесь, а котов купить не на что: плата больно малая; опять же и от работы я здесь отвыкну. А мне теперича во как робить надо, я теперь только в силу вхожу и должен учиться робить. Ведь как бы я хорошенько-то начал робить, может, скоро бы подмастерьем стал, а здесь что я выживу? Одежды завести не на что. Коло дому что поладить — время нет, потому завсегда при тебе должен быть, дома почти что и не бываю.

— Ты бы к Василью Миколаичу сходил, отпросился бы,— сказал ему на это старик и поглядел на него искоса.

Парня будто передернуло при этом имени; он насупился пуще прежнего. Кулаки его здоровых хорошо сложенных рук сжались; он обернулся к дедушке Савелию и поглядел ему в лицо.

— Гостинцу бы ему снес,— прибавил дедушка Савелий, спокойно встретив его сверкающий взгляд.

— Ты подумай, дедушка Савелий, что ты говоришь,— тихо заговорил парень, опуская глаза и, видимо, стараясь побороть в себе мгновенно вспыхнувшее чувство раздражения и злобы.— Рассуди ты, что я ему снесу? Ежели нести какой гостинец, так надо нести хороший, а я где возьму? Опять же и то посуди, что он меня не любит, и, значит, все едино, хошь неси, хошь не неси.

— Не любит за дело,— сказал на это дедушка Савелий.— Зачем ты согрубил ему? Не знаешь ты того, что тебе за это, может, всю жизнь терпеть причтется? Я Василья Миколаича знаю: он грубости ни в ком стерпеть не может — такой уж у него нрав крутой; он и своему брату не спустит, а ты что против него? Щенок, углан, а туда же, начальству грубость оказывать смеешь. Ты должен это завсегда помнить, что начальству грубить нельзя; хоша бы он и пьяный был тогда, а ты все должен себя от

грубости удержать. Потому с пьяным и со своим братом связываться не надо, а ты, вишь, с начальством спорить стал! Как это можно? И добро бы ты за сестру свою заступился, а то за чужую девку. Да он тебе этого и вовек не забудет — вот помяни мое слово; я его всю природу знаю, и отца его, и брата, все они такие злопамятные.

Старик покачал головой, сострадательно и вместе с тем укоризненно поглядывая на парня. У того попрежнему был наморщен лоб, сжаты кулаки и стиснуты зубы; в глазах сверкала непримиримая, упорная ненависть. Он молчал.

— Покорись, парень,— заговорил опять старик,— послушайся меня, я те не на худо учу, пади в ноги, может, и простил бы. Эка штука, что хмельной приказчик к вам на вечорку заехал да стал с девками заигрывать. Это и завсегда так бывало, чего тут есть худого? Ничего нету. Потому, коли какая девка себя смирно ведет, так тут что хошь делай, ничем не возьмешь.

— А зачем он рукам больно много воли давал? — процедил парень сквозь зубы.

— Какую же такую волю он рукам давал? Разве похлопал девок маленько, на колени к себе посадил? Так что ж тут такого худого? Разве они с вашим братом не дурят? Не так еще дурят!

— Ты, дедушка, на вечорке этой не был и про дело это, стало быть, не знаешь,— сердито сказал парень, еще более рассерженный укорами старика.

— Ну, как не знать, знаю тоже; Грунька-то, кажись, мне внучкой доводится,— сказал старик, медленно поднимаясь с места, и, поглаживая поясницу, пошел в конюшню. В дверях он остановился и прибавил.

— Ведь хмель его всему причиной был! Кабы не хмелен он был, так поехал ли бы к мастеровому мужику на вечорку? Ты посуди, голова.

И старик опять сострадательно покачал головой, глядя на парня.

— Пойдем-ка, брат, время уж лошадей на водопой выводить,— прибавил он, видя, что парень молчит и не трогается с места.

— Ишь, хмелен был, так и спускай ему все! — с сердцем молвил парень.— Тешатся они нами, кровопивцы, вот словно мы и не люди.

II

Но дедушка Савелий уже ушел в конюшню и не слыхал этих слов. Из лесу послышался свист, затрещали сухие сучья, и к конюшне подошел другой парень, несколько моложе первого; он вел в поводу славную вороную кобылу.

— Где поймал? — спросил старик, выглядывая из конюшни.

— Да уж за изгородью поймал, почитай что около однодворки был, там и поймал.

— Ишь, куда ее унесло! — удивился старик.— Ставь в стойло.

Парень завел лошадь в конюшню.

— А ты с чего туда кинулся искать-то ее? — продолжал расспрашивать старик.— Я думал, что ты к Круглому пойдешь.

— Я к Круглому и пошел, да мужик в лесу дрова рубил, так сказал, что видел ее около однодворки. Я туда и кинулся. Кабы не мужик этот, ни за что бы не найти, понапрасну пробегал бы только.

— Около однодворки, бают, медведица ходит страшенная,— продолжал рассказывать парень, поставив лошадь и помогая старику обуздать рыжего жеребца, ржавшего и скакавшего в стойле.— Тереха бает, что у Луки Веселого телушку задрала третьего дня.

— А ты где Тереху видел? — спросил старик.

— А я по верхней дороге шел, мимо кирпичного сарая, там и видел. Приказчик там верхом приехал; надо быть, сюда будет.

— Будет, так стану мужика из поторжных просить тебе в подмогу,— сказал старик,— потому с вами мне не справиться, коли за грехи медведь к нам пожалует. Гляди, третьего дня у нас этот сокол-от в лесу ночевал,— прибавил он, хлопнув рыжего по холке,— да и игренько тоже.

— Беда! Уж мы судили это с Терехой. Помнишь, в запрошлом году карька медведь заел? Какая лошадь была сильнеющая, а вот не могла же убежать! — судил парень, накидывая веревочную петлю на шею рыжку и помогая старику выпятить его из стойла.

Кое-как удалось им вывести храпевшего жеребца из стойла; тот из дверей вскачь бросился к пруду. Старик и

парень крепко ухватились — один за веревку, другой за узду — и поволоклись за ним, едва успевая перебирать ногами. Первый парень между тем вывел других двух, более смирных жеребцов и тоже пошел вслед за ними. Едва успел старик напоить и привести обратно в стойло своего рыжего соколика, как из лесу, справа от конюшни, послышался конский топот, и скоро к конюшне подъехал верхом на сивой лошади мужчина лет тридцати с небольшим, очень смуглый, с черными глазами и волосами. На нем был коричневый сюртук и круглая поярковая шляпа. В руке он держал крепкую казацкую нагайку.

Завидев его, дедушка Савелий поспешно выскочил из конюшни и низко поклонился.

— Ну что, старик, все ли в порядке? — спросил приехавший.

— Все в порядке, батюшка Василий Миколаич,— заговорил старик, складывая руки на груди и подходя поближе к лошади.— Вот только вороная кобыла сегодня из поскотины выскочила, да Тимка поймал; мужики его наткнули, он и нашел. Теперь в стойло поставили.

Василий Николаевич вынул из кармана папироску и закурил.

— Не будет ли вашей милости,— заговорил старик робко,— нарядить к нам мужика из поторжных на подмогу, потому я один с конями справиться не могу, стар стал, а ребята — подконюшенники молоды, опять же и не свычны. Тимка еще-таки попривычнее, потому сызмальства в подконюшенниках живет, а вот Гришка — так совсем не свычен к этому делу.

— А ты приучай,— пропустил Василий Николаевич с клубом дыма и как-то подозрительно взглянул на старика.

Тот переступил с ноги на ногу и опять заговорил:

— Я стараюсь, батюшка Василий Миколаич, сколько сил моих есть, одначе все мне одному с ними боязно здесь, потому, сказывают, медведь около однодворки ходит. Беда, коли до нас доберется.

— А вы к ночи лошадей в конюшню загоняйте,— ответил на это Василий Николаевич, бросая докуренную папироску.— А работника с поторжной я вам дать не могу. И так вас тут трое, этого довольно.

— Ваша воля, Василий Миколаич, как угодно. Я потому молвил, что как теперича у меня сила худая, годы мои старые, да окромя того я и увечья от этих лошадей

много принял, не одинова у смерти бывал, так теперь желательно бы помощника себе поопытнее иметь. Нельзя ли, батюшка Василий Миколаич?

И старик поклонился низко, придавая глазам и лицу просящее, чуть не слезливое выражение.

— Полно врать! Какого тебе помощника надо? — сказал Василий Николаевич, поворачивая лошадь.— Вот Гришку и приучай: парень бойкий; слушает ли он тебя?

— Как не слушать, батюшка Василий Миколаич, завсегда слушает, — торопливо заговорил старик, идя рядом с лошадью приказчика, который шажком поехал к лесу.

— Ну, то-то, смотри за ними, чтобы они даром не жили,— говорил приказчик, похлестывая нагайкой по ветвям лип, отчего его сивая лошадь вздрагивала и пугливо косила по сторонам.— Да я вот пошлю завтра жердей, так ты вели изгородь, где низка, поправить, поднять повыше, чтоб лошади из поскотины не выскакивали, да подконюшенников ночевать домой не отпускай — пусть при тебе будут безотлучно.

— Слушаю, батюшка Василий Миколаич, слушаю,— говорил старик, пускаясь бежать вприпрыжку за побежавшей рысью лошадью.

— А работника я вам дать не могу,— добавил Василий Николаевич, делая старику знак, чтобы он возвратился к конюшне.

Пока старик объяснялся с приказчиком, парни разговорились.

— Дунька сказывала мне,— говорил младший парень,— что Груньку на работу выписали кирпич делать, тысячи две, бает, написали на нее.

— Неужели? — встревоженно удивился Гриша.

— Право, я Дуньку видел, мимо сарая шел. Сказывает, что и нарядчик уже сегодня ездил наряжать, да она не пошла; отпрашиваться, надо быть, хочет.

Гриша молчал.

— Ну, ребята, теперь надо игренька и серуху загонять на ночь в конюшню, в лесу-то боязно оставлять их,— сказал старик, подходя к парням.— Пойдемте-ка вместе, я только лапти обую.

— Я, дедушка Савелий, хотел было домой бежать,— заговорил Гриша недовольным тоном.— Ты ведь сулился меня ночевать отпустить.

— Не, брат, ночевать нельзя; приказчик не велел вас домой отпускать на ночь, бает, здесь чтобы всем спать. Я было зачинал ему баять, что ты около лошадей не свычен, чтобы кого ни на есть другого мне дали в подмогу, кто поопытнее, да он и думать не велел — тебя велит приучать. Значит, тебе уж отсель не вырваться,— говорил Савелий, глядя на сердитое лицо Гриши с участием и сожалением.

Тот плюнул, накинул пониток и пошел в лес выгонять игренька и серуху. При входе в лес, однако, он остановился и подождал Савелия.

— Ты хоша ненадолго меня отпусти домой сбегать по хлеб,— сказал он, когда старик подошел к нему.

— Ну, ступай, по хлеб сбегай, да и мне принеси хлеба: у меня тоже мало; да вели молодушке бурак браги налить.

— Ладно, я живо слетаю, а ты с Тимкой загонишь игренька-то, он тут недалеко ходит.

И Гриша быстро поворотил на тропинку, по которой недавно уехал приказчик. Старик поглядел ему вослед с грустной улыбкой.

III

Описанные сценки, как уже сказано, происходили около конного двора, построенного в трех верстах от завода Кумора, в том самом месте, где глубокий куморский пруд значительно суживается и становится похожим более на речку, чем на пруд. И конный двор, и завод Кумор, построенный на реке Куморке, и богатая лесом куморская дача с громадными сосновыми борами, тянувшимися на многие десятки верст, принадлежали одному богачу-помещику, владевшему в разных уездах П-ской губернии еще несколькими другими заводами с железными рудниками, лесными дачами и двадцатью тысячами крестьян, из которых половина была приписана к заводам и работала на чугуноплавильных и железоделательных фабриках помещика. Главное управление всеми заводами было поручено вольноотпущенному того же помещика, бывшему дворовому человеку, который жил в самом большом по производительности и населению заводе, называемом Кужгортом и отстоявшем от Кумора верстах в

шестидесяти. Сам помещик никогда не жил в своем имении, хотя и посещал его раз в тридцать лет на короткое время, а жил в Петербурге или в Москве, где у него были свои дома и при них особые конторы, которыми заведовал другой управляющий, тоже из его бывших крепостных дворовых людей. Управляющий этот, уже давно отпущенный на волю, хотя и записался в купцы, попрежнему оставался на службе у своего бывшего барина, был его правой рукой и служил посредником между ним и управляющим заводами. От управляющего заводами он принимал донесения, рапорты и отчеты о делах заводов и докладывал их на рассмотрение помещику.

Управляющий имением хотя и был до некоторой степени в зависимости от московского управляющего, но все-таки имел много власти и, почти бесконтрольно распоряжаясь на заводах своего доверителя, имел огромный вес в губернии, был хороший знакомый губернатора и оказывал даже некоторое влияние на дела губернии. Например, на места исправников и становых назначались только те лица, которых управляющий надеялся иметь у себя в вассальных отношениях. Что же касается помещичьих людей, состоявших под его непосредственным ведением, то все они вполне находились в его власти, трепетали и дрожали перед управляющим больше, чем перед самим помещиком. Заведование всеми другими заводами поручено было приказчикам из дворовых людей того же помещика, называвшихся служителями и состоявших в ведении управляющего. Обязанности приказчиков состояли в надзоре за исправным действием фабрик, за порядком и повиновением работающих на фабрике мастеровых, за выделкой железа возможно лучшего качества и в возможно большем количестве, а также в заведовании делами контор, которые были во всех заводах. Они же обязаны были наблюдать за правильной рубкой дров и своевременным выжигом и доставкой необходимого для действия фабрик количества угля. За исполнение всех этих обязанностей приказчики получали значительные по-тогдашнему денежные жалованья, жили в господских домах, ездили на господских лошадях, держали при себе большую прислугу и имели так много власти, что подчиненный им народ относился к ним с таким же раболепием и страхом, как и к управляющему. Некоторые из приказчиков сверх курса приходского училища, содержи-

мого помещиком в заводе Кужгорте, были посылаемы им для окончательного образования в Петербург, в горнозаводскую школу графини С-вой, где обучались геогнозии, минералогии, геометрии, алгебре и лесоводству.

Приказчик завода Кумора, Василий Николаевич Чижов, с которым читатель уже несколько знаком, принадлежал к числу обучавшихся в горнозаводской школе и хотя давно уже кончил в ней курс, но приказчиком в Кумор поступил только за два года до начала этого рассказа. Чижов не пользовался расположением бывшего в то время старика-управляющего за свободный по-тогдашнему образ мыслей и за суровый, неуступчивый характер, в котором было слишком мало раболепства и низкопоклонничества. Чижов не умел ни льстить там, где это было нужно, ни кланяться с выражением подобострастия на лице, ни наушничать на своих сослуживцев, и если иногда унижался до подобных дел, то делал их так неискусно и с таким нехорошим выражением лица, что за одно уж это выражение состоял на счету людей подозрительных, недостойных доверия начальства. Кроме того, еще за Василием Николаевичем водился порок, строго преследуемый стариком-управляющим, ведшим весьма воздержанную жизнь: он пил запоем. Запивал он обыкновенно после каких-нибудь неприятностей по службе, после сделанной подлости, на которую был вынужден обстоятельствами, после ссоры с своим товарищем по службе, вторым куморским приказчиком Ермаковым, стремившимся захватить в свои руки всю власть, которую они до сих пор делили пополам, и после резких выговоров из управления, которые Чижов в последнее время получал все чаще и чаще.

В семейной жизни Василий Николаевич тоже не был счастлив. Женился он на дочери бывшей горничной помещика, проживавшей на пенсии в одном из заводов, по приезде своем из Петербурга, и скоро увидел свою ошибку. Анна Васильевна, его жена, была пустая, бесхарактерная женщина, не получившая никакого образования и чванившаяся перед другими своими изящными манерами и уменьем к лицу одеваться. Горько пожалел Василий Николаевич о том, что связал свою судьбу с такой женщиной, и часто, особенно после вспышек гнева, чувствовал себя до того несчастным, что впадал в хандру и уны-

ние, продолжавшиеся иногда целые недели и кончавшиеся обыкновенно сильнейшим кутежом. Случалось также, что Василий Николаевич искал развлечения и в интрижках с заводскими девками и женами служащих в конторе. В гневе Василий Николаевич часто не помнил себя, и много народу плакалось на него за наносимые им в сердитый час увечья. Несмотря на все это, Василий Николаевич был самый умный, самый развитый по-тогдашнему и даже самый честный человек из всех своих товарищей, и несправедливое предпочтение, которое оказывал им управляющий, жестоко оскорбляло и возмущало его строптивую душу.

Долгое время добивался он места приказчика, подчиняясь людям, стоявшим гораздо ниже его по умственному и нравственному развитию, наконец, достиг этого места, но держался на нем на волоске. Лишиться места приказчика считалось и было в самом деле большим несчастьем. Кроме страха лишиться места, строптивость Василия Николаевича укрощало еще и то обстоятельство, что он не имел ни наследственного, ни благоприобретенного, а жить любил на широкую барскую ногу и не только проживал все свое жалованье, но даже состоял всегда в долгу у помещика на довольно значительную по-тогдашнему сумму. К расплоложению долгов Василия Николаевича много способствовали затеи его жены, ее незнание практической жизни и неумение ни за что взяться, кроме вышивания по канве затейливых узоров.

Тяжело жилось Василию Николаевичу всегда, но в 185.... году ему жилось особенно тяжело. Замечания и выговоры от управляющего получались беспрестанно, а в последнем предписании, полученном Василием Николаевичем в тот день, по вечеру которого он был на конном дворе, грозили даже донести на него заводовладельцу, а такое донесение влекло за собою непременное лишение места, и хорошо если только лишение места, а то могли быть и другие, гораздо худшие последствия. Все благосостояние крепостного, как известно, вполне зависело от воли и усмотрения помещика. Он мог отдать его в солдаты, сослать на поселение, заставить работать в своих рудниках. Самая меньшая мера наказания состояла в разжаловании из приказчиков в рядовые служители, обязанности которых состояли в развозе почты между заводами и оказании услуг всякого рода управляющему,

его помощникам, приказчикам и всем начальствующим лицам. Содержание, получаемое рядовыми, было самое ничтожное. Всем этим наказаниям Чижов мог подвергнуться по одному донесению управляющего, хотя бы и самому несправедливому, и не мог на него никуда апеллировать, так как апелляция считалась только усугубляющим обстоятельством. Обо всех этих наказаниях Чижов думал в тот вечер, когда возвращался с конного двора, и ни одному из них не хотела подчиниться его строптивая натура; он порешил избежать их всех непременно, избежать во что бы то ни стало. На первый раз он решился выразить смирение и написать управляющему письмо в самых униженных и льстивых выражениях, просить у него прощения и обещать быть вперед более исправным и преданным слугой.

«Хорошо бы было послать ему при письме живого осетра или пудик свежего меду, да негде взять теперь,— думал Чижов.— Напишу так, а взятку пошлю после»,— решил он, принуждая свою лошадь перескочить высокую изгородь, которой была обнесена поскотина при конном дворе, и пуская ее галопом по дорожке, огибавшей косогор над прудо́м, к самой куморской конторе, помещавшейся вместе с больницей в большом каменном доме. У конторы он слез с лошади и, сдав ее рассыльному мальчику, ушел в контору, заперся в особенной комнатке, называвшейся присутствием, и стал сочинять свое просительное письмо.

Когда через час после этого он вышел из конторы, лицо его было мрачно и пасмурно, но не сердито, а скорее печально.

— Пошлите сказать служителю, чтобы готовился ехать в Кужгорт, да скажите Ермакову, что я посылаю нарочного, так, не имеет ли он чего-нибудь отправить,— сказал Василий Николаевич, проходя через контору.

— Слушаю-с,— было почтительным ответом конторщика, вскочившего на ноги при входе Чижова.

— Рапорты прикажете отправить?— сказал он уже вслед уходившему Чижову.

— Отправляйте да спросите у Ермакова, нет ли у него к отправке нужных бумаг,— еще раз повторил Чижов и вышел.

IV

Было уже часов десять вечера, когда Гриша подбежал к конторе и, вместо того чтобы идти вправо от нее, в верхнюю улицу к своему дому, повернул налево, миновав дом Чижова, спустился к плотине и, оставляя влево фабрики, побежал по берегу речки, по-за огородам, примыкавшим к домам обывателей. У одного из таких огородов он остановился и заглянул в отворенную калиточку, выходившую на реку: молодая красивая девка с русой косой торопливо поливала капусту. Увидев ее, Гриша осмотрелся кругом и, удостоверившись, что никого нет около, вошел в огород.

— Бог в помочь, Грунюшка,— сказал он, остановившись перед девкой и снимая шапку.

Та вздрогнула и подняла на него ясные серые глаза, в которых выразилось радостное изумление.

— Ах ты, окаянный! Почему ты сюда полез? — заговорила она, весело улыбаясь.— Как это ты подкрался, вор? Я и не слыхала.

— Задумавшись больно была. О чем это ты так задумалась? — спросил Гриша.

— Известно о чем, все об тебе да об твоих речах,— сказала девка, оставляя ведро с водой и подходя к Грише.

— А что об моих речах думать? Худого в них ничего нету,— ответил тот, устремив на нее свои серьезные, умные глаза с выражением какой-то грустной нежности.

— Потому-то и думаю об них, что худого в них ничего нету,— ответила на это девка.— Стала бы я об них думать, кабы в них что худое было!

— А я думал, ты о том задумалась, что на работу тебя выписали?

— А ты от кого слышал, что меня на работу выписали?

— От Тимки. Он бает, что и нарядчик уж был к вам наряжать тебя.

— Был сегодня, да я не пошла. Завтра мать хочет идти отпрашивать к Чижову, гостинцы хочет нести.

— Не примет ведь, варнак этакой. Это он по насердке тебя написал в регис, беспременно по насердке,— сказал Гриша угрюмо.

— Не доймет он меня этим,— сказала Груня с энер-

гическим жестом.— Невелика беда, две тысячи кирпичей вытоптать. Все другие девки такие же, как я, да робят тоже; пойду и я.

— Так-то так, да все жалко мне тебя, Грунюшка,— заговорил Гриша, придвигаясь к Груне поближе и ласково заглядывая ей в глаза.— Кабы моя была воля да сила, откупил бы я тебя от всякой работы, посадил бы за стеклышко да только поглядывал, и то еще не каждый день, а только по праздникам.

Груня засмеялась.

— Ты бы спросил прежде, еще сяду ли я? — сказала она.— Не из таких я, кои за стеклами-то сидят.

— А все мне тебя жалко,— продолжал Гриша тем же ласковым и грустным тоном.— Ноги ты свои должна в глину до колен увязить, и целый день должна ты месить ее. Вот попробуешь, узнаешь, каково это легко. У меня мать прежде каждый год по две тысячи вытаптывала. Бывало, голосом завоет, как придет домой-то, ногам-то места избрать не может.

— Ну, мне легче будет, потому я девка,— ответила на это Груня.— Бабам, известно, завсегда уж робить тяжелее, чем девкам.

— Это все едино: что девкам, что бабам робить, потому тут нужна сила, а у вас какая сила? Вот как увязишь ноги-то в глине да не сможешь вытащить, тогда что будет? — пошутил Гриша.

— Эк что выдумал! Ног не смогу вытащить! Да ты с чего меня за такую худосильную считаешь? Хошь, я те на землю брошу?

И Груня, неожиданно обхватив своего собеседника обеими руками, старалась побороть его, но Гриша устоял и сам, обняв ее за талию, крепко прижал к сердцу.

— Пусти, пусти,— встревоженно заговорила Груня, отбиваясь от него и отворачивая лицо, на которое сыпались горячие поцелуи.— Что ты делаешь? Ну беда ведь, коли кто увидит, ночи светлые.

— Полно, не бойся, кому видеть, все уж давно спят, и чего ты боишься? Ведь я-то поцелую только, не убудет ведь тебя. Во как я люблю тебя, Грунюшка, во как!

И он все крепче жал ее к своей груди, все горячее целовал.

За огородом послышалось хихиканье; Гриша поспешно выпустил свою подругу и присел на межу, а она под-

бежала к плетню и выглянула в калитку. За огородом скакал на одной ноге кудрявый мальчишка лет девяти и смеялся.

— Ты чего по-за огородами-то шныряешь, постреленок? — закричала на него Груня.— Разве не слыхал, что мать ужинать звала?

— Слыхал.

— А слыхал, так что ж нейдешь?

— А ты что нейдешь? — переспросил мальчик.

— Да видишь, капусту поливаю, полью, так и пойду.

Мальчик опять громко засмеялся и, показав Груне кукиш, убежал на берег и стал бросать гальки в воду.

— Вишь, постреленок, напужал до смерти! — говорила Груня, возвратясь к Грише, все еще сидевшему на меже.— Я думала, и нивесть кто идет, а то Митька-углан шныряет, как заяц.

— Смотри, он скажет твоим-то!

— Не, не скажет, не велю. А ты чего тут сидишь? Убирайся-ка домой, пора уж.

— Рано еще, Грунюшка, сядь, посидим маленько, побаем, еще ничего не баяли. Может, долго не видаться, потому мне безотлучно велено на конюшне быть.

— Ну ладно, ино сяду. Только, чур, не озорничать, рукам воли не давать,— уговаривалась Груня, садясь возле него на межу.

— Да ведь сама же ты зачин сделала,— сказал ей на это Гриша, улыбаясь.— Я бы сам собой не смел.

— Вишь, какой несмелый! А тебе кто сказал, что меня на работу выписали? — круто поворотила Груня разговор.

— Сказал я, что от Тимки слышал.

— А Тимка от кого?

— Ему Дунька сказала. Он ее под сараем видел.

— А она тоже робит?

— Робит, третий день уж робит.

— Ну вот, видишь, она со мной одногодка, а ее тоже робить выгнали, значит, и меня уж не ослободят.

— Тебя бы ослободить можно, потому ты одна дочь, а у Дуньки две сестры уж с нее же. Не ослободит он тебя разе по насердке только,— сказал на это Гриша задумчиво.

Несколько времени они оба молчали.

— Станет он ездить там — смотреть, как ты в гли-

не-то топтаться будешь,— заговорил опять Гриша,— будет на тебя кричать, командовать над тобой.

— А что ему надо мной командовать, коли я во всем буду исправна? Небось, я в обиду не дамся.

— Охо-хо, Грунюшка, больно мне тебя жалко. Когда уж это осень-то придет: по осени я тебя беспременно сватать буду. Вот разве не отдадут тебя за меня.

— Отдадут, беспременно отдадут,— отвечала на это Груня уверенным тоном.

Заскрипела верхняя дверь, которая вела в огород из двора, и испуганная Груня поспешно вскочила и схватила ведра, а Гриша шмыгнул в калитку и бегом пустился по тропинке под огородом. В огород вошла сырая, приземистая баба с простоватым широким лицом. Это была мать Груни.

— Грунька! — крикнула она, остановившись у дверей.— Что ты долго домой-то не идешь? Вот уж ночь на дворе-то, отец ругается.

— Я капусту поливала,— отвечала Груня,— сейчас буду, вот только Митьку позову, он под огородом бегает.

— Ах он, постреленок! А я его на улице смекаю. Тащи его, углана, домой, давно уж спать пора.

И баба вышла из огорода.

— Митька! Ступай домой! — крикнула Груня, перегнувшись через плетень и встревоженно оглядывая берег.

Никого не было видно, Гриша уж успел повернуть в переулок; в соседних огородах тоже все было тихо. Только Митька рылся в песке, собирая раковины, занесенные в большую воду с Камы. Груня успокоилась и опять закричала:

— Бежи скорее, постреленок! Мать зовет.

— Иду,— отозвался, наконец, мальчишка и, высыпав раковины, вприпрыжку пустился к огороду.

— Что ты долго бегаешь, полуночник? Давно уж спать пора,— ворчала Груня, запирая за братишкой калитку.

— А ты не ворчи, не то я мамке нажалуюсь,— огрызнулся Митька.

— Чего нажалуешься? Чего? Ну-ка, скажи!

— А то и нажалуюсь, что у тебя Гришка Косатченок был.

И Митька, отскочив от сестры, подразнил ее языком и пустился бежать к дому.

— Ах ты, углан, вострошарый! — вскрикнула Груня, бросаясь за ним. У ворот во двор ей удалось схватить его в руки, и она проговорила, запыхавшись:

— Только смей матери сказать! Я тебе такую волосянку дам, что вовеки не забудешь.

— Пусти! — вырывался Митька.— Пусти, не то мамке нажалуюсь, задень только, беспременно нажалуюсь.

И в голосе Митьки послышались слезы, он начал хныкать.

— Полно, дурак! Я тебя не трону, только ты мамке не смей пикнуть, я тебе за это пряник дам.

Лицо мальчика просияло.

— Когда дашь?

— Завтра дам.

— А не обманешь?

— Зачем обманывать? Беспременно дам.

— Ну, ладно, я ино не скажу.

— Не сказывай, Митька, пойдем домой, я тебе молочка похлебать принесу.

И сестра и брат, примирившись, ушли из огорода.

V

В тот же вечер у себя в доме мастер куморской кричной фабрики Сергей Ларионов Набатов, коренастый сорокапятилетний мужчина с суровым, загорелым лицом, обложенным густой, уже наполовину поседелой бородой, производил расправу над своей дочерью, молодой семнадцатилетней девкой Натальей: колотил ее своими тяжелыми мозолистыми кулаками по спине и голове, таскал за косу и приговаривал, задыхаясь от ярости:

— Я тебя выучу, подлая рожа, развратничать! Я тебя в гроб вколочу! С живой шкуру сдеру, а стыда терпеть через твои поганые шары не буду!

В азарт вошел Сергей Ларионов. Глаза у него налились кровью, стиснутые зубы скрипели, на посиневших губах выступила пена.

Девка только стонала тяжелыми грудными стонами и даже не пробовала отбиваться. Лицо у нее было в крови, кровавые пятна виднелись на полу. Не слыхал Набатов торопливых шагов в сенях и не видал, как отворилась дверь в избу и сосед его, Тимофей Рясов, высокий русо-

бородый мужик, торопливо вошел в избу и остановился у дверей, пораженный ужасом. Сергей Ларионов только тогда почувствовал присутствие третьего лица в своей избе, когда пришедший захватил ему руки и сказал, стараясь оттащить его от полумертвой девки:

— Полно, Сергей Ларивоныч, перестань, ведь ты ее изуродуешь.

— Не тронь! — заревел Набатов, вырываясь из сильных рук Тимофея Рясова.— Я ее убью, я ее живую из избы не выпущу!

— Ну, убить ты ее не убьешь, а изуродовать можешь. Только не дам я тебе этого греха на душу взять,— говорил Рясов, обхватив Сергея Ларионова и стараясь посадить его на лавку, что и удалось ему после недолгой борьбы.

Девка между тем, пользуясь свободой и руководимая чувством самосохранения, поползла к двери.

— Куда ты, бесстыжая? — закричал Сергей Ларионов и опять рванулся к двери.

Но Тимофей Рясов удержал его, и девка выползла в сени. Когда предмет гнева Сергея Ларионова скрылся от него с глаз, самый гнев его стал утихать. Он сидел на лавке, опустив голову, и тяжело дышал. На нем был накинут пониток сверх пестрой холщовой рубахи и кожаного запона; порыжелая поярковая шапка валялась на полу. Видно было, что Набатов или только что пришел с работы, или собирался идти на работу.

— Не дело ты делаешь, Сергей Ларивоныч,— заговорил мужик, притворив дверь за уползшей девкой и не спуская глаз с Набатова.— Этак родителю поступать не след.

— А ты что за судья такой? — с сердцем спросил Набатов, отирая рукавом свой широкий морщинистый лоб.— Кто тебя спрашивал не в свое дело соваться?

— А что бы ты думал, кабы убил ее? — сказал Рясов тоже сердитым и строгим тоном.

— Не вдруг их, поганых, убьешь, живучи они, как кошки,— ответил на это Набатов, подвигаясь к окну и отворяя его.

Ему было душно; лицо его было сине-багрово; он расстегнул ворот своей рубахи и, высунув голову за окно, несколько раз глубоко вздохнул.

— Неладно ты делаешь, Сергей Ларивоныч,— опять

укоризненно заговорил Рясов.— Ведь ты за нее под суд попасть можешь!

— Кто сказал? Под какой такой суд? Дела никому до меня нету, потому я свою дочь учу, свою плоть наказую, значит, и знать никого не хочу,— все еще гневно отвечал Набатов.

— Учить-то ты ее должен, это точно, что должен, да не этак, по-зверски, а тихонько, да не после время, а спервоначалу, когда она в разум входила.

— А разве я ее не учил? Разве не наставлял я ее добром? Ведь она одна у меня только и есть. У, убью я ее негодную! Осрамила она меня, стыд мне теперича, стыд!

И Сергей Ларионов завыл воем, похожим на рычание дикого зверя. Тимофею стало жаль его; он сел на лавку неподалеку от дверей и, оглядывая пол, испещренный кровавыми пятнами, придумывал, что бы сказать ему в утешение.

— Охо-хо! — стонал Набатов, закрывая лицо руками.— Стыд моей голове, стыд! Никуда мне теперь глаз показать нельзя, стыд да и только!

Рясов только крякнул и молчал, повесив голову.

— И ведь какая девка была разумная, смирёная, воды не замутит! Думано ли, гадано ли, что ей такая беда приключится? Покарал меня бог за мою гордость: охоч я был над людьми смеяться да мудрять — вот за то меня бог и нашел! — сокрушался Набатов, продолжая стонать.

— Что делать! — промолвил Рясов, вздыхая.— Теперь уж ничего не поделаешь, пролито — полно не живет.

— Веришь ли, Тимофеюшко, что кабы я бога не боялся, так взял бы вот да голову в петлю и сунул, таково мне тяжело.

— Как не тяжело! Известное дело, хотя до кого коснись, всякому тяжело! — задумчиво молвил Рясов и потом прибавил, желая переменить разговор:— Ты разве не знал до сегодня, что она брюхата?

— Где знать-то? Ничего не знал.

— Кто же тебе сказал?

— А Кучко, вот кто и сказал. Кроме Кучка, разве мне смеет кто такие речи говорить? Никто не смеет.

— Когда он тебе сказал?

— А вот сейчас. Иду я на работу, в фабрику, значит,

а он и попади мне ввстречу,— стал рассказывать Набатов медленным, глухим голосом, точно насильно выдавливая слова.— Остановился, шапку снял, кланяется. Я иду, будто не вижу,— знаешь ведь, что мы сыздавна во вражде с ним.— Что, брат, Сергей Ларивоныч, не кланяешься аль загордел больно? Что с приказчиком породнился, так нашим братом уж брезговать стал? — А сам хохочет, рыло в сторону своротил. Меня точно обухом треснуло, я так и стал.— Говори, баю ему, к чему ты такую речь завел? — А к тому, бает, что скороде у тебя внучек будет, приказчицкий сынок, вари пиво, бает, я проздравить буду.— Я более и слушать не стал; хотел было ему в рожу дать, да рука не поднялась, заворотился и побежал домой. А она сидит вот тут на лавке, голову повесила. Стал я напротив и гляжу, еще слова единого не вымолвил, а она бух в ноги: «Батюшка, прости! Не погуби! Виновата!» Тут уж я себя и не вспомнил.

И Набатов опять тяжело застонал. Рясов молчал, качал головой и поплевывал в сторону.

— Замечал я давно,— снова заговорил Набатов,— что с девкой что-то неладно: прямо она тебе в глаза не взглянет, идет мимо тебя — сторонится, вот словно боится завсегда, одначе все я этого в ней не думал... Охо-хо! Горе мне, горе!..

— Однако и зол же ты, Сергей Ларивоныч, ведь ты ее изуродовать мог,— заметил Рясов.

— Какое изуродовать, до смерти убить хотел. Кабы ты не пришел, беспременно бы ее убил, потому я как в злость войду, то себя не помню. Ты скажи ей, Тимофей, чтобы она мне теперь на глаза не казалась, потому я в себе не властен,— добавил Набатов тихо.

— Да куда ж она денется? — спросил Рясов, озадаченный этими словами.

— А хошь куда, хошь в омут головой, и то не пожалею. Не дочь она мне теперь, и я ей не отец, так ей и скажи,— проговорил Набатов, опять вспыхнув гневом.

— Нет, это ты не дело говоришь,— ответил на это Рясов озабоченным тоном.— Право слово, не дело. Ну, что ты думаешь, как она на себя руки наложит? Ведь ты тогда в ответе будешь. Ты то посуди, что теперь ведь не пособишь, назад не воротишь. Что ее понапрасну увечить? Брось, скажи, что не тронешь больше.

— А ты думаешь, легко мне ее бить? — сказал Набатов в порыве опять сильно подступившего чувства.— Ведь моя плоть она, сам знаешь, как я ее любил, души не чаял. Сорок пять лет я на свете прожил, а экой му́ки до сегодняшнего дня не принимал. Было горе, как жену хоронил, да и то не столько было тяжело. Другое горе — погорел; помнишь, как я в полымя-то бросился по Натальку, на руках ее вытащил чуть живую, сам чуть в дыму не задох. Изба обнялась пламенем, приступу нет никому, все мое добро погорело, а я стою да моли́тву творю над Наташкой: «Слава те, господи, слава тебе, девка-то у меня жива осталась!» И то горе, значит, было не горе, лишь теперь оно меня, настоящее-то горе, постигло. Охо-хо! Легче бы мне ее мертвую видеть!

Застонал опять Сергей Ларионов и, стиснув кулаки, заскрежетал зубами.

— Всякий над ней теперь в глаза насмеется, надругается всячески, а она знай, молчи да принимай все! — сокрушался Набатов, ломая руки.— Мастера-то Набатова дочь непотребной девкой стала, за худыми делами пошла! И хошь бы со своим братом связалась, а то...

И он, не договорив, вскочил с лавки, как раненный зверь, и кинулся на улицу. Рясов бросился за ним и настиг его уже в другой улице.

— Куда ты, Сергей Ларивоныч? — спросил он, хватая его за плечо.

— Не тронь меня, я робить пошел,— ответил Набатов глухим голосом и, сердито высвободив свое плечо, ускорил шаги.

— Без шапки, без рукавиц! — промолвил Тимофей, разводя руками.

Дойдя до фабрики, он послал мальчика к Набатову за рукавицами и наказал ему сказать Наташке, чтоб не боялась, что отец больше ее бить не будет.

— Да забеги, скажи моей бабе, чтобы она сходила Наташку проведала,— добавил Рясов вслед убегающему мальчику.

Всю ночь Рясов следил за Набатовым. Горны были у них рядом, так же, как и дома, и следить ему было удобно. Набатов же ни разу не поглядел в сторону, ни с кем не промолвил слова, да, правда, никто и не заговаривал с ним. Градом катился пот с его загорелого лица и тут же высыхал от жара; с лихорадочной энергией работал

Набатов эту ночь у своего горна, ни разу не присел отдохнуть и только воды выпил несколько ковшей. Подмастерью Набатова принесли из дому пива, хотел было он попотчевать мастера, да робость напала — не посмел: очень уж злое было лицо у Набатова в эту ночь.

VI

На другой день жена Василия Наумова Галкина, дочь старика Савелья и мать Груни, наложила в лукошечко сотню яиц, покрыла их тонким узорчатым полотенцем и пошла к Чижову отпрашивать дочь от работы, но не застала его дома. Велели ей подождать. Села баба на крыльцо, поставив подле себя лукошко с яйцами, и ждала с час, задумалась и не слыхала, как Чижов подошел к самому крыльцу.

— Что тут сидишь? — спросил ее Василий Николаевич.

Галчиха поспешно встала.

— Батюшка Василий Миколаич, не побрезгуй, чем богата, прошу покорно,— и она, кланяясь, подавала ему лукошко.

— Что это? Зачем это? — будто удивился Чижов.

— Да вашей милости, Василий Миколаич, нельзя ли девку от кирпича уволить? — пояснила Галчиха, продолжая кланяться и подавать ему свой подарок.

— Нет, матушка, не надо, ведь знаешь, что я ничего не беру, а для вас же я и сделать ничего не могу,— сказал Чижов, всходя на крыльцо.

— Сделай милость, родимый, уволь. Девка молодая, не в силах еще, где ей две тысячи вытоптать,— умоляла Галчиха слезливым тоном.

— Ступай сама, коли дочери жалко, ты еще сама работать можешь,— сказал ей на это Чижов и пошел в комнаты.

Галчиха направилась было за ним. Чижов остановился в дверях и сказал, полуобернувшись и несколько возвысив голос:

— Не ходи напрасно: сказано — не могу уволить. Ступай-ка лучше домой да скажи ей, чтобы завтра непременно на работу шла.

И он ушел, сильно хлопнув дверью.

Постояла Галчиха с своей ношей в руках, потерла сухие глаза кулаками, покачала головой и пошла домой, повторяя в уме: «Не откупишься уж! Ничем не откупишься! Видно, не миновать!»

У ворот своего дома она встретилась с Груней.

— Не принял? — спросила та, взглянув на лукошко с яйцами.

— Нет, дитёнок, не принял,— грустно ответила Галчиха.— Велит завтра беспременно на работу выходить.

Груня сердито хлопнула воротами.

«Ишь, подлец, чем донять хочет,— подумала она, сверкнув глазами,— да не доймет, не на ту напал!»

И она так сильно затопала, поднимаясь по лестнице, что лестница задрожала.

Вошли в избу; Галчиха поставила на стол лукошко и, вздыхая, села на лавку.

— Что делать, мати, пойду робить. За тысячу нешто по полтине платят? — обратилась Груня к своей опечаленной матери.

— По полтине, дитёнок,— ответила та.

— Ну что же, по крайности, не даром; и полтина — деньги, с полу не подымешь,— утешала Груня свою мать и принялась чинить старый сарафан для завтрашней грязной работы.

Галчиха между тем сидела, повесив голову; и жаль ей было отпускать свою молоденькую Груню на тяжелую работу, но еще больше боялась она, чтоб не прошла про ее дочь худая слава, чтоб не загуляла девка.

«Завсегда она там с мужиками будет,— думала Галчиха,— с девками всякими гулящими, не усмотришь там за ней, не укараулишь. Девка она резвая, ну куда я с ней денусь, как она понесет? Беда, отец тогда меня со свету сживет: зачем худо смотрела, а где за ними усмотришь! Лукавы они, шельмы, шибко лукавы».

И Галчиха вздохнула и тут же почему-то припомнила, как сама она, будучи девкой, бегала в Косой переулок повидаться с молодым соседом и как на вопросы своей матери всегда отвечала, что ходила телушку загонять, что телушка у них совсем от рук отбилась: как только выпустишь ее из двора, она учнет скакать по переулкам. И верила ей мать, и дивилась, что это с телушкой такое сделалось... «Быть бы беде,— думала Галчиха, вспоминая свое прошлое,— кабы меня той осени замуж не отдали.

Горе мне с Грунькой будет, как никто ее ныне сватать не будет, не усмотреть мне за ней, ни за что не усмотреть. Вон у Набатова дочь загуляла, а какая девка смирная, степенная, отец-то на нее синь пороху сесть не давал, а теперича что случилось!»

Надумалась Галчиха и заговорила:

— Грунька, ты смотри у меня, с гулящими девками не связывайся, тары-бары не разводи с мужиками, они мигом тебя на смех подымут. Им верить вот на столько нельзя,— и Галчиха показала дочери кончик мизинца,— только и смотрят они, кабы вас обдуть. А ты тараторить да дурить лютая: как раз тебя по пустякам обнести могут.

— Я, мати, коли дурю или играю с кем, так у тебя же на глазах, а по-за глазами я смирная,— ответила на это Груня, не поднимая головы от работы.

— Как бы не так!— вздохнула Галчиха.— Знаю я, какие вы смирные по-за глазами-то. Вон у Сергея Набатова девка, уж какая смирная была, да и та вот смыслила же, а отец-то теперя и примай стыд из-за нее. Ты с ней не баяла: правда, не правда?

— Баяла еще о пасхе, отпирается, говорит, враки. А с той поры я ее не видала,— ответила Груня.

Галчиха вздохнула и помолчала.

— А уж отец-то любил ее, страсть, во всем ей верил, поил-кормил сладко, одевал хорошо, словно служительскую водил. А вот и вышло, что вам, козам, на грош верить ни в чем нельзя. Правду, видно, старики бают, что бить вас за все надо.

И Галчиха опять вздохнула, думая о том, что не поднимаются у нее руки бить ее красивую, чернобровую Груню.

— Что же ты не бьешь меня? — рассмеялась Груня в ответ на ее вздох.— И била бы.

— Да нечего зубы-то скалить,— сказала Галчиха, стараясь придать своему голосу сердитый тон.— Вот заслужишь, так и побью, поубавлю косу-то, ишь, отрастила какую! Смотри, девка, берегись, добром тебе говорю, что коли что худое замечу али от людей услышу, то беда тебе будет: отцу скажу, а он знаешь какой, он тебе шкуру-то сдерет.

— Да ты с чего на меня напустилась сегодня? — спросила Груня, поднимая на мать вопрошающий взгляд.— Наплел тебе про меня кто али что?

— Никто мне про тебя ничего не плел, а так я говорю, тебе же добра желаючи,— сказала Галчиха ласково.

— Ну и пустяки говоришь. Поди-ка, я без тебя не знаю.

И Груня опять принялась за работу, Галчиха замолчала, вздохнув о том, что она и пригрозить-то своей дочери не умеет как следует.

— Вечерком отпусти-ка меня, мати, к Оринке сбегать на часок, узоры на полотенцах посмотреть,— попросилась Груня после нескольких минут молчания.

— Ладно, сбегай, — согласилась Галчиха.

Когда Василий Галкин пришел домой с работы, жена сказала ему:

— Не могла отпросить Груньку, сотню яиц носила да полотенце браное, ничего не принимает. Нельзя, бает, отпустить, завтра на работу велел выходить.

— Я ведь тебе баял, что не отпустит,— сказал на это Василий угрюмо,— так не поверила; не по чего и ходить было. Собирай-ка скорее на стол, смерть есть хочу,— добавил он, умывая руки и садясь за стол.

Василий Галкин был высокий сухощавый мужик с болезненным лицом и угрюмым, но не злым взглядом.

— А где Грунька? — спросил он, сидя у стола и окидывая избу взглядом.

— К Оринке ушла, узоры смотреть,— покорно, как будто даже робко ответила Галчиха, торопливо собирая на стол.

— Что она больно часто к Оринке-то ходит?

— Коли же часто? В запрошлой неделе была да с тех пор не бывала,— сказала Галчиха, ставя щи на стол.

— Смотри, баба, гляди за девкой в оба,— сказал Галкин, принимаясь за еду.— Я сперва за тебя примусь, коли девка избалуется. Вон у Сергея Набатова девка ребенка принесла, срам ведь отцу-то!

— Неужели принесла? Да коли это случилось? — удивилась Галчиха, выпуская из рук ложку, за которую она было взялась.

— Принесла, бают, сегодня — ночью ли, поутру ли — не знаю, бают, в худых душах ребенок-от, да и самоето-де отец избил так, что едва дышит.

— Что это, что это! — дивилась Галчиха, качая головой.— Я ведь слышала, что она брюхата, да все не вери-

ла, думала, понапрасну про девку толкуют, а вот теперь и вышло, что правда.

Прибежал Митька с улицы и тоже было полез за стол.

— Умой руки, да перекрести образину-то сперва, да тогда за стол-от лезь! — крикнул на него отец.

Митька поспешно плеснул воды на руки, обтер их синей тряпицей, служившей вместо полотенца, помолился на иконы и, пугливо косясь на отца, сел за стол.

— Ты, пострел, ешь скорее, да ступай к Оринке по сестру, скажи, мамка домой звала,— обратился к нему отец.

— Полно, Васильюшко, что такое пришло уж посылать, сама придет,— сказала Галчиха.

— Да я ее по другой вечер дома не вижу,— возразил Василий, вставая из-за стола.

— Она вчерась...— заикнулся было Митька, но тотчас же умолк, почувствовав, что мать толкает его коленком.

— Что вчерась? — спросил Галкин.

— Да в огороде капусту поливала, ведь я тебе сказывала,— договорила Галчиха за Митьку.

— Ой, рученьки болят! — застонал Василий, растягиваясь на лавке.— Спинушку всю разломило, хотя бы баню про меня истопила завтра!

— А почему не сказал? — заговорила Галчиха, ободрившись.— Я бы и сегодня истопила, кабы сказал.

— Ну, живет уж сегодня, истопи завтра... Ой, спинушка болит, ой, ноженьки ноют! — стонал Василий, ворочаясь на лавке.

— А пошто ты тут ложишься? Ложись сюда вот на голбчик, я тебе постелю постель,—ухаживала Галчиха за мужем.

Она знала, что если Василий начнет стонать и жаловаться на болезнь, то все другое уже потеряет для него всяческий интерес. Уложив мужа, все продолжавшего стонать и охать, и прибрав со стола, Галчиха вышла за ворота и тревожно поглядывала вдоль по улице, поджидая свою дочь.

«Что она долго, где она? С кем она там засиделась?»— тревожно думала Галчиха.

Митька выбежал вслед за матерью и вертелся около нее, видимо, желая и не решаясь заговорить.

— Мамка! — сказал он, наконец.— А Грушка-то вчера ведь не одна в огороде-то была.

Галчиха встрепенулась.

— Кто с ней был? — спросила она.

— Да Гришка Косатченок был.

— Врешь ты, углан! — испуганно удивилась Галчиха.

— Вот те бог, не вру, право, был, я сам видел.

— У меня молчи, пострел, никому не бай, а то я тебе такую волосянку дам, что страсть! Зачем мне вчера не сказал?..

— Да Грушка не велела, хотела пряник дать, да и не дала.

— Ишь, лукавая, вот я ей ужо полкосы-то выдеру, пусть только домой придет. А ты молчи, постреленок, отцу не пикни.

— Я не скажу, мне что?— ответил Митька, обидевшись тем, что мать на него же и взъелась.

Однако ж, когда вскоре после этого Груня подошла к воротам дома, Галчиха не выдрала ей полкосы, даже и не поругала как следует, а только велела скорее спать ложиться.

VII

На другой день Груня вышла на работу. Надсмотрщик указал ей яму, в которой она должна была топтать глину, дал ведро и рассказал, сколько следует принести воды, сколько прибавить песку. Сделав все, как было сказано, Груня сняла свои худые порыжелые башмаки, заткнула за пояс подол, соскочила в яму и принялась месить глину ногами. На краю ее ямы стояли две девки и давали ей советы и наставления, как лучше и легче работать.

— Ты тихонько, не торопись,— говорила одна из них,— ногу-то не вдруг выдергивай, а сысподтиха, а то устанешь скоро.

— Вот этак? — спрашивала Груня, начиная медленнее переступать с ноги на ногу.

— Вот так,— ответила девка.— Дай-ка я тебе укажу.

И она, соскочив к ней в яму, принялась показывать, как следовало топтать глину. Груня старалась подражать ее движениям.

— Эки у тебя ноги-то белые,— говорила ей девка,— не жаль тебе их?

— Жаль, не жаль, да ведь не пособишь,— сердито ответила Груня.

— Исцарапаешь ты их, исседаются они у тебя все,— продолжала сокрушаться девка.— Ты свечку купи да к ночи-то их мажь салом.

— Ладно,— угрюмо ответила Груня.

Ей начала надоедать ее новая подруга, тем более, что Груня начинала догадываться, что значат все эти сожаления.

Прошло два дня. Груня вытоптала не одну яму глины и выносила ее в сарай, где, сидя верхом на скамьях, девки и бабы-резчицы накладывали глину в станки и проворно хлопали ими, вынимая готовые кирпичи. На второй день к яме Груни подошел Чижов, приезжавший к кирпичному сараю через день, молча постоял, глядя на Груню, и потом отошел к соседней яме, из нее торчала любопытная голова той самой девки, которая учила Груню. Чижов сказал ей несколько слов, но так тихо, что Груня не слыхала. Вскоре после отъезда Чижова к яме Груни подбежал Митька с синим узлом в руках.

— Вылезай! — крикнул он весело.— Мамка тебе шанег послала.

Груня вылезла и, сев на краю ямы, принялась уплетать принесенные шаньги. Митька убежал побегать около сарая и поглядеть, как режут кирпич. Соседка Груни тоже вылезла из ямы и, пообчистив глину с ног, подошла к ней.

— Хлеб-соль, Грунюшка! — сказала она заискивающим тоном.

— Спасибо, Марянушка,— ответила Груня и подала ей парочку шанег.

Марянка уселась возле Груни и, съевши шаньги, несколько времени сидела молча, желая и не решаясь заговорить.

— Я ведь с тобой, Грунюшка, баять хочу,— проговорила она, наконец, поглядывая на Груню.

— Что ж, бай! — ответила та, продолжая уплетать шаньги.

— Видела ты Василья-то Миколаевича, как он стоял у твоей-то ямы?

— Не видала я. А тебе что за дело до этого? — сердито сказала Груня, переставая есть.

— А то и дело, что от тебя он ко мне перешел, да и бает, что жалко ему тебя, велел тебе сказать, что завтра же от работы уволит, коли ты сегодня к нему ночевать будешь.

Груня молчала; брови у ней нахмурились; решительно очеркнутые губы сжались; она торопливо связывала в узел оставшиеся шаньги и искала глазами убежавшего Митьку. Марянка приняла ее молчание за колебание и продолжала уже смелее и настойчивее.

— Согласись, Грунюшка, он те подарить хочет, он дарит помногу, не скупится, вон Таньке Ларьковой что надарил, на всю жизнь будет, опять же и ласковый, бают, не то, что наш брат, мужик...

— Пошла к своей работе, сволочь! — грозно крикнула Груня, вскочив на ноги.— Эк с чем подъехала! Проваливай-ка дальше! Не на ту напала!

— Да ты чего заругалась? — обиделась Марянка, тоже вставая.— Я тебе же ладила на пользу, потому подарков тебе от него не переносить будет.

— Ты и поди сама к нему, и пусть тебе дарит,— огрызнулась Груня.— Чего других-то травишь?

— И пошла бы, да не меня ему надо,— ответила на это Марянка.

Груня между тем подозвала Митьку и, отдав ему узел, велела идти домой, а сама пошла к ручью напиться. Возвратившись, она увидела, что Марянка все еще стоит у ее ямы.

— Что стоишь здесь? — спросила она сердито.— Сказано: ступай в свою яму.

— А ты так и не сдашься, Грунюшка? — опять заискивающим тоном спросила Марянка.

— Пошла ты от меня к лешему! — выругалась вспылившая Груня.— Сказано тебе, что не на таковскую напала. Убирайся, чтобы и духу твоего не было, и не смей со мной говорить больше.

И Груня сердито соскочила в яму. Марянка отошла, обиженная и злая.

«Ишь, ломается тоже, тварь! — думала она.— Пусть-ка-де походит за мною да покланяется. Беспременно она кого ни на есть да имеет полюбовника, потому без этого ни одна девка не обойдется. Вон Наташка Набатова —

уж на что богомольная да чванная была, а и та ребенка принесла... Как ни на есть, да уж заведен приятель»,— продолжала думать Марянка, спускаясь в свою яму и злобно поглядывая на Груню.— «Ужо подкараулю я тебя, не проминуешь ты меня, выведу я тебя на чистую воду!»

VIII

У дочери Набатова действительно родился сын; он родился преждевременно вследствие побоев, нанесенных Наталье отцом, пожил всего часа три и умер. Наталья тоже была чуть жива; приглашенная женою Тимофея Рясова старуха-повитушка ухаживала за ней, как умела, в то же время ругая Набатова и дивясь, за что он так озлился.

— Ну, мало ли бывает, что носят девки ребят, и бьют их отцы за это, да все не так же зверски,— рассуждала старуха, перетаскивая Наталью из сеней в избу и укладывая ее в куть на лавку.

Наталья только тяжело стонала, вздрагивая каждый раз, как отворялась дверь в избу, и ожидая, что войдет отец и опять начнет бить ее. Но она напрасно боялась: Набатов не приходил домой.

Возвращаясь с работы, он зашел к Рясову и узнал от его жены, что младенец родился чуть живой, что бабушка, не будь плоха, завернула его в лоскутину и тотчас же понесла к попу, где его и окрестили, пока еще был жив, что после крещения он дышал еще с полчаса, что теперь он уж обряжен и лежит на столе, что Наталья очень плоха и все боится, что отец придет и станет бить ее. В заключение Григорьевна, так звали жену Рясова, предложила Набатову пообедать у них и отдохнуть.

В ответ на это Набатов только тяжело вздохнул, сел на лавку и долго сидел молча, погруженный в глубокую думу.

Только когда Григорьевна стала собирать на стол для Набатова, он как будто очнулся.

— Не надо,— сказал он, вставая,— я есть не хочу,— и пошел из избы, нахлобучив шапку на глаза.

В ограде он встретился с Рясовым, тот опять стал его звать в избу, но Набатов отказался и пошел домой. Дома он в избу не пошел, а сел на нижних ступеньках лестницы

и задумался. Он не заметил поклона старухи-повитушки, хлопотавшей по хозяйству и уже несколько раз прошедшей мимо него. Тяжело налегло горе на гордую душу Набатова, и не видел он возможности освободиться от него. Кроме того, что Набатов крепко любил свою дочь, он страдал еще и от других причин. Недаром он слыл горделом, и во всем Куморе не имел ни одного искренне расположенного к нему человека, кроме добродушного силача Рясова. Набатов действительно был и самолюбив, и горд. Презирая в душе класс служителей, пользовавшийся такими громадными преимуществами перед мастеровыми, он отдал бы полжизни, чтобы самому попасть в этот класс, и если уж это было невозможно, то хоть выдать дочь за служителя. Но этому его желанию теперь не было никакой возможности осуществиться. Примеры, когда кто-либо из класса служителей женился на дочери мастерового, бывали очень редки, да и то только в таком случае, если за невестой давались в приданое деньги. Правда, у Набатова в сундучке под лавкой хранилось рублей триста ассигнациями — сумма по тогдашнему курсу на деньги довольно значительная, но все же этого было бы достаточно в том только случае, если бы Наталья не опозорила себя и отца. После же этого позора не было никакой возможности рассчитывать на жениха для Натальи из служительского класса, и Набатов горько вздыхал и проклинал свою злую долю.

Бабушка-повитушка, несколько раз проходившая мимо Набатова, все поглядывала на него, желая, но не решаясь заговорить с ним. Наконец, она не вытерпела и сказала:

— Грех тебе, Сергей Ларионыч, девку ты свою уходил до полусмерти, уродом сделал.

Набатов молчал. Его гнев на Наталью прошел, и место его заступило чувство жалости, страха и угрызений совести за безвинно пострадавшего младенца.

— Ну да, что об этом убиваться, прошлого не воротишь,— заговорила опять старуха.— Ступай-ка лучше в избу да поешь и отдохни маленько. Надо ведь заказать гроб, ребенка-то завтра хоронить надо.

На этот раз Набатов поднял голову и поглядел на старуху.

— Гроб делать? — спросил он.

Старуха рассердилась.

— Да ведь не без гроба же ты его в могилу-то свалишь! Хоша и найденыш он, одначе не щенок же, душа, поди, в нем такая же, как и у тебя! — сердито заговорила старуха.

Набатов быстро встал.

— Я пойду закажу гроб делать,— сказал он и пошел к воротам.

Старуха озлилась еще пуще и плюнула ему вслед.

— Да хоша бы пообедал, хоша бы слово какое путное сказал,— ворчала она, поднимаясь на лестницу.— То словно дерево какое,— не расспросил, не рассказал, так и ушел, тут хошь что без него делай.

Перед вечером уж воротился Набатов домой и принес подмышкой крошечный гробик. Он не вошел в избу, а поставил гробик на крыльце и, постояв тут с минуту, повернулся и опять вышел из дому. На этот раз он пошел к Рясову, где и просидел до вечера, а вечером, поужинав вместе с Рясовым и не заходя домой, ушел в кричную работать. Но эту ночь Набатов работал уже далеко не с таким усердием, как прошлую, он чувствовал сильное утомление, часто садился отдыхать и тяжело вздыхал. Утром, только сменившись с очереди, Набатов торопливо пошел домой; ему предстояла тяжелая обязанность хоронить своего внучка. Но как он ни торопился, а шел медленной, неровной походкой, ноги отказывались идти с прежней скоростью.

Войдя в свою избу, он изнеможенно опустился на лавку, стараясь не глядеть на крошечное мертвое тело, лежавшее на столе.

— Что, милый, пристал?— обратилась к нему старуха, на этот раз с участием.— Отдохнуть бы надо тебе, да некогда: вишь, поп уж в церковь пошел, надо и тебе идти.

— Что ж, ладь младенца, а я сейчас,— сказал Набатов и стал вынимать из ящика медные деньги.

Старуха принялась приготовлять гробик, устилая дно его белыми тряпицами и продолжая выражать Набатову свое сожаление о том, что ему некогда отдохнуть. Она положила младенца в гробик, закрыла его крышкой и, сказав:— Теперь совсем готово, неси в церковь,— подошла к Набатову и, посмотрев на него, прибавила:

— Хошь бы умылся ты, ведь лица-то у тебя совсем не знать,— весь ты в саже. Ужо после в баню сходи по-

мойся, я про Наталью баню истопила, хочу ее попарить, не даст ли бог лучше.

Набатов заторопился, засунул деньги за пазуху и взял гробик подмышку.

— Да ты хоть запон-то сними, да накинь зипун,— все бы лучше было, а то так и пошел весь в саже,— опять заговорила старуха, идя вслед за Набатовым, выходившим из избы.

Он остановился, поглядел на свою покрытую сажей одежду, сказал: «Ладно и так»,— и торопливо сошел с крыльца.

По дороге в церковь ему встретился Савелий, шедший домой с конюшни.

— Чьего это ты хоронишь? — спросил он, здороваясь с Набатовым.

— Своего,—пробормотал тот, не глядя на него и не останавливаясь.

Савелий удивился и, остановившись на дороге, глядел ему вслед.

Поравнявшись с домом Рясова и увидев выходящую Григорьевну, Савелий указал рукой на удаляющегося Набатова и спросил:

— Чьего это он хоронит?

— Да Наташкина,— ответила она, остановившись.— Вчера утром бог дал, а сегодня, вишь, он уж и хоронить поспел. Сама-то Наташка в худых душах. Иду к ним пособить бабушке-то, хочу стаскать ее в баню.

— Эка напасть какая! — дивился Савелий, хлопая руками.— Девка была смирная, ничего худого не слыхать было, а вот что случилось. Чать, Набатов зол на нее?

— И не приведи бог, избил до полусмерти, оттого, надо быть, и младенец-то помер,— ответила Григорьевна.

— Ну и слава богу, что помер, по крайности на глазах нету,— рассудил Савелий и пошел своей дорогой.

Схоронив ребенка, Набатов возвратился домой и сел на крыльцо. Когда в церкви поп велел ему поцеловать маленькое посиневшее личико, Набатов почувствовал припадок сильнейшего горя, смешанного с каким-то невольным страхом, и, застонав, опустился на колени возле гробика. Крупные слезы покатились по его лицу. И теперь он опять плакал, утирая слезы кулаками и размазывая сажу на лице. Он снял свой кожаный запон и лапти с баклушами и сидел в одной рубахе, облокотившись

руками на колени и положив на них свою голову, в которой за две последние ночи заметно прибыло седых волос. Пока он сидел на крыльце, Наталью мыли в бане. Там она страшно ослабела и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. В баню Григорьевна стащила ее за плечами, но назад она могла донести только до крыльца.

— Не поднять ведь мне ее одной-то! — проговорила она, задыхаясь и опуская Наталью на пол.

Набатов быстро встал.

— Не умерла ли она? — спросил он, испугавшись и поспешно сходя с лестницы.

— Нет, жива, угорела только,— ответила ему старуха.— Пособи-ка бабе-то. Да подымите ее на крыльцо,— добавила она, махнув рукой на Григорьевну, наклонившуюся к Наталье.

Набатов взял Наталью на руки и унес в избу. Когда он положил ее на постель, платок, закрывавший ей голову, упал, и Набатов увидел мертвенно-бледное лицо своей дочери. Губы у нее посинели, растрескались и чуть пропускали слабые, едва заметные вздохи; у угла губ с левой стороны и под правым глазом были большие синяки. Жалость и страх заставили Набатова задрожать всем телом, ноги под ним подогнулись, он опустил голову и громко зарыдал.

— Взяла же тебя жалость-то,— заговорила старуха, подходя к постели и укрывая Наталью.— Вишь, как ты ее хорошо устряпал, небось, самому страшно стало. А еще то-ли будет, как и ее в могилку свалим! Ведь два душегубства на твоей совести будет. Ох, грехи наши тяжкие! — ворчала старуха без всякого сострадания к Набатову.

— Зверь я, а не человек,— проговорил он, тяжело поднимаясь с коленей.— Не мог совладать со своим сердцем.

И медленно, шатаясь, вышел он из избы и без сил свалился в углу сеней.

IX

Прошло с неделю. Марянка все ждала случая подкараулить Груню, зорко следя за ней, и случай этот скоро представился. Однажды к яме Груни подбежал Гриша; заметив, что Марянка смотрит на него из своей ямы, обошел кругом и стал к ней спиной. Что они говорили с

Груней, Марянка, к великой досаде своей, не могла услышать, но зато весь день она не спускала глаз с Груни. Вечером, когда пришло время возвращаться домой, Груня заметно стала отставать от других девок. Марянка сделала вид, что уходит вместе со всеми, но, отошедши несколько шагов, тихонько возвратилась под сарай. Груни уже не было там. Марянка обошла кругом всего сарая и, уверившись, что Груни нигде нет, хотела было перелезть через плетень в поскотину, подходящую сзади к самому сараю, как послышавшийся конский топот привлек ее внимание и остановил ее. Она оглянулась: к сараю подъезжал Чижов.

Марянка отошла от плетня и, поклонившись Чижову, ждала, пока он разговаривал с надсмотрщиком. Скоро Чижов подъехал к ней и спросил вполголоса:

— А где Грунька? Я не видал ее там с девками.

— Она, надо быть, на конюшню пошла дедушку попроведать,— лукаво улыбнувшись, ответила Марянка.

— А ты не видала, никто не приходил к ней? — спросил Чижов.

— Гришка Косатченок приходил, он тут каждый день бегает, потому из поскотины близко.

Чижов ничего не сказал на это и только ударил лошадь нагайкой, заставляя ее перескочить через изгородь в поскотину. Марянка поглядела ему вслед с довольным видом и побежала догонять девок, песни которых все еще неслись с дороги. Отъехав несколько сажен от изгороди, Чижов слез с лошади, привязал ее к стволу березы и пошел по узенькой, извивающейся между лесом тропинке. Скоро он увидел впереди на тропинке Груню. Она была одна и шла неторопливо, не оглядываясь. Чижов ускорил шаги и скоро настиг ее. Груня вздрогнула всем телом и быстро обернулась. Выражение испуга и неудовольствия, быстро омрачившее ее спокойное лицо, не ускользнуло от внимательного взгляда Чижова, и его лицо, прояснившееся за минуту перед тем, как он увидел, что Груня одна, опять омрачилось. К чести Чижова нужно сказать, что он не любил прямого насилия в любовных делах, в подкупах же и подговорах, к которым он прибегал в таких случаях, он себя оправдывал тем, что на них могли не согласиться. Кроме того, ему почти не случалось получать отказа на свои предложения, и потому-то сопротивление Груни волновало и раздражало его

особенно сильно — он порешил добиться ее согласия во что бы то ни стало. «Одно из двух,— думал он,— или она хочет взять дороже, или она в связи с Гришкой. Недаром он, щенок, в прошлый раз так заступался за нее».

— Здравствуй, Груша! — сказал он, поравнявшись с ней и слегка хлопнув ее по плечу.

Груня поклонилась и молча посторонилась, давая Чижову дорогу.

— Пойдем рядком,— сказал он, замедляя шаги.— Что ты меня боишься? Ведь я тебя не укушу.

— Знамо дело,— отвечала Груня, не глядя на него и пускаясь шагать так, что Чижов едва поспевал за ней.

— Да что же ты заторопилась так? — сказал он, наконец, с неудовольствием.— Иди потише, мне еще поговорить с тобой надо.

— Об чем тебе со мной говорить? — сердито ответила Груня.— Сказала я тебе еще в прошлый раз, что не об чем нам с тобой разговаривать.

— Ишь ты, какая сердитая! — рассмеялся Чижов и, обхватив ее за талию, нагнулся к ней, чтобы поцеловать.

— Пусти, Василий Миколаич! Добром тебе говорю: пусти! — отбивалась Груня от непрошенных объятий.— Не то я закричу, дедушку звать стану.

— Закричи, попробуй! — говорил Чижов, все крепче сжимая Груню в своих объятиях и покрывая поцелуями ее лицо.

Тщетно старалась Груня высвободить свои руки и уклониться от поцелуев. Чижов был очень сильный мужчина, и тягаться с ним в силе мог разве только один Тимофей Рясов. Груня, наконец, закричала.

— Полно, не ори! — говорил Чижов, закрывая ей рот рукой и стараясь отвести ее с тропинки в лес.— Послушай меня, я тебя не трону больше, только не кричи, я только поговорю с тобой.

Но Груня не слушала и, продолжая отбиваться, громко звала дедушку. В противоположной от тропинки стороне послышался треск сухих сучьев, и из-за толстого ствола березы показался суровый, рассерженный Гриша. В руках у него была толстая палка длиной с него же. Увидев его, Чижов стиснул зубы со злости, но Груню не выпустил из объятий, а только закричал гневно:

— Пошел вон! Какого лешего тебе надо?

— Не, Василий Миколаич, я не уйду, а вот тебе уйти

следует, потому ты тут не на своем месте,— ответил Гриша сдержанным тоном и, сделав еще несколько шагов, спокойно остановился перед Чижовым и устремил на него смелый, пристальный взгляд.

— Ах ты, щенок! — вспылил Чижов и, выпустив Груню, с поднятым кулаком бросился к Грише, но тот ловко увернулся, заслонившись палкой, за которую схватился Чижов. Гриша выпустил палку и бегом бросился в лес за убегающей Груней, которая опять начала звать дедушку. Чижов сгоряча пустился было преследовать бегущих; но скоро одумался и остановился, отыскал уроненную им нагайку и быстро пошел к лошади. И поплатился бедный сивко своими боками в этот вечер за все обиды, какие вынес его хозяин.

X

Убегая от Чижова, Груня не заметила, что Гриша бежал вслед за ней. Она ни разу не оглянулась и не перевела духу, пока не увидала, наконец, сквозь редеющий лес крыши конного двора. Тут она пошла несколько тише и скоро увидела Савелия, ловившего лошадь. Груня подошла к нему.

— Отколь ты взялась? — удивился Савелий, увидя ее.

— Из-под сараю,— ответила Груня.— Мамка велела забежать по тебя, созвать тебя в бане мыться. Она сегодня баню топила.

— Ладно, ладно,— заговорил Савелий, видимо, довольный приглашением внучки.— А ты, что ты так шибко запыхалась? Разве бегом бежала?

— Бегом, потому в лесу одной-то страшно,— ответила Груня.— А ты не слыхал, я тебя кликала?

— Нет, не слыхал. А ты Гришку видела?

— Не видела.

— Где он, пострел? Вот бы только рыжка напоить, да и пошли бы мы с тобой,— хлопотал Савелий.

— Кличь его, дедушка, может, он и недалеко где-нибудь,— сказала Груня, подходя к конюшне и садясь на рундук.— А я подожду тебя здесь, да пойдем вместе, одна-то я боюсь лесом идти.

— Хе-хе,— рассмеялся Савелий,— да какой это лес?

Вот там,— добавил он, указывая рукой вверх по пруду,— вот там лес, так лес, не то, что здесь.

И он стал накидывать зипун и снимать со стены аркан, подтрунивая над страхом Груни. На опушке леса показался Гриша.

— Где ты гулял, соколик? — обратился к нему Савелий.— Давай-ка напоим рыжка, да мне идти надо.

И Савелий ушел в конюшню.

— Что, чать, досталось тебе от подлеца-то? — спросила Груня вполголоса, когда Гриша проходил мимо нее.

— Нет, ни единого не досталось, я убежал,— также тихо ответил Гриша.

Скоро рыжка был напоен, и Савелий, заперши конюшню на замок, пошел рядком с своей внучкой, успевшей между тем отдохнуть и оправиться от испуга и волнения.

Проводив их глазами, Гриша сел на то место, где сидела Груня, и задумался.

«Теперь мне от Чижова житья не будет,— думал он,— во всем как есть начнет он меня сугонять. Беда мне будет от него. И ведь уродился же я такой бессчастный! С самого, значит, сызмальства мне во всем несчастье. Отца у меня деревом пришибло, как я еще мальчонком был маленьким, мать — старуха хворая, робить не может; покос, что от отца остался, сосед чуть не оттягал, спасибо Ермакову — заступился, а то бы совсем разорили. И так достатку никакого не имею, а тут еще Чижова лешак подсунул в этаком деле».

Гриша вздохнул и, порывисто встав с места, пошел бродить около конного двора.

«Хотя бы с кем посоветоваться,— думал он опять,— да и тоже, с кем. Один я, как палец; с матерью баять не стоит, потому у нее на все один ответ: терпи да богу молись, а известна пословица, что коли сам плох, так не поможет и бог».

И опять Гриша вздохнул. Вдруг его точно подтолкнул кто; он остановился и развел руками с довольным видом человека, внезапно осененного счастливой мыслью.

«Что же это я дядю Набатова-то забыл? Ведь хоша он мне и не родной дядя, однако все родня же. Хоша он мать мою и не любит, однако, может, меня-то ничего,— а он человек умнеющий. Вот к нему-то мне и надо бы сходить побаять, авось бы, он что мне и посоветовал. Дурак я, дурак, что раньше не сходил к нему! Может

быть, давно б уж не было меня на этой проклятой конюшне. Завтра же схожу»,— решил Гриша в своем уме, опять усаживаясь на рундуке с целью дождаться тут дедушку Савелья и еще с вечера отпроситься у него домой. Но дождаться дедушку Савелья он не мог, потому что старик, разопревши в бане и плотно поужинав пельменями, не захотел идти ночевать на конюшню, а улегся на полатях рядком со своим зятем и проспал тут до утра, вопреки приказанию Чижова не отлучаться с конюшни по ночам. Было уже часа три утра, когда Савелий пришел на конюшню и отпустил Гришу домой, заставив прежде выпустить лошадей.

XI

Придя домой, Гриша нашел дом запертым, матери его не было дома, и он в ожидании ее принялся прибирать и подметать двор. Прибравши и без того чистый двор, Гриша вытащил засунутый в поленницу топор и стал заколачивать ступеньки лестницы, вываливающиеся из покосившихся брусьев. Он любил заниматься хозяйством и улаживать свой дом, но, несмотря на все его старания, дом и все надворные строения, требовавшие радикальной поправки, разваливались и явно клонились к упадку. Не успевал Гриша подпереть одно прясло изгороди, как падало другое, и ему то и дело приходилось починять то то, то другое. Когда он сколачивал ступеньки и оглядывал крыльцо, окно соседнего дома, выходившего в ограду к Грише, отворилось, и в нем показалась всклокоченная рыжая голова его соседа, Семена Шестова, прозванного Жбаном. Гриша не заметил его и продолжал свое дело.

— Ай да сосед у меня молодец! — насмешливо заговорил Семен Жбан.— Как ни погляжу — все-то он по дворику похаживает да топориком поколачивает. Такой-то себе дворец сколотил, что просто ná поди! Экова, знать, и в Москве нету.

И Жбан рассмеялся неприятным смехом.

Гриша только оглянулся и, не сказав ни слова, продолжал свое дело.

— А вот что, соседушко дорогой, я тебе посоветую,— заговорил опять Жбан все тем же насмешливым тоном.— Ты шибко-то топором не стукай, пожалуй, еще и уро-

нишь крыльцо-то: вишь, оно у тебя словно живое, так ходенем и ходит.— И Жбан опять засмеялся.

Гриша все молчал; он положил топор на прежнее место, взошел на крыльцо и, вынув верхний косяк над дверью в сени, просунул туда руку и отворил дверь с защелки.

— Ишь, загордел как,— продолжал подзадоривать Жбан,— с нашим братом и говорить не хочет. Да побай, соседушко, пожалуйста, ответь хоть словечко.

Гриша обернулся и, показав ему кукиш, ушел в избу. Он злобно швырнул на лавку свою шапку и стал глядеть в окно на дом Жбана. Увидев, что Жбан затворил свое окно, Гриша несколько успокоился и стал искать, чего бы поесть. Не найдя ничего в избе, он сходил в погреб и, принесши оттуда каравай хлеба и крынку молока, усердно принялся за завтрак. За этим занятием застала его мать.

— Ты что это трескаешь? — вскричала она, всплеснув руками.— Ведь сегодня пятница!

Гриша положил ложку и обтер губы.

— Неужели? — удивился он.— Как же это я позабыл?

— То-то, позабыл! Вот жалобишься, что бог счастья не дает, а сам что делаешь? Среду и пятницу почитать должно, потому что богом указано,— ворчала старуха, убирая горшок с молоком и ложку.

Мать Гриши была худенькая, тщедушная старушка с очень строгими понятиями относительно соблюдения постов и числа земных поклонов. Всякий день утром и вечером она простаивала перед иконами около часу, усердно отсчитывая по лестовке земные и поясные поклоны и повторяя множество раз иисусову молитву, которую она только одну и знала. Любила она ходить в церковь, и хотя по слабости слуха и потому, что стаивала в церкви около входных дверей, иногда не слышала, что там пелось и читалось,— все-таки молилась усердно, нашептывая все одну и ту же иисусову молитву. Никогда не пропускала она случая поцеловать крест, а также и руку попа.

Все ее земные привязанности сосредоточились на Грише, единственном сыне, которого ей удалось вырастить. Мужа она лишилась рано и с тех пор вынесла много всякого горя и страдания, отбывая тяжелой работой господские повинности вплоть до того времени, когда Гришу, наконец, зачислили в действительные работники,

а мать его избавили от господских работ. Рада-радехонька была этому старуха, потому что силы ее уже очень ослабели в последнее время, да и кашель начинал жестоко душить по зимам.

«Хошь бы еще мне годок на другой дал бог веку,— вздыхая, думала старуха,— хошь бы я парня-то женила да поглядела бы, как он жить будет».

Убрав со стола молоко, Егоровна спросила у сына ласковым тоном:

— Хочешь кваску с лучком похлебать? Я принесу.

— Нет, мать, не хочу,— ответил Гриша, угрюмо уставившись в окно, оттого что забыл день и наелся скоромного.

— Я, мать, хочу к дяде Набатову сбегать,— сказал он немного погодя.

— Пошто?

— Да побаять насчет того, как бы мне в кричную робить перепроситься.

Егоровна вздохнула: она не жаловала работы в кричной как потому, что там человек легко подвергался разным опасностям, так и потому, что не под силу ей было стирать пропитанные сажей рубахи Гриши.

— Сам знаешь, дитёнок,— ответила она,— а по-моему, так лучше бы ты себя пожалел, потому работа в кричной тяжкая, огненная, а сила твоя молодая, некрепкая, лучше бы ты силы еще покопил.

— Да ты посуди, мать,— с жаром заговорил Гриша,— что в подконюшенниках-то платят — как мы жить будем? Надо избу перестраивать, гляди, вся она развалилась, а перестраивать не на что — денег ни гроша нету.

— Ну, год-другой перестоит еще,— ответила на это Егоровна, окинув избу глазами.

Гриша нахмурился и почесал голову.

— Всего лучше к дяде Набатову сходить,—решил он, вздохнув, и встал с лавки.

— Что же, сходи, побай, может, он что и пособит,— согласилась Егоровна.

XII

Набатова Гриша застал за обедом. Доходила другая неделя со времени несчастных родов Натальи, а она все еще не вставала с постели, и старуха-повитушка все еще

жила у Набатова, заправляя его хозяйством, стряпая ему обед и надоедая своим ворчаньем. Суровый и гордый Набатов присмирел настолько, что не смел даже прикрикнуть на ворчливую старуху, покорно вынося ее каждодневное брюзжанье, и только старался как можно меньше быть в избе. С Натальей он не говорил ни слова и, видимо, избегал смотреть на нее. Правда, она и сама не показывалась отцу и, лежа за занавеской, не подавала признаков жизни, пока отец был в избе.

Приход Гриши заметно удивил Набатова.

— Садись, гость будешь,— сказал он в ответ на его поклон.— Бабушка, дай-ка ложку,— добавил он, отодвигая стол и указывая Грише место за столом. — Садись, похлебай ухи-то.

— Я уже ел сегодня,— отказался Гриша, однако сел за стол.

Пообедав, Набатов тотчас же вышел на крыльцо. Гриша вышел за ним.

— Я, дядя, к тебе пришел об деле побаять,— сказал он, остановившись перед Набатовым, севшим на лавку.

— Какое же твое дело? — спросил тот, несколько удивившись и внимательно поглядев в лицо Гриши. Оно было озабочено и печально.

— Садись,— добавил Набатов,— что стоишь? В ногах правды нету, садись да расскажи, какое твое дело.

Гриша сел и подробно рассказал Набатову свое горе, не утаив и того, за что особенно невзлюбил его Чижов. Нахмуренное и печальное лицо Набатова оживилось при этом рассказе, глаза засверкали злостью. Он отвернул лицо, стараясь скрыть от племянника свое волнение.

Кончив свой рассказ просьбой помочь ему перепроситься в кричную, Гриша уж давно ждал ответа, а Набатов все молчал, отвернувшись от него.

— Знаешь пословицу? — спросил он, наконец, обернув к Грише свое изменившееся лицо.

— Какую?— спросил тот, удивившись и растерявшись от неожиданного вопроса.

— А вот какую: кобыла с медведем тягалась, один хвост да грива остались,— сказал Набатов, мрачно устремив глаза на Гришу.

Тот понурил голову и молчал. Последняя надежда начинала покидать его. На глазах у него навертывались слезы, губы судорожно передергивались.

Набатов тоже опустил голову.

— Этот Чижов хуже мне ножа острого,— проговорил он вполголоса, не глядя на племянника и будто рассуждая про себя.— Легче бы мне с лютым зверем в лесу сойтись, чем с ним проклятым. Он всему злу причиной.

Гриша удивился и слушал внимательно. Он не знал, кто был причиной позора Натальи, а потому не мог понять злобы Набатова. А Набатов, облокотившись руками на колена и положив на них свою голову, думал. Гриша ждал с замирающим сердцем, что еще скажет ему дядя.

— Вот разве что мы сделаем,— проговорил, наконец, тот, подняв голову.— На Чижова нам надеяться нечего: его не проймешь ни крестом, ни пестом, а вот разве Ермакову Степану Ефимовичу мы поклонимся. Он с Чижовым не в ладах, а потому, может, и примет нашу сторону.

— Да еще у меня поклониться-то нечем,— тоскливо проговорил Гриша.

— Ну, на это я тебя ссужу, на это немного надо,— сказал Набатов.— Сегодня у тебя день свободный?

— Свободный,— ответил Гриша, несколько приободрившись.— До вечера свободен буду.

— Вот и ладно,— сказал Набатов, вставая.— Дам я тебе целковый, и ступай ты сию минуту на Усть-Кумор, спроси там старика Пантелея, он рыбак, у него в садке завсегда живая рыба сидит. Скажи ты ему, что послал, мол, меня мастер Набатов и велел-де тебе самолучших стерлядей отвесить — на целковый сколько причтется. Он мне старинный приятель и по приятству уступит. Этой рыбой мы и поклонимся Ермакову.

С этими словами Набатов ушел в избу и вскоре вынес оттуда засаленную рублевую бумажку и подал ее Грише. Тот завернул ее в обрывок платка и засунул за пазуху.

— Спасибо, дядя,— проговорил он повеселевшим голосом.— Даст бог, доживем до страды, так я отслужу за все это.

— Ладно, ладно, мне твоя служба не надобна,— ответил на это Набатов.— Ступай-ка лучше скорей на Усть-Куморку, а я тем временем лягу сосну.

Гриша стал спускаться с лестницы.

— Смотри же, чтобы рыба была хорошая, живая, а не дохлая,— наказывал вслед ему Набатов,— потому я с тобой сам пойду, так чтобы не стыдно было.

Гриша ушел, а Набатов, спустившись вслед за ним с крыльца, лег в сани, стоявшие на дворе под навесом, но не мог заснуть вплоть до прихода Гриши — так сильно расходился в нем гнев на Чижова.

— Чтобы ему ни дна, ни покрышки, кровопивец! — мысленно ругался Набатов, ворочаясь в санях.— Не во всяком же разе ему уступать, найдем и на него управу.

И сильно кипела кровь в Набатове, и сжимались его здоровые мускулистые кулаки.

До Усть-Кумора было всего версты две, и Гриша скоро воротился, неся на лычке трех больших и еще живых стерлядей. Услышав, что стукнули ворота, Набатов поднял голову и, увидев племянника, подозвал его к себе. Гриша подошел и показал рыбу.

— Ну, брат, рыба важная, экую рыбу не стыдно и управляющему поднести,— похвалил Набатов, вылезая из саней.— Садись отдохни, а я пойду накину кафтан, да и пойдем, благословясь.

И Набатов ушел в избу, а Гриша сел на нижней ступеньке лестницы и ждал. Скоро Набатов вышел в нанковом кафтане и шапке. Гриша, перехватив рыбу из правой руки в левую, перекрестился, и они вышли. Придя к Ермакову, Набатов и Гриша прошли прямо в переднюю, не заходя в кухню, и остановились у дверей. Ермаков, мужчина высокий, плотный и красный, как рак, только что встал от послеобеденного сна и, сидя перед своей красной конторкой, допивал уж вторую кружку холодной браги. Услышав, что скрипнула дверь в передней, он громко спросил:

— Кто тут?

Набатов сделал несколько шагов вперед и, остановившись у дверей в кабинет, поклонился.

— До вашей милости, Степан Ефимович,— заговорил он,— с покорной просьбой.

— Что надо? — пробурчал Ермаков, опять принимаясь за недопитую кружку и не глядя на Набатова.

— Да вот племянника охота бы в кричную перевести,— заговорил Набатов, опять кланяясь.— Покорно прошу, Степан Ефимович, нельзя как-нибудь, не будет ли вашей милости, потому парень-то сирота, охота бы при себе к работе приспособить.

— Какого племянника? — спросил Ермаков.

— Да вот Гришу Косаткина, сына Андрея Косаткина,

которого деревом-то в лесу зашибло, может, изволите помнить.

— Забыл я,— пробурчал Ермаков, отдуваясь.— Где он?

— Здесь, со мной пришел,— ответил Набатов.— Гриша, покажись.

Гриша несмело выступил вперед и неловко поклонился, причем стерляди махнули хвостами по полу.

— А, знаю,— на этот раз внятно протянул Ермаков и встал со стула.

— Примите, батюшка Степан Ефимович,— заговорил Набатов, взяв стерлядей из рук Гриши и подавая их Ермакову.— Не побрезгуйте: чем богаты, тем и рады.

Тот не спеша взял стерлядей за лычко и, взвесив их на руке, с довольной улыбкой спросил у Набатова:

— Сам заловил?

— Нет, батюшка Степан Ефимович, я не рыбак, купил у приятеля.

— Хозяйка, а хозяйка! — крикнул Ермаков.— Степанида Матвеевна!

— Иду,— послышалось из других комнат, и маленькая, сутулая и некрасивая женщина в пестром платье и коленкоровом чепчике на голове вошла в переднюю.

— Возьми-ка вот, мужик стерлядок принес да вели заколоть поскорее, а ему,— Ермаков указал на Набатова,— подай водки рюмку.

— Ладно,— ответила Ермачиха, взяла стерлядей и ушла.

— Так в кричную тебя перевести? — спросил Ермаков у Гриши.

— Уж сделайте милость,— заговорил тот, кланяясь,— заставьте за себя бога молить.

— Да ведь ты уж начинал в кричной робить, зачем перестал? — спросил Ермаков.

— Василий Миколаич приказали на конюшне быть,— ответил Гриша.

Ермаков не сказал на это ни слова, а пошел к конторке и, вынув из бокового ящика лоскуток бумаги, написал на нем несколько строчек, засыпал их песком и, стряхнув песок, подал записку Грише.

— Ступай ты с этой запиской к распометчику, он завтра с переклички пошлет на конюшню вместо тебя

другого, а ты выходи робить в кричную. Вот с Набатовым и работай в одной смене.

Гриша низко поклонился, радостным голосом бормоча благодарность. Набатов тоже поблагодарил, выпил рюмку водки, вынесенную Ермачихой, поблагодарил еще раз и вышел.

XIII

На другой день узнал Чижов о переводе Гриши в кричную и страшно разозлился на Ермакова. Злость его увеличилась еще более, когда он увидел, что Гриша работает с Набатовым, а Набатов был один из исправнейших мастеров в куморской кричной фабрике, стало быть, притеснять его было бы большой несправедливостью. Да и кроме того были еще причины, по которым Чижову не хотелось явно ссориться с Набатовым, и он поневоле должен был на время затаить свою злость на Гришу. Преследование Груни тоже остановилось на время, потому что Чижову вскоре понадобилось ехать в курени осматривать заготовленные там крестьянами дрова для выжига угля. Эта поездка отняла у него более недели и привела к весьма неутешительным результатам. Готового и оставшегося от прошлого года угля не было ни в одном из ближайших к заводу куреней; в куренях же более отдаленных уголь хотя и был, но не было возможности провезти его в завод летом, а имевшегося в запасе угля не могло достать до зимы, и, стало быть, фабрики приходилось остановить по недостатку угля. Мысли одна неприятнее другой теснились в его голове, когда он пробирался верхом на крестьянской лошадке по едва заметным лесным тропинкам, проложенным дровосеками. Куренной надзиратель и несколько человек крестьян, тоже верхом, тянулись за ним гуськом. На привалах и ночлегах крестьяне угощали Чижова водкой и ромом. Он пил, чтобы затушить тоску и не думать о последствиях своей оплошности, которая могла переполнить меру гнева управляющего и приблизить тучу, и так уже недалекую. Пьяный и недовольный собой и всеми, вернулся он из этой поездки.

Анна Васильевна, увидав в окно подъехавшего к воротам мужа, с радостным криком бросилась к нему навстречу.

— Васенька, голубчик ты мой! — кричала она, подбе-

гая к телеге, из которой Чижов не имел сил вылезти без посторонней помощи. Он вылез с помощью куренщика, приехавшего вместе с ним. Шатаясь, пошел он в комнаты. Анна Васильевна хотела взять его за руку, но он грубо оттолкнул ее, чем, впрочем, Анна Васильевна нимало не обиделась, и, проговорив только, что Васеньку сильно растрясло и что пора ставить самовар, пошла вслед за мужем.

Войдя в комнату, Чижов тяжело опустился на диван и, отпустив куренщика, попросил чаю.

— А ты, верно, мне к чаю-то медку привез на гостинец? — спросила Анна Васильевна, подсаживаясь к мужу.

— Как же, привез полну телегу,— насмешливо отвечал Чижов.— Ты что же без ложки навстречу-то выбежала?

— Ах, Васенька, что же смеяться-то? — заговорила Анна Васильевна обиженным тоном.— Мне Степанида Матвеевна сказывала, что когда ее муж ездит по куреням, то крестьяне дарят ему и меду, и денег...

Но Чижов прервал речь своей супруги, послав ее к черту вместе со Степанидой Матвеевной, и велел наливать чай.

Вошел служитель с пакетом только что привезенных из Кужгорта бумаг. Чижов, не читая, положил их на стол. Расспросив служителя о том, сколько часов он ехал, здоров ли управляющий и нет ли чего нового в Кужгорте, Чижов отпустил его и принялся за чай, приготовленный Анной Васильевной. Обиженная и приунывшая, сидела она у самовара, отвернувшись от мужа и украдкой утирая слезы. Чижов пил чай, не обращая на нее внимания и тупо смотря на запечатанный конверт. Хмель начинал разбирать его все сильнее и сильнее. Он не допил второго стакана и, отложив чтение бумаг до вечера, пошел и лег спать.

Анна Васильевна убрала чай и села за пяльцы дошивать целующихся голубков, утирая то и дело набегавшие на глаза слезы. Ей было скучно, она сердилась на мужа и кляла свою горькую участь. «Не любит он меня, ничего для меня сделать не хочет, никакого удовольствия мне доставить не хочет,— думала она.— Вон Ермачиха сшила себе новое платье с оборками, сегодня обновила его к обедне, а мне и думать об этом нечего. У Васеньки

денег нет, жалованье вперед забрано чуть не за год.— И Анна Васильевна тяжело вздохнула.— А уж как бы мне хотелось на лето кисейное-то платье иметь! Вот скоро семинаристы приедут на вакацию, стали бы у нас собираться, танцевать бы стали, в поле бы с чаем ездить». Но тут Анна Васильевна, вспомнив, что у нее не только на платье, но и на чай денег не станет, расплакалась так, что не могла более шить, и ушла в сад. Но и там не могла отвязаться от своих печальных мыслей и, вспомнив, что ее приглашала к себе Ермачиха, отправилась к ней.

XIV

Соснув часок-другой, Чижов встал и, вспомнив о полученных из главного правления бумагах, пошел прочитать их. В одной из этих бумаг был строгий запрос, отчего выделка железа на куморской кричной фабрике не только не увеличилась, как того следовало ожидать вследствие перестроек и поправок, произведенных на фабрике, но даже уменьшилась. Затем следовал строгий выговор Чижову за нерадение к пользам владельца, за пьянство, за поблажки мастеровым. Оканчивалась эта бумага приказанием начинать в фабриках работу с десяти часов вечера в воскресенье, чтоб не пропадала даром ночь на понедельник. Крепко выругался Чижов, прочитав эту бумагу, и, закурив папироску, крикнул Алешку. Вбежал парень с всклокоченными волосами и заспанным лицом, одетый в сюртук, как видно, с плеч Василия Николаевича.

— Уставщика ко мне! — сказал Чижов, не оборачиваясь и принимаясь читать другие бумаги.

Скоро пришел уставщик. Он был навеселе по случаю воскресного дня и немножко струсил; однако ж, подождав немного, слегка кашлянул, докладывая тем Чижову о своем прибытии.

— Кто тут? — спросил Чижов, не оборачиваясь.

— Уставщик. Изволили требовать...

Чижов обернулся к уставщику вместе со стулом и сказал, ткнув пальцем в лежавшие перед ним бумаги:

— Сейчас получил предписание: велят пускать кричную в действие с десяти часов вечера сегодня. Теперь уже восемь; ступай и вели сейчас наряжать мужиков на работу.

Уставщик выступил на шаг вперед и, переминаясь с ноги на ногу, чесал голову.

— Нельзя ли, Василий Миколаевич, уволить сегодня? — заговорил он несмело.— Сами знаете, день сегодня воскресный, народ весь пьян, посылать его сегодня на работу на одно увечье.

Чижов, рассерженный и без того, рассердился еще пуще и, вскочив со стула, закричал:

— Знать ничего не хочу! Мне, что ли, за вас робить-то? И то вот тут пишут, что даю вам поблажку. Вон! И чтоб сейчас выходить на работу.

Уставщик струсил и проговорил только:

— Воля ваша, как угодно.

Он вышел от Чижова и торопливо направился к старому деревянному зданию, где помещалась заводская полиция; он спешил послать оттуда десятника собирать народ на работу. А Чижов, просмотрев бумаги, выкурил несколько папирос и принялся за «Московские ведомости», которых накопилось в его отсутствие несколько номеров. Он отворил окно и, читая газеты, время от времени посматривал, не задымились ли видневшиеся в окно трубы фабрики, расположенной под горой, недалеко от его дома. Скоро, однако же, он так занялся газетами, что забыл посматривать в окно и был отвлечен от чтения только появлением Алешки, доложившего, что пришли мастера, стоят на крыльце и просят Чижова выйти к ним. Чижов нахмурил брови и скорыми шагами вышел на крыльцо, где толпой стояли кричные мастера, почти все пьяные. В числе их не было только Набатова. Он, тоже подкутивший для праздника, стоял за воротами с опущенной головой и угрюмым взглядом. Ему не хотелось идти с просьбой к Чижову, да не хотелось и отстать от товарищей, решившихся сообща просить Чижова не начинать сегодня работы.

— Зачем? — сердито спросил Чижов.

— Да что, батюшка Василий Миколаич,— заговорил колосс Рясов, выступив из толпы и пошатываясь из стороны в сторону всем своим длинным корпусом.— Показаться пришли твоей милости, каковы мы есть для праздника.

И он обвел глазами своих товарищей, улыбнувшись широкой, добродушной улыбкой.

Чижов рассердился.

— На работу вам приказано идти, а не ко мне! — закричал он, топая ногой.— Ведь я не от себя выдумал заставлять вас сегодня робить. Ведь сказано, что я предписание получил. Слышали али нет? Из правления, от управляющего предписание. Понимаете али нет?

— Да помилуй, Василий Миколаич,— заговорил один из мастеров, который был потрезвее других,— ведь мы не знали, что предписание это сегодня придет. Как бы знали, так и не напились бы. А теперь ты что хошь делай, а мы робить не можем, потому все пьяны: и подмастерья, и работники, и мы.

— Вон! — закричал на это Чижов, топая ногами.— Знать ничего не хочу. Пьяницы! Стельки кабацкие! Вон! И чтоб сейчас за работу!

И, заворотив Тимофея Рясова, стоявшего к нему ближе других, Чижов ударил его в спину так, что тот одним прыжком соскочил с лестницы. За Рясовым посыпались толчки и брань на других, и все испуганной толпой побежали к воротам.

— Что? — спросил Набатов, увидав их.

— Да и слышать не хочет, в толчки прогнал,— отвечали ему.

— Мне такого здоровенного поддал, что инда искры посыпались,— сказал Рясов, опять добродушно оскалив зубы.

Великан и силач Рясов, хладнокровный и рассудительный в трезвом виде, в пьяном становился кротким и добродушным, как ребенок.

Выслушав, что сказали, Набатов еще пуще понурил голову.

— Что делать? — спрашивали мужики, с недоумением поглядывая друг на друга.

Один из них, не в силах будучи держаться на ногах, сел на подворотню, двое других прислонились к стене, а Рясов стоял перед Набатовым и, качаясь во все стороны, тупо смотрел на него.

— Надо еще просить,— сказал Набатов, помолчав,— не зверь же он, может, и уймется. Ступай, уставщик, проси до утра отложить, скажи, что все пьяны и робить не можем. Пусть только до утра дадут проспаться.

— Вестимо, только до утра, а там мы уж знать будем и будем исправны.

Уставщик почесал голову и нехотя пошел на крыльцо. Вслед за ним пошли еще двое из мастеров. Все другие стояли у ворот и ждали. Скоро послышалась хриплая брань Чижова, и уставщик и мастера опять быстро сбегали с крыльца и шли к воротам. Постояли мужики у ворот еще несколько времени и, толкуя, перешли через улицу к полиции, где и уселись на ступеньках лестницы. Некоторые прилегли и захрапели; другие, потрезвее, все еще советовались между собою и придумывали, что делать. Сидели, сидели мужики на крыльце полиции и решили еще раз сходить к Чижову всей толпой.

— Набатов, иди и ты с нами, тебя еще он не видал,— обратился кто-то из них к Набатову. Тот молча встал и пошел впереди всех. На этот раз мужики не остановились на крыльце и прошли в переднюю. Чижов, еще не успевший успокоиться, скорыми шагами ходил по комнате. При виде толпы мужиков, вошедших в переднюю, гнев его вскипел с новой силой, и он с поднятыми кулаками бросился на них, не дав им произнести ни слова. Набатов, стоявший впереди всех, схватил Чижова за руки и удержал его.

— Уймись, Василий Миколаевич,— сказал он глухим голосом,— молод еще ты толчками-то нас кормить, мы не за тем пришли.

Чижова точно обдало холодной водой от прикосновения Набатова. Он, отдернув руки, опятился назад и сказал, стараясь сдерживать свою ярость:

— Говорят вам, что не от себя я выдумал заставлять вас сегодня робить, понимаете или нет, что предписано мне это из правления? Ведь я за вас отвечать буду.

— Это точно, что ты за нас отвечать будешь,— сказал ему на это Набатов.— А коли кто под колесо попадет или другомя как изувечится, тогда кто отвечать будет? Ведь ты же, Василий Миколаевич. Ну, рассуди ты сам, что за работник пьяный человек? Кои здесь, так те еще потрезвее, а ты вот на тех погляди-ка, кои без чувства-то валяются. Ну что ты с ними станешь делать? Переувечатся все в одну ночь, да и только.

Чижов, казалось, убедился этими словами. Он отошел к окну и, повернувшись к мужикам спиной, молчал.

— Помилуй, батюшка Василий Миколаевич,— заговорили другие мужики, ободренные его молчанием,— де-

лай ты завтра с нами что хошь, а сегодня мы тебе не работники.

— Ну, ступайте, спите до двух часов, а с двух чтоб робить,— сказал Чижов, не оборачиваясь.

— Нет, Василий Миколаевич, не проспаться нам до двух часов,— сказал уставщик,— увольте уж до утра.

Чижов опять не мог совладать со своим гневом.

— Вон! — заревел он, бросившись на уставщика и толкая его в шею.— Сказал, чтоб в два часа выходили на работу. Вон!

Все поспешно пошли из передней вслед за вытолкнутым уставщиком. Пошел и Набатов, крепко стиснув зубы и стараясь спрятать от Чижова свои сжатые кулаки.

Пробило уже десять часов, когда мастеровые вышли от Чижова и разошлись по домам, порешив спать до утра.

— Ведь не станет же он нас всех драть,— рассудили они.— Сегодня он сердит, а завтра ведь уходится же его сердце.

XV

«Злодей! — думал Набатов, сердито шагая к своему дому.— Попадешься ты мне в темную ночь в каком переулке».

Упреки эти относились к Чижову, на которого Набатов перенес свою злобу во время болезни Наташки. Вид ее страданий, которых единственною причиною Набатов считал Чижова, забыв, что сам он своей жестокостью много увеличил их, постоянно поддерживал и разжигал в нем упорную ненависть. С сердцем, полным злобы, весь погруженный в свои мрачные думы, подходил Набатов к своему дому и вздрогнул всем телом, когда увидел, что у ворот его дома кто-то стоял, прислонившись к ним. Скоро он разглядел, что это был Гриша, и сплюнул в сторону.

— Что, дядя, робить? — спросил его Гриша.

— Нет, уволил,— процедил Набатов и, войдя в ограду, сел на нижней ступеньке лестницы.

— Так я ино домой пойду? — сказал Гриша, все стоявший у ворот.

— Зайди, побаем,— пригласил его Набатов.

Гриша вошел и сел рядом с дядей. Несколько минут они оба молчали.

— Что за приказ такой вышел? — спросил Гриша.— Как этого прежде не было?

— А лешак их знает, что они там делают. Приказанье, сказывают, такое пришло, чтобы с вечера в воскресенье фабрику в действие пускать,— сердито проговорил Набатов.— Ишь, варнаки, хомутаются над нами всячески, готовы из нас и жилы-те вытянуть, не то ли что чего.

— Однако! — произнес Гриша в раздумье и потом прибавил, поглядев на дядю: — Что, небось, Чижов ягал на вас во все горло, как вы отпрашиваться пришли?

— Уж ты бы лучше не поминал его,— с гневом сказал Набатов, оборачиваясь к Грише.— Уж так тому не быть, чтобы я с ним за все как есть не рассчитался! Поплатится он мне своими боками за все мое горе и за весь мой срам.

Гриша поглядел на него с удивлением.

— Да что он тебе сделал?— спросил он.

— Как что? А ты думаешь, не срам это моей голове, что Наташка ребенка принесла? Разве это мне не обида? Да повесить его за эти дела мало! — горячился Набатов, вставая с места.

Гриша только теперь понял, в чем дело, и в душе согласился с дядей, что Чижов и в самом деле стоит виселицы.

— Кровь ведь они нашу пьют,— говорил Набатов, стоя перед Гришей,— в работе нас морят, вот словно скотину, да еще и девкам-то нашим житья от них нету. Ведь сам ты видишь, на чего теперь у меня Наташка-то похожа стала. Тень одна осталась от нее. Ох-х! — простонал Набатов, садясь на прежнее место и подпирая голову рукой.

Гриша молчал, не зная, что отвечать на это. Молчал и Набатов. В избе что-то стукнуло; он вздрогнул и, подняв голову, слушал... Но стук не повторился, и все стало тихо попрежнему.

— Не поверишь ты,— сказал Набатов, не переставая слушать,— что я вот только того и жду, что Наташка умрет... хоть и зачала она ходить по избе, а все видно, что через силу. А коли она умрет,— добавил он глухо,— я ему голову сверну, потому всему злу он причиной.

— Полно, дядя, что ты!—сказал Гриша, поглядев

на Набатова, и потом прибавил тихонько: — Ведь не силой же он взял?

— А я почём это знаю, может, и силой; от нее ведь теперь ничего не узнаешь. Сперва, может, и силой, а после уж что? После уж и сама пошла... Дурак я был, что бабьему уму поверил, одну девку оставлял по ночам, вот оно что и вышло,— сокрушался Набатов.

— Почему ты не женился, дядя? Ведь ты еще молодой овдовел?

— Жениться я спервоначалу и думал было, да все боялся, что баба попадет недобрая, Наташку жалел.

И вдруг Набатов замолк, увидев, что в избе отворилась дверь. На крыльцо вышла Наталья и спросила у отца, станет ли он ужинать. Было уж с неделю, как бабушка ушла от них, и Наталья сама принялась за хозяйство, хотя еще и не чувствовала себя совершенно здоровой.

— Пожалуй, изладь на стол,— сказал ей Набатов,— мы вот с Гришей поедим.

— Ты разве не ужинал еще? — удивился Гриша.

— Нет, только было хотел, как прибежали наряжать на работу, я так и ушел.

И Набатов встал и, умыв на крыльце руки, пошел в избу, пригласив с собой Гришу. Перед ужином Набатов выпил сначала сам рюмку водки, потом подал Грише. Тот стал было отнекиваться.

— Пей! — сказал ему Набатов.— У меня выпить можно, ты у другого кого не пей, а у меня завсегда можно.

После ужина дядя и племянник еще посидели на крыльце, толкуя о подступающей страде. Во всех домашних делах Гриши Набатов стал принимать живейшее участие с тех пор, как он обратился к нему с просьбой помочь ему, и советовал, как и что лучше сделать.

— Вот даст бог, женишься на осень, а заведешь хозяйку в доме, так жить тогда тебе не в пример лучше будет,— сказал Набатов Грише на прощанье.

— Как я и женюсь? — печалился Гриша.— Ничего-то у меня нету, ни одежды, ни скота, ни живота.

— Не тужи, это все дело наживное,— отвечал Набатов, сходя с крыльца и направляясь к своим саням под навесом.

Но долго не могли уснуть в эту ночь дядя и племянник, думая каждый о своем.

XVI

Наступила сенокосная страда, и после Петрова дня мастеровым дали две недели времени на страду. Все они пользовались сенокосной землей и спешили, сколько могли, кончить все свои работы в эти две недели. Перестали дымиться фабричные трубы, и Кумор опустел и затих на это время, и только по вечерам он несколько оживлялся песнями возвращавшихся с покосов баб и девок с граблями и косами на плечах. У некоторых из мастеровых делались помочи, и тогда песни и пляски продолжались всю ночь. Груня, давно уже кончившая свою тысячу кирпичей, тоже выпросила у матери помочь и накануне назначенного дня, собираясь идти сзывать на помочь своих подруг, сказала матери, что она зайдет по Наталью Набатову, что Наталья выздоровела и уж сама носит воду.

— Что же, позови,— согласилась Галчиха,— оно хотя и не след бы тебе с ребятницами знаться, да уж грех ее бей, пусть придет. Отца у нее жалко.

Груня в прежнее время была очень дружна с Натальей. Когда же дошли до нее слухи, что Наталья загуляла, и когда Груня, увидавшись с нею, сама стала подозревать, что слухи эти справедливы, она спросила у Натальи, правду ли говорят про нее.

— Пустяки, напраслина одна,— ответила Наталья, отворачиваясь от пытливых глаз Груни.— Мало ли что бают!

— То-то пустяки, а коли правда это, то я тебе больше не подружка, так и знай! — горячо сказала Груня.

После этого разговора Наталья заметно стала удаляться от Груни, не звала ее к себе и сама перестала ходить к ней. Груня же оскорблялась в поведении Натальи не тем, что Наталья загуляла,— девки, уж дело известное, завсегда гуляют, надо же, чтоб было чем помянуть свою девичью волю,— а тем, что загуляла она не со своим братом, да еще и с женатым человеком. Между классом мастеровых и служителей всегда существовал упорный и непримиримый антагонизм, особенно сильный между мужчинами и поддерживаемый кичливостью служителей, получавших большее вознаграждение за свой несравненно более легкий труд, которое давало возможность иметь и лучшие дома, и лучшую одежду, чем могли иметь мастеровые. Предпочтение, оказываемое помещиком слу-

жителям, заставляло их думать, что они более полезны, чем мастеровые, и давало им повод гордиться и кичиться перед ними своим мнимым превосходством. Мастеровые же, завидуя в душе огромным, по их понятиям, привилегиям, какими пользовались служители, платили им за их пренебрежение и кичливость затаенной, но тем не менее упорной ненавистью. Антагонизм этот был отчасти присущ и Груне и еще более усилился вследствие наглых требований Чижова. Все это имело влияние на ее отношение к Наталье в последнее время.

Наталья сидела у окна, выходившего на двор, и глядела на воробьев, скакавших под окном по навесу над крыльцом, куда она выбросила несколько хлебных крошек. При входе Груни она вздрогнула всем телом, и кровь на мгновение обожгла ее бледные щеки. Машинально взялась она за чулок, отодвинувшись от окна, и не поднимала глаз на свою сердитую подружку. А та до того была поражена худобой и страдальческим видом Натальи, что забыла даже помолиться на иконы, и, совершенно растерявшись, глядела на нее с выражением участия и сожаления, не зная, как начать разговор. Наконец, она села возле нее на лавку и спросила тихонько:

— Никак все еще хвораешь?

— Все,— ответила Наталья.— Грудь болит, кашель, дышать не могу.

И она опять повернулась к окну и, подпершись рукой, стала глядеть на него. Две слезы медленно покатились по ее лицу; навернулись слезы и у Груни.

— Не плачь, будет уж убиваться-то,— сказала она ласково,— и то уж вся высохла, только кожа да кости остались.

В ответ на это Наталья громко зарыдала и припала головой на колени своей подруги. Та не вытерпела и сама заплакала.

— И что с тобой сделалось? — дивилась Груня, утирая слезы и гладя Наталью по голове.— Ни в речах у тебя, ни в чем ничего такого незаметно было. Как он, варнак, и подошел к тебе, чем тебя и улестил! Задарил он тебя или что?

— Не брала я от него никаких подарков,— проговорила Наталья, немножко успокоившись и утирая лицо передником.— Так уж я и сама не знаю, что со мной сделалось.

— Да как же так, да с чего же?— дивилась и допытывалась Груня.— Полюбила ты его, что ли?

— И не то, чтоб полюбила, а так вот словно обошел кто меня, увижу где, так даже задрожу вся и слова не могу вымолвить. Вот словно страх меня ошибет,— тихо сквозь слезы припоминала Наталья, припав к плечу своей подруги.— Ходила я к нему в дом полы мыть, ну, он со мной заигрывал все, то по плечу потреплет, то по щеке, а я так и трясусь, так и трясусь. Осенью уж как-то, когда меня от поломоек уволили, сижу я вечером одна, слышу, вдруг кто-то по сеням идет, я так и обмерла, а он вошел в избу, сел подле меня да и говорит: «Здравствуй, Наташа! Я, говорит, вечеровать к тебе пришел».

— А ты бы его в шею! -- горячилась Груня.— Да поленом бы!

Наталья только вздохнула.

— Обнял он меня,— продолжала она полушепотом и вздрагивая всем телом при одном воспоминании,— и точно по мне струя горячая пробежала. Отпали у меня и руки и ноги.

На это Груня уж не нашлась что сказать и только покачивала головой, с укором и состраданием глядя на свою подругу. Посидели подруги молча несколько времени, Наталья — глядя в окно, а Груня — оглядывая избу и думая про себя, что она уж слишком долго засиделась.

— А я ведь пришла тебя на помочь звать,— сказала, наконец, она.— Пойдем!

— Нет, какая уж я работница: воды принесу, да и то отдохнуть не могу, силы у меня совсем не стало.

— Ну, хоть не робь, а так походи с нами по лугу-то, хоть траву потопчи. Ягод поберешь, там у нас, на лугу, смородины много,— уговаривала Груня Наталью.

— Нет, и не зови,— ответила та грустно,— у меня и охоты нет. Я бы и на свет не глядела. Умереть бы мне.

— Ну вот, выдумала умирать! Не тужи: все перемелется, мука будет,— сказала Груня, вставая и собираясь уходить.

— Прощай, Наталья, выздоравливай скорее.

— Прощай, Грунюшка, спасибо тебе — зашла, заходи еще, когда удосужишься.

— Ладно, зайду.

И Груня ушла; у ворот она встретилась с Гришей, который шел к Набатову, и велела ему приходить на помочь. В три часа утра уж все помочане были в сборе и веселой толпой отправились на луг.

XVII

В ту ночь в куморской фабрике случилась пропажа: из припасного амбара потерялись медные подшипники. О пропаже их узнали только в полдень, и тотчас же было арестовано несколько мастеровых, которых было хоть маленькое основание подозревать в краже. В числе арестованных был и сосед Гриши, Семен Жбан. Подозрение на него было очень сильно; все говорили, что это его дело, хотя при обыске, произведенном у него в доме, ничего не было найдено. При допросе он твердил одно, что знать ничего не знает и ведать не ведает, что ночью он не бывал вон из двора. То же показали и все его семейщики. Тщетно кричал Чижов, угрожая рекрутами и Сибирью; Жбан упорно стоял на своем. Чижов решился, наконец, сам ехать к Жбану и произвести вторичный обыск. Жбану он приказал связать руки и отправился в дом к нему с понятыми и полицейскими. Перевернули все вверх дном, обшарили все мышиные норки и опять не нашли ничего. Чижов выходил из себя от злости и несколько раз принимался допрашивать Жбана, не щадя кулаков, как самого убедительного при допросе средства. Жбан стоял на своем — знать не знаю, ведать не ведаю. «Не я один роблю на заводе,— прибавил он, когда Чижов после бесполезных розысков стал опять его спрашивать.— Вот и соседи тоже робят, прикажите и их обыскать, коли так».

— А кто твои соседи? — спросил Чижов.

— Справа Гришка Косатченок, а слева Степан Онучин.

Чижов, не сказав ни слова, пошел из избы. У ворот он остановился и думал, ехать ли ему домой или отправиться с обыском в дом к Грише. Не было причины подозревать его в краже, но злость Чижова на Гришу была еще очень сильна, и он, садясь на дрожки, приказал тщательно обыскать его дом, а сам поехал домой.

Дома он не успел еще выкурить папироски, как к нему, запыхавшись, вбежал полицейский.

— Нашли! — доложил он.

Чижов встрепенулся.

— Где нашли? У кого?

— У Гришки Косатченка в огороде.

— А-а...— протянул Чижов и скорыми шагами заходил по комнате.

— Прикажете его арестовать? — спросил полицейский.

— А разве не арестовали его? — удивился Чижов.

— Да его дома нет, обыскивали без него, а он на помочь ушел к Василию Галкину.

Чижов помолчал.

— Уж дело под вечер,— сказал он, поглядев в окно,— скоро будут возвращаться с покосов, тогда и взять Гришку.

— Слушаю-с.— И полицейский вышел.

Вечером Гриша, не подозревая грозившей ему беды, весело возвращался с покоса в компании парней и девок, распевавших песни. Поравнявшись с полицией, мимо которой они должны были проходить, Гриша был окрикнут полицейским, караулившим его на крыльце. Он бегом подбежал к крыльцу и, поклонившись, спросил, на что его требовали.

— Дело есть до тебя, войди,— сказал ему полицейский, указывая на дверь полиции.

Гриша вошел.

— Садись-ка, брат, да побеседуй,— пошутил полицейский.— Ты у нас не гащивал, так вот погости, ночуй ночку-другую, клопиков с нами покорми.

Гриша думал, что он шутит, и, отшучиваясь сам, хотел было выйти из полиции. Но его остановили и, объявив ему, в чем дело, заперли в арестантскую. Гриша был до того поражен возведенным на него обвинением и тем, что подшипники нашлись у него в огороде, что даже не заметил, что сосед его Жбан тоже сидит в арестантской. «Это дело Жбана,— думал он,— однако мне беды не миновать: Чижов мне не поверит, потому он рад, случая дождался».

Он сел на лавку и заплакал с горя и досады.

— Ну, чего ревешь? — крикнул на него полицейский.— Умел воровать, так умей и ответ держать.

— Видит бог, не я, и дело не мое! — побожился Гриша, утирая слезы кулаком.— Без вины погибаю.

— Подшипники сами зашли в огород, соседушка! — ядовито подшутил Жбан из своего угла.

Гриша вскочил, как ужаленный, при звуках ненавистного шипящего голоса и, подойдя к Жбану, сказал, сдерживая свою ярость:

— Твое это дело, Жбан, попомни ты мое слово, что я тебе отплачу.

— Что же, я от платы не отпираюсь,— шипел Жбан, скаля зубы.— Я возьму, коли милость твоя будет заплатить мне рублишек десяток, пожалуй, и больше возьму, сколько дашь.

— Так на же, возьми! — крикнул Гриша и, размахнувшись, ударил Жбана по щеке, да так, что тот свалился с лавки и закричал караул.

Гришу схватили, связали ему руки назад и отвели в другой угол.

— Что ты наделал? — говорили ему полицейские.— Беда ведь тебе будет, за две вины тебя тожно судить будут.— Полицейские жалели его и были убеждены, что Гриша не виноват и что кража подшипников — дело Жбана.

— Братцы вы мои милые! — взмолился им Гриша.— Пошлите Христа ради сказать дяде Набатову, чтоб сюда пришел.

От Чижова не было приказа, чтоб никого из родных не допускать к Грише, и потому его просьба была исполнена. Через четверть часа Набатов, встревоженный, торопливо входил в полицию.

Увидав его, Гриша взвыл голосом.

— Что воешь? — спросил тот, пристально глядя на племянника.

— Да вот без вины пропадаю,— заговорил Гриша, насилу сдержав свои рыдания.— Поклёп на меня сделан: бают, я подшипники украл, а я и сном-то своим ничего не знаю.

— А не знаешь, так и выть не о чем,— сказал Набатов уже ласковее и сел на лавку возле Гриши.

— Что это у тебя, никак руки связаны?— удивился Набатов, увидев, что у Гриши связаны руки.— Кто велел связать?

Гриша молчал, полицейские объяснили ему, в чем дело. Тот подробно расспросил их об обыске, о том, где нашли подшипники, в каких местах была примята трава в огороде, и, выслушав рассказ, обратился к племяннику:

— Слепой разве не увидит, что твое дело правое,— сказал он ему.— А вот что ты на Жбана кинулся, так это плохо. Не надо рукам волю давать... Ох, не надо!

Набатов понурился и помолчал несколько времени. Гриша тоже молчал.

— Развяжите ему руки, братцы,— обратился он к сторожам,— он больше драться не станет.

— Не станешь, что ли? — спросил сторож, подходя к Грише.

— Не стану,— уныло ответил тот. И сторож развязал ему руки.

— Ты бы, дядя, к Ермакову сходил, обсказал бы ему все дело, как есть, может, он за меня и заступился бы,— сказал Гриша, тихонько подвигаясь к дяде.

— Схожу беспременно, ты не тужи много, я Чижову ни в жизнь не поддамся,— горячо сказал Набатов.— Ты Жбана не слушай, плюнь на него, да и только, а уж я за тебя постою.

И Набатов встал с лавки. Уговаривая племянника не слушать Жбана, Набатов сам насилу удерживался от того, чтобы не броситься на Жбана и не исколотить его тут же до полусмерти.

— Прощай, утро вечера мудренее,— прибавил Набатов и вышел из арестантской. Он был сильно взволнован и раздражен, и попадись ему Чижов в этот сердитый час,— Набатов вряд ли бы совладал с своим сердцем. Он зашел было к Ермакову, но было уже поздно, и Ермаков спал.

XVIII

Утром Гришу повели на допрос в контору, где его ждал Чижов; повели и Жбана, и тот тотчас по приходе сказал Чижову, что Гришка его избил ночью. Чижов спросил сторожей. Те показали, как было.

— Так ты еще буянить! — закричал Чижов на Гришу.— Мало того, что ты вор, так ты еще бунтовать, в полиции драться? Под арестом? А-а?

И Чижов с сжатыми кулаками подошел к Грише, У того засверкали глаза. Он не спятился ни на шаг, но, смело устремив свои глаза на Чижова, заговорил дрожащим от волнения голосом:

— Я коли Жбана ударил, так ударил за дело, потому что он подшипники украл и ко мне в огород подкинул, да еще стал смеяться надо мной, ну, я и не мог стерпеть. Хотя бы до кого коснись такая напраслина...

— Ты еще разговаривать смеешь? — закричал на него Чижов, топая ногами.— Молчать, подлец!

— Нет, я молчать не стану, Василий Миколаич,— заговорил опять Гриша,— потому я ни в чем ни на волос не виноват...

— Так ты молчать не станешь? — крикнул Чижов и ударил Гришу по щеке.— Так ты сознаваться не хочешь? — И он хотел его ударить по другой щеке, но Гриша схватил его за руки повыше кистей и так крепко стиснул их в своих руках, что как ни был силен Чижов, а не мог высвободить своих рук без помощи полицейских.

А Гриша, задыхаясь от волнения и борьбы с полицейскими, говорил:

— Ты меня не бей, Василий Миколаич, ты рассуди сперва, виноват я али нет, а бить я тебе не поддамся.

— Так ты не поддашься? — закричал на него Чижов, когда его руки были высвобождены из рук Гриши.— Розог! Драть его, да так, чтобы он и с места встать не мог!

Полицейские бросились исполнять его приказание.

В то время, как Чижов тешился над своим слабейшим противником, в контору вошел Ермаков. Следом за ним шел Набатов. По просьбе Набатова; Ермаков хотел было заступиться за Гришу, но, узнав в конторе, в чем дело, раздумал. Он понимал, что не должен поощрять в мастеровых буйство и неповиновение властям ни в каком случае, потому, во-первых, что сам был власть, а во-вторых, что был довольно труслив и, несмотря на свою вражду к Чижову, не хотел на этот раз противоречить ему. Чижов, думал он, напишет управляющему, и кто знает, как там взглянут на это дело; лучше подождать, что дальше будет.

А Чижов, насытив свою злость, велел Гришу заковать в кандалы и увести в полицию, угрожая ему ссылкой на поселение.

В это время в контору ворвалась Егоровна и с воплем повисла на шее у Гриши. Истерзанный стыдом, болью и злобой, Гриша сурово оттолкнул ее и пошел из конторы, побрякивая кандалами. Егоровну тоже хотели вывести

вслед за ним, но она бросилась в присутствие, куда ушел Чижов писать донесение, и плача ползала у него в ногах, прося за своего любимца, но дождалась только того, что ее велели вывести и не впускать больше. Она села на конторском крыльце и предалась сильнейшему отчаянию. Смотрел на все это Набатов и только кусал до крови свои посиневшие от душившей его злости губы. Выходя из конторы, он сказал Егоровне:

— Полно выть, старуха, вставай-ка лучше да пойдем ко мне.

И, не дожидаясь ответа, он быстро сошел с крыльца и пошел домой. Егоровна встала и покорно последовала за ним.

Придя домой, Набатов сказал дочери:

— Наташка, не отпускай тетку, покуда я домой не ворочусь.

И стал одеваться по-дорожному, ожидая, что Наталья спросит его, куда он. Но Наталья молчала. Вынул он из сундука бумажник с деньгами, привязал его к шнурку, на котором носил большой медный крест, и, взяв шапку, готовился выйти из избы.

— Я пойду в Кужгорт,— сказал он, не глядя ни на Наталью, ни на Егоровну и не обращаясь ни к той, ни к другой в особенности.

— Будь отец родной,— взвыла Егоровна,— заступись за сироту, бог тебе за это заплатит.— И она хотела поклониться Набатову в ноги. Тот нетерпеливо удержал ее рукой и сказал с сердцем:

— Сказано, что иду, так чего тебе еще надо? Что могу, то и сделаю без просьбы.— И он, перекрестившись, пошел к двери.

— Сходи в полицию, скажи Грише, что я ушел начальство за него просить,— прибавил Набатов, взявшись за скобу,— да поживи до меня с Наташкой, пособи ей.

И Набатов вышел. У ворот он встретился с Груней, которая шла к ним с узелком подмышкой. Поклонившись ему, Груня с минуту смотрела ему вслед, спрашивая себя, зачем это он такой сердитый и куда пошел. И потом бегом бросилась на лестницу. Она знала, что Гриша арестован по подозрению в краже подшипников, но и только. Войдя в избу и поздоровавшись с Натальей, она тотчас обратилась к Егоровне с расспросами и узнала от нее все остальные подробности дела.

— В кандалы заковали! — плача, закончила Егоровна свой рассказ.— На поселенье хочет его Чижов в Сибирь послать.

— Да разве он душегуб какой, что его в Сибирь на поселенье? Да за что? Да как он смеет,— горячилась Груня.— У, чтоб ему, проклятому, ни на том свете, ни на этом. Сквозь землю бы ему, в самые тартары провалиться, собаке!

И долго еще она злилась и кляла Чижова, призывая на его голову всевозможные бедствия. А Набатов между тем усердно шагал по дороге в Кужгорт, обливаясь потом. Он снял с себя свой суконный бешмет, связал его опояской и повесил за плечи. Снял и поярковую шляпу и нес ее в руке, подставив свою голову под яркие лучи июльского солнца. Не отошел он еще и пяти верст, как его обогнала ямская телега парой. В ней ехал нарочный служитель, посланный Чижовым с донесением к управляющему.

XIX

Прошло два томительных, длинных для Гриши дня. Вечером второго дня в Кумор привезли почту, а с ней и решение Гришиной участи.

О том, что почта пришла, Гриша узнал в тот же вечер, но решение о себе узнал только на другой день в десять часов утра в конторе. «Сослать на шесть месяцев в работу в Алакшинские рудники» — предписало правление, и Гриша вздохнул несколько свободнее. Он боялся, чтоб не было чего хуже, да и не он один боялся этого. В конторе говорили, что такое милостивое решение по делу Гриши сделано, вероятно, только по просьбе его дяди, а что иначе Грише не миновать бы солдатчины. Чижов заметно был недоволен таким решением и говорил в конторе, что Гришу следовало бы, по крайней мере, отдать в работу на рудники года на три. Отправить его в Алакшинский завод, отстоявший в двухстах верстах от Кумора далее к северу, Чижов приказал на другой день поутру. Кандалов снимать не велел. Весь день Гриша с величайшей тревогой ждал возвращения Набатова из Кужгорта; и уж начинал думать, что ему не придется увидеться с дядей до отправки, как вечером пришла Егоровна и сказала, что Набатов пришел домой и скоро будет в полицию.

Через полчаса Набатов действительно пришел в полицию; он был очень угрюм и очень утомлен и, войдя в арестантскую, тотчас же сел и несколько времени сидел молча.

— Что, милый,— спросил он, наконец, Гришу,— все еще в кандалах?

— Так и везти приказано,— ответил Гриша.— Неужли их и там с меня не снимут?

— Как не снять, снимут! — сказал Набатов.— Просил я за тебя, Григорий, всех, и управляющего, и членов, и все сказали, что нельзя тебя простить за буйство,— стал рассказывать Набатов.— Для примеру других, говорят, наказать надо. Один только Углов сказал, что он напишет в Алакшу, чтоб тебя в рудниках не морили, а заставили бы робить в кричной, как и здесь робил, а больше этого ничего не мог выпросить.

Набатов понурил голову и замолчал; молчал и Гриша; только его мать, вздыхая, шептала иисусову молитву и терла рукавом рубахи свои распухшие глаза. Она уж выплакала все свои слезы и теперь только стонала и вздыхала, наглядываясь на своего милого сына, возвращения которого она не надеялась дождаться.

— Что делать,— заговорил опять Набатов,— надо потерпеть. И жалко мне тебя, парень, а пособить нечем; кабы можно было деньгами откупиться, так я бы уж и денег не пожалел, да управляющий спервоначалу сказал, что нельзя простить: «Другим, говорит, будет повадно, и то уж народ весь извольничался — начальство ни во что не ставит». Я было стал ему обсказывать, как и что было: безвинный, мол, поклёп на парня взвел сосед по насердке, а он на это: «После, бает, я это дело разберу, а теперь и просить нечего». Так с тем и ушел.

И Набатов опять понурил голову и задумался. Видно было, что сознание своего бессилия и полнейшей зависимости от начальства тяжело давило его. Он несколько раз поглядывал на Егоровну, уныло слушавшую его рассказ, как будто она мешала ему, но не сказал ей ни слова. Егоровна, наконец, встала и спросила у Набатова, вместе ли пойдет он с ней или останется.

— Ступай одна да ложись спать. Утром ведь надо раньше вставать да стряпать подорожники Грише,— сказал ей Набатов. И когда она вышла из арестантской, он встал и выглянул вслед за нею в другую комнату. Там

никого не было, кроме сторожа и рассыльного мальчишки, спавшего на лавке. Было уж часов двенадцать ночи, и все из полиции ушли. Арестантов только и был один Гриша. Набатов возвратился и сел опять на прежнее место.

— Слышал я в Кужгорте, что Чижову смена будет в этом году,— заговорил Набатов, не глядя на Гришу и стараясь придать своему голосу совсем равнодушный и спокойный тон.— Провинность, говорят, за ним есть большая. Углов все у меня про него расспрашивал: каковде он с народом, да как к нему народ, да как дела в заводе идут.

— Дай-то бы бог, чтоб его поскорее убрали! — вздохнул Гриша.— А кого на его-то место изладят — не слыхать?

— А есть ведь у них там, небось, недостатка не будет. Недостаток у нас в рабочих бывает, а в начальниках никогда,— злобно сказал Набатов, вставая с лавки и выпрямляясь во весь рост.— Только не бывать этому так и обиды своей я не прощу Чижову. Он от меня не уйдет.

Гриша, вполне сочувствуя дяде в его ненависти к Чижову, хоть и желал, чтоб его постигли всевозможные напасти, однако же не желал, чтобы они постигли его через Набатова. Мысль о том, что Набатов при своей горячей, неукротимой натуре легко может решиться на убийство, уже не раз приходила ему в голову с того вечера, как между дядей и племянником произошел первый откровенный разговор, из которого Грише выяснились все причины ненависти Набатова к Чижову. И теперь, взглянув на Набатова и встретив его сверкающий злобный взгляд, он опять подумал то же и испугался.

— Полно, дядя,— сказал он ему тихонько,— не говори таких речей. Пусть его бог накажет за нас.

— А что, разве у тебя уж зажила спина-то, что ты его на божью волю предавать стал? — мрачно спросил Набатов.— Не слыхал разве пословицы, что до бога высоко?.. Эх ты! Постегали тебя, так ты и укротился.

И в голосе Набатова слышалось что-то вроде укора. Гриша отвернулся и молчал. Он только крепко стиснул зубы и нахмурил брови, стараясь побороть свое волнение, вызванное этими словами.

— Нет моей возможности терпеть больше,— заговорил опять Набатов.— Ты только то рассуди, что какова

теперь моя жизнь будет. Вот словно у нас в дому покойник лежит — так оно тихо да пусто.

И Набатов с тяжелым вздохом опять сел на прежнее место и задумался. Грише стало жаль дядю, и он придумывал было сказать ему что-то в утешение, но ничего не мог придумать.

— А коли, даст бог, воротишься домой,— заговорил Набатов после нескольких минут молчания,— да со мной без тебя какая ни на есть беда приключится, умру али что, так ты мою Наташку не брось, у нее только и есть родни, что ты: одна как перст останется.

И Набатов замолк опять, сильно взволнованный, и, помолчав, добавил глухим голосом:

— Она на ладан дышит, долго хлебом кормить не придется... Ну да и деньжонок я накопил немножко, на ее век достанет, да еще и тебе останется.

— Полно, дядя, что ты? Зачем тебе умирать? — прервал его Гриша.— Не бай об этом, мне и без того тяжко.

— Зачем не баять? Это не в нашей власти, и должны мы об этом завсегда помнить,— грустно сказал Набатов.

И долго еще, почти вплоть до рассвета, раздавались в арестантской голоса дяди и племянника. Прислушивался к ним дремлющий сторож и терпеливо ждал, когда они наговорятся и Набатов уйдет домой. Торопить же его уходить сторожу и не приходило в голову. Он и знал, что это было бы бесполезно. «Да и нельзя же в самом деле родным не покалякать промеж себя на прощанье. Ведь Алакшинские рудники не свой брат, и работа в них тяжкая, да и мало ли что человеку может приключиться»,— думал сторож под неясные звуки голосов, доносившихся из арестантской. Уж на рассвете Набатов ушел домой и лег на свое обычное место — в санях под навесом, но заснуть не мог. Часов в шесть утра он и Егоровна уже опять были в полиции. У крыльца уже стояла пара лошадей с ямщиком на козлах и еще другим мужиком, который должен был проводить арестанта до места ссылки. Егоровна с таким безнадежным отчаянием причитала над своим сыном, что можно было подумать, что она расстается с ним не на полгода, а на всю жизнь. Набатов молчал, и только лицо его конвульсивно передергивалось всякий раз, как звенели цепи на ногах Григория, одевавшегося в дорогу. Скоро он был готов и, поклонившись в ноги матери и дяде, пошел садиться в телегу. Набатов

дал ему на дорогу два целковых. Все время Гриша был спокоен и бодр, но, севши в телегу и оглянувшись на свою хилую старуху-мать, он не выдержал и заплакал.

— Поезжай мимо моего дому,— сказал Набатов ямщику, влезая на козлы,— пусть он с моей девкой простится — она его ждет у ворот.

Егоровну тоже посадили на край телеги и поехали. У дома Набатова остановились. У ворот вместе с Натальей, державшей узел с пирогами, стояла и Груня. Она еще накануне узнала о времени отъезда Гриши и пришла проститься с ним. Когда телега остановилась, обе девушки подошли к ней, и Наталья молча поцеловалась с Гришей и положила узел с пирогами в телегу. Поцеловалась и Груня и, вынув из-за пазухи шерстяные чулки, подала их Грише. Тот слегка отстранил их рукой и сказал:

— На что даешь, Аграфена Васильевна, не надо.

— Полно, Гришенька, возьми, зимой-то сгодятся,— убеждала покрасневшая Груня.

Григорий не отговаривался больше и, взяв чулки, положил их в узел с бельем, приготовленный матерью, и перецеловался еще раз со всеми. Затем провожавший его мужик сел в телегу и велел ехать. Егоровна кинулась было вслед за телегой, но Набатов удержал ее и повел в избу. А Наталья и Груня долго еще стояли среди улицы, глядя на удалявшуюся телегу и отвечая прощальными знаками на поклоны Григория.

XX

Алакшинский чугуноплавильный и железоделательный завод, построенный на речке Алакше, протекающей между двумя высокими горами, обильными железной рудой, имеет весьма непривлекательный вид. Покрытые тощим ельником высокие горы, с обнаженными, изрытыми боками, вздымаются по обеим сторонам Алакши; по склонам их, изрезанным логами и угорами, расположены бедные невзрачные дома заводских мастеровых.

В одном из этих бедных домов нашел себе пристанище наш ссыльный. С него по приезде в Алакшу сняли кандалы и, выдержав его еще с неделю под арестом в заводской полиции, наконец, отпустили в квартиру с строгим наказом не бегать.

— Убежишь — хуже будет,— сказал ему приказчик,— потому что поймают и опять сюда же пришлют. А тогда уж кандалов не снимем да и из полиции не выпустим.

Но эти увещания были бесполезны, Гриша и не думал бежать. Затаив глубоко в сердце всю свою ненависть и злобу, он решил терпеливо вынести время ссылки. Сначала его заставили работать наверху, и работа не казалась ему особенно тяжела. Но когда пришлось опуститься в шахты глубиной сажен на шестнадцать, то Григорий сильно приуныл. Несносен был ему спертый, удушливый воздух в рудниках, и он с все возрастающим нетерпением ждал распоряжения из Кужгорта об освобождении его от работы в руднике. Но Углов или обманул Набатова, или забыл об обещании, данном ему, только никакого распоряжения в Алакшу не получалось, и Гриша, прождав его до октября месяца, надумал сходить к алакшинским приказчикам, попросить их о переводе его из рудников в кричную или хоть на какую-нибудь другую работу.

Мысль эта пришла ему в голову в одно холодное и туманное утро, когда Гриша, проработав в руднике ночь, вылез из шахты усталый и покрытый грязью и шел по дороге, где была его квартира. Туман в это утро был до того густ, что не было возможности видеть на два шага вперед, и как ни было холодно Грише в его мокром, облепленном жидкой красной грязью тяжелке, он поневоле должен был идти тихо. Кое-как, чуть не ощупью доплелся он до своей квартиры и, сняв мокрую одежду, развесил ее на печи для просушки, а сам сел на лавку и ждал завтрака, который только что начала приготовлять его хозяйка.

Он был очень голоден, очень утомлен и уныл, и его выразительные и умные глаза как будто потеряли свой блеск и как-то тупо следили за движениями хозяйки, стряпавшей лапшу. Скоро лапша сварилась, и хозяйка, перелив ее из котелка в чашку, поставила на непокрытый стол, положила возле нее ложку и краюху хлеба и пригласила Гришу за стол. Пока он ел, хозяйка его стояла у лубочной люльки и печально глядела на спавшего в ней больного ребенка. Она была еще молодая женщина с некрасивым и бледным лицом, на котором суровая бедность наложила свой тяжелый отпечаток, как будто за-

стыло на ее лице выражение покорного, тупого страдания. Она доживала замужем четвертый год и собиралась хоронить своего третьего ребенка. Двое первых точно так же, как и этот, томились по нескольку недель в лубочной люльке и потом умирали.

«Умрет и этот», — думалось бедной женщине, и щемило и ныло ее материнское сердце, когда она смотрела на худенькое, бледное личико, выглядывающее из-под грубых синих тряпиц, служивших ребенку постелью и одеялом. Тяжело вздохнув, отошла она от люльки и, поглядев в окно, сказала:

— Зачинает уже туман-от подыматься, можно уж тожно носить воду.

— Пустили постояльцев-то? — спросил у нее Гриша.

— Пустили еще троих,— отвечала ему хозяйка, выходя из избы.

Гриша вышел из-за стола и, влезши на полати, хотел было заснуть, но не мог, несмотря на свою сильную усталость. Ему все думалось, что будет он говорить приказчику и что скажет ему приказчик. Потом его мысль перешла на тяжелые рудничные работы, на работы в фабриках, более легкие, чем в рудниках, и еще более легкие поденные, или так называемые поторжные работы.

«Вот бы хорошо, кабы мне хотя с недельку в поторжной поробить,— думалось Грише,— отдохнул бы я, а то уж совсем замучили в этих рудниках; силы у меня даже не стало». И он стал слезать с полатей и собираться идти к приказчику.

В избу вошла старуха в зеленой китайчатой шубе, с берестяным бураком в руках.

— Где Орина? — спросила она у Гриши.

— За водой ушла,— отвечал он.

Старуха заглянула в люльку и, промолвив: «все еще жив», села на лавку, поставив возле себя бурак.

— А Игнат на работе? — спросила она опять.

Игнатом звали хозяина Гришиной квартиры, Ориной — хозяйку.

— На работе, надо быть,— сказал Гриша.— Я недавно пришел, никого уж не застал.

Вошла Орина с водой и, вылив ее в кадку, поздоровалась со старухой.

— Я тебе молока принесла,— сказала старуха,— ребенка-то покормить.

— Спасибо,— сказала Орина и прибавила, подойдя к люльке: — Нежилец он у меня, Степановна, почитай что ничего не ест.

Старуха тоже подошла к люльке.

— Пошто ты грудью-то перестала кормить? — спросила она.

— Да сам не стал брать. Молока-то у меня в грудях не было — так, малость самая, ну, он сосет-сосет, не попадает ничего — так и перестал.

— Ну и на что тебе ребят-то? Дело ваше бедное да нужное; умирают, так и пусть умирают с богом,— рассудила старуха.

— А мне вот жаль,— сказала Орина грустно.— Хотя бы один-от ожил, намедни в церкви была, свечку богородице поставила, не даст ли, мол, здоровья.

— А какой богородице-то? — спросила старуха.

Орина затруднилась и не знала, что отвечать на такой вопрос.

— Да известно, какой — богородице, да и только: одна ведь богородица-то,— отвечал за нее Гриша.

Старуха живо обернулась к нему.

— Как одна? — горячо заговорила она.— Что ты суешься, коли не знаешь? Молчал бы уж,— и потом прибавила внушительно: — Не одна, а двенадцать богородиц-то.

Гриша удивился, но так как его сведения по этой части были весьма ограничены, то он счел за лучшее промолчать.

— Вот я тебе скажу какие: перво-наперво смоленская, затем иверская. затем тихвинская,— принялась считать старуха. Считала да считала и, действительно, насчитала двенадцать.

На это Гриша уж совершенно не нашелся ничего сказать, и так как он уж оделся, то взял шапку и вышел из избы, оставив женщин рассуждать на свободе. Дойдя до угла, он остановился в нерешимости, к которому из приказчиков идти с просьбой. «Пойду к главному,— порешил он, наконец,— бают, он добрее до нас».

Но главного он не застал дома: сказали, что уехал в контору. Гриша пошел туда. В конторе было много народу. Судили каких-то мужиков за кражу чугуна. Приказчики оба были сердиты и сильно ругались. Гриша прижался к двери и ждал. Скоро подсудимых увели, и

один из приказчиков обратился к Грише с вопросом, что ему нужно.

Гриша, сильно приунывший и потерявший надежду выпросить что-нибудь у сердитых приказчиков, высказал свою просьбу. Но, к удивлению и радости Гриши, просьба его была уважена, и ему на другой же день велели выходить на перекличку. Он поблагодарил приказчика и вышел из конторы весьма довольный таким результатом своей просьбы. Правда, если бы он знал, что просьба его только напомнила приказчику о распоряжении, полученном из правления уже с месяц тому назад и по забывчивости не приведенном в исполнение, то удовольствие Гриши, может быть, и поубавилось бы, но он не знал об этом и, придя на квартиру, лег на полати и заснул спокойным, крепким сном. Проснулся он уж вечером, когда, возвратившись с работы, крестьяне, новые постояльцы Игната, громко заговорили в избе, снимая мокрую обувь и раскладывая ее на печи. Гриша свесил голову с полатей и поглядел, нет ли между ними кого знакомых. Но знакомых никого не было.

«Что это,— думал Гриша, перевертываясь на другой бок,— хотя кого-нибудь из знакомых встретить, про дядю бы спросил, про мать, а то как есть никого не встречал, и как из дому уехал, так и не слыхал про них ничего». И, тяжело вздохнув, он принялся высчитывать, сколько еще ему осталось жить в Алакше.

«Груне меня, знать, не дождаться,— думалось Грише, когда он сосчитал, сколько прожил в Алакше.— Теперь ее непременно кто-нибудь сватает, станут ее неволить отец и мать, вся родня начнет уговаривать, вот она и выйдет. Вот тебе и любовь наша, тут ей и конец». И Гриша опять вздохнул. «Разве дедушка Савелий постоит за нее, он ее любит». Но в это время до слуха Гриши долетело имя, заставившее его вздрогнуть и внимательно прислушаться.

— Чижов,— говорил один из крестьян,— он и есть самый. Застрелился, бают, ружьем.

Гриша быстро слез с полатей и спросил, о ком говорят.

— Да вот в Куморе приказчик, бают, застрелился,— сказали ему в ответ.

— Сам застрелился?— спросил Гриша встревоженным тоном.

— Не знаем, надо быть, сам, мы вот на работе чули,— ответили ему крестьяне.

— А который — не знаете? — продолжал расспрашивать Гриша.

— Да Чижов, бают: тот-де самый, коей смолоду-то тут жил.

— Да правда ли это?

— А кто знает! Мы чули на работе от мастеровых, они промеж себя толкуют, так мы тут же подслушали.

— А тебе что до приказчика этого? — спросили мужики у Григория.

— Да так; я вот, видишь ты, куморский, так хотелось бы узнать-то — правда, не правда.

Посудили, потолковали еще и стали ужинать. После ужина двое мужиков полезли на полати, а третий сел возле Гриши и стал его расспрашивать, кто он, откуда и зачем. Гриша отвечал вяло и неохотно. Слух о смерти Чижова ошеломил его, и он не знал, что делать. Страх, не замешался ли тут дядя Набатов, спутывал его мысли и тревожил его все сильнее и сильнее.

Позднее всех пришел Игнат; это был сухощавый, невысокого роста мужик. Он работал на фабрике. Сняв свои лапти с баклушами и кожаный запон, Игнат молча сел за стол, и Орина, только что убравшая со стола, опять засуетилась, спеша подать мужу ужин.

Пока он ужинал, Гриша спросил у него, не слыхал ли он чего про куморского приказчика Чижова.

— Чул,— ответил Игнат,— убился, бают, он.

— Как убился?

— Да из ружья, так и убился до смерти.

— Сам?

— Надо быть, сам, потому, бают, убился.

— Эко диво какое? — говорил Гриша, хлопая руками.— И что ему сделалось такое? Как он так?

— А кто знает, как? Попритчилось, надо быть: на притчу ведь мастера нет.

Скоро все улеглись и заснули. Не спалось только Грише, взволнованному неожиданной новостью, да Орине, укачивавшей на руках свое больное, расплакавшееся дитя. На полу было холодно, и Орина полезла с ребенком на печь и сидела тут, качаясь из стороны в сторону и шепотом творя молитву. Старуха, приходившая утром, сказала ей, что самая милостивая богородица — иверская и

что к ней следует обращаться за помощью, и вот Орина терпеливо сидит всю ночь над своим ребенком и шепчет с надеждой в душе:

— Мать пресвятая богородица иверская, помоги нам, грешным: исцели моего младенца от болезни!

XXI

Рано утром вместе с крестьянами Гриша вышел на перекличку. Всю ночь шел снег и засыпал все дороги так, что приходилось брести в снегу по колено. Когда они подошли к распометочной, довольно просторной избе, где делалась перекличка работникам и распределение их по работам,— было еще совершенно темно, но у избы уж стояла толпа мужчин. Все это были крестьяне, высланные для работ в Алакшинском заводе из разных сел и деревень помещика. Некоторые из этих деревень отстояли от Алакшинского завода верст на двести и более. Высылка крестьян на работы в Алакшу разделялась на три: осеннюю, зимнюю и весеннюю. Весенняя, как бывающая в такое время года, когда крестьянину необходимо быть дома, считалась за тяжелейшую. Богатые крестьяне от высылки в Алакшу откупались взносом известной суммы денег или наймом работника вместо себя, но таких было весьма немного, и большая часть крестьян отбывала господские повинности лично.

Все крестьяне во все время высылки кормились в Алакше взятым из дома хлебом и только в крайних случаях получали от помещика вспоможения. Правда, все они получали за свою работу поденную плату, но она была до такой степени ничтожна, да к тому же еще большая часть крестьян забирала в счет этой платы разные припасы, так что к концу высылки приходилось чистых денег не более полтинника, а часто и менее. С этими скудными средствами мужикам приходилось возвращаться домой, и хорошо еще, если дорога не дальняя — тогда денег доставало; жившим же в более отдаленных от Алакшинского завода деревнях часто во время обратного путешествия приходилось пропитываться христовым именем. Дома у крестьян оставались женщины и малолетние дети, и семьи тех из них, у которых было достаточно земли, пропитывались без особенной нужды. Имею-

щие же слишком мало пашни большею частью целыми семьями отправлялись за сбором милостыни по окрестным селам и заводам.

В ту осень, которую довелось Грише провести в Алакшинском заводе, крестьян нагнали, как выражались они сами, чересчур много, и алакшинские приказчики не знали, что с ними делать. Вместо того, чтобы посылать на некоторые легкие работы одного и двух человек, посылалось пять-шесть, и за всем тем еще оставались не занятые работники и жили даром по целым дням. Оставить же Алакшинский завод прежде окончания срока высылки никто не смел. Такая самовольная отлучка называлась бегством и строго преследовалась. Само собой, что такое положение дел вовсе не способствовало увеличению благосостояния в народе, да и для самого помещика оно не было бы особенно прибыльно, если б рабочие силы ценились им хоть во что-нибудь. Но тогда рабочие силы помещику вовсе ничего не стоили, и, разумеется, было выгодно заставлять десятерых плохих рабочих делать то, что при других условиях могли бы сделать двое.

Скоро к распометочной избе подошел распометчик, и толпа, молчаливо ожидавшая его, пришла в некоторое движение. Распометчик вошел в избу, и вместе с ним вошло столько мужиков, сколько могло поместиться.

Было еще совершенно темно, и потому сторож вздул огня, зажег свечку и поставил ее на стол. Распометчик, приземистый, коренастый мужчина, с бритым подбородком и тупым взглядом, сел за стол и стал перекликать народ по книге. Из работающих в самом заводе не досчиталось только трех: одного придавило в руднике оторвавшейся глыбой земли; другой заболел горячкой — и оба были отправлены в больницу, третий просто пропал без вести. Против имен заболевшего и изувеченного распометчик отметил карандашом: «больной», против пропавшего без вести — «донести» и стал распределять народ по работам. Прежде всего послано было по три человека к приказчикам, по стольку же к смотрителям, надзирателям и другим начальствующим лицам для исправления у них разных домашних работ, и затем уже остальных распределили по текущим господским работам.

Гриша, как вновь прибывший, был внесен в книгу и послан вместе с другими пятью мужиками перекрывать

крышу на каком-то господском здании. Тут он проработал до обеда, а после обеда распометчик, обходя по работам, нашел, что тут и без него достаточно людей, и послал его к себе домой истопить баню. Там он не только истопил баню, но вычистил еще в хлеву, поправил у него плохо притворявшуюся дверь и сделал много других домашних работ. Отдыхать и постаивать, как это можно было на господских работах, ему не давали. Жена распометчика то и дело выходила в ограду и покрикивала Грише, чтобы он не ленился и не стоял даром. И Гриша работал до поту и так усердно, что обратил на себя внимание распометчиковой жены, привыкшей иметь дело с ленивыми и неповоротливыми крестьянами. Она вступила с ним в разговор и, узнав, что он мастеровой из Кумора, разговорилась еще более. Между куморскими служителями у нее были знакомые и родные, и она стала расспрашивать Гришу про них, потом расспросила его, зачем он в Алакшинском заводе и давно ли, и после всех этих расспросов раздобрилась до того, что велела ему зайти на кухню и накормила ужином, состоявшим из щей с говядиной и кислого молока — ужином, какого Гриша не едал с самого приезда в Алакшу. Гриша сказал ей за это искреннее спасибо и ушел домой, весьма довольный проведенным днем. Всего более он был доволен тем, что распометчица подтвердила слух о смерти Чижова, сказав, что она слышала об этом от родственников Чижова, получивших вернейшие известия. Теперь только, из ее рассказов, убедился Гриша, что Чижов застрелился сам, что никого не подозревают в убийстве, и успокоился насчет своих опасений за Набатова. Отчего застрелился Чижов и застрелился ли он намеренно или нечаянно, распометчица не знала, да и Гришу мало интересовало это. Довольный и покойный, крепко он заснул в эту ночь, и хорошо спалось ему, несмотря на духоту, стоявшую по ночам в тесной избе Игната, увеличившуюся в эту ночь потому, что постояльцев прибавилось еще на три ч ловека.

Рано утром мужики пошли опять на перекличку, и вчерашний день повторился с самыми незначительными изменениями. Для Гриши была разница только в том, что ему не довелось работать у распометчика, говорить с его женой и поужинать вкусными щами с говядиной, о кото рых он вспоминал, принимаясь за неизменную капусту

с квасом, которой постоянно кормили у Игната постояльцев.

Так прошло время до половины декабря, а с половины декабря Гришу совсем уволили с Алакшинского завода, предоставив ему возвратиться в Кумор, как знает. В тот же день, в который Грише объявили увольнение, распростился он со своими хозяевами и отправился из Алакши пешком вместе с двумя другими крестьянами, которые отработали свое урочное время. Дорогой Грише приходилось питаться одним хлебом, так как из денег, данных ему Набатовым, оставалось у него уж весьма немного, а работая в Алакше, он не получал, кроме двух пудов хлеба в месяц, никакой платы. Но, несмотря на все трудности обратного пути из Алакшинского завода, Гриша совершил его с большой бодростью, поддерживаемый чувством радости, что наконец кончилась его ссылка и он возвращается домой здоровый и невредимый.

XXII

Подойдя к своему дому, Гриша удивился, увидя сугроб снега у ворот. «Неужели мать-то умерла,— подумал он, тревожно оглядываясь.— Никакого даже следу нет, словно и не живали тут всю зиму».

И он старался заглянуть в ограду, не решаясь забрести в снег, которого набило к воротам аршина на два в вышину. Из соседнего дома вышла женщина с ведрами, узнала Гришу, поздоровалась с ним и сказала ему, что мать его живет у Набатова уже другой месяц, что перешла она туда после смерти Натальи совсем, перевела с собой корову и кур и заправляет у Набатова хозяйством.

— Так неужели Наталья умерла?..— спросил Гриша, и удивившись, и опечалившись.

— Умерла, милый, до заговенья еще умерла задолго,— ответила ему женщина.— Да ты неужели ничего не слыхал про своих-то?

— Где слыхать-то? Ничего не слыхал.— И Гриша торопливо зашагал к Набатову.

Начинало уже смеркаться, когда Гриша пришел в Кумор, и Егоровна, плохо видевшая и днем, кое-как разглядела своего любимца, вошедшего в избу. С радостным

криком обняла она своего сына и целый вечер повторяла с видом полнейшего удовольствия:

— Ну, слава богу, вышел, слава господу богу!

Обрадовался Грише и Набатов. Он совсем поседел в последнее время и как будто постарел вдруг на несколько годов. Сам он затопил для племянника баню и дал ему надеть после бани свое белье, так как у Гриши белья не оказалось — он износил в Алакше все, что у него было, и пришел домой в лоскутьях. Очень не хотелось Набатову идти в эту ночь на работу, но делать было нечего, надо было идти, и он, отложив все разговоры с племянником до следующего дня, поужинал и ушел, подвязав свой кожаный запон и накинувшись сверху шубой. Гриша проводил его за ворота и поглядел ему вслед. Набатов ничего не говорил о смерти Натальи, но видно было по его унылому, потухшему взгляду и всей постаревшей и опустившейся фигуре, как глубоко поразила его эта смерть. И Гриша в душе крепко жалел старика. По уходе Набатова Гриша с удовольствием растянулся на чистых просторных полатях и стал расспрашивать у матери о куморских новостях: о том, кто из молодежи поженился в эту осень, какие девки вышли замуж, и Егоровна принялась рассказывать сыну все, что знала, и рассказывала чуть ли не всю ночь, не замечая, что он давно заснул под ее рассказы.

На другой день Набатов разговаривал с Гришей.

— Застрелился ведь ворог-от наш,— сказал он.— Осенью еще это было, в сентябре.

— Как он застрелился, пошто, расскажи-ка, дядя, я ведь ничего не знаю, ни от кого не слыхал, как что было,— сказал Гриша и не мог удержаться от пытливого взгляда на дядю.

— А так и было, что застрелился, и только. Утром это случилось, часов в десять, услышали в кабинете-то его выстрел, хозяйка-то его и пошла к нему в кабинет посмотреть, чего, мол, он там палит; пришла, а у него уж и дух вон. Лежит, сказывают, на диване, череп-от с головы сорвало и мозг-от вышибло, да на стену и ляпнуло. Ну, известно, испугалась она, заревела, послала по Ермакова — тот пришел, поглядел, видит, мертвый; кабинет заперли, караул поставили и послали нарочного с донесением в правление и к исправнику.

— А отчего он застрелился, так неизвестно и осталось?

— Нет, неизвестно. Это уж богу судить — не нам. Толковали в народе-то, что нашли у него на груди пакет, тремя печатями запечатан, и на самого владельца подпись та написана, чтобы то есть к нему отправили, да Ермаков, бают, взял да к управляющему и отправил. Может, тут что и было написано про то, отчего он застрелился; а кроме этого ничего неизвестно. Отпевать его не велели: самоубийцев-де не отпевают. Вот, не помнишь ли, может, годов пять тому причетчикова дочь утопилась? Так ее тоже схоронили без отпеву.

— Как не помнить, помню,— ее натóмили еще.

— Ну и Чижова-то тоже ведь натóмили, не без того. Лекарь был это, и исправник, и все дня три жили. Хоронили его в воскресенье. Я пошел поглядеть — не то, чтоб я рад был, хотя он и ворог мой лютой был, и сам я на него зуб грыз, а как учул, что он застрелился, так меня словно обухом треснуло — испужался я, вот сам не знаю, чего: лом у меня был в руках, даже лом этот выпал. Ну и пошел я поглядеть, в гробу уж увидел. До этого я все на него злобу имел, говорил даже Рясову: ну, мол, туда ему и дорога, собаке — собачья и смерть. А тут как увидал его в гробу-то — черный, вот словно уголь, лежит, и лоб черным обвязан, так словно меня страх какой взял, глядеть даже не мог долго, отвернулся скорее. Хозяйка его опять ревела шибко, вот словно кожу с тела сдирают, как она закричит: «А Васенька, пошто ты меня оставил?» Я не мог тут и быть, ушел домой и не проводил. Закопали, бают, где-то по-за кладбищу — там в лесу, и не знаю, где.

— Правду я говорил, дядя, что бог его покарает за нас,— сказал Гриша, выслушав этот рассказ.

Набатов отвечал глубоким вздохом и долго молчал, задумавшись.

— Не приведи бог никому такой смертью умирать,— сказал он, наконец.— Хотя он и много мне зла наделал, одначе что тожно об этом говорить. Самоубийце, бают, на том свете прощения уж не будет, молиться даже за них не велят.

— Одначе хозяйка его молится,— сказала Егоровна, пришедшая в избу с холстом в руках и слышавшая только конец разговора.— Наняла, бают, какого-то нездешнего попа поминать сорок дней, даже, бают, и отпевали потихоньку на могиле-то.

Набатов не сказал на это ни слова и, помолчав, спросил у Егоровны, желая переменить разговор:

— Что это ты с холстом делать хочешь?

— Да вот хочу парню-то рубаху скроить: ведь совсем он обносился,— сказала Егоровна, подходя к Грише и примеривая по нем длину рубахи.

— А шить кто станет: ведь ты шить не видишь? — спросил Набатов.

— А уж и не знаю кто, найму кого.

— Ты бы уж и скроить заставила кого другого, сама-то, пожалуй, только добро изведешь попусту,— посоветовал ей Набатов и потом прибавил, обернувшись к Грише:

— Жениться тебе надо, парень, старуха у тебя совсем плохая стала, еле ноги волочит, по хозяйству управлять уже не может; ее дело тожно с ребятами водиться.

Гриша вздохнул.

— И рад бы жениться,— сказал он,— да ведь, сам знаешь, дядя, на свадьбу деньги нужны, а у меня что — ничего нету, одежды даже никакой нету, стыдно на улицу выйти.

— Ну, одежду завести недолго,— сказал Набатов ласково,— вот к празднику торговые наедут, так и купим; на свадьбу денег тоже не бог знает что надо, я дам, не тужи; мне теперича копить не про кого — родни у меня только ты и есть.

И он тяжело вздохнул, грустно поглядев на племянника. А тот только беззвучно шевелил губами, стараясь выразить дяде свою благодарность, и не мог сказать ни слова — радость захватила ему дух.

— Будь ты вместо отца родного, пособи ты нам, сиротам убогим,— слезливо заговорила Егоровна, подходя к Набатову.

— Ну да полно, чего ты канючишь. Смерть этого не люблю,— сказал Набатов, но в голосе его не было обычной строгости, и потому Егоровна не унялась.

— Будь отец родной, не покинь нас, сам уж и сосватай по своему разуму, где найдешь лучше,— заговорила она.

— Ну, ладно, ладно, об этом еще речь впереди будет. А ты вот давай-ка собирать на стол — обедать пора,— нетерпеливо перебил Набатов.

Пока Егоровна накрывала на стол, Гриша спросил у Набатова:

— А ты, дядя, помнишь, об чем я с тобой летом говорил?

— Как не помнить — помню,— отвечал Набатов,— а что?

— Да так, ты уж того, у Галкина-то и посватался бы,— сказал Гриша, поглядывая на дядю.

— У кого? — сказал на это Набатов.— Тебе жить-то — ты и выбирай, у Галкина, так у Галкина: Аграфена — девка славная, бойкая, работящая.

— Кто это? Про кого баите? — спросила Егоровна, внимательно прислушиваясь к разговору.

— Да про Аграфену Галкину, ее хочет сватать.

— Чу, кого! Что же, с богом — девка хорошая.

Пообедали. Набатов лег спать, а Гриша оделся и вышел из дому. Ему хотелось повидаться с Груней, но он не знал, где и как.

«Пройду мимо их, авось, не выйдет ли за ворота»,— подумал он, направляясь в улицу, где жил Галкин.

И точно, Груня вышла за ворота тотчас, как увидала его. Она еще накануне слышала, что Гриша пришел домой, и с самого утра поглядывала в окно, ожидая, что он пойдет мимо. Увидав ее у ворот, Гриша подошел к ней и молча поклонился.

— Здравствуй, Гришенька! — сказала она, зарумянившись и кланяясь ему.

— Сколько времечка не видались — без малого полгодика,— сказал Гриша, глядя на ее раскрасневшееся лицо.

— Долго не видались, даже и слуху-то про тебя никакого не было,— заговорила Груня, несколько оправляясь от смущения.— Что ты там делал?

— Известно что — робил: сперва в рудниках, после в поторжной, а тут и совсем уволили; недели три еще до срока не дошло, да так уж по милости уволили.

— Ну, и слава богу; мать-то, поди, рада?

— Как не рада, один ведь я у нее только и есть. А вы как жили-поживали, все ли благополучно, все ли здоровы?

— Ничего, живем помаленьку, все здоровы. А вот у вас в родне-то беда стряслась — Наталья умерла.

— Умерла бедняга, что делать!

Гриша вздохнул и прибавил:

— Мне вот дядю жалко, он хотя и ничего не бает, а видно, что тоскует по ней шибко.

— Как не тосковать-то! Одна ведь только и была; ну, опять, может, и об том тоскует, что сам неправ: от побоев ведь ей болезнь приключилась.

Гриша молчал.

— А вы все у него живете, а?

— Все, до праздников тут будем жить, а после праздников, как жениться стану, перейдем в свой дом,—сказал Гриша, улыбнувшись.

— Что делает Егоровна? — спросила Груня.

— Рубахи мне кроит, шить-то не видит — не знаю вот, кому бы шить отдать.

— Мне одну принеси, я сошью,— вызвалась Груня.

— Грунька, а Грунька! — раздалось из дому.

— Иду,— отозвалась Груня, взявшись за кольцо. — Прощай, Гришенька, принеси рубаху-то.

— Ладно, принесу, прощай, Грушенька,— и Гриша поспешно отошел от ворот, заслышав на крыльце тяжелые шаги Груниной матери.

— С кем ты тут тараторила? — взъелась на Груню мать, когда та взошла на крыльцо.— Смотри, вот я скажу отцу-то!

Груня, не сказав ничего, шмыгнула мимо нее в избу.

«С кем это она? Ишь, лукавка, молчит ведь»,— думала Галчиха, сходя с лестницы, и, отворив ворота, выглянула на улицу. Гриша уже поворачивал в переулок, и Галчиха не могла его узнать издали.

А Груня между тем принялась за прялку с какой-то лихорадочной поспешностью, у нее сильно билось сердце и дрожали руки.

«Какой он баской стал,— думалось Груне,— словно вырос еще, борода зачалась у него... Жениться хочет... Неужели он меня не возьмет?» — И сердце у нее как будто упало при этой мысли.

XXIII

Наступили святки; заперли фабрики в Куморе, и загуляли мастеровые. Грише купил Набатов перед праздником кафтан, сапоги и ситцу на рубаху. Слух о том, что Набатов накупил племяннику обнов и после праздника хочет его женить и свадьбу сделать от себя, то есть на свой счет, скоро распространился между куморскими невестами. У кого будет сватать Набатов за племянника —

никто не знал наверно, и те из невест, которым Гриша представлялся приличной партией, наперерыв старались ему понравиться, зазывая его на вечорки; чаще других припевали его в песнях, где следовало целоваться, и крепко хлопали по спине в святочной игре в жмурки. Никто не думал ставить ему в вину ссылку в Алакшинские рудники, напротив, все жалели его и говорили, что он пострадал безвинно. Молодежь наперерыв зазывала Гришу в гости, а Андрюша Ипатов, первый щеголь из куморских мастеровых, даже предлагал поставить его, Андрюшу, в дру́жки, когда Гриша будет венчаться, и всячески старался выведать, у кого он хочет сватать невесту. Но Гриша или отмалчивался или отшучивался до времени, простодушно удивляясь, отчего это все так ласковы и так льнут к нему и заискивают его дружбы даже те парни, которые прежде ему и не кланялись. А дело объяснялось очень просто: Гриша жил у Набатова — у богатого, вдового и бездетного Набатова, и говорили все, что Набатов души не чает в племяннике.

— На моду попал Косатченок,— толковали бабы между собой.— У девок только и разговору, что про Гришку...

— Все до единой замуж за него собираются,— смеялись бабы.— Вот бы нашутил да взял нездешнюю! Уж поцыганили бы мы над нашими девками...

— А он парень баской,— тараторила одна молоденькая баба.— Ему надо и невесту брать баскую, за богачеством гнаться нечего — богатства и у Набатова много: умрет — все ему оставит.

— Когда еще умрет,— говорили другие.

— Ну, когда! Когда-нибудь да умрет же, а тогда Гришка, пожалуй, первый богач в Куморе будет.

Молва, разумеется, баснословно преувеличивала богатство Набатова.

Прошли праздники, и в первое же воскресенье после крещенья Набатов нарядился в свой суконный бешмет и, помолившись на иконы, поклонился Егоровне и сказал:

— Благослови, старуха, иду сватать.

— С богом! С богом! — заговорила Егоровна.— Дай бог счастливо,— и перекрестила его вслед.

Гриша хотел было проводить дядю, но Егоровна удержала его, потому что видела в этом нехорошую примету.

— Не ходи, что провожать-то! Не на век ведь пошел,— сказала она.

Гриша опустил голову на руку и, задумавшись, сидел у окна.

— Не тужи, отдадут ведь,— успокаивала его Егоровна.

— Отдадут ли, нет ли, еще неизвестно,— задумчиво сказал Гриша.— Знают ведь, что я нужной да бедный, может, и не захочут за бедного-то отдать.

— Ну, какой же такой бедный — есть и беднее тебя,— заговорила Егоровна с неудовольствием.— У тебя еще, слава богу, изба есть своя, покос, корова, робить станешь — хлеб станут давать, чего тебе еще надо?

Гриша не отвечал и, только вздохнув глубоко, с тревогой ждал возвращения Набатова.

«Господи, как он долго, что он так долго?» — думал Гриша, поглядывая в окно.

— Долго засиделся наш сватовщик,— проговорила Егоровна, как будто в ответ на Гришину мысль.— Надо быть, дело на лад идет.

Но вот часа через три, показавшиеся Грише целым веком, он завидел, наконец, дядю на улице. Набатов шел не торопясь; в последнее время он привык ходить с опущенной головой, и Грише из-под нахлобученной на дяде мохнатой шапки не было видно его лица. Вошел Набатов в избу, снял шапку, повесил ее на гвоздь и весело поглядел на племянника. У того отлегло от сердца.

— Что? — спросил он.

— Да то, что через два дня велел Василий за ответом быть,— сказал Набатов, садясь на лавку.— С родней хотят посоветоваться — с дедушкой, с бабушкой, со всеми.

— Неужели они не посоветуют? — встревожился Гриша.

— Почему не посоветуют; да и сказано это было так — для порядку только: по всему видно, что хотят отдать,— сказал Набатов.

— Невесту-то видел? — спросила Егоровна.

— Видел, как зашел, она в избе сидела, стал говорить-то — она соскочила да и вон из избы.

— Застыдилась, девка молоденькая! — с ласковой старушечьей улыбкой молвила Егоровна.

Прошло два дня, опять пошел Набатов к Галкину,— и на этот раз уж вернулся с решительным ответом. Велели на другой день на рукобитье приходить, а через неделю и свадьбу назначили. И всю неделю Гриша хлопотал около

своего дома, убирал снег из ограды, белил в избе печь и потолок, перевез от дяди дров — возов до пяти — и старался из всех сил все привести в порядок ко дню своей свадьбы. Набатов помогал ему во всем словом и делом.

Наконец, наступил этот день, так долго ожидаемый, повенчался Гриша и привез в свою старую, но чистую и прибранную избу, похожую на веселую, принарядившуюся старушку, свою молодую жену.

Набатов — с блестящей фольговой иконой в руках, а Егоровна — с большой ковригой пшеничного хлеба чинно встретили молодых в сенях, благословили иконой и хлебом, дали укусить от него новобрачным и повели их в избу. Там Груне свахи тотчас же заплели распущенные по плечам волосы на две косы, обвили их вокруг головы, и Егоровна надела ей на голову шашмуру — убор замужних женщин.

Пировали на свадьбе весело, подпили все, но разгульных песен и плясок не было. Набатов и смолоду не любил буйного веселья, и гости из уважения к нему сдерживали свои чересчур веселые порывы. Даже в большой стол, бывающий на другой день после свадьбы и справляемый с особым шумом и весельем, не было ни пляски, ни музыки, ни битья посуды, обыкновенно сопровождающих свадебные празднества. После ужина разрумянившиеся от выпитого вина гости чинно уселись по лавкам и затянули песню про молодых, которые то и дело обносили их пивом и брагой, низко кланялись и просили кушать по всей.

«Горько! Горько!» — слышалось беспрестанно, и молодых заставляли целоваться по нескольку раз за каждым стаканом.

— Ну вот и живите с богом,— говорил дедушка Савелий на прощанье.— Дай вам бог совет да любовь да долгий век. Ты, Груня, слушай мужа во всем, потому он глава, и свекровь почитай — старушку почитать следует, а про свата Сергея Ларивоныча я уж и не говорю, за него оба вы вовеки должны бога молить.

— Это точно, что должны они за него бога молить,— вмешался Василий Галкин.— И почитать его должны во всем паче отца родного, потому много он им добра сделал.

— Какое добро! — сказал Набатов.— Полноте об этом

толковать! Вот выпейте-ка лучше на дорожку.— И он налил в рюмки вина и велел Груне подать собравшимся уходить гостям. Но, взявшись за рюмку, Савелий еще долго разглагольствовал о доброте Набатова и о том, что его следует почитать, и о том, что начальство надо уважать и слушать во всем. Галкин вторил своему тестю, соглашаясь с ним вполне.

Наконец, выпив вино, все перецеловались с Набатовым, Егоровной и с молодыми, которым еще раз пожелали совет да любовь и долгий век, и разошлись по домам.

— Слава богу, пристроили девку,— говорила Галчиха дорогой, поддерживая своего пошатывающегося мужа.— Что нужды, что дело их небогатое: поживут — наживут. Парень он работящий, старательный.

Галкин произнес какие-то неясные звуки в ответ на слова своей жены. Он сильно раскис и кое-как шел, опираясь на ее руку.

— Ладно, пусть с богом живут,— заговорила опять Галчиха, не обращая внимания на мычание мужа,— все лучше, чем в девках сидеть, по крайности заботы теперь у меня не будет.— И всю дорогу громко рассуждала она на эту тему, помахивая свободной рукой и выписывая разные фигуры по дороге вместе со своим мужем.

Простился с молодыми и Набатов и ушел в свою опустелую избу; и долго не спалось ему в эту ночь. Сел он под окно и, облокотившись на руку, уныло глядел на тихую белую улицу.

«Не воротишь, не воротишь,— шептал он по временам, глубоко вздыхая.— Все прожито, и худое и доброе — все прожито, и ничего впереди нету. Сызнова жить начинать — охоты нету, да и стар уж я стал, поседел совсем, и не пристало мне с седой головой да под венец ставать. Не женился смолоду, так теперь уж думать нечего... Стану век доживать бобылем бессемейным, а под старость к Григорию уйду либо его в свой дом переведу.

И долго еще думалось Набатову о предстоящей одинокой, невеселой жизни; вспоминалась Наталья, вспоминалось ее красивое бледное лицо, ее грустные, тихие глаза, и медленно скатывались слезы по морщинистым щекам Набатова и падали на рукава его суконного бешмета.

Не вспоминались ли ему в эту тихую, темную ночь тяжелые, жалобные стоны? Не выступали ли на чистом полу его избы кровавые пятна? Кто знает!

XXIV

Прошла неделя после свадьбы, и жизнь Гриши, ставшая на время рядом праздников, приняла опять свой будничный, серенький колорит. Попрежнему стал он работать в кричной, подвязав свой кожаный запон и обувшись в лапти с баклушами. Толстым слоем сажи покрылось его молодое, красивое лицо, и только весело блестели глаза да белели зубы, когда он, возвратившись домой, улыбался на веселые шутки и заигрывания своей молодой жены. Все было как по-старому, но чувствовалась во всем перемена— и перемена к лучшему. Парнишкой Гришей он остался только для своей старухи-матери, а для всех прочих стал Григорием Касаткиным — рабочим, семейным человеком. Мастера снимали ему шапки в ответ на его поклоны, знакомые бабы называли Григорьюшком, а мало знакомые называли по имени и отчеству. Чувствовать себя стал Григорий — будем уж и мы его называть так — лучше, будто сильнее физически и гораздо смелее и спокойнее. Усердно работал он, и скоро старики-мастера стали поговаривать про Григория:

— Славный работник вышел из него, толковый, сметливый, весь в дядю пошел. Пожалуй, годиков через пяток сам мастером работать зачнет.

И с удовольствием прислушивался к этим толкам Василий Галкин, любо ему было, что зятя хвалят. «Ладно, значит, сделали, что девку-то за него отдали; не ошиблись, значит»,— думалось старику Галкину после таких толков.

— Советно ли, хорошо ли живут молодые? — спрашивали бабы у Галчихи.— Почитает ли тебя зятек-то?

— Слава богу, что бога гневить! Всем довольна,— крестясь и отплевываясь, чтоб не сглазить молодых, отвечала Галчиха.

А Груня между тем весело хозяйничала в своей старенькой избе, и, не умолкая, жужжало веретено в ее проворных, привычных к труду руках. Торопилась она выпрясть лен поскорее, чтоб успеть соткать до весны холст наравне с другими бойкими бабами, чтоб не сказали про нее, что она тихоня, не умеет ни прясть, ни ткать. Но еще больше заставлял ее спешить недостаток белья у Григория, которое, несмотря на то, что делалось из крепкого домашнего холста, изгорало и изнашивалось на работе очень скоро. Много было забот у молодой хозяйки, и всегда полны руки работы, но ни уныние, ни недовольство

своей участью не смущали ее. Весело, с надеждой на свои молодые силы начинала она свою трудную семейную жизнь и чувствовала, что только упорным трудом можно отбиться от суровой бедности, и все ее помыслы устремились к нему.

— Только было бы над чем робить, а уж мы бы стали,— говорила Груня мужу, когда он отдыхал дома после работы.— Вот вытку я холст. Наступит весна — стану садить огород; одна беда — огород у нас мал. Кабы дозволил приказчик загородить там, по-за огороду-то, место пустое, вот бы хорошо-то было.

— Что же, попросить сходить можно,— ответил Григорий,— может, и дозволят.

— Сходи-ка, право, попроси. Как только снег растает, так и сходи.

— Ладно, схожу.

— Да на что тебе, большая ты сыть, огород-от?—заговорила Егоровна,— слушавшая с не совсем довольным видом этот разговор.— Ты думаешь, мало с ним работы? Ведь надо вскопать, посадить, поливать, полоть! И в этом, дитёнок, досыта наробишься, а коли бог уродит, так ведь нам с этого овощи-то девать некуда. Я вон веснусь сколько ведер картови свиньям скормила.

— Ну зачем же свиньям кормить? Осталось бы, так продавать бы стали,— сказала на это Груня.

— Продавать, да кто купит? Ведь у каждого здесь свой огород.

— Ну, здесь не купит никто, так в город бы повезла; ведь город недалеко, всего сорок верст.

Егоровна всплеснула руками при такой смелой, по ее мнению, мысли. Ей, никогда не бывавшей дальше своего покоса и ближайших лесов, куда она хаживала за грибами и ягодами, расстояние в сорок верст казалось громадным. Да и мысль о том, что в городе все чужой, незнакомый народ, что между этим народом много сердитых и важных господ и чиновников, которые, пожалуй, и даром отнимут товар у заезжей бабы, страшила трусливую, хилую старуху.

— Полно врать-то, молодушка! — сердито сказала она.— Эку штуку выдумала — за сорок верст овощи возить! Да и на ком ты повезешь! На себе, что ли?

— Зачем на себе?—рассмеялась Груня.—Да ты не сердись, мати, ведь я еще не поехала, еще собираюсь только.

— И собираться-то нечего по пустякам,— говорила Егоровна.— Ведь хлеб у тебя есть, коровушка есть, денег, хоть и немного, да все же заробит хозяин, ну и слава богу, чего тебе еще надо? Сиди-ка да сиди в избе-то; будет с тебя и домашней работы.

— В избе-то сидя, мати, ведь ничего не высидишь,—не утерпев, опять сказала Груня.— Да изба-то у нас погляди-ка какая худая: ведь развалится скоро, надо новую строить.

Григорий глубоко вздохнул при этих словах. Мысль, что надо строить новую избу, заботила его крепко. Набежали тучки и на веселое, румяное лицо Груни, задумалась и она.

— Не тужите, дети,— кротко заговорила Егоровна,— надейтесь на бога да на добрых людей. Эта изба-то ведь простоит еще год-другой; ну, а там приказчик лесу даст, да добрые люди пособят — вот и построитесь.

— Не шибко добрые-то люди нашему брату пособляют,— заговорил Григорий.— Все-то норовят, чтобы из тебя чего вытянуть, а не тебе дать; только и надежды, что на отца — пособит, не пособит он, а окромя его кому нужно.

Отцом Григорий и Груня стали звать Набатова после того, как он благословил их иконой, и на его помощь они рассчитывали больше всего.

— Как не пособит — беспременно пособит,— заговорила Егоровна, с радостью ухватившись за эту мысль.— Свадьбу ведь пособил же сделать, ну, пособит и построиться. Ему ведь денег-то девать некуды. Намедни отпер при мне ящик, так я даже сдивилась, сколько у него денег накоплено: поди, рублев со сто есть.

Егоровна не знала счету больше ста рублей и не могла себе представить суммы больше этого. Григорий и Груня переглянулись и засмеялись.

— А ты думаешь, сто рублей — бог знает, какая сумма несметная,— сказал ей на это Григорий.— Молчала бы ты уж, коли толку у тебя нету,— прибавил он, вздохнув, и потом сказал, обращаясь к жене:

— Весной нам надо помочь сделать да покос расчистить: все же, может, возик-другой лишка сенца поставили бы; вот бы, глядишь, на овечку-то и было.

— Беспременно надо, вот корова отелится, телушку бы ростить стали, кабы сено-то было на улишке,— сказала

Груня и прибавила, взглянув на мужа: — Что бы отцу нам хотя один покосик отдать, у него покосов много, и страдовать некому.

— А вы попросите, может, и отдаст, ведь он и в самом деле один теперь, на что ему! — сказала Егоровна.

— А смерть я люблю, у кого земли много; хорошо тому жить, у кого покосы большие, да как еще пашня есть: скота держи, сколько хочешь — коров, овец, лошадь бы завели — то-то бы жизнь-то была,— мечтала Груня и, воспламенившись нарисовавшейся в ее воображении картиной такого довольства, прибавила с решительным видом:

— Нет, уж ты хотя чего говори, мати, а выпрошу я земли под огород; сама к приказчице схожу — снесу ей хоть ниток моток да выпрошу земли. Стану наперво овощами торговать; у Ипатовых вон овощами-то торгуют, так уж сколько чего завели, рублей на тридцать, бают, в осень продают, а ведь тридцать рублей — не шутка, сидя в избе-то не высидишь.

— Известное дело! — задумчиво сказал Гриша.— Кабы на осень да рублей хоть двадцать заработать, так и то бы куды хорошо было.

— Что же, и заробим — неужели не заробим? — сказала Груня весело.— Вот лето будет, страдовать станем: свои покосы расчистим, у отца попросим — ему за то страдовать пособим. Он мне еще телушку посулил дать — вот выкормим ее, продадим, овощи вырастут — продадим, вот и деньги будут и станем избу строить.

— Ой, молодушка, ребячий еще умок-от у тебя! — сказала на это Егоровна.— Еще медведь-то в лесу ходит, а ты уж шкуру дерешь; не загадывай далеко, дитёнок, грешно!

— Вот опять грешно! Да что за грех? Ведь я не воровать собираюсь,— горячилась Груня,— я все, как у добрых же людей, лажу. Говори-ка лучше, мати, что твои-то бы, мол, речи да богу в уши.

— Что ее слушать,— сказал на это Григорий,— ее дело старое, хилое — ей бы только на печке сидеть, а тебе уж надо самой всем делом править. Вот у отца спросить можно, потому он на все наставить может.

И часто повторялись в избе такие речи, и крепко надеялись молодые работники на свои силы и на лучшие будущие дни. Насколько сбылись их надежды и ожидания — покажет время.

АНТИП ГРИГОРЬИЧ МЕРЕЖИН

Село, где я родилась и выросла, называлось Охлоповкой. Тут же я и замуж вышла и вышла несчастливо: через два года после моего замужества рекрутский набор объявили, а муж мой был на очереди. Сколько мы ни просили, ни кланялись, ничего не могли сделать. Свезли его в город и сдали. Свекор до меня был добр и деверь тоже, а свекровь и старшая сноха крепко меня недолюбливали. За что они меня не любили — бог весть. И мало-то я роблю, и много ем, и то не так, и другое не ладно. Только и ждут, чтобы свекор со двора вышел, и нападут на меня обе, и чем-то, чем не выкорят, чего не приберут. А при нем не смели (царство ему небесное!): хотя любить он меня не любил, а в обиду никому не давал. Только недолго он пожил после того, как мужа сдали, с полгода всего, да и помер. С той поры от свекрови мне житья не стало... И подумала я идти в город, в стряпухи к какому-нибудь купцу или другому богатому человеку. Посоветовалась я со своими, они потакнули мне. Я же и до замужества по стряпкам живала, и дело это было мне знакомое. Тотчас билет себе выходила из конторы; унесла приказчику моток тонкого волокна, и живо мне билет выдали; собрала котомочку, попрощалась со своими и ушла.

Город от нас всего был в тридцати верстах, и к вечеру я была уже там. Переночевала у знакомых, а дня через три и место себе нашла, и хорошее место, у чиновника. Года два я тут жила, да поехал он в другую губернию, так я отошла, хотя и звали они меня с собой, да мне из своих мест ехать не захотелось. Вскоре после того ко мне весть пришла, что муж у меня помер. Мне в те поры было два-

дцать пять лет, и можно бы, пожалуй, еще замуж выдти, да как-то не случилось этого. С той-то поры и до ныне, вот уж тридцать лет, я все по стряпкам и живу. В последние годы уж силешки у меня не стало, и из стряпок я в няньки поступила, сначала тут же в городе, а после уж у нас в селе. Сначала жила у попа, потом у приказчика. От него я ушла к крестьянину нашему богатому, Антипу Григорьеву Мережину, жила у него года полтора. Теперь вот уж я и не живу у него, и из места этого уехала, а лежит он у меня на сердце, как камень. Был он мне родня, хоть и не ближняя, а все родня, и говорит мне: «Что-де тебе, тетка, по людям-то жить? Иди лучше ко мне с моими внучатами водиться, а я тебя за то поить, кормить буду, а умрешь, поминать стану». Подумала я, подумала, да и пошла, хоть и крепко мне не хотелось; не любила я его и даже побаивалась, потому что он колдуном слыл, да хворость на меня напала, а у приказчика мне житье было плохое. Думала, не спокойнее ли мне будет у Антипа, в его большой семье. Семьи у него было человек десять. Сам да жена, двое сыновей женатых, у старшего трое детей, у младшего двое да еще холостой сын третий, того при мне и женили.

В ту пору, как я пришла жить к Антипу, ему было пятьдесят лет, ростом он был невелик, но плечист и силен, как бык. Волосы и борода черные, не густы и не велики. Здоровье у него было крепкое, железное, и Егоровна, его жена, пожалуй, что и не пара ему была: хворая и хилая была старуха. Ни жать, ни косить уж не могла и дома едва бродила. В доме ее почти и не слышно было; всем хозяйством старшая сноха заправляла, некрасивая такая и угрюмая баба. Да и то сказать, что и веселой-то ей не от чего было быть. У Антипа нрав был угрюмый, злой; и хоть не дрался и не пьянствовал шибко, а все его в доме, как огня, боялись. Сыновья все равно что батраки наемные были. Один Василий, младший-то сын, был как будто посмелее их, да и отец был к нему поласковее. Невесту ему засватал на Гарях богатую. Как только отдали ее в Антипову семью, ума не приложу. Колдуном слыл Антип, так разве приворожил. Ну и то сказать надо, что богачеством он у нас первый на селе был. Пашни пахал много, пчел имел, а по зимам торговлей занимался, скотом и хлебом торговал. Лечить тоже от разных болезней мог, от лихорадки, ну и скота лечил, и кровь заговаривал. Это он мог,

это и я знаю. Только занимался он этим больше смолоду; а как стал постарше да побогаче, так промысел этот бросать стал. Однако травы разные лекарственные у него всегда водились, и не было на селе человека, который бы поверил, что дядя Антип колдуном понапрасну слывет. Говорили, что и килы он мастер привязывать, и присушить, и отсушить умеет. Как бы то ни было, а невесту он высватал из богатой семьи, высватал осенью, в то время как ездил на Гари скота закупать, и вскоре по приезде Василья с матерью, с братьями и со снохами на рукобитье послал. Василий хотя невесту и не видал ни разу, однако поехал охотно, потому гаревские девки на славе были в то время. Мастерицы ткать и прясть, одевались щеголевато, редкая шелкового сарафана не имела, ну и из себя были все видные, красивые.

Как приехал Василий с рукобитья, я и спрашиваю, поглянулась ли невеста? Поглянулась, говорит, бабушка. Сам посмеивается и дары мне показал: платок бумажный клетчатый. У баб спрашиваю, и бабы хвалят. Всем невеста пришлась по нраву. Я жду, не дождусь, когда свадьба будет и молодушку домой привезут. Ну и дождалась, через две недели после рукобитья и свадьбу сделали и молодушку домой привезли. И у меня к ней сердце, как к родному дитятку, припало. Редко у нас в крестьянстве такие девки бывают. Чистоплотная такая да пригожая. Высокая, белая и румяная, глаза веселые, волосы русые. Редкий день пройдет, чтоб она в зеркальце не посмотрелась. Платочек у ней на голове словно пришит, сарафан тонкой, рубашка белая. Никогда ее грязную да оборванную не увидишь. А была работящая и на всякое дело мастерица. Нравом была веселая да говорунья такая, что только звон стоит в избе, когда она дома. Старшая сноха куда угрюмая была баба, а и она нет-нет да рассмеется. Сам Антип даже совсем другим человеком стал: шутки шутит, над Васькой цыганит, что сам он пентюх пентюхом, а баба у него — козырь-баба. Однако Варвара, так звали молодушку, мужа крепко любила. Бывало, уедет он куда сутки на двои по своим торговым делам, так она и глазоньки все проглядит, ждет. Советно жили, и говорить нечего.

Так-то прожили мы до лета, и хорошо, как бы все так, а так нет ведь, сильна вражья сила, точно сделалось что над Антипом; опять стал зверем смотреть, и Варвара стала как будто его опасаться и сторониться. На всю избу

при нем уж не захохочет, как прежде, шутки шутить тоже перестала. Работы, правда, тогда подошли страшные, тяжелые, так уж и не до шуток, да и беременна она была, последнее время ходила. После Ильина дня уж как-то случилось Василью уехать из дому на неделю; на Шую поехал скота покупать. Все около того времени они ездили по деревням и, где находился лишний скот, так давали задатки, а скота оставляли до осени у хозяев. Крестьянам в ту пору на страду деньги бывают крепко нужны, ну, они и рады покупателю; так случалось, что и задешево рады отдать, ну, а Антип умел в этом случае сметку поддержать и богател крепко. Василья послал он в тот год одного еще в первый раз, прежде все сам ездил; старшим же сыновьям не доверял ни в чем, да, правда, они, кроме черной работы, и толку ни в чем не знали, ну, а Василий и грамоте знал мало-мало и на счетах умел, ну и привык тоже около отца-то к его торговым делам.

Проводила его Варвара за околицу, воротилась да и говорит мне:

— Ох, бабушка, как у меня сердце задавило, знать, не к добру это.

Я рассмеялась.

— Мужа проводила, так вот и сердце давит,— говорю ей: — поди, одной спать-то скушно будет.

— А и то ведь, бабушка, страшно мне одной-то будет в сенях ночевать, я с тобой лягу,— говорит.

— Полно, дитёнок, что за страсть,— говорю ей: — сотвори молитву да и спи, в избе-то тебе мухи покою не дадут.

А спали мы в ту пору все по разным углам, кто с малыми ребятами в большой избе, Егоровна в другой через сени, а в сенях Варвара с мужем спали; тут у них и кровать стояла и полог от комаров был подвешен. У старших снох, у одной кровать была в нижних сенях, у другой в амбаре... Батраки спали на сеновале, а сам Антип в клети; рядом с той избой, где Егоровна спала, была горенка маленькая, где у него казна и одежа хранились.

Посидели мы с Варварой, поговорили да посудили, и пошла она спать, я тоже постлала себе постель и улеглась. Не помню, долго ли, коротко ли, я уснула, только слышу— двери стукнули, и кто-то бегом вбежал в избу. Я подняла голову, гляжу, а Варвара сидит на лавке в одной рубахе и космачом, сама вся трясется, дрожит.

— Что ты, Варя, дитятко мое, господь с тобой, чего ты испугалась? — спрашиваю я.

— Ох, бабушка, беда моя пришла, куда я горькая денусь? — Сама пала на лавку и плачет.

Я подумала, что родить ей пришло время, ну, известно, дело молодое: испугалась, мол, она этого. Испугалась я и сама, потому мне это дело было не свычное; у самой у меня детей не бывало. Спрашиваю у нее.

— Нет,— говорит,— не то.

А сама голосом воет, волосы на себе рвет. Диво меня взяло, и жаль ее, а пособить не знаю чем: никаких разговоров не слушает. Однако навылась, поутихла немного и улеглась возле меня на лавке.

— Запри,— говорит,— бабушка, двери; страшно мне так-то.

Я заперла; дивлюсь сама, чего она боится. Однако и то подумала, что помстило ей что-нибудь; беременным, бывает, блазнит. Даже так бывает, слыхала я от старых людей, что уводит *он* их куда-нибудь в нечистое место, особливо молодых баб, и многие сперепугу родят мертвых. Души этих младенцев *он* к себе берет. Подумала я это и не стала ее расспрашивать ни о чем. К ночи таких разговоров заводить не приходилось. Оградила двери и окна крестным знамением и легла спать. Утром ждала было я, что скажет она мне, что ей показалось. Однако она молчит, ни слова, и как встала, так и ушла с бабами жать. Антип хоть богат был, а вся семья с батраками робила, и Варваре спуску не было, нужды нет, что баба последнее время ходила. Уж поздно вечером пришли они домой, и стали бабы ужин собирать, а Варвара сидит на крылечке, головушку рукой подперла. Антип вышел из сеней да хлоп ее по плечу.

— Что,— говорит,— задумалась аль ночку не с кем спать?

— Я и одна просплю,— говорит Варвара. Сама даже вздрогнула вся, встала и ушла в избу. Поужинали. Я спрашиваю у Варвары, куда она спать ляжет?

— С тобой,— говорит,— бабушка, лягу. Ну и легла со мной. Я, опять молитву сотворивши, оградила двери и окна, ну и спокойно ночь прошла. Утром осталась Варвара дома хлебы печь, Егоровна что-то в тот день животом скудилась. Антип тоже дома был, в пчельнике целый день возился; пчеловод он был хороший и по нескольку пудов

меду снимал каждый год. Ребята было сунулись к нему медку попросить, так чуть не прибил, на Егоровну взъелся, старой чертовкой обозвал, на меня кричит, что обленилась больно на даровом хлебе, а на Варвару зверем смотрит, глазами съесть хочет.

— Что, мол, это у нас с Антипом сделалось? — говорю я Варваре: — На чего он сердится!

— А леший его знает! — молвит моя баба с сердцем.

— Что ты, Варвара! Как можно такими словами отца поносить? — говорю ей.

— Какой он мне отец,— говорит.— Злодей он, ворог мой лютый!

Влетел Антип в избу и кричит на Варвару, чтобы завтрак скорее был готов. Варвара говорит ему, что еще работник с поля не бывал, а что у нее уже все давно готово и хлеб из печи вышел.

— Сама неси,— говорит Антип: — я сегодня не велел батраку по хлеб приходить, сказал, что пошлю, что попусту в ходьбе время терять. Надо жать скорее.

Ну, обрядилась Варвара и понесла хлеб в поле. Я вышла ее провожать за ворота, постояла там маленько да пошла заглянуть в пчельник, что, мол, там Антип делает. А он через огород лезет да бегом пустился за Варварой, догоняет ее. Я думаю, заказать, верно, хочет с ней в поле что-нибудь.

Вечером, гляжу, идет моя баба раньше других да лица на ней нет, даже почернела вся.

— Смерть моя, бабушка, приходит,— говорит мне,— куда бы мне схорониться, чтоб никто не видел?

— Хоронись в подполье, дитёнок,— говорю ей,— да не рано ли еще будет? Не догадались бы свои домашние, это дело такое, что как можно надо ото всех таиться: так легче и скорее роды бывают. Пусть бы уж все улеглись спать, так лучше бы было.

Ну, отпустило ей немножко, и хотя через силу, а проходила вечер-то. Когда уж все спать полегли, тогда ко мне приходит; села на лавку и говорит.

— Ох, как бы Василий дома был, все бы лучше было.

— Да чем же лучше-то? — спрашиваю я: — Не мужичье ведь это дело; еще и лучше, что его дома нет, от него бы ты не утаилась, а у мужиков глаз дурной, тяжелой.

— Ничего ты, бабушка, не знаешь! — говорит она мне, а сама заплакала.

— Ну, вы с Васильем-то больше знаете, ишь, какие вострые! — говорю ей.

— Да я не про то,— говорит:— Я свекору не рада стала, житья мне от него совсем нет!

Я все не догадаюсь, к чему она.

— Да что ж тебе тут Василий-то поможет,— говорю ей:— Ты лучше сама-то старайся свекру угодить. И вспомнила я, что в последнее время он ее все супротивницей обзывать стал.

— За что,— спрашиваю,— он тебя ныне супротивницей-то обзывает?

— Ох, он злодей! — говорит Варя; — бога он не боится, сомущает меня с ним жить, от того и супротивницей обзывает, что не на дуру худоумную напал.

Ужасть меня взяла, и руки у меня опустились.

— Что ты это говоришь, баба! Да правда ли это?

— Правда, бабушка, ох, правда! Из чего я лгать стану? Теперь, может, мой смертный час близко.— Сама плачет.

— Да как,— говорю я,— когда это он к тебе приставать стал? Что это он, ворог, задумал? Ну, не плачь, Варя, дитёнок, молись богу: свечку я за тебя Ивану-крестителю поставлю, авось, Антип и образумится. А мужу ты сказывала про это?

— Нет,— говорит,— ничего не сказала, и тебе бы, бабушка, не сказала, да уж больно невмоготу пришлось. Да и ты молчи, не проболтайся кому-нибудь, не донеслось бы ему, ворогу-то моему: обеих он нас с тобой со свету сгонит. Ох, как я его боюсь,— говорит,— исколдует он меня или опоит чем: колдун ведь он.

— Давно ли же он приставать-то к тебе стал? — спрашиваю я.

— Да с самой весны,— говорит.— Я сначала было ладила с добром да шуткой отойти от него; думаю, опомнится он и отстанет, а сегодня он уж силой напал на меня, настиг с волоку и чуть не погубил, зверь; едва я от него отбилась, силища у него страшная: одного только побоялся, что закричу я, так услышат. За волоком в поле пар пашут, крикнуть, так услыхали бы.

Я и вспомнила, как он бежал за ней.

— Посмотри-ка,— говорит,—у меня руки-то каковы.— Загнула рукава и кажет мне, а руки все в синяках.

«Плохо дело!» — думаю я. Однако вижу, что ей уж

время приходит, пошла Егоровну звать. У нас уж в крестьянстве обычай такой, что где есть свекровь, так она же и бабит у снохи, а повитушку не зовут.

Пришла Егоровна, свила полотенце жгутом, да хлоп Варвару по боку.

— Отдай наше,— говорит. Это для того делают, чтобы скорей бог дал. Испугалась Варвара и вздрогнула вся, а она ее водой студеной вспрыснула и свела в куть; там ей бог и дал сынка.

Послали меня того же часу баню топить, и до свету еще у нас уж все было убрано. Баня истоплена, ребенок вымыт, и роженицу в баню свели.

Поутру увидала я Антипа, да и поздравляю его с новорожденным внучком.

— Есть,— говорит,— у нас этого добра вволю,— однако пошел, налил водки стакан и велел Варваре унести.

Пришла я и подаю ей: отец, говорю, прислал и велел выпить на здоровье.

Взяла Варвара стакан да и вылила вино на пол.

— Это он,— говорит,— нашептал что-нибудь, испортить меня хочет. Скажи ему, что выпила.

Я так и сказала.

— Ну, пусть,— говорит,— спит теперь; болтушкой ее напойте да пусть отдохнет денек-другой, а там за работу пора приниматься. Жать надо проворнее, скоро рожь потечет.

Работников в тот день они наняли двоих посторонних и ушли жать все и Антип с ними. Я весь день с Варварой в бане была, потому что одну ее оставить в нечистом месте нельзя и на малый час, а в избе ей лежать тоже не доводилось. Никогда у нас этого в крестьянах не бывает, чтоб роженица в избе лежала, а все в бане. Если я и выйду на малый час из бани, то девочку к ней пошлю. Старшая-то внучка у Антипа уж восьми годков была, Дунькой звали. Егоровна стряпала, к крестинам приготовляла. Крестины вздумали на другой же день сделать, потому что воскресенье приходилось, так чтоб простого рабочего дня не терять потом.

Ну и окрестили, и гостей на крестинах было довольно; на угощенье Антип не скуп был и родню всю созвал. Дьячок тоже пришел чайку с медком испить. Дьячок в то время был у нас вдовый, выпить любил ну и с бабами пошутить, побалагурить был охоч.

В крестины Варвара из бани вышла и все в кути сидела, за занавеской. Отыскал ведь он ее, долговолосый, там и говорит:

— А ты не похудела, молодушечка, все такая же мяконькая да румяная, нужды нет, что сынка принесла.

А сам по плечу ее треплет. Антип тут же стоит, только глазами поводит, злится, что тот с Варварой шутит.

— Молодец,— говорит дьячок,—молодец ты, молодушка, похвалить тебя можно, опять Антипа с прибылью сделала.

А Антип и говорит:

— Хвалить-то не за что много-то, больно уж они мастероваты на эти дела-то.

Дьячок смеется; с бабами тут шутить начал. Сватья тут сидела у Антипа да другая опять племянница, бойкие такие и молодые бабы, связались с ним разговаривать да смеяться, а он был уж порядочно подвыпивши, и ну к ним целоваться лезти. Бабы его щекотать начали, а дьячок страшно щекотки боялся, кричит без милости, скачет от них по избе, только стены трясутся. Дьячище был огромный, толстый, лицо красное, как клюква. Под полатный брус не подходил, то и дело головой о брус стукался, а голова лысая. Даже покраснела лысина-то.

Варвара улучила минутку, когда он на нее не глядел, да шмыг к дверям и ушла к себе в баню. Там ей спокойнее одной-то.

Однако мы с Егоровной на дьячка сильно осердились.

— Типун бы ему, долговолосому, на язык-то,— говорю я,— выдумал на молодую бабу зевать.

Ну и точно, ведь озевал, поганый. Той же ночи с ней жар сделался, чуть забудется, тужить начнет, Василья звать или меня или бежать куда-то направится. Всю ночь мне уснуть не дала. К утру спина у ней разболелась, ноги ноют, встать с постели насилу могла.

Так дня два прошло. Антип стал сердиться, что долго Варвара нежится и робить не идет; на третий день, как узнал, что она опять дома остается, зверем поглядел на нее да как закричит:

— А с кутейниками шутки шутить можешь, а жать так сил не стало! Знаю я шутки-то эти у вас. Уж не хотел ли долговолосый-то к тебе в гости пожаловать, проведать тебя? Что-то он вчера по задворкам-то очень терся, я его два раза видел.

Где уж он его видел, и бог весть. Разве к пивоварке он ходил. На задах у нас женщина вдовая жила и постоянно пиво варила, так случалось, там-таки он похаживал.

Однако не стерпела и Варвара.

— Бог тебе судья, батюшка,— говорит,— без вины ты меня обносишь.

Пошла в куть, обрядилась и ушла с бабами в поле. Да еще бегом пустилась догонять их, потому что они несколько вперед ушли. Я увидала это и кричу ей:

— Что ты, баба, делаешь? Не бегай, такое ли теперь время, чтоб бегом бежать, как раз повредиться можно.

Варвара мне только рукой махнула. Пришла я в избу и сказываю Егоровне.

— Топи,— говорит,— к вечеру баню, непременно ее надо помыть да поправить. Я,— говорит,— сама с ней схожу.

Ну, к вечеру у меня баня была изготовлена, и ребятишек мы с Егоровной всех перемыли. Славно было в бане, жарко, а не угарно: хорошо помню, что угару не было. Только что вытащила я Ванюшку из бани, и Егоровна следом за мной вышла. Придет, говорит, Варвара, так с ней вдругорядь схожу. Однако разнемоглась она что-то и не пошла с ней. Варвара пришла с поля и едва ноги волочит, устала. Не села и ужинать, в баню прежде захотела. Наше дело крестьянское, к бане привычное, от всех болезней у нас это первое лекарство. Стала Варвара меня с собой звать, только услыхал это Антип и говорит, что мне надо сейчас же идти за реку, к мужику одному за деньгами, что ему деньги нужны работников рассчитать и что будто у него медных нет. А уж я наверное знала, что в клети у него не один мешок с медными деньгами лежал, ну да подумала, что починать не хотелось.

Пошла я, а Варвара сидит на крылечке, ждет меня, чтоб в баню вместе идти. Я ей сказываю, куда меня Антип послал, а он вышел за мной следом да и говорит ей, чтоб она одна шла в баню, что если ей страшно, так позвала бы с собой Дуняшку. Ну, Варвара и пошла; Дуняшка тут же в ограде овец запирала в стайку, и хотела к ней скоро прибежать. Я хотя и очень торопилась, однако, должно полагать, проходила долго. Ноги мои старые, а ходьба была не ближняя, а там еще с бабами заговорилась, Варвару все жалели, про крестины рассказывала. Прихожу домой, а уж совсем стемнело, а Антип все еще на дворе похажи-

вает, прибирает что-то. Я ему деньги подаю.— Неси, говорит, в избу,— и сам пошел в избу. Пошла я, огня достала, сосчитал Антип деньги, а деньги были все медные, сказал: — все,— и унес их в клеть, а я тогда в баню побежала, потому что Варвара меня в бане хотела дожидаться. Прибежала, дернула дверь, что за чудо? Не отворяется. Стала я шарить рукой, а двери снаружи поленом приперты. Страсть меня взяла; оттолкнула я полено, отворила дверь и вошла. И как только ступила я в баню, так и обезумела. Лежит Варвара на полу головой к дверям и не дышит. Я ее зову, тормошу, нет, не подает голосу моя баба. Схватила я ее за плечи и вытащила в передбанок, думаю, угорела она, так на вольном воздухе угар скорее пройдет. Зажгла лучину, осветила ей лицо, да так и обмерла. Она уж бедная мертва была. Глаза остановились, лицо почернело, и на левом виске большое синее пятно. Надо быть, когда пала, так головой о припечек ударилась. С самого начала, как отворила я двери в баню, духом таким нехорошим понесло оттуда, точно беленой накурено или другой какой травой ядовитой. Не много я время провела тут, но и у меня голова одичала. Выбежала я оттуда без ума и бегу, реву во все горло. В избе всех переполошила, что, говорят мне, сделалось? А я только и кричу: — ой, беда, батюшки, беда великая! Варвара-то ведь умерла. Выскочил Антип из клети, повскакали все с постелей и побежали за мной; стали ее водой студеной прыскать, отхаживали, как умели, однако ничего не помогли. Может быть, как бы лекаря созвать, так и отводились бы, да у нас в селе лекаря не было, а был в двенадцати верстах от нас в заводе фельдшер, да ведь не посылать же за ним за двенадцать-то верст. К тому же уж видно было, что баба умерла.

Побежал Антип в контору, объявил; приехал приказчик, посмотрел, велел Варвару в баню стащить, положить, как была, и караул приставил, а сам послал донесение к исправнику и лекарю.

Дивимся мы все, отчего это баба угорела, как: когда мы ходили с Егоровной, то угару не было, и никакого чаду и запаху тяжёлого было не слышно. Я рассказываю, что в печи я сама мешала и что головен не было, а также и углей было немного.—Нельзя,—говорю я,—умереть ей от угару.

Как закричит на меня Антип, а сам даже позеленел весь, и у рта пена.

— Да отчего же,— говорит,— смерть-то ей приключилась, как не от угару? Знаю я,— говорит,— какая ты лентяйка, еще у приказчика на тебя жаловались за твою леность. Не поглядела, верно, в печи-то хорошенько, да и закрыла трубу с угаром. Вот извели бабу, взял я тебя, ворога, на свою шею!

Я было стала оправдываться и говорить, что мы с Егоровной раньше в баню ходили, да не угорели, и что когда я дверь отворила, так чад и запах из бани чуть не задушили меня.

— Молчать! — закричал на меня Антип: — Нечего,— говорит,— хвостом-то вилять. Знаю я вас, какие вы. А что вы наперед ходили да не угорели, так что мудреного, у вас ведь, говорит, головы-то крепкие, а ей с болезни много ли было нужно. Да и в бане-то она часа три сидела, все тебя ждала, а ты изволила бог весть сколько проходить, где шляться, небось, бражничала там и домой не подумала поторопиться.

А я торопилась, видит бог, торопилась. Хотела я ему молвить: а зачем, мол, двери были поленом приперты и зачем Дуняшку к Варваре не послали,— да очень уж он грозен был, испугалась я и промолчала. И вся-то семья молчала, словечка пикнуть никто не смел. Ребята все по углам распрятались. На другой день уж я Дуняшку увидела и спросила у нее, зачем она к Варваре в баню не пошла? — Дедушка, говорит, не велел, кулаком погрозил. Ну, известное дело, супротив дедушки слова никто не говорил, даже и из старших, а уж дети, так при нем и пикнуть не смели.

Пошел по селу толк да говор на другой день. Все Варвару и Василья жалеют; наши бабы воют голосом, я хожу как безумная, Василий из ума не выходит. Ну, как я ему скажу про все это?

Вот и день прошел; погода стояла теплая, и от Варвары уж запах пошел нехороший, скоро стала портиться; велели ее пихтой покрыть, да не помогло и это. Прошел и другой день, а ни лекаря, ни исправника все нет. На третий день уж они приехали к вечеру. Было поздно, и резать в тот день не стали, а отложили до утра. Перед допросом Антип всех нас созвал в избу и научил, как и что говорить; мне сказал, чтоб я лишнего не плела, что только свою же голову оболтаю, а сам поглядел на меня так, что у меня и душа в пятки ушла.

— Помяни мое слово, старуха, что не сносить тебе головы на плечах, если ты супротив меня пойдешь,—говорит.

И испугалась я, старуха, за свою жизнь постылую. Всю-то я ее по чужим людям да в черной работе провела, а еще расстаться с ней было жаль. Ну и не сказала я ничего про свои думы, про все как есть смолчала.

Рано утром лекарь с исправником, с понятыми к нам приехали и стали Варвару резать. Мы с Егоровной бросились было в ноги им, просили, чтоб не резать ее, голубушку, однако нас не послушали и прогнали.

Пока они там ее натóмили, Василий ко двору и подъехал. На дороге еще услышал он, что жена у него умерла, подъехал и спрашивает: правда ли? Бросились мы к нему, завыли, Егоровна ему за шею поймалась, я хватаю за ноги, а он от нас рвется и кричит, чтоб показали ему Варвару, чтоб ее не резали. Насилу его четверо мужиков удержали.

Как уж он выл, как убивался, и не приведи бог! Даже мужиков, какие тут были, слезы прошибли, а о бабах я и не говорю: те так ревмя и ревели.

После уж, когда Варвару осмотрели, зашили все порезанные места, одели и приготовили к погребению, показали Василию. Даже обмер он, как увидал ее! Насилу водой отлили. Ну, известное дело, в перемене великой увидел. Оставил здоровую, пригожую да румяную, а тут увидел в гробу черную да страшную; левая-то сторона лица вся посинела, и глазоньки так и остались не вплоть закрытыми, губы тоже не совсем сжаты, да еще и мокрота из них какая-то шла.

Сказали, что умерла от угару, и велели схоронить по-христиански. Сильно скакали над нами и исправник и лекарь: зачем-де в угарную баню родильниц посылаем, а лекарь так и вовсе не велел родильниц в баню водить, и только тогда они приутихли, как сунул Антип исправнику что-то в руку.

В тот же день за вечерней и отпели Варвару. Что было рёву над ней, так страсть. Только один Антип не пролил ни единой слезы: камень был человек. У! зверем глядел он в те дни, и даже дрожат все, с кем он заговорит. Даже промеж собой говорить боялись. Я думала, что Василий станет меня про все, как было, расспрашивать, а он даже словечка не промолвит. Ходит день-деньской по двору, как убитый. Я ему Ванюшку, Варварина-то сынка, принесла,

показываю. Поглядел молча, да только рукой махнул, чтоб я поскорей его с глаз унесла.

Знать, сильно уж у него сердце-то задавило.

Дня через три после похорон Антип из дому отлучился дня на два, и все мы словно вздохнули без него. Стали про Варвару говорить, вспоминать ее, жалеть. Василью стали обсказывать, как что было. Ну, известное дело, что я уж больше половины утаила. Коли уж при следствии ничего не сказала, так к чему было сыну на отца говорить? Бог, мол, ему судья во всем этом деле. А и до сих пор лежит он у меня на сердце, как камень. В прошлом году попу на духу покаялась я в этом. Наложил он на меня эпитимию: сто земных поклонов; преступленье, говорит, кто утаил, тот и сам преступник. Однако мудрено это дело судить. Может, она и в самом деле от угару померла. И лекарь сказал, что от угару, и крепко нам наказывал не водить родильниц в баню прежде пяти дней, да и в таком случае не парить и наблюдать, чтоб было не жарко и не угарно.

Удивительно мне было только то, что откуда взялся такой дым и чад смрадный, удушливый? Знать, он сунул что-нибудь на каменку; трав и кореньев у него всегда было много, или, может быть, и треснул ее чем. Недаром левая-то щека у нее вся посинела и даже полосами какими-то пошла. И как это случилось, раньше ли он задумал ее убить, или за худым делом к ней в баню пошел, и как не стало ее согласия на это дело, так тогда уж он, с сердца, убил ее, бедную,— бог весть!

С полгода спустя Василья женили на соседской девке, Аграфене. Уж всем-то она Варвары была хуже. Где ей супротив Варвары. Та, бывало, вырядится в праздник, как краля, а эта как есть мешок крестьянский. Да и нравом была какая-то вздорливая, все с мужем поперек ладит; он-то опять стал хмелем зашибаться, с отцом в раздел пошел, и после уж я слышала, что бедно живут и несоветно. Мальчишка Варварин только три недели пожил и помер. Я от них того же году уехала на завод к попу в няньки и живу тут и до сих пор. При отъезде Антип еще мне наказывал, чтоб я держала язык за зубами. Я уж только подумала, что после время говорить не приводится. А лежит этот грех на моей душе, и не знаю, простит ли бог. А уж как молюсь, и мяса не ем, на одном хлебе и воде живу, и в церковь хожу каждый праздник. Может, и простит он меня, грешную!

ФЕЛЬДШЕР КРАПИВИН

I

Все население Новозаводской больницы, от заведующего ею фельдшера до последнего сторожа, сильно волновалось, ожидая прибытия нового фельдшера, который, как предполагали одни, был послан для того, чтоб сместить старого, другие, чтоб только его ревизовать и научить более правильным приемам лечения тифа, появившегося в Новом Заводе. Доктора в то время были еще редки, и у помещика, владевшего десятками тысяч крепостных и заводы которого отстояли один от другого верст на триста, полагался всего один врач на все заводы. Он жил обыкновенно в том заводе, где помещалось главное заводоуправление и жил главноуправляющий. Другие же заводские больницы, помещавшиеся иногда в хороших каменных зданиях и часто весьма хорошо обставленные и снабженные медикаментами, поручались заведованию фельдшеров из крепостных людей помещика.

Ожидаемый новый фельдшер хотя и был тоже крепостной человек, но это был не просто доморощенный фельдшер, учившийся у своего заводского доктора или в губернской больнице у городских докторов; нет, он учился в Петербурге, в клинике, у знаменитых профессоров, видал всякие трудные болезни, узнал самые новейшие способы их лечения, присутствовал при самых серьезных операциях. Одним словом, молва, предшествовавшая ему, гласила, что он учился столько же, сколько учатся врачи, и знает не меньше их. Рассказывали, что один из профессоров

лично просил князя, владельца вышеупомянутых заводов, отпустить этого молодого человека на волю и дать ему возможность получить вполне законченное медицинское образование; говорил, что этого грешно не сделать как ввиду блестящих способностей молодого человека, так и ввиду его неутомимого прилежания и особой любви к науке. «Если не пожалеть средств для его образования,— заключил профессор,— из этого молодого человека может выйти со временем новое светило медицинской науки». Но, выслушав это, помещик спокойно и холодно ответил, что он рад слышать, что посланный им молодой человек способен и прилежен, но что именно поэтому-то он и не может отпустить его на волю.

— Способные люди необходимы мне для моих заводов,— заключил князь свою речь и откланялся профессору. А молодому человеку тогда же было строгое внушение сделано, чтоб оставил всякое мечтание о воле, но приказано было еще год остаться при клинике, «дабы мог он большему научиться и лучше напрактиковаться в распознавании болезней и лечении оных, чтоб большую пользу приносить на месте своей будущей службы». Так написано было в той четвертушке серой бумаги, которую получил он из конторы князя после посещения его профессором. Итак, если у молодого человека и были какие-нибудь мечты о воле, то они разлетелись в прах.

В то время в заводах еще мало говорили о воле, но в столицах уже ощущалось какое-то новое веяние, какая-то живая струя. Это веяние, вероятно, коснулось и нашего молодого человека. Представляясь по приезде из Петербурга главноуправляющему по окончании курса, новый фельдшер (звали его Василий Иванович Крапивин) держал себя так свободно и просто, не выражая никакого страха, что до некоторой степени удивил других служащих. Управляющий был человек неглупый, видевший немного дальше своего носа, и новый фельдшер понравился ему. Он назначил его старшим фельдшером в больницу и сразу положил ему высший оклад фельдшерского жалованья. Этим управляющий невольно создал ему врагов в самом начале его службы.

Кроме того, Василий Иванович не понравился доктору, старому, обленившемуся и очень самолюбивому человеку. Он вскоре после поступления на службу осмелился спорить с доктором, высказывать свои мнения и даже указать

на ошибочный прием в лечении какой-то болезни. Сразу возникли неприятности, и служебный персонал больницы разделился на два лагеря. Более молодые люди пристали к новому фельдшеру, а старики присоединились к доктору.

Доктор обратился с жалобой к управляющему. Тот сделал Василию Ивановичу довольно благосклонное внушение, где много говорилось о почтении к старшим, более опытным людям, о смирении и уменье подчинять свое самолюбие пользе общего дела, на что Василий Иванович возразил, что он готов молчать и подчиняться там, где не будет видеть в распоряжениях врача прямого вреда для больных, но считает своей обязанностью отстаивать то, что найдет более полезным для них. Хотя после этого отеческого внушения Василий Иванович и стал несколько сдержаннее, но отношения между ним и доктором не улучшились. Неприязненное чувство только затаилось и от этого стало еще глубже.

Неудовольствие доктора усиливалось еще тем обстоятельством, что все заводские служащие, а за ними мастеровые стали звать нового фельдшера к своим больным, минуя доктора, который, хотя раньше весьма лениво и неохотно посещал больных, обиделся этим и стал выражать неудовольствие. Еще большее неудовольствие возбудил Василий Иванович в докторе тем, что у какой-то серьезно больной женщины прописанное доктором лекарство заменил своим, и хотя женщина выздоровела, доктор простить обиды не мог и снова пожаловался управляющему. Чтобы уладить неприятности, управляющий послал строптивого фельдшера в Новый Завод, отстоящий далее всех других от главного управления, как будто для борьбы с появившимся там тифом, донесение о котором было получено в управлении уже с месяц тому назад. Посылая Василия Ивановича в Новозаводскую больницу, управляющий хотя и пожурил его, но все-таки обещал сохранить ему высший оклад жалованья и не оставлять его слишком на долгое время в Новозаводской больнице.

Однако ж о неудовольствиях между доктором и фельдшером кто-то довел до сведения помещика, и хотя отзыв управляющего был благоприятен Василию Ивановичу, но князь не обратил на это внимания и распорядился убавить Крапивину жалованье и оставить его в Новозаводской больнице заведующим фельдшером, а старого, уже давно выслужившего положенные годы, уволить на пенсию. Та-

ким образом, выходило, что Василия Ивановича наказали за строптивый характер ссылкой в самый отдаленный завод на меньшее жалованье.

Но в момент приезда фельдшера в Новый Завод обо всем этом как он сам, так и никто в заводе еще не знал. Тиф, унесший вначале несколько жертв, начинал утихать, и заведующий больницей, еще бодрый и юркий старичок, Сергей Максимович Каратаев, предполагал, что «новенький» послан не для борьбы с тифом, а для того, чтобы ревизовать его. О том, что Василий Иванович приехал и остановился во въезжем доме, в больнице узнали в тот же вечер, но в ночь, конечно, не успели привести в ней всего в порядок, и Сергей Максимович немножко трусил в душе за разные неисправности и беспорядки и в то же время стыдился своей трусости перед каким-то мальчишкой.

Кроме Сергея Максимовича, особенно сильно волновался один из больных. Это был старший конторщик, Семен Васильевич Назаров, тоже болевший, по определению Сергея Максимовича, «легоньким тификом» и уже почти выздоровевший. Он лежал в больнице потому, что был тоже приезжий в Новом Заводе и не имел никого из родных при себе, кто мог бы ходить за ним во время болезни. Волновался он больше всего потому, что в детстве знал Василия Ивановича и начал учиться вместе с ним, в одной и той же заводской двухклассной школе, курс которой в то время равнялся курсу уездного училища. Но по выходе из школы пути их разошлись: Василий Иванович, как один из способнейших учеников, был послан в Петербург, а Семен Васильевич за красивый почерк определен писцом в контору. И вот теперь, ожидая встречи со своим старым школьным товарищем, он больше всех волновался, не зная, как тот к нему отнесется, просто как к больному или вспомнит их старые школьные годы.

С утра постели в палате, где лежал Назаров, были тщательно оправлены, и больные, которые могли уже вставать и сидеть, в чистом белье и халатах сидели на своих койках.

— При нашем входе вы должны все встать и поклониться и стоять, покуда он не обойдет всех,— сказал больным Сергей Максимович, забежавший утром в палату, чтобы посмотреть, все ли в порядке.

— Слушаем, Сергей Максимович, постоим, только бы ноги держали,— заговорили больные в ответ.

— Ну, я на это не согласен,— горячо запротестовал Назаров, вскакивая с кровати и подходя к Сергею Максимовичу.— Стоять перед ним я не стану. Ведь я больной! Да и что тут за солдатская выправка? К чему это?

— Да это уж так заведено во всех больницах, что больные, которые в силах, встают и кланяются и стоят, пока врач обходит больницу,— смущенно ответил Сергей Максимович.

— Да Крапивин еще не врач, и нечего нам перед ним лебезить. Перед вами мы тоже не вытягивались, а он ведь такой же фельдшер, как и вы.

— Ну, куда мне до него,— скромно усмехнулся Сергей Максимович.— Да, впрочем, говорю я ведь не относительно вас, а вот им,—и он махнул рукой на других больных.— Они ведь мужички, простой народ, отчего же им и не встать и не постоять? Почему не почтить нового человека?

— Да мы согласны, согласны постоять,— заговорили больные в несколько голосов.— Отчего не постоять?

— Ну, а я не согласен,— снова заявил Назаров, пошел к своей койке и лег на нее поверх одеяла, закинув руки под голову.

— Это ваше дело, я от вас и не требую. Как были вы раньше знакомы с Крапивиным, так и поступайте, как сами знаете.

Сергей Максимович торопливо вышел.

II

Назаров, однако ж, не мог долго пролежать, он опять вскочил и стал торопливо набивать папиросы, вытащив табак из ящика ночного столика, стоявшего возле кровати. За этим делом и застал его новый фельдшер, вошедший в сопровождении Сергея Максимовича. Это был среднего роста худощавый блондин с красиво закинутыми назад, слегка волнистыми русыми волосами.

— Здравствуйте, здравствуйте,— торопливо проговорил он, окинув больных беглым взглядом и слегка кивнув им головой в ответ на их поклоны.— Садитесь, пожалуйста, зачем вы встали? — и он поспешно пошел к Назарову, единственному сидящему человеку, подумав, что это наиболее слабый больной. Тот, смущенный и взволнованный, поднял на него глаза.

— Ба, да это ты, Семенище! Вот уж никак не ожидал тебя здесь встретить. Да что с тобой?

Василий Иванович сел рядом с ним на кровать и, обхватив его за талию, ласково заглядывал ему в глаза.

Назаров просиял, он не ожидал такого сердечного привета от человека, с которым не виделся несколько лет, о котором думал, что он, пожалуй, загордился своей ученостью и не захочет его и узнать. А он не только узнал, но даже и старое школьное прозвище вспомнил, каким окрестили его в школе за его непомерный рост. Радостно заблестевшими глазами глядел он в лицо Василию Ивановичу, в это такое простое лицо, окаймленное небольшой русой бородкой, и в ласковые сероголубые глаза и, прежде чем начать говорить, несколько раз глубоко вздохнул. Моментом смущения воспользовался Сергей Максимович и принялся излагать ход болезни, то и дело уснащая свою речь латинскими терминами. Василий Иванович слушал с легкой улыбкой, жестом пригласив Каратаева сесть на стоявший рядом с кроватью табурет.

— Отлично,— сказал он в ответ Сергею Максимовичу.—Так у вас тут все восемь человек выздоравливающих, все скоро на выписку? Виват вам, Сергей Максимович! Сколько я понял из всего, что вы мне говорили теперь и раньше, процент смертности был у вас самый незначительный?

— За все время с появления болезни в два месяца было четыре смертных случая. Два в больнице и два в своих домах.

— Как же вы управлялись с больными, когда их много скапливалось? Помощников сколько у вас?

— Помощник один, сторож один на всю больницу и одна сиделка в женской палате да кухарка еще,— говорил Сергей Максимович все тем же тоном рапортующего подчиненного.

— Сколько же больных у вас скапливалось самое большое число?

— Человек двадцать было. Больше не бывало-с.

— Как же тогда вы управлялись с ними? Кто дежурил при них по ночам? Кто днем сидел, подавал лекарство?

— Да сам и дежурил по очереди с помощником и сторожем. Только вот спать они больно уж лютые. У сторожа, конечно, много дела, устанет за день, ну, ночью и спит, не добудишься его. А помощника прислали всего две недели

назад из Благодатской больницы, занимался там при аптеке, мальчик шестнадцати лет всего; положиться на него тоже еще нельзя-с; бывали случаи серьезные.

— Значит, сами постоянно следили за больными, сами и лекарства давали?

— Больше всего сам. Случалось, самому и экскременты удалять приходилось.

— Так вот как! Ну, исполать вам, Сергей Максимович, сам большой, сам и маленький был. Учиться мне у вас надо выхаживать тифозных больных,— говорил Василий Иванович, похлопывая рукой Каратаева по коленке.— Теперь вот меня в помощники к вам прислали.

— Ну, что вы-с,— сконфуженно заговорил Сергей Максимович.— Нам у вас поучиться-то следует, мы вас и ждали, как новое этакое светило науки.

Василий Иванович весело расхохотался.

— Ах вы, чудак-старина! Придумал тоже: светило науки! Да всего дороже в таких случаях вот этакий опытный и усердно исполняющий свое дело человек. Трудились вы, вижу я, не покладая рук, ну и получился результат хороший. А теперь пойдемте к другим больным. Есть серьезные?

— Во второй палате двое-с.

— До свиданья, Семен, я с тобой, дружище, не прощаюсь, я еще забегу.

Обойдя всех больных в сопровождении Сергея Максимовича, Крапивин прошел во вторую палату.

— Хороший человек, хороший,— заговорили больные, столпившись в кучку по уходе Крапивина и Каратаева.— Хорошего человека сразу видно, простой такой, обходительный, видать, что добрый.

— Вот бы к нам его,— пожелал кто-то.

— Где! Не назначат.

Назаров, сияющий, расхаживал по палате, усиленно пыхая папироской и с удовольствием прислушиваясь к этому оживленному говору, в котором отражалось хорошее впечатление, произведенное новым фельдшером.

Обойдя больницу, Крапивин еще забежал в палату и сообщил Назарову, что вечером и он переберется из въезжего дома в свободную палату, где и будет его временная квартира, и туда же просит перебраться и Назарова.

— Да ты бы того, брат, поберегся,— заботливо сказал

Назаров, почесывая голову.— Ведь тиф — это, брат, того, штука заразительная.

— Э, не беда. Если я схвачу «легонький тифик»,— весело засмеялся Крапивин,— Сергей Максимович пропишет мне лекарство и живо на ноги поставит. Однако я спешу, время представляться вашему управителю. Уж скоро одиннадцать часов.

Проводив Крапивина, Сергей Максимович вернулся сияющий и радостный.

— Осмотр больницы сошел хорошо-с,— говорил он Назарову с довольным видом, потирая руки.— Всем остался доволен Василий Иванович: и чистотой в здании, и воздухом, и в ретирадах был, и хоть были кой-какие погрешности, ну да он не обратил на них внимания. Можно надеяться, что отзыв даст о состоянии больницы хороший, а для меня это важно, ведь я уж старик, положенное число лет выслужил, и пора, пожалуй, мне и на пенсию, хотя я готов послужить и еще-с. А все же хороший отзыв для меня очень важен, очень!

Сергей Максимович с довольным видом расхаживал по палате и все потирал свои руки.

Управитель, Николай Модестович Нагибин, был человек уже немолодой и довольно заскорузлый и черствый сердцем. Служил он управителем давно и привык самовластно распоряжаться в заводе. Сам беспрекословно подчиняясь всем приказаниям, какие получал от высшего начальства, он и от всех своих подчиненных требовал того же относительно себя. Держал он себя с ними важно и гордо, руки даже никому не подавал. С Василием Ивановичем, однако ж, он обошелся очень любезно и, выслушав его рапорт о состоянии больницы и числе больных, а также и похвалы неутомимости и энергии Сергея Максимовича, стал расспрашивать о новостях в главном управлении, о здоровье своих благодатских знакомых и, наконец, пригласил его в столовую закусить. Там он познакомил его со своей женой, пожилой, добродушного вида, довольно полной женщиной, и молодой девушкой, племянницей жены. Закуска была уже приготовлена, но только что они хотели выпить по рюмке водки, как из передней раздался довольно громогласный вопрос:

— А дома ли хозяева и можно ли их видеть?

— Можно, можно, все дома,— заговорила Серафима Борисовна (так звали жену Нагибина) и любезно пошла

навстречу выглядывавшему из передней механику-шведу Густаву Карловичу. Это был еще молодой человек лет тридцати с небольшим, темноволосый, крепкого сложения мужчина с приятным и умным лицом. Он держал себя с Нагибиным совершенно просто, по-товарищески, частенько подшучивал над его начальнической важностью и один в заводе дерзал спорить с ним и опровергать его иногда не совсем удобные для себя распоряжения. И Нагибин смалчивал и нехотя подчинялся, зная, что главное управление дорожит механиком и не желает, чтобы между ними были какие-либо распри. Крапивина познакомили с вошедшим Густавом Карловичем.

— А-а! Здравствуйте, здравствуйте,— сказал механик, говоривший хорошо по-русски и только изредка употреблявший не совсем правильные выражения.— Мы вас давно тут ждем. Сергей Максимович-то наш, бедняга, трухнул-таки да и нас-то напугал. А отправляться в Елисейские поля еще не хочется, еще пожить хочется, поработать. Конечно, поживете у нас,— заключил механик свою речь, потряхивая энергическим пожатием руку Василия Ивановича.

— Да, я послан с тем, чтобы прожить здесь время эпидемии; но я нашел ее уже значительно ослабевшей и большинство больных выздоравливающими. Можно надеяться, что она теперь не возобновится больше,— ответил Василий Иванович.

— Ну, разумеется, разумеется. Я того мнения, что с появлением нового эскулапа у нас все болезни исчезнут, и духу не будет,— весело смеясь, говорил механик.— А долгонько же, однако, управление собиралось послать нам помощь. Чуть не два месяца прошло, как донесли отсюда о появлении тифа. Не очень-то оно заботится об нас, не очень.— И Густав Карлович похлопал по плечу управителя.

— Да ведь и не было таких особой важности случаев, из-за которых бы тревожиться стоило,— возразил Нагибин с обычной своей флегмой.— И один Сергей Максимович управлялся хорошо. Вот и Василий Иванович нашел все его действия правильными.

— Ну, конечно, все правильно! И то, что человек пять-шесть на кладбище стащили — тоже правильно,— рассмеялся механик.

— Случаи смерти могут быть и при самых лучших вра-

чах,— сказал Крапивин,— а энергия и неутомимость Сергея Максимовича просто удивительны, я преклоняюсь перед ним.

— Но, кажется, у него очень мало знаний,— сказал Густав Карлович с серьезной миной,— вообще небогато тут,— и он ткнул себя пальцем в лоб.— А сам доктор не собирается сюда?

— Собирался, но он что-то нехорошо себя почувствовал и не поехал, побоялся тряской дороги. Вот меня и командировали сюда.

— И лучше, и умнее поступили, а только я уж не раз замечал, что доктору всегда начинает нездоровиться, когда ему предстоит чем-нибудь потревожить свою особу. Не понимаю я, зачем это управление держит такого старого, обрюзглого, обленившегося врача.

— Господа, выпить прошу вас, уж давно адмиральский час пробил,— предложил Нагибин, желая прекратить разговор, начинавший ему не нравиться.

— А, выпить! Это мы не прочь,— сказал Густав Карлович, подходя к столу, около которого хлопотала Серафима Борисовна, прибавляя разной снеди.— Только я всегда скажу, что этого старого лентяя давно прогнать следовает. Велика важность, что когда-то, полтораста лет тому назад, он вылечил самого князя от флюса там или насморка, так и надо держать его за это целый век,— говорил Густав Карлович, взявшись за рюмку и обводя всех вопросительным взглядом.

— Господа, здоровье вновь приехавшего! — предложил Нагибин, протягивая механику рюмку. Они чокнулись с Василием Ивановичем, ответившим легким поклоном на их тост, и выпили.

— Я слышал, у вас уже были столкновения с доктором? — продолжил механик раз наладившийся разговор.— Ну и что же? Как вы его нашли? Ведь старая ветошь — и только? Сергей Максимович-то у нас, пожалуй, лучше будет?

Механик весело расхохотался.

— Упрям очень наш доктор и как-то мелочно самолюбив,— ответил Василий Иванович.

— Довольно вам, господа, толковать на эту тему, давайте-ка повторим да вот займемтесь лучше этим.— И, вновь налив рюмки, Нагибин придвинул гостям блюдо с маринованными линями.

— А-а! Лини! — воскликнул Густав Карлович, неравнодушный ко всякой вкусной снеди.— Да где вы их достали, Николай Модестович? И что бы хоть немножко поделиться со мной.

— И поделились, — ответила за мужа Серафима Борисовна.— Я уже послала две парочки Марье Ивановне.

— Вот за это спасибо, это любезно, это по-дружески,— говорил Густав Карлович, пожимая руку Серафимы Борисовны.— Почему же только Меричка не сказала мне об этом?

— Верно, сюрприз хочет вам сделать,— предположила Серафима Борисовна, улыбаясь [1].

III

Густав Карлович, нанявшийся в Новый Завод устраивать пудлинговые печи и ставить какие-то машины, проводил целые дни в фабрике, приходя домой только к обеду, поэтому Марья Ивановна, сидя дома одна целые дни, была рада обществу Лизы. Она охотно поделилась с ней всеми своими знаниями по части рукоделий, светских приличий, а также и мод. Поделилась выкройками и рисунками из Модного журнала, который выписывала, и стала ее руководительницей и наставницей по устройству костюмов, выбору материй для них и вообще во всех мелочах жизни, которые в то время одни наполняли все время женщин.

Дружные между собой во всем, молодые приятельницы только в одном мало сходились: Лиза очень любила читать, а Марья Ивановна почти ничего не читала и только иногда слушала, как Лиза читала ей какой-нибудь рассказ или повесть, обыкновенно переводную, печатавшуюся в Модном журнале. Когда получался Модный журнал, Лиза прежде всего набрасывалась на чтение, а Марья Ивановна отнимала у нее журнал и заставляла прежде с должным вниманием отнестись к модным картинкам, рисункам и выкройкам и тогда уже разрешала ей

---

[1] Некоторые листы рукописи здесь утрачены. Очевидно, на отсутствующих страницах в повесть вводилась Лиза Архипова, дочь хлебного запасчика, племянница Серафимы Борисовны.

читать то, что было тут по части литературы. Кроме Модного журнала, в Новый Завод выписывалась газета в контору, да Назаров в компании с другими конторскими служащими выписывал журналы, а всякие другие книги были большой редкостью. Лиза, разумеется, читала журнал потихоньку от отца, а часто и от тетки приходилось прятать книгу.

Серафима Борисовна находила, что девушке всего приличнее сидеть за рукодельем или заниматься домашними работами по хозяйству, а не тратить время на чтение всяких пустяков. И Марья Ивановна считала своей обязанностью говорить Лизе, что в романах больше вздору, чем правды, что и люди и чувства там все выдуманные, но Лиза не верила и спорила. Эти-то споры, вероятно, больше всего и послужили к их сближению. Для Марьи Ивановны весь мир заключался в ее Густаве, Юлечке и Басе да еще в устройстве своего домашнего обихода и комфорта. Но, живая и общительная от природы, она находила время и для общения со своими знакомыми, любила и поболтать, и пошутить, и посмеяться. Вообще молодежь в Новом Заводе находила ее в высшей степени хорошей женщиной, а Лиза и любила и глубоко уважала ее, благодарная в душе за то, что Марья Ивановна не пренебрегла обществом такой простой, необразованной девушки [1].

. . . .
. . . .
. . . .

— Эге, дружище, да ты, видно, попался! Я ведь видел третьего дня, как вы прощались, когда вместе вышли от механика, и тоже заприметил кое-что.

— Ну, как же прощались? Обыкновенно, как с тобой и другими, за руку и только.

— А тебе, небось, облапить и расцеловать ее хотелось? — шутил Назаров, смеясь.

— Семен, замолчи, не болтай вздору!

— Да вижу, вижу, что таешь; вижу, не скрывайся,— не унимался Назаров.

— Нечего видеть-то. Я прямо скажу, что Лизавета Петровна славная девушка, умная и очень мне понрави-

---

[1] Здесь утрачено несколько листов рукописи.

лась, но о любви и поцелуях еще и думать рано. Всего-то раз пять виделись и несколько слов сказали друг с другом, а вы уж и пошли сочинять,— с досадой сказал Василий Иванович, выходя из палаты.

— Ну, ну, не ершись,— посмеивался про себя Назаров, которому раньше тоже очень нравилась Лиза, но она не обращала на него никакого внимания, а умильные взгляды Маши Лопатиной начинали все сильнее привлекать его.

«Пусть, пусть, из вас будет славная парочка»,— думал он, ложась на кровать и бросая докуренную папироску, и решил, что не будет больше докучать своему приятелю шутками на этот счет. Грубоватый на словах и в манерах, Назаров был очень добр душой, чуток и деликатен в отношениях с знакомыми.

Василию Ивановичу по двум причинам была неприятна болтовня приятеля: первая та, что в ней было много правды. Лиза как-то сразу очаровала его, до сих пор довольно равнодушного к женщинам. Она не была красавица, но все-таки ее свежее, румяное личико было очень миловидно. Но всего более нравились ему ее глаза, такие чистые, спокойные и смелые. Она не играла ими, не разглядывала его исподтишка, не опускала с притворной застенчивостью, а глядела так спокойно и просто, внимательно и с серьезным видом слушая его речь. И в глубине души Василий Иванович начинал сознавать, что взгляд этих чистых серых глаз может сделать его счастливым. И пусть его жизнь длится в этой глуши целые годы, только бы дождаться того момента, когда эта милая девушка взглянет на него с любовью и доверчиво даст ему свою руку. Но едва он сам начал сознавать возникавшее в нем чувство, как оно уже сделалось предметом шуток и разговоров для его близких знакомых. Назаров не первый заговорил с ним сегодня о Лизе. В этот день, когда Василий Иванович зашел к механику посмотреть его девочку, с которой с вечера был небольшой жар, и, не найдя у нее ничего серьезного, старался успокоить встревоженную Марью Ивановну, она как-то вдруг заговорила с ним о Лизе. Она сказала, что заметила, что ему нравится Лиза, и посоветовала ему не упускать такой хорошей невесты.

— Поручите мне сосватать ее вам, и я живо это дело обделаю.

Василий Иванович поблагодарил и сказал, что об этом еще рано думать.

— Почему же рано? Чем раньше станете об этом думать, тем лучше. А то смотрите, как бы у вас не перехватили невесту. Я знаю, что ее хочет сватать Новожилов из Сосьвы. Это сын богатого торговца там. Мне это говорила Серафима Борисовна. Надо успевать пока до него.

— Если Новожилов нравится Лизавете Петровне, то...

— Да вовсе он ей не нравится, а просто отдаст ее отец за него и только. Здесь не очень-то спрашивают согласия у невесты.

— Ну, все-таки и насильно отдавать, вероятно, не станут,— сказал Василий Иванович и, поблагодарив Марью Ивановну за желание ему добра, ушел домой. А дома приятель затеял подсмеиваться на ту же тему. «Если Семен еще загородит этот вздор, придется оборвать его поосновательнее»,— решил Крапивин в уме.

IV

Но обрывать приятеля ему не пришлось. Назаров перестал докучать ему разговорами о Лизе. Замолчала и Марья Ивановна, но мысль свою женить Крапивина на Лизе она не оставила. Она посвятила в свою затею и мужа, и хотя он высмеивал ее, как сваху, но не находил ничего несообразного в ее планах. Она стала всячески способствовать сближению молодых людей, устраивая то чай в саду, приглашая на него Василия Ивановича и Лизу с подругой, то поездку куда-нибудь за грибами или ягодами или просто с чаем. В таких поездках принимала участие и Серафима Борисовна и еще кое-кто из знакомых. Но тут общество держалось все вместе, и молодым людям едва удавалось перекинуться между собой лишь несколькими словами. Раз, возвращаясь с такой прогулки, Марья Ивановна высказала свое мнение о том, что Василий Иванович самый подходящий для Лизы жених, и по недовольному лицу Серафимы Борисовны сразу увидала, что ей эта мысль не понравилась.

— Вы так думаете, да отец-то ее так не думает,— сказала Серафима Борисовна,— хочется ему зятя богатого. У него ведь есть деньжонки и не маленькие: и сам скопил, да и от отца еще унаследовал. Нет, он не согласится.

— Да какого же ему еще лучшего зятя надо? Здесь, на Новом Заводе, и женихов лучше его нету.

— Здесь нету, в других местах найдутся.

— А по-моему, лучше искать нечего. Он такой славный, умный, так хорошо себя держит,— продолжала Марья Ивановна свою атаку.

— Хорошо себя держит, а с доктором уже успел поссориться и с высшего места на низшее переведен. Нет, по-моему, так он не умеет себя держать.

— Да я не в том смысле, я хочу сказать, что он совсем не мужик, и манеры у него такие хорошие, приличные. А жалованье ведь могут и прибавить, когда увидят, какой он полезный человек.

— Ну, много жалованья не прибавят. Фельдшерам не полагается большого жалованья,— возразила Серафима Борисовна с упорной настойчивостью,— а Василью Ивановичу, кроме фельдшерского места, никакого другого и не видать.

— Положим, так, но надо и то помнить, что и Лизанька ваша простая девушка. Отец — хлебный запасчик, почти что простой мужик.

— Это правда, простой он мужик, чуть только грамоте знает, а гордости в нем много, да и самодур он большой.

— Да чем же ему гордиться?

— Нечем больше, как своими деньгами. Я вам говорю, богатого он зятя ждет.

— Да разве уж Новожилов так богат?

— Конечно, со средствами человек. Живя за ним, Лиза нужды не увидит. А главное то, что купчихой будет.

— Да ведь он тоже крепостной?

— Был, да выкупился и теперь купец.

— Ну, да ведь скоро и все крепостные вольными будут. Мне это Густав говорит, а он знает,— сказала на это Марья Ивановна.

Серафима Борисовна поглядела на нее пристально и потом сказала, понижая голос:

— И я слыхала, да только еще, правда ли это? Да и когда это будет? А и будет, так Василию Ивановичу немного корысти от воли. Как он был фельдшером, так фельдшером и останется.

— Тогда он может поехать учиться и сдать экзамен на доктора. Ведь он еще молодой человек.

— Да ведь на это средства нужны.

— Конечно, так вот и хорошо бы ему было жениться на богатой невесте, и средства бы были,— наивно рассудила Марья Ивановна.

— Ну, старик денег не даст. Он, пока жив, денег из рук не выпустит. Умрет,— конечно, с собой в могилу не возьмет. Только не отдаст он Лизу за Василья Ивановича, и боже вас сохрани внушать ей эту мысль, одна неприятность может из этого выйти,— сказала Серафима Борисовна и стала прощаться, так как подъехали к дому. В душе она была очень недовольна Марьей Ивановной, но все-таки неудовольствия не высказывала.

— Я никогда ничего не говорила Лизе,— горячо возразила Марья Ивановна.— Зачем смущать девушку прежде времени? Мне очень жаль, что эта моя мысль вам не по душе. Из них бы славная парочка вышла! — Серафима Борисовна только улыбнулась в ответ, и на этом они расстались.

На другой день Серафима Борисовна позвала племянницу к себе и осторожно попыталась выведать у нее ее сокровенные думы. Застигнутая врасплох, Лиза смутилась, но не выдала своей сердечной тайны. Да и сама она еще не сознавала ясно своего чувства к Василию Ивановичу и даже с Машей, своей задушевной подругой, не делилась своими думами. Она ощущала пока только тот бессознательный радостный интерес, какой является к новому, успевшему произвести хорошее впечатление человеку. Вопросы тетки и ее предостережения насчет того, что увлекаться не следует и нечем, что женихи найдутся и получше, только заставили ее посильнее задуматься и взглянуть на Василия Ивановича как на возможного жениха.

«И с чего это тетка выдумала, что тут может что-нибудь такое быть? Он такой умный, образованный, а я едва грамоте знаю. Да и в голову не придет ему жениться на мне»,— думала Лиза и невольно вздохнула и в то же время вспомнила с тайным удовольствием его полные какого-то особого выражения взгляды. Она понимала, что нравится ему, а теперь, после разговора с теткой, сознала, что и он ей нравится более всякого другого. Она знала, что отец и тетка прочат ее за Новожилова, но он никогда не нравился ей, ни его ухватки приказчика из лавки, ни речь, ни наружность дебелого русского молодца. «Он деревянный какой-то, и глаза, как у рыбы, лицо всегда красное, а

руки потные,— говорила она Маше еще до приезда Василия Ивановича, когда в разговоре им случалось разбирать женихов.— Неужели я когда-нибудь выйду за него замуж? Уж вот бы не желала».

— Зато богата будешь,— сказала ей на это Маша единственно только для того, чтобы сказать что-нибудь.

— На что мне его богатство, я не нуждаюсь в нем. Еще в лавку посадят и торговать заставят, а я этого терпеть не могу. Я охотнее бы вышла за Назарова, он много лучше и симпатичнее Новожилова.

— Ну, этого ты не смей и думать! — вспыхнула Маша.— Ты знаешь, что он мой кумир, и я тебя задушу, если ты отобьешь моего жениха.

— Да ведь он тебе еще не сделал предложения, с чего ты его зовешь своим женихом,— рассмеялась Лиза на полушутливую, полуупрекающую речь подруги. Та вздохнула.

— Не делал да, пожалуй, и не сделает,— сказала она грустно. Она не скрывала от Лизы, что влюблена в Назарова, и часто поверяла ей свои мечты, надежды и сомнения. Во время болезни Семена Васильевича она плакала в ее объятиях и клялась, что уйдет в монастырь, если умрет Семен. С приездом Василия Ивановича явился новый интересный предмет для разговоров между приятельницами, и скоро Маша сказала подруге, что это приехал жених для нее и что теперь Новожилов, пожалуй, останется с носом.

— Для кого этот жених, я не знаю, но по правде рада бы была оставить сосьвинского с носом,— шутливо сказала Лиза. Она не высказывала вначале никакого особенного интереса к вновь прибывшему и только просто сказала подруге, что новый фельдшер ей понравился. Но в течение лета ее интерес к новому фельдшеру возрос, и сердечко ее всякий раз начинало бить тревогу, когда, сидя в беседке у Марьи Ивановны с работой в руках, она, бывало, завидит Василия Ивановича, направляющегося к ним.

— А я вам новую книгу несу, Лизавета Петровна,— кричал ей еще издали Василий Иванович, махая книгой.— Стянул у Семена и притащил.

— Ну, зачем же так, он, пожалуй, рассердится на вас,— говорила Лиза и, вся раскрасневшись, бросала работу и протягивала руки за книгой.

— Вот еще, рассердится! Очень я его боюсь. Читайте

и не торопитесь, успеет еще и он прочесть. У него еще и старые наполовину не прочитаны. Ляжет после обеда с книгой в руках, да и уснет, и книга упадет на пол. Только и читает, пока чай пьет.

— Проснется теперь наш Семен Васильевич, станет книгу искать, а ее и нету,— рассмеялась Марья Ивановна, сидевшая тут же.

В последнее время она уж не старалась оставлять молодых людей одних. Серафима Борисовна успела охладить ее желание сосватать их. «Может быть, это и само собой устроится»,— не без лукавства думала Марья Ивановна, исподтишка следя за молодыми людьми. Но скоро миновало короткое уральское лето, август наступил холодный и дождливый, пришлось отказаться от чая в саду и засесть в комнатах. В это же время Петр Яковлевич как-то сурово заметил Лизе, что она слишком часто шатается к механичихе и что пора бы ей побольше дома сидеть. Лиза промолчала на замечание отца и, скрепивши сердце, стала бывать там реже. Она знала, что ее дружба с Марьей Ивановной не нравится отцу, и боялась, как бы он и совсем не запретил ей бывать там. Да и Серафима Борисовна стала ее часто звать к себе и задерживать у себя по нескольку дней, заставляя помогать себе в приготовлении разных солений и варений.

— Все это тебе пригодится со временем, Лизочка, когда будешь своим домом жить. Может быть, придется тебе большое хозяйство вести, так и надо все это знать,— говорила Серафима Борисовна Лизе. Она особенно много готовила солений и маринадов в это лето, потому что в конце сентября им с Николаем Модестовичем предстояло праздновать двадцатипятилетие своего супружеского сожития, несчастного только в том отношении, что бог не благословил его детьми. Оба супруга были большие хлебосолы и любили, чтоб, уж если у них справлялся какой-либо праздник, так справлялся бы на славу. Все заводское общество ждало этого праздника с большим интересом, а Лиза даже с большим нетерпением. Тут, вероятно, придется и увидаться и поговорить с Василием Ивановичем, которого она вот уж несколько дней не видала. И даже с Машей ей приходилось не видеться по нескольку дней. Зато перед балом молодые девушки провели вместе чуть не целую неделю, озабоченные приготовлением нарядов к балу, и успели вдоволь наговориться.

V

Долго ожидаемый праздник наступил, наконец, и часам к шести вечера гости уже все собрались и, как водится, сначала усердно занялись чаем. В гостиной восседали батюшка с матушкой и другие почетные гости, а молодежь, угощать которую было обязанностью Лизы, расположилась в угловой комнате между гостиной и столовой. Весело и оживленно болтала молодежь, обрадованная случаем провести вечер более приятно и интересно, чем всегда. И вдруг среди этого разговора выяснилось, что единственный музыкальный инструмент, большая гармоника, совершенно испортился.

— Ах, какая жалость! Не придется и потанцевать,— вздыхали барышни.

— Отчего же? Под гитару можно,— предложил кто-то.

— Ну, что уж под гитару! Это совсем не то.

— Что же делать? Не сидеть же из-за этого, повесив носы, будем песни петь, играть разными играми,— предложила Лиза, угощая подруг десертом.— Мы так давно не собирались все вместе, не проводили сообща вечеров, что неужели не сумеем провести повеселее вечер?

— Зато теперь часто будем собираться, осень наступает, вечера длинные; вот мы и будем сходиться с работой,— сказала Маша Лопатина.

— Можно будет и нам приходить на ваши вечеровки? — спросил Назаров, подсаживаясь к ней с своим стаканом чая.

— Что ж, приходите, только ведь мы все с работой будем, а вы какую же работу принесете?

— Думаете, не найду? Найду, не беспокойтесь. Вот хоть гильзы клеить.

— Это что за работа! Мы вас с такой работой не пустим,— смеясь, говорила Маша. Ее хорошенькие глазки весело блестели.

— Да неужели же ваши вышивочки и вязаньица — работа? Одна это пустая трата времени. Ведь согласитесь сами, отлично можно и без них обойтись.

— И без папирос можно обойтись. Вот уж на них-то вы совсем попусту тратите время и деньги, только вредите себе и своему карману,— бойко спорила Маша.

— О-о! Да вы еще и скупая оказываетесь, жалеете не только свои, а и чужие карманы.

— Я очень скупая, это правда. Я своему мужу ни за что не дала бы денег на табак,— смеялась Маша, лукаво блестя глазами.

— Всем своим знакомым закажу, чтоб на вас не женились, на такой скряге,— шутил Назаров.

— Не беспокойтесь заказывать, и так ни за кого из ваших знакомых не пойду.

В это время новый гость появился в комнате, и разговоры притихли; все обратили на него свое внимание, здоровались с ним. Это был Федор Степанович Новожилов, богатый жених из соседнего завода. Его никто не ждал, и появление его произвело некоторый эффект. Все обратились к нему с поздравлениями с приездом, как к недавно только вернувшемуся с Макарьевской ярмарки, с расспросами о том, как он съездил, что особенно интересного видел, что слышал.

— Да не знаю, право, что сказать. Кажись, я ничего особенно интересного не видел, а новостей там всяких узнавать я не охотник,— заговорил Новожилов, как-то особенно расставляя руки. Он понимал, что под новостями подразумевалось, не слышал ли он чего о воле, но не желал говорить об этом.— Вот что касается мануфактуры, так тут я озаботился и всего привез самого свеженького, самого модненького. Покорнейше прошу вас, барышни, и вас, господа, не оставлять нас своим вниманием,— заключил Новожилов свою речь и слегка поклонился всем общим поклоном.

— Ну и купчина! Только и знает, что зазывать в свою лавочку,— воскликнул Назаров, разведя руками: — А мы-то ждали, что он, сломавши такую путину, нам кучу новостей расскажет, да как там люди живут, да как веселятся, что про волю не толкуют ли, об чем речи ведут, чем больше заняты. Да мало ли что можно увидеть и услыхать в таком многолюдном месте! А он — на-ка поди! Ничего, говорит, не слыхал, ничего не видал, только и сообразил кое-что насчет своей мануфактуры. Да будто уж только и свету в окошке, что разные модные товары!

Назаров, вставший было с места, махнул рукой, повернулся к Новожилову спиной и пошел опять к своему месту около Маши.

Новожилов обиделся.

— Эх, Семен Васильевич, какой человек вы странный. Ведь вы знаете, что тятенька у меня уж старичок, и преж-

де всего я должен был его успокоить насчет своих делов, а как все дела обделали, так сейчас и домой поворот. Под главным домом музыки послушали, потолкались в народе, ну и довольно.

— Да неужто вы ни разу и в театре не бывали и нигде, кроме как под главным домом? — спрашивал Назаров, все еще недоумевающий, как это человек так мало впечатлений вынес из такой дальней поездки.

— Как же, бывал, был с знакомыми купцами и в театре, и в цирке, и акробатов там разных видел, да что ж тут такого особенного? Раз поглядел, два, оно и прискучило,— возразил Новожилов, передернув плечами.— Все эти развлечения для праздных и богатых людей устроены, а не для нас,— добавил он, принимаясь за поданный ему чай.

— Ну, это вы напрасно так думаете,— не унимался Семен Васильевич,— есть у нас поговорка одна, весьма справедливая: кто зачем пойдет, тот то и найдет. Иной из театра много хорошего вынесет, впечатлений там свежих, чувств благородных, возвышенных, ну, одним словом, дух в нем поднимается, а другой, конечно, и не поймет ничего, а потому соскучится или начнет около буфета продовольствоваться и в конце концов бог знает куда попадет. А об вас-то мы иначе думали, человек вы молодой, недавно со школьной скамьи, вот мы и ожидали от вас больше, чем от вашего тятеньки или дяденьки. Те уж старики и всей душой в свое торговое дело ушли, а вам-то, кажись бы, рано еще таким быть.

— Так-то оно так, Семен Васильевич, да только когда на руках у вас дело да родитель над вами вроде стража неусыпного, только и следит, чтоб я ничем посторонним не заимствовался, так и выходит, что ты, как связанный. Да оно и бог с ним, я ни за чем посторонним не гонюсь, только бы своего не упустить.

— Ну, конечно, свои карманные интересы ближе и дороже всего,— рассмеялся Семен Васильевич.

— Да кому же свои интересы не дороги? Коснись до вас, так и вы своего упустить не пожелаете.

Вошла Серафима Борисовна и стала приглашать гостей в залу.

— Пожалуйте в залу, там попросторнее, там и поиграть и песни попеть можно, идите, идите, пожалуйста, что здесь сидеть в углу.

Все перешли в залу. Там только что пришел Василий Иванович, его познакомили с Новожиловым. Пока мужчины знакомились и разговаривали между собой, барышни столпились в кружок и сговаривались, какие петь песни, какими играть играми. К ним подошла Серафима Борисовна и стала их убеждать скорее начинать игры. Она любила, чтоб у них веселились, любила петь и сама первая запела:

Ходит царевич, ходит царевич
Вокруг нова города...

Хоровод тотчас же устроился, и барышни дружно подхватили песню. Новожилов, а за ним и Назаров начали ходить кругом хоровода, изображая царевичей, ищущих своих царевен. Песню пришлось повторить несколько раз, пока все царевичи отыскали своих царевен, затем ее сменила другая в том же роде. Запели:

Плыла лебедь, плыла лебедь...

И Лизе, вытолкнутой в середину хоровода, пришлось изображать гуляющую по бережку красную девицу. Вслед за ней тотчас же вышел и Новожилов и с низкими поклонами стал подходить и с той и с другой стороны, желая ей божьей помощи, но спесивая красная девица даже не взглянула и с пренебрежительной минкой всякий раз отворачивалась от кланяющегося доброго молодца. Не дождавшись ответного поклона, Новожилов запел довольно звучным баритоном:

Пожди, девица, спокаешься!
Пошлю сватов, я засватаю тебя.
Стоять будешь у кровати тесовой,
Знобить будешь резвы ноженьки свои,
Сушить, крушить ретиво сердце.

— Ну уж, нет, этого не дождетесь,— расхохоталась Лиза, прерывая песню, и вышла из круга, тогда как, следуя тексту песни, должна была изображать спокаявшуюся красную девицу, ищущую примирения. Все засмеялись, хоровод расстроился.

— Ах, Лизавета Петровна! Да вы бы мне хоть чуть головкой кивнули. Я-то вам поклонов, не считая, отвешивал, а вы и головкой кивнуть не хотели,— упрекал ее Новожилов, останавливаясь перед ней.

— А вот не хочу даже и головкой кивать, когда к тому угрозами вынуждают,— задорно ответила ему Лиза.

— Ай-ай, какая вы гордая! — говорил Новожилов,

обтирая большим пестрым шелковым платком свой вспотевший лоб.— Меня даже в жар бросило от вашей жестокости.

Лиза рассмеялась. Барышни несколько времени прохаживались по комнате, смеясь и разговаривая, когда вошедшая Серафима Борисовна снова запела игровую песню, при которой все могли сидеть, кто где хотел:

Ехал пан, ехал пан из клуба пьян,
Обронил, обронил свою шляпу черную...

Новожилов встал при первых же словах песни, следом за ним поднялись еще двое молодых людей и принялись более или менее ловко изображать едущего из клуба пьяного пана, потерявшего шляпу. Новожилов уронил свою шляпу к ногам Лизы и затем жестами и поклонами приглашал ее поднять шляпу, напевая в то же время слова песни:

Подь сюда, моя панья милая,
Подними мою шляпу черную.

Лиза несколько колебалась, но вежливость все-таки требовала принять приглашение, и она встала и, подняв шляпу, надела ее на наклоненную голову Новожилова, ловко отдернув руку, когда он хотел схватить и поцеловать ее, как велела песня. Теперь Лизе пришлось изображать возвращавшуюся из компании панью, уронившую «с плечик шаль атласную». Шаль заменял просто носовой платок, который она и уронила перед Василием Ивановичем, не принимавшим никакого участия в игре.

Подь сюда, подь сюда, милый пан
возлюбленный...

пела она своим негромким, но мелодичным голоском. Он быстро встал и с поклоном подал платок Лизе, радостно загоревшимися глазами взглянув ей в глаза. Милая улыбка и ласковый взгляд были ответом на его немой вопрос. Они ходили по комнате, пока допевалась песня, и по окончании ее сели рядом.

— Как давно не видал я ничего подобного и не слыхал этих песен, кажется, с самого детства,— сказал Василий Иванович.— Чем-то родным и таким старинным повеяло на меня от них.

— А в Благодатске разве не играют никакими играми? — спросила Лиза.

— Нет, там только танцуют. Кадриль и полька вытеснили все игры и песни. Там весьма недурной любительский оркестр, и всегда можно иметь музыку.

— А здесь только один был музыкальный инструмент — большая гармоника, да и та испортилась, и теперь осталась только гитара, но что ж под гитару танцевать!— с сожалением сказала Лиза.

— Почему же, можно под гитару потанцевать. Есть очень простой и веселый танец — гроссфатер. Тут, подыгрывая на гитаре, можно и петь и танцевать.

— Да у нас, пожалуй, никто не знает этого танца,— возразила Лиза.

— Да это то же, что наша улочка. Вам случалось танцевать ее?

— Случалось.

— Так вот и прекрасно. Значит, не будет никакого затруднения. Вы будете танцевать со мной?

— С удовольствием.

— Теперь только познакомьте меня с обладателем гитары, и мы живо наладимся; я тоже немного умею на гитаре и покажу ему.

— С Петром-то Ивановичем! Да разве вы не знакомы? Это наш кассир.

— Да? С ним я знаком, только не знал, что он-то и есть музыкант.

Василий Иванович и Лиза, смеясь, встали и пошли в уголок залы, где сидел небольшого роста, черненький, невзрачной наружности человечек. Это и был Петр Иванович Лопатин, отец Маши и двух других молоденьких дочерей. Лиза объяснила ему, в чем дело, и они все вместе вышли в кабинет дяди, чтобы там сыграться с напевом. Лиза слушала слова гроссфатера и старалась запомнить их. Чтоб лучше запомнить, она принялась торопливо записывать их на столе у дяди, а Крапивин нарочно повторял их по нескольку раз подряд.

VI

Все время разговора Новожилов следил глазами за Лизой с все возраставшим неудовольствием. В нем закипала ревность. Еще весной он со своим тятенькой порешил, что женится на Лизе по осени. Летом у них было

так много торговых дел, что свадьбу играть было совсем некогда. В согласии отца старик Новожилов был вполне уверен, так как речь об этом уже шла между ними, а о согласии невесты ни тот, ни другой не заботились. Оно казалось несомненным ввиду согласия отца.

«Вот выискался, выскочка! — думал Новожилов, следя злыми глазами за уходившими в кабинет Крапивиным и Лизой.— Нет, я не уступлю тебе, сударик! Этот кусочек не про тебя!»

Между тем барышни опять запели:

Запрягу я пару коней вороную...

И Новожилов встал и, пройдясь по комнате, отправился в кабинет приглашать Лизу. Она было отговаривалась тем, что ей некогда, но Новожилов просил так настоятельно, что Лиза согласилась и вышла с ним в залу. Там уже прохаживалась другая пара, а именно Назаров с Машей; Лиза подошла к ней и, прохаживаясь с ней рядом, начала ей шепотом читать, что успела записать в кабинете. Они не обращали внимания на своих кавалеров, как того требовала и песня, и с презрением отворачивались от своих «мужей», когда они, закупив в китай-городе, подносили «женам»

Само, само наилучшее платье,

и «мужья» затем обращались с жалобой к добрым людям на нелюбовь своих «жен», не принимающих подарков. Затем песня повторялась, в ней говорилось, что обиженный муж снова отправлялся в китай-город за подарком и получал на этот раз «саму, саму наилучшую плетку». Лиза и Маша продолжали ходить по зале и затверживать то, что удалось Лизе записать.

Принимай-ка, жена, не стыдися,
Душа-радость моя, не спесивься,—

продолжал петь Новожилов и с гордым видом кинул на плечо Лизе свой пестрый шелковый платок, продолжая петь торжествующим тоном:

Посмотрите-ка, добрые люди,
Как жена-то меня молодца любит.

При этих словах Лиза и Маша вдруг расхохотались и, сбросив платки с плеч, сели на стулья около двери, прислонившись к косяку которой стоял Крапивин.

— Какая смешная песня! И какая тут глупая жена выведена,— сказала Лиза, смеясь и обращаясь к Крапивину.

— Правда, глупая жена выведена,— ответил вместо Крапивина Новожилов, остановившийся перед Лизой.— Только в этой песне много правды. Есть такие жены, которые только тогда и начинают любить своих мужей, когда они выкажут свою власть над ними.

— Вроде того, что вздуют своих жен плетью или палкой! Нечего сказать, должно быть, хороша любовь из-под палки! — заметил Крапивин.

— Однако вы, Лизавета Петровна, не хотите со мной ни одной игры доиграть,— упрекнул Новожилов Лизу.

— Надоели они мне,— ответила Лиза.

— И мне надоели,— сказал подошедший Назаров.— Все одно и то же. Лучше уж в кошку и мышку играть.

— Так бросим игры и станем танцевать гроссфатер,— предложил Крапивин.— Петр Иванович отлично подыграет нам. Надо только больше танцующих, надо всех просить принять участие, кроме играющих в карты.

— Отлично, отлично, устраивайте танец, я согласен,— заявил Назаров.— Марья Петровна, я с вами.— Маша с улыбкой кивнула головой, а Лиза с Василием Ивановичем принялись составлять и устанавливать пары.

— Да ведь мы совсем не умеем, не знаем ни слов, ни фигур,— протестовал было Новожилов, но его протест затерялся в общем согласии всех, заинтересовавшихся новым танцем. Он хотел было пригласить Лизу, но, узнав, что она уже танцует с Крапивиным, обратился к Серафиме Борисовне. Наконец, пары установились, Петр Иванович заиграл что-то вроде польского, и пары чинно двинулись по всем комнатам. Когда, обойдя комнаты, через переднюю вернулись в залу, Крапивин запел своим небольшим, но приятным тенорком:

Вот в полном разгаре и блеске наш бал,
Веселый гроссфатер оркестр заиграл...

Начались фигуры гроссфатера. Назаров подпевал басом, и все остальные, прислушавшись и уловив мотив, тоже принялись подпевать. Всем было весело, все подпевали и танцевали с удовольствием, и даже игроки бросили карты и вышли посмотреть на танцующих.

Вот щеголь поседелый
Бежит в манишке белой,
Ногой лягнет,
Другой дрыгнет...—

пел Крапивин все громче и увереннее, и танцующие, согласно то замедлявшемуся, то ускоряемому темпу, или чинно прохаживались, или весело проделывали немудреные и несложные фигуры гроссфатера. Молодежь веселилась от души, глаза у барышень сияли удовольствием. Один Новожилов имел недовольную физиономию. В душе его все сильнее и сильнее разгорались чувства озлобления и ревности к Крапивину, успевшему в один час затмить их всех и сделаться «персоной грата» вечера, и хотя он все еще не признавал его своим соперником, но уже глухо предчувствовал это. Он видел по разгоревшемуся лицу Лизы, по ее сияющим глазам, что тут есть что-то более простого удовольствия, и ему было досадно и неприятно.

Танец длился уже целый час, и все еще конца ему не предвиделось, все новые и новые фигуры выдумывал Крапивин, и все веселее и увереннее звучал его красивый голос:

Какой сумасшедший, какой вертопрах!
Ну, можно ль резвиться в преклонных летах!
Всему есть на свете сезон.

Уставшие из пожилых танцоров и танцорок отстали, уселись к стенкам и, обмахиваясь платками и посмеиваясь, переговаривались между собою:

— Ну и танцор, ну и певун! Не было еще у нас такого, всю компанию взвеселил. Веселый выдался вечерок, веселый.

В передней у дверей в залу столпились зрители из прислуги своей и посторонней, собравшиеся тоже посмотреть на танцы. Сзади всей этой толпы стоял высокий мастеровой с черной курчавой бородой и такими же волосами. Его загорелое, покрытое сажей лицо показывало, что он только что оставил работу и что-то особенно нужное пригнало его сюда. Это был пудлинговый мастер из пудлинговой фабрики, по фамилии Озерков.

Он обращался ко всем из прислуги Нагибина со своей просьбой, но все только пожимались на его просьбу, и никто не хотел ее исполнить. Да и сам он просил как-то нерешительно, точно сознавая несвоевременность своей

просьбы, и, стоя в кучке прислуги, глядел он на танцующих с какой-то странной смесью интереса и даже удовольствия и тоскливой мысли в открытых светлых глазах. Смолоду и сам он любил поплясать и всегда был первым затейщиком всяких плясок и игр. И до сих пор частенько ему принадлежал почин в устройстве какой-нибудь добродушной потехи или шутки над кем-либо из своих товарищей. Долго стоял он, переминаясь с ноги на ногу, и, может быть, простоял бы еще больше, если б его не увидал нечаянно вошедший в переднюю механик.

— Что ты? Чего тебе? — спросил он, живо заинтересовавшись присутствием рабочего в передней.— Не случилось ли чего в фабрике?

— Никак нет. На фабрике все благополучно. Только вот девочка у меня захворала, почитай, при смерти находится, Василья Ивановича мне бы надо.

— А-а, хорошо, я ему скажу, хоть и жаль его удовольствие портить. Вишь, он в танце главный зачинщик, и все дело, пожалуй, спутается без него,— сказал механик с сожалением.

— Да мне и самому жалко тревожить их, больно уж весело играют,— сказал рабочий,— только боюсь я, не умерла бы девчонка-то.

— Да что с ней?

— Тянет всю, ломает, а теперь посинела, и у рта пена.

— Окормили чем-нибудь, какой-нибудь дрянью напичкали,— сказал механик.— Сейчас подойду и скажу.

Василий Иванович только что остановился, кончив новую фигуру гроссфатера, как к нему подошел механик и, положив сзади руку на его плечо, сказал тихонько:

— Служба, батенька, прежде всего. Выдьте-ка в переднюю, там есть дело до вас.

Василий Иванович тотчас пошел в переднюю, продолжая напевать; Лиза глядела ему вслед с некоторой тревогой. Он быстро вернулся и, подойдя к ней, сказал:

— К сожалению, я должен идти к больной сейчас же. Прошу извинить, что нарушаю общее удовольствие. Но, может быть, танец продлится и без меня, Семен Васильевич будет начинать.

— Ах, как жаль! — сказала Лиза. Серафима Борисовна и Марья Ивановна тоже выразили сожаление и по-

шли в переднюю за Василием Ивановичем, обмахиваясь платками. Обе они танцевали с увлечением молодых девушек. Серафима Борисовна просила Василия Ивановича возвратиться к ужину.

— Постараюсь,— ответил он,— это ведь недалеко отсюда, тут напротив вас, за прудом.

Несмотря на убеждения Назарова продолжать, танец расстроился, и кавалеры пошли к столу с закусками по просьбе Серафимы Борисовны. После выпивки еще танцевали кадриль, но прежнего оживления и удовольствия уже не было. Часа в два стали накрывать ужин.

Лиза остановилась с Машей у окна в зале и, глядя на видневшийся за прудом огонек в одном из домов рабочих, сказала ей:

— Я думаю, Василий Иванович все еще там и потому не пришел сюда.

— Разве он туда пошел? — спросила Маша, тоже вперяя свой взор в сумрак осенней ночи.

— Он сказал, что больная за прудом, как раз против нас, и мне кажется, что она вот тут, где огонь. В других домах ведь темно, везде спят.

— Однако тяжелая же его служба,— задумчиво сказала Маша,— во всякую пору, во всякую погоду он должен идти, если его позовут.

— Правда, служба не легкая, но зато какая полезная, какая благодетельная для всех,— сказала Лиза с жаром.

— О чем это вы толкуете? — спросил подошедший к ним Назаров.— И чего уставились глазами в темноту?

— Да вот Лиза думает, что Василий Иванович там, где огонек виднеется за прудом,— сказала ему Маша, не заметив, что вслед за Назаровым подошел Новожилов.

— Однако, как барышни увлеклись новым фельдшером, следят за каждым его шагом и мысленно сопутствуют,— с насмешливой улыбкой сказал Новожилов.

— Что ж, он человек хороший, и увлечься им не грех. Вот такими, как мы с вами, так, небось, не увлекутся,— обернулся к нему, смеясь, Назаров.

— Куда нам до него! — с пренебрежительной усмешкой протянул Новожилов.— Разве вот вы, Семен Васильевич, еще потягаетесь, а я уж пасую.

— Скоренько спасовали,— опять рассмеялся Назаров.

— Однако ж уже ужин подают, а Василия Ивановича все нет. Жаль, приятно было бы хорошо поужинать в веселой компании.

— Огонь за прудом погас,— сказала Маша, снова взглянувшая в окно.— Может быть, он теперь уже идет сюда.

Однако он не пришел и во время ужина, длившегося целый час. После ужина пили шипучее вино, провозглашая многолетие виновникам празднества. В это же время внимание гостей было привлечено треском нескольких ракет, взлетевших над темными деревьями сада. Все, наскоро одевшись и укутавшись платками, вышли из гостиной на террасу и любовались ракетами, рассыпавшимися разноцветными огнями. Барышни сошли в сад и прохаживались по дорожкам цветника, слабо освещенным светом из окон залы и усыпанным опавшим желтым листом. Лиза и Маша, отделившись от других, пошли по аллее, отлого спускающейся к пруду, и остановились там у решетки, отделяющей сад от пруда. Стоя у решетки, они стали вглядываться в темные, чуть освещенные тусклыми фонарями фигуры людей, копошившихся на берегу и пускавших ракеты. От них отделился какой-то мужчина и пошел по дорожке, пролегавшей за решеткой. Девушки узнали Крапивина и поспешили ему отворить калитку.

— Любуетесь ракетами,— сказал он им, входя в сад.— Ну и раскутился же наш Николай Модестович, даже что-то вроде фейерверка устроил ради своей серебряной свадьбы.

— Да, это у нас что-то необыкновенное сегодня, что-то небывалое,— весело ответила Лиза.— Почему вы так поздно пришли? Мы вас ждали к ужину.

В это время к Маше подбежала ее сестра и позвала ее. Их родители уже собрались уходить, и девушки, наскоро простившись с Лизой, убежали.

— И думать нельзя мне было попасть к ужину,— заговорил Василий Иванович, прислонившись к решетке сада.— Случай тут вышел один странный такой с девочкой, и понять я его не могу. Есть признаки отравления, а чем отравилась, не знаю. И это уже второй случай!

— Господи! Да что же это такое значит? — испуганно воскликнула Лиза.

— Не понимаю, право; постараюсь разъяснить это завтра же. Девочку я надеюсь спасти, взял ее в боль-

ницу, сделали ей теплую ванну, конвульсии и рвота прекратились, теперь заснула, а я увидел ракеты в окно и пошел сюда, в надежде еще раз увидеть вас.

— А первый случай с кем был? — спросила Лиза, чтоб скрыть овладевшее ею смущение.

— Старушка одна захворала, посылали за мной вчера вечером, те же все признаки отравления, только в больницу она не пожелала лечь, дома, говорит, помирать хочу. Ну и, пожалуй, настоит на своем и точно умрет дома. Сегодня видел ее — очень плоха.

С минуту они молчали и медленно шли к дому по аллее.

— Лизавета Петровна,— робко и волнуясь заговорил Василий Иванович,— давно уж мне хотелось увидеть вас вот так, без свидетелей, и сказать вам, что всей душой полюбил я вас и на всю жизнь и был бы несказанно счастлив, если б вы пошли за меня замуж.

Он тихонько овладел рукой девушки и покрыл ее горячими поцелуями. Лиза не могла говорить, сильно взволнованная.

— Я знаю, что я незавидный жених,— сказал Василий Иванович несколько упавшим голосом, смущенный молчанием Лизы,— но я так горячо люблю вас, что не могу уже молчать. Я жизни не пожалел бы для вас, ответьте мне лишь слово, вот кто-то, кажется, идет сюда,— умоляющим голосом просил Крапивин.

— И я люблю вас, Василий Иванович,— чуть слышно прошептала Лиза, поспешно отнимая руку и ускоряя шаги. Навстречу им шли Серафима Борисовна с Марьей Ивановной. Узнав Крапивина, Серафима Борисовна принялась звать его в комнаты поужинать и, несмотря на все его протесты и ссылку на позднее время, увела его в дом.

— Какой хороший вечер провели мы сегодня,— сказала Марья Ивановна, пытливо заглядывая в смущенное и пылающее личико Лизы.

— Да, это хороший вечер, единственный в моей жизни,— шепотом ответила ей Лиза и горячо расцеловалась с ней. К ним подошли другие гости, все прощались и уходили; Лиза поспешила в комнаты и там встретила Крапивина, тоже уже уходившего. Они простились крепким рукопожатием, обменявшись только взглядом.

VII

На другой день Крапивин получил записку от Марьи Ивановны, приглашающую его зайти часов в одиннадцать взглянуть на Басю. Крапивин улыбнулся: это значило, что Марье Ивановне хотелось поболтать с ним за кофеем, а Бася только предлог.

Входя к ним в переднюю, он встретил кухарку и попросил ее принести ему горсточку ржаной муки.

— Вы что тут стряпать собираетесь? — спросил его Густав Карлович, стоявший на пороге своего кабинета. Василий Иванович, не заметивший его сначала, подошел поздороваться и увидал в кабинете Нагибина. Он хотел было подойти и к нему, но тот, бросив газету, которую просматривал, сухо пробормотал:

— Ведь мы уж виделись сегодня,— и прошел мимо него в столовую.

В этих словах, а главное, в лице и манере виделось что-то сухое и неприязненное. Густав Карлович поглядел вслед ему с недоумением и вопросительно взглянул на Василия Ивановича. Тот только слегка пожал плечами и пошел к чайному столу здороваться с Марьей Ивановной и стал ее расспрашивать о Басе. В это время кухарка принесла на тарелочке муку и подала ее Василию Ивановичу.

— Это зачем? Что вы хотите делать?— спросила несколько удивленная Марья Ивановна.

— Хочу посмотреть, из какой муки вы хлеб делаете,— ответил Василий Иванович, вынимая из кармана стеколко и внимательно рассматривая муку. Посмотрев, он сказал кухарке:

— Унеси, мука у вас хорошая.

— И у всех такая,— сказал на это Нагибин, смотревший с недовольным видом на Крапивина.— Охота вам, Василий Иванович, из мухи слона делать!

— Нет, Николай Модестович, не я делаю из мухи слона, а вы хотите из слона муху сделать, это вот верно,— ответил тот с какой-то особенной горячностью.

— Да в чем дело? Объясните вы мне, пожалуйста,— просил Густав Карлович, присаживаясь к столу с закуской и водкой и жестом приглашая их к себе.

— Дело в том,— сказал Василий Иванович,— что муку, негодную в пищу, выдают рабочим, и от этого про-

изошло много заболеваний, а сегодня в ночь старуха одна даже жизнью поплатилась.

— Да полно вам, Василий Иванович! От старости старуха умерла, ну и бог с ней, молодым место опростала,— сказал Нагибин, наливая себе водку.

— Ну, хорошо, бог с ней, не два века ей жить! Но для меня важно не то, что она умерла, а то, отчего она умерла.

— Вот привязался! От старости ли старуха умерла или объелась чем, что нам за дело? — заговорил Нагибин, в волнении встав со стула, на который он было присел.— А он пристает вскрывать старуху. Из-за двухсот пятидесяти верст доктора выписывать да караул при ней держать; хлопот сколько, а из-за чего? Старуха честнехонько кончилась, напутствована, чуть ли даже не соборована, и родным ее это не понравится. Нет, Василий Иванович, мудрите вы не в меру. Очень уж вам захотелось ученость свою выказать.

Ехидная улыбочка искривила губы Нагибина. Василий Иванович тоже встал и, подойдя к Нагибину, сказал:

— Не думал я, Николай Модестович, что вы такого дурного обо мне мнения и так мало понимаете, чего я хочу. Ведь я убежден теперь, что старуха померла от вредного хлеба. Во всех пяти домах, где были серьезные заболевания, я был сегодня, рассматривал муку и хлеб и нашел их негодными в пищу. Обо всем этом я уже написал от себя донесение и в главное управление и доктору и надеюсь, что вы, прибавив к нему свое, отправите его сегодня же с нарочным. Амбар с вредным хлебом вы, конечно, распорядитесь запечатать и выдать рабочим муку из другого амбара, из которого выдают вам и служащим и нам в больницу отпускают. Это ваша прямая обязанность.

Угрюмо нахмурившись, слушал эту речь Николай Модестович, и только красные пятна, выступившие на его лице, показывали, что он далеко не спокоен.

— Спасибо вам, Василий Иванович, что напомнили мне про мою обязанность,— сказал он с иронией, кланяясь Крапивину, и, выпив налитую рюмку, так сильно стукнул ею о стол, что донышко отскочило. Потом, закусив корочкой хлеба, он попрежнему с иронией обратился к Крапивину:

— А чем прикажете народ кормить, если эту муку не

выдавать? До зимнего пути муки взять нам ведь негде.

— Да я ведь знаю, что не весь хлеб у вас плохой. Я вам говорил, что у вас да и у всех конторских служащих мука хорошая, чистая, а у рабочих испорченная. Посмотрите, только простым глазом посмотрите и увидите сами.

— Да полно вам вздор говорить, Василий Иванович, у всех одна мука, и если какая баба своим неряшеством муку испортила и хлеб плохой испекла, так из этого стоит делать такую историю! Смотрите, как бы вам худа не было за излишнее-то усердие.

— Что ж? Пусть мне и худо будет, да зато совесть моя будет спокойна, если я от людей этот вред устраню. Старуха умерла, а на той неделе двое детей померли с теми же признаками отравления, но тогда я понять не мог, чем они отравились. Теперь в больнице лежит девочка и мужик, работник, отец семейства, привезли его сегодня утром; ну, этих двух я надеюсь спасти, потому что уже знаю, с чем я борюсь, и вред от них устранил. Умерших не воротишь, конечно, и согласен я не упоминать о них больше, только обязанность ваша от живых этот вред устранить, и если немедленно прикажете вы отпускать всем хорошую муку, то я и буду доволен. В противном же случае число заболеваний будет все увеличиваться, и это будет лежать у вас на совести.

— О моей совести прошу не беспокоиться, я свое дело и свои обязанности хорошо знаю,— вспыхнул, наконец, долго сдерживавшийся Нагибин,— а вот вы своих не знаете. Ваше дело лечить больных, а не совать свой нос в чужие дела.

Николай Модестович вышел в залу, закурил там трубку и стал ходить взад и вперед, пуская клубы дыма. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным. Он искренно думал, что Василий Иванович преувеличивает опасность и суется не в свое дело или потому, что у него такой уж характер гадкий, или из желания выслужиться перед начальством.

«Только он неверный путь выбрал для этого; от начальства ему, пожалуй, нагорит за это»,— думал Нагибин, но в то же время он решил сегодня же вечером позвать к себе Архипова и порасспросить его о муке.

— Да не ошибаетесь ли вы, Василий Иванович? —

сказал Густав Карлович, когда Нагибин ушел в залу.— Может, и в самом деле болеют они от чего-нибудь другого, может быть, другим чем отравились, а не хлебом, ведь жрут они всякую гадость, грибы эти, рыбу тухлую, пиканы там какие-то, ну и болеют, конечно.

— Нет, не ошибаюсь я, Густав Карлович, сегодня я с семи часов утра только и делал, что из дому в дом бегал и хлеб и муку исследовал. Мука с спорыньей да еще лежалая; от долгого лежанья в ней особенный этакий яд развился. Где мешали эту муку со старой хорошей, там и меньше хворали, а где было не с чем мешать, там и хворают больше.

— Вы все-таки не беспокойтесь очень,— сказала Марья Ивановна.— Я уверена, что Николай Модестович распорядится сегодня же, чтоб выдавали хорошую муку. Вы очень горячитесь и этим вредите себе. С Николаем Модестовичем надо умеючи говорить.

— Да как же тут не горячиться, когда каждый день можно ожидать, что все поголовно захворают. Почти во всех домах старая хорошая мука съедена и осталась только плохая.

Василий Иванович, несмотря на убеждения Марьи Ивановны не сердить Нагибина, пошел в залу, надеясь еще поговорить с ним, но тот и слушать не стал и, замахав рукой, схватил фуражку и быстро пошел домой. Густав Карлович тоже уговаривал Крапивина не затевать с Нагибиным ссоры и подождать, не опомнится ли он и не сделает надлежащего распоряжения.

— Ну, подождем: скоро наступит выдача хлеба, и тогда посмотрим, какую муку будут выдавать. Если опять ту же, тогда придется уже действовать иначе,— сказал Василий Иванович, глубоко опечаленный и каким-то упавшим голосом.

— Я за вас боюсь, что вы повредите себе,— ласково сказала ему Марья Ивановна.

— Эх, Марья Ивановна, да в такое время о себе-то ведь грех и думать,— горячо возразил Крапивин и, простившись, ушел.

Дома у себя он застал Назарова. В конторе уже шел разговор о том, что Крапивин был у Нагибина и очень резко поговорил с ним, что Нагибин очень недоволен им.

— Оставь ты, пожалуйста, друже, эту историю, не затевай напрасно ссоры с Нагибиным, пользы-то, пожа-

луй, никому не выйдет, а себе, несомненно, повредишь,— сказал Назаров, передав сначала то, что толкуют в конторе.

— Пусть я себе поврежу, но оставить этого дела я не могу. Ну, вот не могу и только, душа не подымает.

— Фу ты господи! Вот еще человек с душой выискался! — шутливо воскликнул Назаров.— Ведь ты свое дело сделал, Нагибину доложил, в управление написал, ну и жди распоряжений.

— Да ты понимаешь ли или нет, что ждать-то нельзя. Меры принимать немедленно надо, а он не шьет, не порет!

— Нагибин тяжкодум и всегда такой был, а ты ждал, что он для тебя так и запрыгает.

— Да не для меня! — с сердцем закричал Крапивин.— Что ты бестолкового-то из себя корчишь? Ведь люди мрут, ведь я убежден, что болеют и умирают от испорченного хлеба. Я вот за стол спокойно сесть не могу, за еду приняться не могу. Все во мне вот как кипит.

— Ну, это, брат, напрасно! Не нравится мне в тебе эта горячка. Перестань, давай-ка лучше выпьем, да я у тебя и пообедаю,— сказал Назаров, садясь к накрытому уже столу.

Крапивин не отвечал и быстро шагал из угла в угол, глубоко задумавшись.

— Все будет зависеть от того, какой на этих днях хлеб выдавать будут,— сказал он, наконец, как будто успокоившись несколько и присаживаясь к столу, у которого уже сидел Назаров над налитой тарелкой щей.

Вечером Семен Васильевич сообщил Крапивину, что Нагибин призывал к себе запасчика и, вероятно, сделал надлежащее распоряжение.

— А вы все-таки спросили бы Архипова, зачем его звал Нагибин и как распорядился?

— Да я не видел его, он не зашел в контору от Нагибина, да если б и зашел, то немного от него добьешься. Он ведь такой же кряж, как и Нагибин.

— Ну, будем ждать,— вздохнул Крапивин.

Но спокойно ждать ему не пришлось. Рано утром на другой день его позвали к умирающей родильнице. Роды наступили преждевременно, за Крапивиным послали поздно, женщина мучилась уже вторые сутки и, несмотря на все его старание спасти ее, через несколько часов

умерла. Крапивин подробно расспросил о том, что она ела перед тем, как захворала, и узнал, что она ела вместе со всеми горячий, только что испеченный хлеб с солеными грибами.

— Хлеб у нас плохой,— сказал муж больной,— мы все животами замаялись.

Василий Иванович велел завернуть себе в платок муки и хлеба и, уходя, сказал мужику:

— Завтра вам станут муку выдавать, и если опять такую же будут давать, не берите, просите хорошей. В другом амбаре есть хорошая.

— Да ведь не дадут, пожалуй,— уныло сказал мужик, опустив на грудь всклокоченную голову.

— Хлебом твоя жена отравилась, и от хлеба произошли преждевременные роды, от хлеба она умерла, и все вы болеете от него же,— сердито сказал Крапивин и поскорее ушел, почти убежал из избы, в которой поднялся плач и причитания. Он заходил еще в несколько домов, спрашивал о здоровье, везде были больные, а мука, которую он смотрел, у всех была негодная, испорченная. И везде с сердитым и сильно побледневшим лицом он говорил бабам, чтоб не брали эту муку, если завтра ее же будут выдавать, а просили бы другой, хорошей, говорил им, что мука эта вредная, что жена рабочего Сапегина умерла от этого вредного хлеба, и предсказывал ту же участь всем, предостерегая особенно беременных.

Весть о смерти Сапегиной всех поразила ужасом, ее жалели, жалели ребят и мужа. Все женщины страшно волновались, бегали из дома в дом и сговаривались не брать вредной муки. Обыкновенно муку и весь съестной провиант получали больше женщины, потому что мужья находились на работе и не все могли отлучаться за получкой. Крапивин на это и рассчитывал: «Пусть бабы действуют,— думал он,— их рев и просьбы скорее проймут этих толстокожих». Грустный, с понурой головой, уже в сумерки возвращался он с своей неудачной практики и недалеко от дома Архипова почти наткнулся на Лизу.

— Здравствуйте,— сказала ему обрадованная неожиданной встречей девушка.— Куда это вы ходили?

— Ах, Лиза! — воскликнул Крапивин, очнувшись, и неожиданно для себя и еще более для Лизы обнял и поцеловал девушку.

— Что вы? Что вы это? Ведь нас могут увидеть,— испугавшись и сконфузившись, проговорила Лиза, быстрым движением освобождаясь из его объятий.

— Простите, Лиза, я так обрадовался вам,— умоляющим тоном говорил Крапивин,— мне так хотелось видеть вас, говорить с вами, увидал и потерял голову от радости. Куда вы идете?

— Я к тете. Она присылала за мной. Мы можем пойти вместе вот по этой улице, так дальше будет, но зато мы можем поговорить дорогой.

— Спасибо, Лиза,— Василий Иванович, взяв Лизу под руку, повернул с ней в узенькую и пустую боковую улочку.

— Лиза, милая, я страшно измучился за эти два дня,— заговорил Василий Иванович, крепко прижимая к себе руку Лизы.— Люди болеют и умирают даже, а с Нагибиным говорить нельзя. Болеют от вредного, испорченного хлеба, а мое донесение в правление до сих пор не отправлено, и если завтра он не распорядится выдавать хорошую муку, я просто не знаю, что будет.

— Вероятно, дядя приказал уже. Он вчера еще присылал за отцом.

— А Петр Яковлевич ничего не говорил, возвратившись, о чем у них речь была?

— Ничего. Отец никогда не говорит со мной ни о чем, кроме домашнего дела,— грустно ответила Лиза.

— Жаль, жаль! И ничего у них не узнаешь толком. Я говорил Нагибину, и просил, и убеждал, и доказывал, и на все один ответ: не ваше дело. Думаю сегодня вечером еще сходить, сообщу, что часа два тому назад умерла жена рабочего Сапегина, умерла именно от вредного хлеба, в этом я убежден.

— Боже мой, какая жалость! — вскричала Лиза.— Ведь она еще молодая, и детей у них маленьких много.

— И вот по милости дурного отношения начальства к нуждам рабочих дети стали сиротами,— гневно сказал Василий Иванович.

В душе он винил в этом деле Архипова более, чем Николая Модестовича: тот мог и не знать, какую муку выдает запасчик, но сам запасчик уже непременно должен был знать качество муки, как опытный человек, полжизни проведший у этого дела. Но говорить Лизе про недо-

бросовестность ее отца Василий Иванович не нашел возможным. Они тихо шли несколько времени в грустном молчании.

— Дай бог, чтобы устроилось все к лучшему,— сказал, наконец, Крапивин, вздыхая.— Но, Лиза, милая, если случится, что мне пострадать придется из-за этой истории, хотя я уверен, что правда рано или поздно обнаружится, но временно мне все-таки придется потерпеть, ведь ты не разлюбишь меня, не забудешь?

— Ни за что, никогда! — горячо ответила Лиза и опять очутилась в крепких объятиях своего милого и на этот раз уже не уклонялась от них.

Темная, безлюдная улочка хорошо укрывала их от нескромных взоров, и молодые люди шли несколько времени, обнявшись и позабыв обо всем на свете, только полушепотом перекидываясь ласковыми словами. Но вот они достигли того переулка, по которому Лизе надлежало повернуть к дому дяди, прошли его, и Лиза стала просить Василия Ивановича не провожать ее дальше, чтобы не встретить кого-либо из прислуги Нагибина, и, простившись с милым горячим поцелуем, она убежала. Василий Иванович постоял, глядя вслед убегающей девушке, пока она не скрылась в темноте наступающего вечера, и медленно побрел в свою больницу.

VIII

Войдя в переднюю, Лиза удивилась, увидев освещение в зале и услыхав, что в гостиной раздаются какие-то голоса, как будто совсем незнакомые. Пока она снимала верхнюю одежду, к ней поспешно вышла Серафима Борисовна.

— Что ты так раскраснелась? И зачем долго не шла и отпустила кучера и шла одна в такой темноте? И зачем ты не оделась? Разве кучер не передал тебе, что я велела тебе одеться? — засыпала Лизу вопросами Серафима Борисовна.

— Он сказал, что вы велели одеться и поскорее идти к вам. Я думала, что это значит надеть пальто и идти. Я так и сделала; ведь я часто бываю у вас в домашнем платье,— сказала Лиза, с удивлением глядя на Серафиму Борисовну.— Разве у вас есть гости?

— Да, у нас гости, и гости эти приехали для тебя, друг мой, Лизанька,— сказала Серафима Борисовна с некоторой торжественностью. Она взяла Лизу за руку и прошла с ней в столовую, отделенную от гостиной угловой неосвещенной комнатой.

— Сваты приехали, Лизанька, тебя сватать,— сказала она, целуя Лизу.

Лиза побледнела.

— Какие сваты? Кто? Зачем? Я не хочу замуж,— растерянно и быстро заговорила она.— Я не пойду замуж, и никаких мне сватов не надо.

— Полно глупости говорить,— ласково сказала Серафима Борисовна.— Все девушки говорят, что замуж не пойдут, и всегда выходят, и ты выйдешь. Там, в гостиной, твой отец и отец жениха уже обо всем переговорили. С отцом жениха приехала его дочь с мужем. Видишь, как все дело в порядке ведется. Теперь нужно только твое согласие, и мы ударим по рукам, а завтра вечерком просватанье сделаем уж формально, со священником... Да что ты, что ты, Лиза? Что с тобой?

Серафима Борисовна в тревоге подхватила зашатавшуюся и смертельно побледневшую девушку, без сил опустившуюся на первый попавшийся стул.

— Чего ты так испугалась? Ведь это Новожиловы, ведь этого сватанья давно следовало ожидать.

— Я не пойду за Новожилова,— сказала Лиза и, опустив голову на руки, глухо зарыдала.

Серафима Борисовна с досадой всплеснула руками.

— Это еще что значит? Чем же Новожилов не жених? Смотри, Лиза, не забирай себе глупостей в голову. Отец твой этого брака хочет.

— Да ведь не отцу жить-то, а мне! А я не хочу свою жизнь загубить,— тоскливо воскликнула Лиза.

— Не понимаю, чем ты тут свою жизнь загубишь? Люди они хорошие, богатые.

— И хорош, и богат, да не мил мне, не люблю я его и не пойду за него, не пойду, так и скажите им,— и Лиза снова заплакала, упав головой на стол, возле которого сидела.

Серафима Борисовна стояла перед ней, несколько растерянная, с нахмуренными бровями и недовольным лицом, и сердито теребила бахрому своего шейного платка. Между тем из темных дверей угловой комнаты медленно

вышла высокая и дородная женщина с крупными и резкими чертами лица, одетая нарядно, но по-купечески повязанная шелковым платочком. Серафима Борисовна обернулась на ее шаги.

— Вот подите же, расплакалась, испугалась, когда я ей сказала, что к ней жених приехал. Ну, конечно, дело молодое, оно и в самом деле страшно одну жизнь менять на другую,— заговорила она, подходя к гостье.

— Да чего же тут бояться-то? Ведь все мы через это проходим, и ничего в замужестве страшного нет,— вкрадчиво заговорила гостья каким-то сладеньким голоском, совсем не подходящим к ее фигуре, и, подойдя к Лизе, ласково положила к ней на плечо свою большую белую руку.

Лиза быстро отерла слезы и сконфуженно поздоровалась.

— Не бойтесь, Лизавета Петровна, милая вы моя, ведь не в темный лес, не к диким зверям выйдете, а к таким же людям, как и здесь,— сказала сваха, усаживаясь рядом с Лизой. Серафима Борисовна взяла стул и, поставив его перед Лизой, тоже села.

— Да я не думала о замужестве, мне и во сне-то ничего такого не снилось, и вот точно гром грянул,— сказала Лиза, продолжая утирать неудержимо катящиеся слезы.

Сваха тонно улыбнулась.

— Это ничего, это признак хороший. И все мы в девушках о замужестве не думаем, а придет жених да родители прикажут,— и приходится подумать. Так и вам, милая Лизавета Петровна, пришло времечко о замужестве подумать. Мы вас торопить не будем, чтоб вот сию же минуту и ответ получить, подождем до завтра, а вы тем временем с крёстной вашей маменькой пересоветуйте, она вам ведь заместо родной матери; с папашей своим переговорите, да, помолившись богу, с тайной своей подружкой — пуховой подушкой все думушки и передумайте. Ночь долга, надуматься можно, а завтра мы к вам за ответом с Серафимой Борисовной вместе и приедем,— говорила сваха своим ровным, однообразным, сладеньким голоском.

— Я не пойду замуж, я не хочу,— сквозь рыдания проговорила Лиза.

Сваха снова улыбнулась.

— Милая Лизавета Петровна! Это все так-то говорят, а все выходят. Да и почему вам за Феденьку не идти замуж? Вы, слава богу, его давно знаете, и тетенька и доденька ваши знают его. Худого за ним ничего не водится. Родитель наш ведь тоже вам известен, человек он с достатком, а Феденька у него один сын. Жить будете, как у Христа за пазухой. Может, сомневаетесь, что сестры еще есть девицы, так это что же, они ведь птицы отлетные, вот что и ваше же дело, да притом они завсегда с почтением к вам будут, как к старшей. Не бойтесь, вы хозяйкой в доме будете, а никто другой. Родитель наш человек кроткий, только и знает свое торговое дело, в домашнее дело никогда и не вступается.

И долго еще прибирала сваха всякие резоны своим ровным, однообразным голосом, а Лиза сильнее и сильнее рыдала и твердила все одно и то же:

— Я не пойду замуж, я не хочу, не пойду.

Тем временем уходившая в кухню распорядиться об ужине Серафима Борисовна вернулась и, найдя дело все в том же положении, рассердилась.

— Ну, что ж, ты долго еще будешь реветь? На, выпей воды и успокойся. Поди ко мне в спальню, посиди там и подумай. Так и быть, подождем твоего ответа до завтра, только смотри, чтобы резонный ответ был.

— Все равно, я завтра скажу то же,— ответила Лиза, вставая и уходя в темную спальню.

«Пойдешь, шутишь,— думала сваха, тоже вставая с места и глядя вслед уходившей Лизе, нисколько не тронутая ее слезами; она им и не верила.— Цену себе уронить не хочет, ишь, какая еще хитрая»,— идя вслед за Серафимой Борисовной в гостиную, думала сваха. Там сидели старик Новожилов со своим зятем в компании с Нагибиным и Архиповым около стола с закусками и водкой. Серафима Борисовна объявила им, что невеста не дает ответа сейчас и просит время подумать.

— Чего еще ей думать? Все за нее удумано, все улажено,— сказал Архипов с заметным неудовольствием.

— Ну, все ж таки ведь это для девушки большая перемена в жизни,— снисходительно заступилась сваха.— Мы можем и обождать. Пословица говорит: «Утро вечера мудренее». Пусть подумает, а завтра, бог даст, и надумается ответ дать.

— А по-моему, думать тоже много нечего; да уж если

охота пришла, так пусть подумает,— сказал Нагибин.— А нам, гости дорогие, пора выпить, милости прошу.

Хозяева усердно принялись угощать сватов.

Когда после ужина, проводив гостей, Серафима Борисовна пришла к Лизе в спальню, та, печальная, сидела, опустив голову на руки. Тетка подсела к ней и сказала серьезным и озабоченным тоном:

— Неужели ты и впрямь забрала в голову не идти за Новожилова?

— Не пойду и не пойду,— упрямо повторяла Лиза, отирая свои распухшие от слез глаза.

— Что ж, ты за Крапивина, что ли, хочешь выходить? Это тебе Марья Ивановна вбила в голову. Придется, верно, мне с ней серьезно поссориться.

— Напрасно, крестная, Марья Ивановна тут ни при чем. Сердцу любить не прикажешь, оно любит, кого захочет.

— Твое-то сердце полюбило, да тебя-то любят ли? — с некоторым скрытым ехидством сказала Серафима Борисовна.

— Я знаю, что и он меня любит,— тихонько прошептала Лиза, опуская голову.

— Так у вас уж и объяснение было? — сердито вскричала Серафима Борисовна.— Ах ты, гадкая девчонка! И когда это вы успели сговориться? Это не на нашем-то ли вечере в саду было? А я-то, дура, и во внимание не взяла, ничего даже не подумала! Еще ужинать его увела! Ну, нечего сказать, ловкий парень! А все-таки тебе за ним не бывать, отец твой ни за что не согласится.

Лиза снова заплакала.

— Напрасно, лучше и не плачь, слезами старика не разжалобишь,— холодно сказала Серафима Борисовна,— да и мне твое вытье надоело. Бери-ка лучше подушку да одеяло и ложись спать. Домой завтра уйдешь. И что тебе в Крапивине понравилось? Человек бедный, можно сказать, что ни перед собой, ни за собой ничего не имеет, и притом дурного характера, любит мешаться не в свое дело, жить не умеет, с высшего оклада переведен на низший, а ты все свое: не пойду за Новожилова, пойду за Крапивина.

— Ну, этому не бывать,— сердито отрезал Архипов, стоявший в темной передней у двери в столовую.— Это дурь одна, и думать не смей об этом.

Серафима Борисовна и Лиза вздрогнули от неожиданности. Они не знали, что Архипов стоит тут и дожидается Лизу.

— Батюшка!— с рыданием бросилась к нему Лиза, но он сердито оттолкнул ее и вышел, громко хлопнув дверью.

— Говорю тебе, не разжалобишь старика, лучше перестань плакать и покорись. Родительская воля все равно, что божья. Полно, Лиза, успокойся, обдумай свое положение, ведь замужество дело серьезное, не вечер только протанцевать, а всю жизнь жить придется. Будь же умницей, перестань.

Серафима Борисовна уговаривала и ласкала безумно рыдающую Лизу и, наконец, тронутая ее слезами, и сама расплакалась.

— Вот-то две дуры выискались! — воскликнул слегка подвыпивший Нагибин, проходя через столовую в спальню со свечой в руке и останавливаясь с удивлением перед плачущими женщинами.— Богатый, хороший жених к ним приехал, где бы радоваться, а они ревут.

И Нагибин, скорчив брезгливую гримасу, прошел в спальню.

IX

В шесть часов утра на другой день Петр Яковлевич уже вышел из дому в своем стареньком, подпоясанном ремнем тулупчике, с ключами в руке. Он шел к хлебным амбарам, стоявшим на самом конце селения над прудом, протянувшимся довольно далеко за селение. Он шел не спеша, своей обычной тяжелой походкой, чуть-чуть позвякивая на ходу ключами. У амбаров под навесом уже стояло около полсотни женщин, к которым все подходили вновь прибывающие. Мужчин почти не было; были только возчики, то есть те, у которых были свои лошади. Обыкновенно если рабочие являлись за получкой хлеба сами, то только в обеденное время. Бабы приветствовали Петра Яковлевича молчаливыми поклонами. Ответив кивком головы на их поклоны, он не спеша принялся отпирать висячий замок и, сняв с пробоя тяжелую железную полосу, запиравшую дверь, стал отворять большим ключом внутренний замок. Бабы перешептывались между собой и подталкивали одна другую. Архипов отворял опять тот

же амбар, из которого выдавали испорченную муку в прошлом месяце. Все они условились между собой не брать плохую муку, но ни одна из них не решалась первая заговорить об этом.

Архипов отворил дверь, вошел в амбар и, положив на стол принесенную с собой большую записную книгу, в которую вписывал выдаваемую муку, вынул из нее небольшую тетрадь, полученную им вчера из конторы, и стал громко и медленно прочитывать имена и фамилии и количество выписанных пудов.

— Ефремову восемь с половиной пудов, подходи, нагребай.

Бабы угрюмо молчали, переминаясь.

— Нет, что ли, никого от них? — спросил Архипов, не поднимая глаз от тетради, и, не получив ответа, продолжал, несколько удивленный угрюмой молчаливостью баб, обыкновенно весело галдевших во время получки хлеба:

— Анисимову пятнадцать пудов, нагребай!

То же молчание было ему ответом.

Архипов сердито сунул свою тетрадь на стол и поднял глаза на стоявших у широких дверей амбара баб. Анисимова и Ефремова стояли в толпе почти впереди всех. Архипов увидал их.

— Да вы тут? — закричал он, удивленный.— Что же вы, старые чертовки, не нагребаете?

— Не надо нам из этого амбара муку, не возьмем,— тихо, но все-таки отчетливо ясно сказала, наконец, Ефремова, высокая, уже пожилая женщина с суровым, нахмуренным лицом. Все бабы, видимо, только этого слова и ждали.

— Не надо нам эту муку! Не надо! Не возьмем! Отпирай другой амбар! Помирать нам неохота от худого хлеба! — загалдели бабы все разом.

Петр Яковлевич выругался нехорошими словами и вскочил с табуретки.

— Да вы очумели, проклятые! — закричал он.— С хлеба еще никто не помирал, а вот без хлеба вас оставить на месяц, так скорее поколеете.

— Ну, без хлеба народ нельзя оставить, такого закону нет, чтобы рабочих с голоду морить,— кричали бабы.— Сколько ты не ругайся, а муку давай хорошую!

— Лучше этой муки вам не будет,— рявкнул Архипов и снова сел к столу.

— Нагибин ведь призывал тебя вчера и приказал выдавать хорошую муку из другого амбара,— раздался из толпы чей-то мужской голос.

— Ничего не приказывал, эту муку велено выдавать, ее кончать нужно сперва.

— Она не пропадет у вас, ее можно стравить заводским лошадям, а рабочим надо отпустить хорошую,— крикнул ему в ответ все тот же голос.

— Кто это там кричит, а сам за баб прячется? — насмешливо сказал Архипов.— Выходи вперед, коли хочешь говорить!

— И выйду,— ответил голос. Из толпы расступившихся баб вышел Сапегин. Это был бледный, убитый горем человек, проведший ночь без сна над трупом своей жены. Он пристально глядел на Архипова, и тот как будто немного смутился.

— Ежели твоя жена в родах покончилась, то на это воля божья, а хлеб тут ни при чем,— сказал Архипов, потупившись.— Я сам овдовел так, тоже родами хозяйка моя замаялась.

— Фельдшер сказал, что от хлеба у ней преждевременные роды начались, от него и смерть приключилась, и запретил он нам этот хлеб брать,— ответил ему Сапегин, не сводя с него своего вызывающего пристального взгляда.

— А, так вот кто ваше начальство ныне! Паршивый какой-то фельдшеришка завелся и давай всех мутить и всеми командовать. Ну, нет, это дудки! Не будет по его. Не будет вам другого хлеба, хоть голодом сидите! — закричал Архипов, вспыхивая гневом, и, вскочив с места, сердито забегал по амбару.

Притихшие было ненадолго во время разговора Архипова с Сапегиным бабы снова зашумели. Одни уговаривали и усовещивали его, другие стыдили, корили, ругали, называя псом на чужом сене, но Архипов не сдавался. Одни из баб подошли к закромам, стали смотреть муку, брали в рот, нюхали, подносили Архипову к носу, но он, усевшись снова на свой табурет, сидел неподвижно, как истукан, и только отругивался и повторял все одно и то же:

— Говорят вам, не будет другого хлеба. Коли хотите жрать, берите этот, а не то хоть по домам расходитесь.

Первым ушел Сапегин. Он зашел в больницу и сооб-

щил Василию Ивановичу о суматохе, происходящей около амбаров.

Через двадцать минут, засунув свою лупу в карман, Василий Иванович был уже у амбаров, радостно встреченный бабами.

— Что это, Петр Яковлевич, вы делаете? Опять негодную муку выдавать собрались? Разве Николай Модестович не приказал вам выдавать из другого амбара? — с такими вопросами обратился Крапивин к запасчику, останавливаясь у его стола.

— Негодной муки у нас нет, мука хорошая, другой не будет,— отрезал Архипов коротко и угрюмо.

— Дайте-ка, бабы, муки сюда из тех закромов, из которых велят вам брать, я посмотрю,— сказал Василий Иванович.

Две бабы с величайшей готовностью кинулись к закромам и подали ему в пригоршнях муки. Он взял муку на ладонь, пригладил ее другой рукой, понюхал и, вытащив из кармана стеколко, внимательно посмотрел в него.

— Это та же никуда негодная мука, что и раньше давали, и бессовестно вы поступаете, уверяя, что мука хорошая,— сказал Василий Иванович, поднося и муку и стеколко запасчику, чтоб тот посмотрел.

Петр Яковлевич сердито оттолкнул и муку и стеколко, так что мука вся рассыпалась, а стеколко улетело под стол, и, быстро поднявшись с места, заговорил возбужденно и гневно:

— Да что ты лезешь ко мне, когда тебя не спрашивают? Что ты за птица такая важная выискался, что берешься указывать людям старше себя? Всего ведь ты фельдшер, и вся цена тебе грош, пошел в свою больницу, не мути народ напрасно, смутьян! А вы, дуры, чего его слушаете? Охота, чтоб вас в полиции отодрали? И отдерут, в лучшем виде отработают! Да еще выдачи лишат на месяц, так вот тогда и складывайте зубы на полку.

Василий Иванович хотел что-то говорить, но Архипов замахал на него руками и продолжал своим хриповатым басом, обращаясь к бабам:

— Разве не помните, какую муку вам в прошлом году выдавали? Слежалась так, что топорами разрубали, в ступах комья толкли, однако брали и жрали, и никто из вас не поколел с этого хлеба. Эх ты, фершал, умная голова! Да в мужицком брюхе и долото сгниет без остатка,

а не то ли, что такой хлеб. Ступай, ступай! Нечего тебе здесь делать. Я тебя слушать не стану.

Но Василий Иванович не уходил; он поднял свое стеколко и во всех закромах пересмотрел муку и давал бабам смотреть в стекло, продолжая убеждать их не брать муку, не трусить перед Архиповым, и объяснял им, почему и чем она вредна. Взятая из самого заднего закрома мука была рыхлая, но высыпанная из горсти на стол мука вся шевелилась и расползалась по столу мельчайшими пылинками, что можно было видеть даже простым глазом. Она вся кишела какими-то мельчайшими насекомыми. Бабы обступили стол, смотрели на муку и так, и в стеколко, ужасались, дивились, кричали и ругались.

— Да чертовки вы этакие, ведь эту муку я не выдавал вам, это остатки из заднего закрома, только лошадям даем,— кричал Архипов, проталкиваясь к столу сквозь толпу баб и стараясь рукой смести муку на пол.

— Захватите с собой и этой муки,— говорил Василий Иванович бабам,— и пойдемте к Нагибину, не урезоним ли его скорее. С этим аспидом, видно, не столкуешься.— Василий Иванович, опустив голову, пошел от амбара; бабы толпой пошли за ним.

— Ступайте, и я домой уйду! — крикнул им вслед запасчик.— Скоро и обедать пора,— он стал запирать дверь амбара.

Оставшиеся у амбара мужики и бабы пробовали было уговорить Архипова выдать им муку другую, но он отказал, сказав, что без записки от Нагибина сделать этого не может. Тогда и все остальные пошли в контору. Под навесом осталась только небольшая кучка самых робких и забитых, большей частью стариков и искалеченных рабочих, получающих пенсию мукой.

Крапивин вошел в контору и быстро, ни на кого не глядя, направился к отдельной комнате, где занимался один Нагибин. Бледный, взволнованный, в выпачканном мукой платье, он смело прошел к этой комнате и отворил дверь. В двери он приостановился и, обернувшись, крикнул оставшимся в передней бабам:

— Идите за мной! Чего вы стали?

Николай Модестович медленно поднял свою наклоненную над бумагами голову и, увидав Крапивина и входившую за ним толпу баб, густо покраснел.

— Это что значит? — спросил он, сдвигая брови.

11 Заказ № 2850

— Да вот бабы принесли вам показать муку, какую им велит брать Архипов. А мука эта совсем не годится в пищу. Я объяснил им, что она вредная, и никто из рабочих не хочет ее брать.

— Вот погляди, батюшка Николай Модестович, понюхай,— совали женщины муку под нос Нагибину.

— Скотину кормить этим хлебом надо, а нам прикажи выдать другую,— говорили другие.

— Вот наши ребята хворают, пожалей ребят, будь отец родной,— молили самые робкие и несмелые.

— Напиши ты скорее приказ Архипову, чтоб выдал хорошую муку, ишь, без приказа он не отпускает, записку велел от тебя принести. Напиши ты скорее, родимый, ведь уж обед на дворе, а мы все еще свою дачу не получили,— кричали и молили бабы, обступая Нагибина.

Обеденный час уже пробил, и поспешно бежавшие обедать рабочие, узнав, что жены их пошли в контору, сбегались туда же. Скоро вся контора наполнилась бабами и мужиками. Так как было уже обеденное время, то все служащие рассудили, что лучше разойтись по домам. Остался один Назаров у своего стола, он ждал Василия Ивановича.

Придя в себя от ошеломивших его бабьих криков, Нагибин обратился к Василию Ивановичу с довольно спокойной укоризненной речью:

— Это значит, что вы взбунтовали рабочих, Василий Иванович, ворвались в присутствие с толпой баб...

— Да понимаете ли вы, Николай Модестович, что делать больше ничего не оставалось, что люди болеют и умирают от этого хлеба, что Архипов у вас упрямый и бессовестный осел. Он должен был сам доложить вам, что мука не годится, а он уверял в противном. Только ваше упрямство — и причина всего этого беспорядка. Напишите Архипову приказ о выдаче другой муки — и мигом все успокоится.

Василий Иванович, сложив вдвое пол-листа бумаги, подал его с пером.

Нагибин молча взял перо и с угрюмым лицом начал писать. Бабы застыли в немом ожидании. Крапивин с тоской следил глазами за его рукой. Нагибин писал не то, что было нужно: он писал донесение в главное управление о том, что фельдшер Крапивин взбунтовал рабочих, ворвался с толпой их в самом неприличном виде в

присутствие и с угрозами требовал отмены сделанного им, Нагибиным, распоряжения о выдаче хлеба. Далее донесение гласило, что он должен был посадить Крапивина под арест, а рабочих приказать полицейским разогнать нагайками. Кончив донесение, подписавшись и проставив число, Нагибин молча подал Василию Ивановичу бумагу. Бабы и рабочие, отступившие от стола, ждали в молчании. Крапивин, едва взглянув на бумагу, положил ее на стол и, взяв другой полулист бумаги, сложил его и опять положил перед Нагибиным.

— Относительно этого как вам угодно поступайте,— сказал Василий Иванович, указывая рукой на донесение, а теперь пишите приказ скорее.

Нагибин, сдерживавшийся до сих пор, вдруг рассвирепел.

— Да вы с ума сошли! — закричал он, вскакивая с места.— Да что я вам — пешка какая, что ли? Эй, Вахрушев!

На это воззвание сквозь толпу рабочих поспешно стал проталкиваться полицейский, обыкновенно дежуривший утром в конторе. Рабочие расступались, пропуская его.

— Запереть Крапивина в темную! Да прежде вытолкай этих дур отсюда,— сказал ему Нагибин, тяжело отдуваясь. Гнев душил его.

Полицейский усердно принялся было заворачивать и выталкивать баб, но они увертывались и с возгласами: «Полегче, Спиридоныч, полегче!» — все теснее обступали Крапивина и Нагибина. Рабочие, смирно ожидавшие в соседней комнате, тоже начали перебираться в кабинет Нагибина, который он так важно величал присутствием.

— Это что же он писал-то такое? — обратилась Ефремова к Василию Ивановичу, показывая на исписанную четвертушку бумаги.— Запасчику, что ли?

— Нет, это донесение в правление, что я взбунтовал рабочих и что меня надо посадить в темную.

— Тебя-то в темную! — заорали бабы.— Да мы ни за что не допустим. Все мы постоим за тебя, родной ты наш, заступник наш единый. Нет, ты его не сади, Нагибин, худое ты дело затеваешь,— кричали бабы, обступая Нагибина, а в поддержку им начинали слышаться сердитые мужские голоса.

— Стыдно невинного человека в темную запирать!

— Сам жрешь хороший хлеб, а нам велишь худой давать, злодей!

— Тебя вот в темную-то запереть да покормить с недельку этим хлебом, небось, не то запоешь, изверг!

Возгласы и ругань становились все неистовее и грознее, и тщетно Нагибин кричал и ругался, призывая полицейских. Единственный находившийся в конторе полицейский Вахрушев был притиснут в угол толпой рабочих и не мог там пошевелиться.

— Послушай, Николай Модестович, пиши сейчас записку запасчику, и дело с концом,—сказал высокий чернобородый рабочий с фабрики, с лицом, покрытым сажей, на котором сверкали только белки глаз, положив руку на плечо Нагибину. Он только что протискался к нему сквозь толпу рабочих.

Нагибин обернулся и взглянул рабочему в лицо.

— А, это ты, Озерков! Хорошо, запомним,— и потом закричал, насколько мог, громко и грозно: — Не будет вам другого хлеба! Сказано: не будет — и не будет!

— Так не будет? — спросил Озерков, и его сильная рука снова опустилась на плечо Нагибина и на этот раз потяжелее первого. Нагибин слегка качнулся и сел на стул, возле которого стоял, но тем не менее снова закричал:

— Сказано: не будет — и не будет! И вон отсюда! Вон! Негодяи, бунтовщики, вон!

Озерков снова поднял руку, но за руку ему ухватился стоявший за ним мастеровой Шитов и удержал его.

— Я только тряхнуть его хотел хорошенько,— ухмыльнулся Озерков в свою кудрявую бороду, оглянувшись на Шитова.

— Помилосердуй, Николай Модестович, отдай приказ запасчику,— заговорил Шитов, слегка отстранив Озеркова рукой, чтоб быть ближе к Нагибину.— У меня жена брюхата, и я не хочу, чтоб она, как жена Сапегина, померла от вредного хлеба. Не станем мы эту муку брать и не станем.

— А, Шитов! — сказал Нагибин, взглянув на мастерового.— Ну, так еще раз говорю вам, что не будет другой муки, хоть с голоду подыхайте, подлецы, бунтовщики!

Общее недовольство и озлобление возрастало, все громче раздавались крики и ругательства по адресу Нагибина, все грознее становились угрозы мастеровых. Ва-

илий Иванович пробовал уговорить их, но его голос терялся, его слов не слушали. Река прорвала плотину, и было поздно останавливать ее.

— Ишь, ведь идол какой! — раздался вдруг громкий голос Озеркова.— Право, идол, да и только. Обойдемся мы, братцы, и без его приказа. Айда к амбарам все, сило́м заставим Архипова выдавать муку, вот покажем ему эту бумажонку и скажем, что это приказ, а читать не дадим.

Озерков, схватив со стола донесение Нагибина, замахал им по воздуху, приглашая всех выходить. Пошел Шитов, махнув безнадежно рукой на Нагибина, за ним пошли и все. Последним остался Василий Иванович.

— Выходи, выходи, Василий Иванович, нечего тебе тут делать,— говорил Озерков, подхватывая его под руку и выводя из двери.— Пусть этот идол проклятый сидит тут и строчит свои доносы,— прибавил он, запирая дверь торчавшим в замке ключом.— Ничего, пусть посидит,— прибавил он, усмехнувшись на протестующий жест Василия Ивановича,— умнее будет. А ты, друже мой, иди в больницу, я ведь оттуда в контору-то прибежал, и не знал даже, что тут деется.

— Зачем ты был в больнице? — спросил его Крапивин, медленно подвигаясь с ним вслед за выходившей толпой, гогочущей от удовольствия, что Нагибина заперли в конторе.

— Я сынишку своего туда стащил, помнишь, Васятку-то? Захворал, то же с ним, что и с девчонкой было. Сделай божескую милость, поводись ты с ним, жаль мальчонка, шустрый такой. Иди-ка с богом к своему делу, а мы тут лучше без тебя-то оборудуем.

Озерков кинулся догонять уходивших мастеровых.

— Ради бога, не делайте насилий, не ломайте замков,— кричал им вслед Василий Иванович. К нему подошел Назаров и, усмехнувшись, сказал:

— Чудак, сам бросил с горы камень да и кричишь ему: не катись! Пойдем-ка.— И, взяв его под руку, он быстро зашагал с ним к больнице.

— Не выпустить ли нам Нагибина? — в нерешительности остановился было Крапивин.

— Хуже будет, пожалуй, бока намнут ему мужики, обозлились очень, там целее будет,— сказал Назаров, и оба быстро пошли в больницу, предоставив событиям идти своим чередом.

X

Между тем толпа с шумом бежала к амбарам вместе с Озерковым, нагнавшим ее и все продолжавшим размахивать захваченной им четвертушкой бумаги. До сих пор у восставших не было вожака, шумели бабы и лишь изредка слышались мужские голоса в их среде. Теперь вожак явился и сразу стал проявлять свои организаторские способности. Многие из рабочих, имевшие было намерение разойтись по домам, присоединившись к толпе, предводительствуемой Озерковым, и, громко и возбужденно переговариваясь, шли к амбарам. Там уже сидел сходивший домой пообедать Архипов на своем табурете у стола и ждал, что бабы образумятся и станут брать муку. Галдящая, шумная толпа рабочих и женщин приближалась к амбарам. Впереди всех шел Озерков, размахивая бумагой.

«Неужто Нагибин уступил?» — подумал Петр Яковлевич, увидав бумажку в его руке.

— Вот тебе приказ, старая амбарная крыса, немедленно отпереть другой амбар и выдавать нам хорошую муку,— сказал ему подошедший Озерков, размахивая у него перед глазами бумагой.— Живо поворачивайся! Скоро стемнеет, а народу множество.

— Подай сюда бумагу, я должен ее прочитать,— сказал Архипов,— чего ею машешь?

— На, читай,— сказал Озерков и, подойдя к нему вплоть, сунул бумагу прямо в нос и, продержав немного, прибавил: — Ну, прочитал? Ступай теперь, отворяй!

Он быстро поднял Архипова за шиворот и вытолкнул из амбара. Удивленный и обозленный в высшей степени, Архипов принялся осыпать их всевозможной руганью. Но ругань его потеряла всю свою силу, встреченная такой же руганью со стороны мужиков, и сам Архипов, рядом с мощной фигурой Озеркова, не имел в себе ничего внушительного.

— Ну, живо, живо отпирай, чего еще разговариваешь? — закричал на него Озерков, приготовляясь снова встряхнуть его за шиворот.

Архипов отскочил.

— Не буду я отпирать, у меня и ключей нету здесь, сказано: берите из того, который отперт,— кричал Архипов, отбиваясь от баб, тащивших его к другому амбару.

— Ах ты, старый хрыч! Дохлая ты крыса! — выругался Озерков.— Ключей нету у него. Эй, бабы, бегите кто-нибудь к нему в дом за ключами. Спросите там у его дочери, она, верно, знает, где они лежат. Возьмите их и несите сюда.

Несколько женщин отделились и убежали за ключами.

— Да не здесь ли они у тебя, старый скряга,— сказал Озерков, заглядывая на полку над столом и шаря рукой около дверей по стене амбара. Но ключей тут не было. Между тем начинало смеркаться, и Озерков послал двоих из рабочих в заводскую сторожку за фонарями, которых всегда там имелось заправленных несколько штук. Вскоре женщины вернулись без ключей. Лиза не знает, где они, и не может их найти.

— И все мы искали и не могли найти,— сказали бабы.

— Куда ты их запрятал, старый черт? Говори, где ключи? — Озерков принялся так трясти Архипова за шиворот, что у него только зубы застучали.

— Не скажу,— прохрипел Архипов, отбиваясь.

— Не скажешь! Ах, ты...— и на Архипова посыпались всевозможные ругательства. Его толкали, дергали, совали ему кулаки в нос, но он упорно твердил: — Подайте бумагу, без записки я не отворю амбара.

— В пруд его, старого черта, тогда вспомнит, скажет, где ключи, как искупаем в холодной воде,— распорядился Озерков, и запасчика потащили к пруду.

— Эй, сними-ка вожжи и дай сюда! — крикнул Озерков одному из близ стоявших возчиков и, когда вожжи были поданы, побежал к пруду. Там, на плоту, устроенном для полосканья белья, стоял Архипов, удерживаемый сильными руками рабочих, и продолжал упорствовать и ругаться.

Озерков молча обвязал Архипова вожжами подмышки и крикнул ему в самое ухо:

— В последний спрашиваю, скажешь ли?

Тот молчал; но все-таки он начинал трусить, хотя и думал, что его только стращают и не посмеют сделать того, чем угрожают. Вода была холодная и темная, по утрам уже бывали заморозки, и у берегов виден был лед. Перспектива искупаться в воде была не из приятных.

— Молчишь? Не хочешь сказать? Так ступай же, старый черт, искупайся!

Озерков, держа в одной руке концы вожжей, поддал Архипову в зад ногой так сильно, что тот вылетел чуть не на середину пруда и с головой погрузился в воду. Его тотчас же притянули обратно к плоту, и, поднимая его голову над водой, Озерков опять спросил:

— Ну, скажешь теперь?

Но Архипов только стучал зубами, чихал, фыркал и отплевывался. Озерков еще раз окунул его с головой и затем, вытащив из воды, посадил на плоту.

— Ну, очухайся малость и говори; до тех пор тебя буду купать, пока не скажешь, где ключи,— сказал ему Озерков.

В толпе, стоявшей на берегу, произошло какое-то движение. Все быстро расступились, пропуская кого-то к плоту. То была Лиза, смертельно-бледная, перепуганная, в одном платье, с непокрытой головой; она подбегала к пруду, неся два ключа, связанные ремешком.

— Вот ключи, вот ключи! — кричала она.— Берите ключи, не трогайте отца, не топите его!

— А-а! Нашлись! — весело вскричал Озерков и, выпустив вожжи из рук, бросился к Лизе навстречу и схватил ключи.

— А твоего родителя мы только постращали, голубушка, оченно уж он упрям, а топить мы его и не думали,— сказал Озерков Лизе.— Получай его и веди поскорее домой. Ребята, пособите ей, подхватите его под руки, намок ведь он, и стащите до дому.

С Архипова сдернули веревку и потащили его домой.

— Напой его малиной, Лизанька,— кричали ей вдогонку бабы.

— Что малина! Водки ему стакан поднеси! — с хохотом кричали рабочие.

— Чаем с ромом напой!

— На печку положи да шубой закрой!

— Баню истопи!

Рада не рада была Лиза, когда рабочие, дотащивши его до ворот, оставили и убежали обратно. Там уж отворили амбар и зажгли фонари, так как совсем стемнело.

— Кто ж теперь у нас за запасчика будет? — недоумевал Озерков, вопросительно оглядывая всех.— Ведь надо кому-нибудь выдачу записывать.

— Гвоздев тут недалеко живет,— сказал Шитов.— Мальчонка бойко пишет, а у нас ведь грамотных никого нету.

— Айда за Гвоздевым, ребята, тащите его сюда.

Гвоздев был мальчик лет шестнадцати, за хороший почерк определенный в контору писцом. Отец его служил в заводе распометчиком. Парня привели чуть живого от страху. Следом за ним бежала его плачущая испуганная мать.

— Что вы, черти оголтелые, хотите с ним делать? На что вам парнишка мой понадобился? Неужто вы и его утопить хотите, душегубы?

По заводу уже разнесся слух о том, что запасчика утопили в пруду.

— Полно, Кирилловна, зачем пустяки говоришь? Не душегубы и никакого худа твоему парню не сделаем. Вот пусть садится и записывает выдачу. Вот тебе и стол и табуретка, перо и чернила, садись и пиши. Да с тетрадью-то сверяйся, смотри, чтоб кои бабы лишнего не получили,— говорил Озерков, усаживая Гвоздева за стол и ободряя его. Хотя они и брали муку самовольно, но многие из рабочих соглашались с Озерковым, чтоб это не имело вида грабежа, а было такой же выдачей провианта, как всегда.

— Да ведь с парня взыщут после! — кричала мать Гвоздева, хватаясь за сына и мешая ему взяться за перо.— Скажут, что и он бунтовал вместе с вами. Со службы прогонят, пожалуй.

— Не бойся, не взыщут,— уговаривали ее мужики и потихоньку отводили и выпихивали из амбара.— С нас взыщут, это точно, а с него что же взять? Сило́м его сюда привели, сило́м писать заставили. Ступай с богом домой и нисколько о парне не сумлевайся.

— Принеси ему валенки да полушубок, всю ночь ведь мы его тут продержим, замерзнет,— предложил кто-то из рабочих Гвоздевой, все не уходившей.

— И точно,— воскликнула она,— простудится еще парень! — и пошла поспешно к дому.

А мальчик скоро разобрался в книге и аккуратно стал отмечать число выданных пудов против каждой фамилии. Озерков стоял у весов и зорко следил за тем, чтоб взвешивали аккуратно, чтоб никто не взял лишнего фунта. Всю ночь кипела работа, выдача производилась часов до

десяти утра, и только тогда, когда все явившиеся за мукой получили, что им следовало, Озерков, наконец, отпустил своего импровизированного запасчика, запер амбар и, вручив ему же ключи, наказал их отнести в контору вместе с книгой. Ему же передал он и ключ от присутствия, наказав передать его сторожу.

— Будто уж просидел Нагибин ночку, ну и довольно с него,— сказал он, рассмеявшись.— Пусть выходит.

Но Озерков напрасно воображал, что Нагибин все еще сидит под арестом. Его выпустил механик еще вечером. Часу в пятом к нему прибежала встревоженная и плачущая Серафима Борисовна и сказала, что взбунтовавшиеся рабочие заперли ее мужа в конторе и, приставив караул к дверям, отправились грабить амбар.

— Вот что наделал ваш хваленый Василий Иванович,— напустилась Серафима Борисовна с упреками на Марью Ивановну,— всех рабочих взбунтовал. Архипова, говорят, в пруду утопили. А мы-то считали его за хорошего человека, ласкали, у себя принимали; да знала бы я, что он за птица такая, на порог бы его не пустила.

— Кто же знал, что все это так разыграется. Крапивина винить одного тоже нельзя, неправ ведь и Николай Модестович,— попробовала возражать Марья Ивановна.

— Да я знаю, знаю, что вы за Крапивина заступитесь, а Николая Модестовича обвините. Вы и Лизу нашу смутили своими похвалами Крапивину. Вчера глупая девчонка изволила высказаться, что ни за кого, кроме Крапивина, и замуж не пойдет. А он вон что натворил! На его душе ведь смерть Архипова будет, если точно правда, что его утопили.

— Ну, это вздор, должно быть,— возразила Марья Ивановна.

— А вчера Новожилов приезжал свататься, сегодня сваты ни с чем уехали, в другой раз не приедут, пожалуй,— продолжала жаловаться и упрекать Серафима Борисовна.

Между тем Густав Карлович собрал все ключи от своих комнатных дверей и пошел освобождать Нагибина. Ключи, однако, не пришлись, и Густаву Карловичу пришлось немало повозиться с ними. Он посылал своего кучера в слесарную за подпилком, чтоб подтереть один из ключей, более других подходивший к замку. Нагибин вышел злой и, только кивнув головой Густаву Карлови-

чу, напустился на старика-сторожа, ругая за то, что тот допустил в контору баб. Сторож молчал, зная, что Нагибин просто срывает сердце и что лучше не оправдываться, а то, пожалуй, еще влепит в ухо. Нагибин редко выходил из себя, но, не в шутку рассердившись, не клал охулки на руку. Приказав сторожу разыскать поскорей почтаря и очередного ямщика, он скорыми шагами пошел домой. На крыльце своего дома он остановился, прислушиваясь, и с минуту раздумывал: идти ли ему домой или к амбарам, откуда несся гул голосов рабочих. Это раздумье прекратила Серафима Борисовна, прибежавшая домой от механика. Она втолкнула его в сени и собственноручно заперла дверь крепким засовом, приказав кучеру запереть и окна ставнями. Тогда она сообщила мужу услышанную ею на пути к механику весть, что Архипова утопили в пруду. Это ошеломило Нагибина и заставило его несколько струсить. Единственный человек, оставшийся у него в подчинении, его кучер, был послан за полицейскими, но возвратился один: в полиции не было никого, кроме старика-сторожа. Все полицейские десятники ушли получать выдаваемую Озерковым муку. Тогда Серафима Борисовна послала кучера к Архипову узнать, жив ли он. Кучер возвратился уже часов в восемь вечера и сказал, что Архипов жив и лежит на печи под шубой.

— Его только покупали в пруду, а топить не хотели,— говорил кучер,— ключи от амбара он долго не давал, вот и рассердились. Уж Лизанька наша ключи и принесла им, тогда его и сволокли домой. Ну, может, помяли малость дорогой: Архипова ведь рабочие завсегда не любили.

— Ах, злодеи, злодеи! — восклицала в ужасе Серафима Борисовна.— Совсем всякий страх забыли!

Николай Модестович, слушая кучера, сердито ходил из угла в угол, куря свою трубку, и снова прогнал его торопить почтаря и ямщика. Но только поздно вечером пришлось ему отправить в главное управление свое донесение, заготовленное им еще в то время, как он сидел под арестом. Назаров побывал вечером в конторе и отослал с почтарем всю ранее заготовленную почту, а также и письма Крапивина, валявшиеся несколько дней неотправленными. Этим он думал все-таки оказать некоторую услугу приятелю.

XI

Спустя около недели, уже в сумерки одного ненастного дня, на двор господского дома, в котором жил Нагибин, вкатил тяжелый дорожный экипаж, запряженный четверкой взмыленных лошадей. Соскочивший с козел лакей и выбежавший навстречу Нагибин подхватили под руки с трудом выбирающегося из экипажа главного управляющего имениями князя. Это был уже немолодой человек, довольно высокий и тучный, с бледным и утомленным лицом, оживленным только умным и проницательным взглядом серых глаз, полуприкрытых нависающими веками.

— Ну и дорога! — сказал он, только вскользь взглянув на Нагибина, и, поспешно сунув ему руку в ответ на его почтительный поклон, стал тяжело взбираться на лестницу, поддерживаемый под локоть лакеем.

Вслед за ним, кряхтя и стоная, выбирался из экипажа седой и тучный доктор. Его тоже подхватили под руки кучер Нагибина и полицейский десятник, уже двое суток дежуривший в квартире Нагибина в ожидании управляющего. Доктор с трудом держался на ногах, так его растрясло. Поздоровавшись с Нагибиным, он сердито заворчал, что дороги у них невозможные, почти непроездные и что это просто свинство возить по таким дорогам, в такую сквернейшую погоду.

— Теперь дорогу невозможно содержать в порядке; всю неделю дождь и снег,— оправдывался Нагибин, идя по лестнице вслед за доктором, которого тащили под руки кучер Нагибина и полицейский.

Дорога в Новый Завод всегда была почти непроездная. Еще плохо устроенная, она шла то болотинами, замощенными бревенчатой гатью, то ложбинами, размываемыми бесчисленными горными ручьями, то поднимаясь на крутые каменистые пригорки, то спускаясь с них. Мосты через ручьи и речки, часто пересекающие дорогу, были хотя и новые, но покривившиеся и исковерканные частыми разливами речек, в дождливую погоду часто выходивших из берегов. Доктор, не любивший и боявшийся ездить, все время ворчал и ругался. Управляющий, в начале пути подсмеивавшийся над доктором, к концу пути и сам стал хмуриться и выражать неудовольствие. Они проехали, почти нигде не отдыхая, двести пятьдесят верст,

из которых только первую половину ехали по сравнительно хорошей дороге. Придавая слишком много важности своему донесению о взбунтовавшихся рабочих, Нагибин думал, что прежде всего к нему обратятся с расспросами, как и что у них тут произошло, а о дороге забудут и думать, и был весьма удивлен, что и управляющий и доктор только ругают дорогу и ни о чем не расспрашивают. Он стоял почти около самых дверей и глядел, как управляющий, расправляя затекшие ноги, медленно прохаживался взад и вперед, а доктор, набросав на диван подушек, растянулся на них, приказал лакею управляющего стащить с ног меховые сапоги и двигал ногами, перекладывая их с места на место. Комнатный мальчик Нагибина вносил и ставил на столы по две зажженных свечи.

Через полчаса на двор еще въехала тройка, и лихой ямщик, остановив лошадей, ловко обернулся и отстегнул кожаный фартук повозки. Из нее легко выпрыгнул молодой человек, личный секретарь главноуправляющего, и, отстранив рукой подбежавшего полицейского, быстро взбежал по лестнице. Следом за ним выбирался из экипажа пожилой, худощавый, одетый в простую овчинную шубу мужчина. Это был повар, сопровождавший управляющего во все продолжительные поездки. Ему уже никто не помогал ни выходить из экипажа, ни всходить по лестнице. Он спросил, где кухня, и, предшествуемый кучером, прошел туда и прежде всего спросил себе пообедать.

Через час, на этот раз уже у крыльца въезжего дома, остановился еще экипаж четверней. В нем приехал исправник с двумя казаками на козлах. Это был крепкий и сильный мужчина с щетинистыми усами, военной выправкой и громким, басистым голосом. Он, повидимому, был менее всех утомлен дорогой. Выпив стакан чаю, почистившись и пристегнув тесак, он вышел на крыльцо. Там уже ожидала его посланная Нагибиным лошадь.

— А, вот и вы, Анатолий Николаевич,— протянул управляющий при входе исправника в залу. Он сидел в глубоком кресле и медленно прихлебывал чай из стакана. Доктор пил чай, полулежа на диване. Нагибин тоже со стаканом чаю сидел у одного из простеночных столов.

— А я думал, нам придется ждать вас здесь,— добавил управляющий, протягивая руку подошедшему исправнику.

— Я выехал тотчас, как только получил вашу бумажку,— ответил тот и, здороваясь с Нагибиным и доктором, прибавил: — Я думал, что догоню вас, но дорога ужасная.

— Да, батенька мой,— заворчал доктор,— дорога невозможная, убийственная дорога. Нас так растрясло, что еле жив. Вот еще будет удовольствие расхвораться в таком скверном месте.

— Ну, что вы, зачем же хворать? Вы ободритесь. Что до меня, так я ко всяким дорогам привычен и переношу их довольно стойко,— сказал исправник, усаживаясь на стул между доктором и управляющим.

— А вы, Николай Модестович, насчет закуски распорядились? — спросил управляющий.— Там есть кое-что дорожных запасов, надо сказать Нейстерову, так он приготовит.

— Помилуйте-с, Григорий Павлович, жена уже хлопочет. За честь почтет угостить, чем только может, что имеем,— заговорил Нагибин, вскочив и как-то засуетившись на месте.— Не знаю только, куда подать прикажете.

— Сюда, сюда, милейший Николай Модестович,— быстро заговорил доктор, приподнимаясь на диване и показывая рукой на круглый стол, отодвинутый несколько вбок, возле которого он пил чай.— С супругой вашей мы уже завтра увидаемся, а теперь бы немножко что-нибудь перекусить, пока там повар Григория Павловича приготовит что-нибудь поужинать. Ведь мы, батенька, хорошенько не едали около двух суток.

Доктор выразительно вздохнул и сел на диван, свесив ноги.

Григорий Павлович рассмеялся.

— Мы, кажется, довольно исправно сегодня закусили в Никольском?

— Это битки-то ели? Мясо, я вам скажу, вроде подошвы и до невозможности луку и перцу. Это нас там жена смотрителя угостила; повар наш с секретарем отстали и подъехали тогда уж, как мы выезжали со станции,— рассказывал доктор исправнику, похлопывая его по коленке. Тот смеялся.

Внесли огромный поднос с закусками, накрыли стол белой скатертью и поставили на него поднос. Доктор, прищурившись, нагнул вбок голову и приглядывался к

тому, что было подано на подносе. Должно быть, он остался доволен поданным, потому что лицо его несколько прояснилось, а другой поднос с водками и настойками привел и всех в более хорошее расположение духа. Все выпили и принялись закусывать. Разговор завязался. Исправник стал рассказывать, как на прошлой неделе он ездил на следствие в завод соседнего помещика и что там такое произошло. Наконец, разговор коснулся и происшедшего в Новом Заводе бунта.

— Ну, расскажите, что у вас тут такое произошло? — обратился Григорий Павлович к Нагибину, закусывая свою вторую рюмку водки маринованным белым грибком. У Григория Павловича было правило пить только две рюмки водки, а за ужином он пил только вино и то в небольшом количестве.

— Это все произошло от вмешательства фельдшера Крапивина,— сказал Нагибин, подходя поближе.— Если бы не он, то я уверен, что решительно ничего бы не было. Мука точно была плоховата, но и в прошлом году муку выдавали не лучше, однако ж никто бунтовать и не думал, все были довольны и спокойны.

— Однако ж тут было несколько смертных случаев, и Крапивин пишет, что они произошли от вредного хлеба,— сказал Григорий Павлович.

— Смертные случаи точно были, но они ведь и всегда бывают, но я не могу этого хлебу приписывать. Я думаю, на то была воля божия. Во всяком случае, они должны были просить начальство, а не самовольно грабить амбар. Притом запасчика Архипова чуть не утопили.

Нагибин начал подробно рассказывать все происшествие. Управляющий слушал, нахмурившись; исправник вставлял по временам отрывистые восклицания, вроде: «Ах, канальи, вот бестии! вот черти!» Доктор не спеша, методически закусывал, чокаясь с исправником, и тоже молчал, то нахмуривая брови, то прищурив глаза, внимательно и зорко вглядываясь в лица Нагибина и Григория Павловича.

— Жаль, жаль,— сказал управляющий, выслушав все, что считал нужным сказать Нагибин. Он встал с кресла и несколько раз медленно и, повидимому, в большом раздумье, прошелся по комнате.

— Это в высшей степени неприятная история, в высшей степени неприятная история! Надо было всячески

избежать ее,— сказал он, наконец, останавливаясь против Нагибина.

— Я не виноват,— заговорил тот как-то торопливо и растерянно.— Вам известна моя служба, Григорий Павлович, всю жизнь со всем усердием, так сказать, верой и правдой...

— Да знаю, знаю,— махнул рукой Григорий Павлович, снова заходив по комнате.— Ну, оставим это все до завтра. А виновные где у вас находятся?

— Крапивин под домашним арестом содержится в больнице. Заведование больницей передано бывшему фельдшеру Каратаеву. Озерков, Шитов и еще двое из более виновных содержатся при полиции, остальные все на работах.

— Хорошо. Так, значит, завтра мы все расследуем и увидим, что нужно сделать. А теперь хорошо бы поужинать и соснуть. Я чувствую крайнее утомление,— заключил Григорий Павлович, снова опускаясь в кресло.

Нагибин скрылся во внутренних комнатах, сильно озабоченный. Он начинал понимать, что зашел в своем усердии к интересам помещика слишком далеко. Он сам прошел в кухню и спросил у повара, уже надевшего свой колпак и белый фартук и важно священнодействовавшего у плиты, скоро ли будет ужин.

— Сейчас будет готово-с,— ответил тот, не отрываясь от своего дела.

Вскоре после того, как приехал управляющий, на дворе у Нагибина собралась небольшая кучка баб с просьбой допустить их до управляющего, перед которым они хотели встать на колени и просить помилования себе и мужьям.

— Что с ними делать? Доложить ли Григорию Павловичу или приказать казакам разогнать их? — спрашивал растерявшийся Нагибин у секретаря управляющего, пившего чай в столовой с Серафимой Борисовной.

— Нет, лучше не докладывать. Григорий Павлович все равно не примет их сегодня, а казакам отдать приказ, то, пожалуй, шум подымется; Григорий Павлович этого не любит. Лучше выйти и уговорить их разойтись, сказать, что завтра их выслушают,— предложил секретарь.

Нагибин с минуту молча глядел на него. Ему идти уговаривать баб разойтись! Это что-то не вязалось с его понятиями.

— Не выйдете ли вы? Как лицо уполномоченное... вас скорее послушают,— предложил Нагибин секретарю.

— Что ж, пожалуй, я выйду,— согласился тот и, улыбаясь, встал и отправился на крыльцо, где ему очень скоро удалось успокоить баб обещанием, что завтра они будут приняты и выслушаны в конторе. Секретарь стоял на крыльце в одном сюртуке, поеживаясь от холоду и сырости и покачиваясь с каблуков на носки, уговаривал баб, называя их голубушками. А сзади его стояли два исправничьих казака, всюду сопровождавшие свое начальство, готовые ринуться по его приказу в огонь и воду. Бабы разошлись без всяких возражений.

Ужинали в зале. К ужину приглашены были секретарь и Нагибин. Разговор за столом не клеился, да и некогда было разговаривать. Повар Григория Павловича не ударил лицом в грязь, и уха из свежих харюзов была очень хороша. Хороши были и отлично зажаренные рябчики с разными вкусными к ним салатами и нежные, легкие вафли со сбитыми сливками и душистым вареньем из княженики. Ко всему этому подавались весьма недурные вина, хранившиеся в подвале Нагибина для особо важных посетителей. После ужина, хотя и приведшего гостей в более благодушное настроение, они все-таки пожелали сейчас же лечь спать. Были внесены кровати в залу и гостиную с пуховиками для доктора и для управляющего. Секретарю пуховика не полагалось, и сделанная ему на диване в зале постель была порядочно жестковата (тогда в заводах еще не водилось мягкой мебели), но была чистая простыня, пара мягких подушек и теплое одеяло, и секретарь с наслаждением растянулся на диване, дождавшись, однако ж, когда улеглось начальство, укладываемое своим лакеем. Когда легли и Григорий Павлович приказал потушить свечи, секретарь сказал ему:

— А ведь к вам, Григорий Павлович, тут полный двор баб сбегался.

— Ну и что же?

— Струсил Нагибин и спрашивает, как с ними быть. Хотел вам докладывать, я отсоветовал, вышел к ним и уговорил их разойтись. Сказал, чтоб завтра приходили в контору.

— И прекрасно, и прекрасно! — ответил управляющий и почти тотчас стал посапывать носом.

«Уж заснул, а я и покойной-то ночи не успел пожелать»,— огорчился секретарь, засыпая.

Только доктор в гостиной еще ворочался на своем пуховике, тяжело отдуваясь: он покушал более, чем следовало.

XII

Утром на другой день, несмотря на то, что падал мокрый снег и тотчас же таял на земле, бабы уже собрались у конторы и ждали там часа два появления начальства. Крапивина приводили для допроса в дом к Нагибину, и он принес с собой образцы муки и хлеба. Григорий Павлович допрашивал его в зале только в присутствии доктора. Крапивин просил произвести вскрытие последнему умершему мальчику, сыну Озеркова, похороненному всего дня два тому назад. Ему хотелось это сделать для того, чтобы были вполне несомненные доказательства отравления.

— Но можно и так поверить,— сказал на это доктор, сидевший за столом и рассматривавший муку и хлеб.— Скверный хлеб, нельзя таким людей кормить. Николай Модестович сделал грубую ошибку, что не досмотрел сам и слишком положился на своих подчиненных. А вырывать похороненных и производить им вскрытие, я думаю, нет надобности. Это только еще больше неудовольствия вызовет в народе, он ведь подобных вещей не любит.

— Да, это правда, я и сам думаю, что вскрытие излишне,— согласился Григорий Павлович, прохаживавшийся по зале.

— Мертвых не воскресишь,— рассуждал доктор, откинувшись на спинку стула,— а от живых вред этот устранен теперь будет. Кроме того, ведь не все же и умирали. Погибли только слабейшие организмы, имевшие предрасположение к заболеваниям, как это и всегда бывает и при эпидемиях и при всяких других неблагоприятных условиях жизни. Самое лучшее, Григорий Павлович, оставить мертвых в покое, а то подумайте, сколько хлопот и лишних расходов. Да и его сиятельству эта история будет крайне неприятна.

— Все это так, милейший доктор, и вполне я с вами согласен,— заговорил Григорий Павлович, останавливаясь против доктора,— но тогда Крапивину, как вызвав-

шему волнение и беспорядки в среде рабочих без особенно уважительных причин, придется понести почти одному всю тяжесть княжеского гнева. Не довести же этого дела до его сведения я не могу.

— Совершенно верно-с, но в своем донесении вы можете смягчить всю эту историю, представив ее не в слишком мрачных красках, и дело, может быть, как-нибудь и обойдется: особенно сурового наказания, вроде отдачи в солдаты, теперь ведь уж быть не может, а небольшое послужит наукой молодому человеку, заставит его более умело обращаться с людьми,— говорил доктор, постукивая по столу концами пальцев.

— Крутенек наш князь, крутенек и не слишком-то поддается посторонним влияниям,— сказал Григорий Павлович, останавливаясь перед Крапивиным.— Я просто не могу себе представить, чем это может кончиться. Вы должны быть ко всему готовы.

— Я и готов ко всему,—спокойно сказал Василий Иванович, глядя в глаза управляющему своими чистыми серыми глазами.— Я перенесу все безропотно, но молчать и ждать я не мог, не имел права.— Григорий Павлович молча отвернулся и опять стал ходить по комнате.

— Ну да, я понимаю все это, хорошо понимаю. Всему причиной эта проклятая дорога, эта дальность расстояния. Если б можно было своевременно снестись с главным управлением, то оно, конечно, устранило бы поводы к этой истории.

— Я так и думал, и как только дело выяснилось для меня, написал и в главное управление и господину доктору, но Николай Модестович не захотел отправлять с нарочным моих донесений, а почта ходит отсюда только раз в неделю. Письма мои и пролежали дней пять в конторе. А тут как раз наступила выдача хлеба, и рабочие не захотели брать его.

— Да, Николай Модестович бывает через меру экономен, чересчур,— проговорил недовольным тоном Григорий Павлович, опускаясь в кресло.

— И вот в результате произошло столкновение двух служебных усердий,— рассмеялся доктор, разведя руками.— А нам вот тут в чужом пиру похмелье.

Крапивин хотел было возразить на это шутливое замечание доктора, но только поглядел на его широкое, лоснящееся от жиру лицо и промолчал.

— Идите, и будем ждать распоряжений князя. Я постараюсь сделать для вас, что могу,— сказал Григорий Павлович Крапивину.

— Я готов всему подчиниться,— отвечал Крапивин,— но я покорнейше прошу вас, Григорий Павлович, сколь возможно снисходительно отнестись к Озеркову. Ведь у него сын умер, отравившись хлебом. Да и ко всем другим я прошу вашего снисхождения. Собственно, они ведь не виноваты, я причиной всему.

— Хорошо, хорошо, идите. Там уж наше дело разобрать, кто насколько виноват,— несколько суховато ответил Григорий Павлович.

Василий Иванович откланялся и вышел.

— Теперь, милейший доктор, я отправляюсь в контору, а вы...

— А я в больницу, надо же по пути обревизовать, как там и что, а затем,— добавил доктор, обращаясь к входившему Нагибину,— зайду к супруге вашей выпить ее прекрасного кофе, который она так мастерски варит, ну и побеседую с почтеннейшей Серафимой Борисовной, пока вы будете в конторе и, вероятно, оттуда пройдете и на фабрики.— Григорий Павлович утвердительно кивнул головой и пошел в переднюю одеваться.

Толпа баб, ожидавшая у конторы, упала на колени прямо в грязь, как только подъехал управляющий с Нагибиным к крыльцу, выходившему на улицу.

— Не надо, не надо, встаньте,— закричал им управляющий, с недовольным видом махая рукой, и поспешно прошел в контору. Тут были допрошены Озерков и Шитов и все те, на кого показывал Архипов, как на главных виновников совершенного над ним насилия. Был допрошен и сам Архипов, и некоторые из баб, и Гвоздев, заставленный насильно записывать выдачу, и, наконец, все дело выяснилось как нельзя лучше перед молчаливо выслушивавшим показания Григорием Павловичем.

Оставив решение дела до завтра, он встал и, пригласив с собой Нагибина, проехал с ним на фабрики. И там он был встречен земными поклонами, просьбами о прощении, обещаниями усердно работать и хорошим поведением загладить свою вину. Там же, на пороге пудлинговой фабрики, Григорий Павлович был встречен механиком и, дружелюбно поздоровавшись с ним, заговорил о делах, касающихся его специальности. Вместе обошли

они все фабрики, разговаривая о делах, и затем управляющий простился, пригласив механика обедать с собой, и уехал. Прощаясь с рабочими, он обещал им испросить прощение у князя ввиду их раскаяния и исправного исполнения работ.

— Будем стараться, рады стараться,— кричали рабочие, окружая управляющего, опять кланяясь до земли.

— Хороший народ, послушный, покорный и всегда был на хорошем счету. Удивляюсь, как вы на этот раз не умели с ним поладить. Следовало удовлетворить их просьбу о хлебе и не затевать всей этой истории.— Нагибин заговорил было что-то в свое оправдание, но управляющий остановил его с нахмуренным и недовольным лицом.

— Да уж молчите, завтра поговорим об этом.— В уме он решил распечь его как можно жестче, но откладывал это дело до завтра, так как очень проголодался и не хотел портить своего аппетита. Вообще завтрашний день назначался днем экзекуций, и уже вечером этого дня в гостях у механика, пригласившего всех к себе в гости после обеда, он поговорил с Анатолием Николаевичем о мерах возмездия.

— Невозможно оставить их без наказания, хотя, как я вижу теперь, всю эту историю могло устранить здешнее начальство, да толку не хватило,— говорил Григорий Павлович, с досадой разводя руками.

Они прохаживались с исправником по зале, пока в кабинете механика устраивался карточный стол. Карты устраивались исключительно для доктора, который начинал жестоко скучать и хандрить всякий раз, когда долго не видел зеленого поля.

— Никак невозможно, острастка должна быть дана,— с готовностью ответил исправник.

В то время исправники получали определенный оклад от заводовладельцев, а иногда еще и сверх оклада перепадало что-нибудь за особо важные услуги, и к управляющим больших имений относились весьма почтительно, чтоб не сказать подобострастно. Выпороть кого угодно, даже и без вины, каждый исправник считал своей обязанностью. А тут и вина была, и притом вина громадная. Готовность исправника, конечно, нисколько не удивила Григория Павловича, но заставила его несколько озабоченно нахмурить брови.

— Только знаете что, Анатолий Николаевич, времена теперь мы переживаем трудные, так сказать, накануне освобождения,— заговорил он, понижая голос,— а поэтому нужно все-таки сообразоваться с требованиями времени и-и...— тянул управляющий подыскивая выражения.

— Я понимаю вас, Григорий Павлович, вполне понимаю, все будет сделано в надлежащем размере,— успокоил Анатолий Николаевич затрудняющегося управляющего.— Вы можете вполне положиться на меня, я, знаете, и сам не люблю переступать границы.

— Да, пожалуйста! Я на вас надеюсь более, чем на Нагибина, который завтра будет вместе с вами в полиции и, может быть, по злобе на того или другого (тут ведь у него не обойдется без личных счетов) будет настаивать на более строгом взыскании, так вы уж, пожалуйста, не слишком доверяйте ему, решайте сами. И женщины тут будут, надо и попугать их и все-таки отнестись к ним помягче. Можно бы и совсем баб не трогать, если б не это насилие над Архиповым, который, правду сказать, больше всех заслуживает розог.

— Помилуйте, без наказания оставить нельзя-с. Там еще когда что будет относительно воли, а страх и почтение к начальству они должны иметь. Нет, надо и им сделать внушение, а то они и снова какое-нибудь самоуправство проявят. На баб ведь только зыкнуть хорошенько, так у них и душа в пятки уйдет, а для примера прочим дать одной или двум лозанов по пяти, и довольно. Сами вы, конечно, не будете присутствовать.

— Нет, пожалуйста, увольте,— сказал Григорий Павлович с брезгливой гримасой.— Вполне достаточно одного Нагибина. Мне завтра надо будет позаняться коечем с Густавом Карловичем.

В это время Густав Карлович подошел с картами веером; Григорий Павлович и Анатолий Николаевич взяли по карте и пошли к карточному столу, у которого уже дожидался их доктор.

На другой день производилась экзекуция. Выдрали Озеркова и Шитова и еще человек трех из рабочих, на которых указал Архипов накануне, как на помогавших тащить его в пруд. Только число ударов оказалось настолько невелико, что виновные, ожидавшие жесточайшей порки, после сами удивлялись слабости наказания.

Они приписали это заступничеству Василия Ивановича, весть о котором как-то достигла до них.

Во время порки стон и рев как в самой полиции, так и около нее стояли невообразимые. Бабы, на этот раз согнанные десятниками, ревели так отчаянно громко, что почти заглушали гремевший, как труба, голос исправника. Из них только одна получила пять лозанов; другая, указанная Нагибиным, оказалась беременной и была отпущена. Часам к двенадцати все было кончено, и отпущенные домой мужики и бабы бегом разбегались по домам с чувством облегчения, что ожидаемая гроза, наконец, разразилась и все их дело кончено. Никто не роптал на наказание, все считали его заслуженным, одна только Ефремова, как женщина уже пожилая, никогда раньше не подвергавшаяся телесному наказанию, считала себя глубоко обиженной и горько проплакала весь вечер.

Все начальство опять вместе обедало у Нагибина, а вечером управляющий потребовал к себе Архипова и жестоко распек его за испорченный хлеб. Когда тот попробовал было оправдываться тем, что хлеб и доставлен был дурной, то это только ухудшило дело.

— Так зачем ты, собачий сын, принимал его, когда видел, что он испорчен? Ты, значит, взятку взял с поставщика? Как смел ты это делать? — кричал на него Григорий Павлович.— Я знаю, как вы свои карманы набиваете, разбойники, грабители! Сам ты, однако, не ел этого хлеба, а других заставлял его есть! Ведь знаешь ли ты, что тебя под суд упечь за это можно? Благодари бога, что тебя покупали в пруду, ты это вполне заслужил, и если б не это, я отнесся бы к тебе еще строже. Старик ты, шестьдесят лет тебе, а ты не боишься бога, не имеешь совести. Через месяц ты будешь сменен с должности, а теперь ступай вон!

Архипов, дрожащий, готовый упасть на колени, поспешил выпятиться в переднюю. Он страшно струсил, несмотря на то, что имел чем жить, если бы и остался без службы.

— А теперь, Николай Модестович, надо поговорить и с вами,— обратился Григорий Павлович к Нагибину, молча присутствовавшему при этой сцене.— Как могли вы допустить все это безобразие и почему не отнеслись с бóльшим доверием к заявлению фельдшера Крапивина? Почему, наконец, мне не донесли немедленно? Я успел бы

сделать распоряжение, а вам только задержать выдачу хлеба дня на два,— и всей этой скверной истории не было бы. Столько лет вы служите, пользовались до сих пор доверием как моим, так и князя и поступили так глупо и даже недобросовестно. Сами едят себе хороший хлеб и знать ничего не хотят о нуждах рабочего. А между тем это ваша прямая обязанность, как ближайшего к рабочему начальства. А вы сами даже не посмотрели хлеб и других сведущих людей не заставили посмотреть, вполне на свою родню положились, а вот он, ваш милейший шурин, и подвел вас, поставил в глупейшее положение. Да и все хороши теперь будем перед князем. Эх, Николай Модестович!

Махнув рукой, Григорий Павлович несколько времени молча ходил по комнате, потом подошел к столу, на котором стоял графин с домашним квасом, налил и выпил полный стакан. Потом он повернулся к Нагибину, молча сконфуженно переминавшемуся с ноги на ногу, и снова принялся пилить его.

— Ведь вам небезызвестно, Николай Модестович, что скоро наступит освобождение и надо всячески избегать всяких поводов к неудовольствиям. Боже упаси, если вспыхнет открытый бунт и придется остановить заводы. Какие будут громадные потери и какая ответственность упадет на нас, если только мы уцелеем. Нет, милейший, теперь не время гнуть рабочего в бараний рог, надо с ним помягче, потактичнее обходиться. Этому заводу предстоит будущность, может быть, закроются другие, но этот будет расти и развиваться, так хочет князь. Итак, помните, что во что бы то ни стало надо ладить с рабочими, не мирволить им, но о нуждах их заботиться добросовестно.

И долго еще читал Нагибину нотацию Григорий Павлович, и когда, наконец, Нагибин был отпущен, то был красен, как рак, и рубашка на нем была совершенно мокрая. Он упал в своей спальне на постель и, уткнувшись головой в подушку, заплакал. За все тридцать лет его службы он не помнил, чтоб его когда-нибудь кто-нибудь так долго, так гневно и язвительно распекал и упрекал потворством к заведомо берущей взятки родне жены. И всю эту кутерьму поднял Крапивин, смутивший всех. Да, наступали какие-то новые, непонятные для узкого и тяжелого ума Нагибина времена. В первый раз еще Гри-

горий Павлович заговорил об освобождении крепостных, как о деле решенном, и все еще не веривший в это Нагибин теперь сразу поверил и испугался надвигающегося переворота.

«Уходить тогда надо, уходить»,— думал он и тоскливо метался на постели. Серафима Борисовна подошла к нему, помогла снять сюртук и старалась его утешить и успокоить.

В последнюю ночь пребывания управляющего в Новом Заводе выпало много снегу, и, к великой радости доктора, запрягли лошадей в зимний экипаж, но повар и секретарь управляющего должны были ехать в летнем на случай, если б он понадобился. Несколько рабочих было выслано вперед на все трудные и опасные места, чтоб могли подхватить экипаж, поддержать, а в случае надобности и перевезти его на себе. Исправник со своими казаками уехал вперед рано утром, а в десять часов и главноуправляющий имением князя выехал из Нового Завода. Его провожали только механик, Сергей Максимович, явившийся по обыкновению с больничной рапортичкой, и Серафима Борисовна, растерянно извиняющаяся за супруга, что он заболел и не может встать и выйти проводить дорогих гостей. Она приложила платок к глазам и всхлипнула.

— Э, не беспокойтесь, это пройдет у него,— сухо сказал Григорий Павлович и, поблагодарив ее за хлеб-соль, простился со всеми и уехал.

XIII

Серафима Борисовна напрасно боялась, что богатый жених, не получивший сразу определенного ответа, обидится и не приедет больше. Дня через три после бунта он снова был в Новом Заводе только с зятем, но без сестры и отца; оба были у Серафимы Борисовны и до некоторой степени были обнадежены ею, но к Архипову она их не повезла и просила их обождать еще несколько дней, чтоб дать Архипову поправиться, да и самой ей хотелось прежде проводить ожидаемого на днях главноуправляющего.

Сваты приехали опять вскоре после отъезда Григория Павловича, на этот раз втроем: Новожилов-жених, его

сестра и ее муж. За отца они извинились, что он не может быть по этой ужасной дороге. Правда, они приехали уже в кошеве, но местами снегу было так мало, что приходилось тащиться по голой земле, и сорок верст расстояния, отделяющего Сосьву от Нового Завода, плелись около шести часов.

— Если б не крайность,— говорила Варвара Степановна (так звали сестру Новожилова), здороваясь с Серафимой Борисовной,— то ни за что бы не поехала по такой дороге. А то, вижу, брат скучает, ходит сам не свой, ну, думаю; надо как ни то добиваться окончания дела.

Серафима Борисовна еще утром побывала у Архипова и сказала ему и Лизе, что сваты приехали и надо дать решительный ответ, то есть прямо сделать просватанье и назначить день свадьбы.

Лиза, похудевшая и побледневшая за эти тяжелые для нее дни, только плакала и хотя твердила все свое: «нет, не пойду», но на это никто не обращал внимания. О Крапивине и своей любви к нему она не смела и заикнуться.

Когда Архипова приволокли домой и с помощью своей старухи-кухарки Лиза переодела отца и уложила его на печь под шубу, подав ему, по его требованию, стакан водки,— кто-то тихонько постучал в окно комнаты, выходившее на улицу. Лиза подошла к окну и увидала стоявшего там Крапивина, знаками просившего Лизу отворить ему калитку. Зимние рамы были уже вставлены, отворить окно было нельзя, и Лиза только махнула ему рукой, чтоб уходил. Выйти к воротам, запертым тяжелым засовом, тотчас как втащили Архипова, она не смела: кухарка увидала бы и сказала отцу.

На третий уж день, когда зубы у Архипова перестали стучать и самого его перестало трясти, он разразился страшной руганью по адресу Крапивина. Во всем винил он его одного: и в том, что его, старика, пользовавшегося уважением рабочих, чуть не утопили в пруду, и в том, что он произвел бунт в народе без всякой иной причины, кроме желания всем наделать как можно более неприятностей. Он так кричал, так топал ногами и скверно ругался, что перепуганная Лиза, никогда не видавшая отца в таком раздраженном состоянии, не только не смела сказать слово в защиту Крапивина, но

готова была провалиться сквозь землю. Ей строго запрещено было не только видеться и говорить с «этим душегубом, с этим каторжным», но и кланяться ему и даже глядеть на него.

— Если увижу, что ты еще с ним переглядываешься, прямо схвачу полено и убью тебя, — заключил Архипов свои гневные речи.

Последнее запрещение было совсем излишне, потому что на другой же день после бунта Крапивин был арестован, и у дверей свободной больничной палаты, обращенной в место заключения, постоянно сидел сторож, вначале не позволявший ему даже в коридор выходить. В день бунта, услыхав, что Архипова топили в пруду, Василий Иванович бросился к его дому, думая оказать помощь, но уже застал запертые ворота. Тщетно ходил он около, поджидая, не выйдет ли к нему Лиза и не скажет ли что-нибудь о своем отце, и, не дождавшись, ушел в больницу, где его попечений требовал больной сынишка Озеркова.

Эта история с Архиповым была для Василия Ивановича совсем неожиданной. Правда, он ожидал, что у Архипова отберут ключи насильно, если он сам добровольно не отворит амбара, что, может быть, не обойдется при этом без нескольких толчков, но не ожидал, что Архипов будет так долго упорствовать, а народ, такой забитый и кроткий, так рассвирепеет.

Он думал сам пойти с народом к амбарам и употребить все свое влияние, чтоб удержать рабочих от насилий, но свалившийся ему на руки опасно заболевший сын Озеркова, к которому он так настойчиво просил идти, помешал ему быть там. Все сложилось так скверно, что Василий Иванович сильно приуныл, сознавая и опасаясь, что эта история может навсегда разлучить его с Лизой. Когда Назаров приходил к нему и, видя его уныние, начинал утешать и ободрять его, Крапивин сердился.

— Все пустяки,— говорил он, вскакивая с койки и бегая по палате,— всякое наказание я перенесу и уверен, что все в конце концов перемелется, и опять я буду тем же, что и был, что я есть. Но Лизу, Лизу я потерял. И этот только что начавший распускаться цветок погиб, погиб!

Назаров слушал, плохо понимая. Он ничего не слыхал от сдержанного и молчаливого Крапивина о том, что между ним и Лизой было, и дивился тоске приятеля и при-

ступам страшного горя. Он никак не ожидал, что его приятель так глубоко полюбил и больше всего тоскует о своих разбитых надеждах. Ему казалось, что Крапивину есть о чем горевать и кроме любви, и угрюмо молчал, сознавая, что не следует утешать человека обманчивыми надеждами. Еще более затосковал Василий Иванович, когда услыхал, что Лизу помолвили, что на помолвке был священник, молились богу, пили вино, поздравляли сговоренных.

— Хотя бы увезли меня скорее куда-нибудь,—говорил Василий Иванович,— легче бы было мне ничего не видеть и не слышать.

И в то же время ему мучительно хотелось если не видеть, то слышать. Он вскоре услышал, что Лиза вовсе не выглядит счастливой невестой, что она почти не осушает глаз, побледнела и похудела страшно. Маша, случайно встретившаяся с Назаровым, передала ему это. Лизу отдают силой, отец угрожает проклятием, а Серафима Борисовна, на доброту и жалостливость которой рассчитывала Лиза, держит сторону отца, и бедная Лиза против воли покорилась.

Теперь к личной тоске Василия Ивановича присоединилась забота и горе о любимой девушке. В нем проснулось прирожденное ему чувство врача: «Не перенесет она, не выдержать ей этой жизни в неволе, рядом с нелюбимым мужем,— думал он грустно: — не такая она, как все тут, слабенькая, тоненькая такая, хрупкая... Беречь бы ее надо».

Он написал ей горячее и нежное письмо, умоляя заботиться о своем здоровье, беречь себя и стараться помириться со своей участью, стараться забыть его, Крапивина, если воспоминание о нем мешает ее счастью. «Видеть тебя счастливой и здоровой — для меня высшее благо»,— заключил он свое письмо и передал его Назарову, прося пер дать Маше, для того чтобы она передала его Лизе. Но Маша наотрез отказалась взять письмо. Ей только на том условии и позволили гостить у подруги, что она не будет передавать писем ни от Лизы к Крапивину, ни от него к Лизе.

— Серафима Борисовна заставила меня побожиться перед иконой, и я не буду нарушать обещание, я не могу этого сделать,— сказала Маша серьезно и печально, и Назаров не стал настаивать.

Ночью, ложась спать с Лизой, Маша все-таки не утерпела и сказала ей, что Василий Иванович писал ей письмо, но она не смела взять его, побоялась и греха да и того, как бы не проведала Серафима Борисовна. А проведать было легко: кроме Маши, гостили у невесты еще другие девушки и в числе их была приглашена Серафимой Борисовной кривая Анисьюшка, старая дева, видевшая одним глазом так зорко, как другие не доглядели бы и двумя. Да и слух у ней был до крайности изощренный, так что девушкам только ночью и только на ушко можно было пошептаться между собой. За всеми девушками неусыпно следил этот одноглазый аргус и все передавал, что услышит, Серафиме Борисовне. Но Маша была осторожна, и только Лиза услышала про письмо. Эта весть сильно подлила масла в огонь. «Что он писал? Как узнать это? Через кого получить письмо?» — думала Лиза целые дни, напрасно стараясь что-нибудь придумать. Марья Ивановна звала было Лизу к себе с работой и подругами, но отец не отпустил, сказав, что и так Лизе осталось недолго дома сидеть. Марья Ивановна приезжала к ней помогать кроить и шить подвенечное платье, но их ни на минуту не оставляли одних. Невозможно было даже поговорить ни о чем. Времени до свадьбы оставалось уж немного. Ввиду надвигающегося филиппова поста свадьба была назначена на двенадцатое ноября, и до свадьбы оставалась одна неделя. Серафима Борисовна хлопотала изо всех сил с шитьем приданого и очень сердилась на Лизу, видя ее равнодушие и безучастное отношение ко всем нарядам. Никакого удовольствия не выразила она даже тогда, когда привезли от жениха сундук с дорогим лисьим салопом, украшенным еще более дорогим собольим воротником. Все восхищались этой шубой, как верхом роскоши, только Лиза почти не взглянула на нее.

— Будет время, еще нагляжусь,— сказала она, отстраняя ее рукой и отворачиваясь.

— Ну и бесчувственная же ты,— сказала, с неудовольствием и удивлением глядя на Лизу, Серафима Борисовна.— Ничем тебе угодить не можно. Как ты и жить будешь?

— Как-нибудь, а лучше бы всего умереть,— угрюмо ответила Лиза и погрузилась опять в свою неотвязную думу о том, как бы получить писанное ей Василием

Ивановичем письмо. Ей все казалось, что в нем ее спасение.

А время летело так быстро, и незаметно подкрался день свадьбы. Накануне, то есть одиннадцатого ноября, получилось и решение участи Крапивина, и решение довольно суровое. Старый крепостник-князь не уважил ходатайства своего главноуправляющего и постановил сослать Крапивина в Троицкий рудник в работы впредь до распоряжения. С ним приказано было сослать Озеркова и Шитова. Князь находил, что одной порки для таких буянов недостаточно. Для большей острастки при отправке рекомендовалось заковать всех в кандалы.

Нагибин остался доволен решением, потому что все еще не улеглась его злость на Крапивина, но Шитова и Озеркова ему было жаль, хотя жалел он их всего более потому, что это были хорошие работники, уже второй год работавшие у пудлинговых печей мастерами. «Одну из печей придется погасить, и надо просить, чтобы выслали мастеров из Благодатска»,— думал Нагибин, отдавая распоряжение взять рабочих под арест и объявить полученное от князя решение. Мужики были поражены, как громом: они думали, что вполне отбыли свое наказание, и преспокойно работали, отпущенные на другой же день после порки. Их бабы взвыли и бросились умолять об отмене наказания. Тщетно Нагибин объяснял им, что это предписано князем и что не только он, но и управляющий отменить этого не может; они ничего не слушали, валялись в ногах и ревели. Нагибин прибег к обычному приему: выпроводил баб в шею, наказав, чтоб в эту же ночь собрали мужей в дорогу, что завтра же утром они будут непременно отправлены. Уходя из конторы, Нагибин бросил перед Назаровым на стол полученное им предписание князя и сказал:

— Сообщите приятелю да скажите, чтоб к утру готов был в путь.

Назаров, взяв бумажку, пробежал ее глазами и, передав ее для прочтения другим служащим, быстро вышел из конторы. Все конторские служащие, прочитав бумажку, почувствовали себя как будто придавленными, как бы сжатыми в тисках, и некоторое время только молча переглядывались.

— Что говорить, тяжелое наказание, тяжелое,— заговорил, наконец, Лопатин, покачивая головой,— только не

первый Василий Иванович подвергается ему: бывало это, не раз бывало, ссылали в рудники, и получше его ссылали, а потом прощали и возвращали к старым должностям. Для примеру это приказано сделать, а потом возвратят.

— Когда еще простят, может, через год, а он все это время страдать должен, а за что? — возразил кто-то из конторских служащих. Но ему никто не ответил, и все служащие, понурые, точно пришибленные, разошлись по домам.

А Назаров, идя в больницу, то и дело смигивал набегающие слезы. Страшно жаль ему было товарища, и все-таки это было лучше, чем отдача в рекруты, как бывало прежде. Здесь все-таки оставалась надежда на улучшение участи в недалеком будущем. Сообщив Василию Ивановичу о решении князя, Назаров стал ободрять и утешать его надеждой на перемену к лучшему в недалеком будущем.

— Ну и слава богу, я рад и такому решению! — воскликнул Крапивин почти весело.— Смерть надоело мне сидеть взаперти. Еще слава богу, что Григорий Павлович разрешил тебе и Густаву Карловичу навещать меня, а то бы я тут с ума сошел, пожалуй. Ничего, поработаем в руднике, добывали руду и князья и графы, а мне и подавно можно. Да и рудник не за тридевять земель. Сколько тут до него?

— Всего семьдесят верст,— ответил Назаров и сам повеселевший, увидев, что Крапивин не унывает.

— Смотри, на святках ты приезжай меня проведать.

— Да уж приеду, не без того, а ты и укладываться начинаешь?

— Что ж, надо готовиться,— говорил Василий Иванович, начиная отбирать и укладывать те из своих вещей, которые могли ему понадобиться в ссылке. Остальные он просил Назарова взять к себе на хранение. Его сборы были прерваны поданным ему обедом. Садясь за стол, Василий Иванович спросил Назарова:

— Ты, вероятно, пойдешь сегодня на обручение?

— Ни за что, и не проси, не пойду. Это чтоб глядеть на торжествующую рожу Новожилова да в заплаканные глаза Лизаветы Петровны? Нет, не пойду,— сердито сказал Назаров.

— Хоть бы на словах ей кто-нибудь передал, что от всей души я желаю ей счастья, что люблю ее больше

прежнего и страшно жалею,— вскричал Василий Иванович, переставая есть, и, выскочив из-за стола, забегал по комнате, судорожным движением рук сжимая виски.

— Если встречусь я когда-нибудь с ней да сама она спросит про тебя, так тогда я ей все расскажу, как ты страдал и терзался здесь и все твои слова передам. А не спросит она, так и я не буду говорить. У девок, брат, память короткая,— сказал Назаров, уходя. На пороге он добавил, что придет вечером.

А вечером не только он, а и Густав Карлович пришел, и оба просидели у Крапивина до поздней ночи.

Той же ночью, когда утомленная Лиза, проводив последних гостей со своего обрученья, ложилась спать, она услыхала печальную новость.

— В каторгу, в каторгу,— беззвучно шептала Лиза, вся похолодев от ужаса и широко раскрытыми глазами глядя в ночную тьму.— Его в каторгу, а меня под венец с немилым. Господи, господи! Какие мы несчастные! — Она в тяжелой тоске заметалась и застонала в постели.

— Что с вами, Лизанька, что вы? Не принести ли вам воды? Не болит ли голова? — говорила вскочившая Анисьюшка.— Не намочить ли голову одеколоном али полотенце сырое к ней приложить?

— Ах, да оставьте вы меня, пожалуйста! — взмолилась Лиза.— Слышать мне вас противно. Хоть бы на минуту одну оставили.

— Не могу, матушка, ни на одну минуту вас оставить, не приказано,— ответила Анисьюшка и, отойдя к дверям, села на стул, надувшись.

Кое-как Маше поцелуями и ласками удалось успокоить подругу. Но более всего успокоила она ее тем, что передала ей все, что слышала от отца, когда ходила домой переодеваться к вечеру.

— Это ведь совсем не то, что ссылка в Сибирь,— говорила Маша,— оттуда уж нет возврата, а Троицкий рудник ведь недалеко, и князь, наверное, скоро смилуется и простит Василия Ивановича. Все так думают.

Тоскливое и особенно тревожное состояние Лизы в эти последние дни было замечено Серафимой Борисовной, и она сама тревожилась в душе, с нетерпением ожидая дня свадьбы. Но, несмотря на всю свою тревогу, она была вполне убеждена, что Лиза скоро забудет свою «глупость». Жизнь в богатом доме в полном довольстве непре-

менно образумит ее. Только бы скорее отпировать свадьбу, а там все пойдет, как по маслу.

То, что день свадьбы совпал с днем отправки бунтовщиков, Серафиме Борисовне не понравилось, но изменять этого она все-таки не стала. Отправка бунтовщиков назначена была утром, а венчание должно было произойти в двенадцать часов. Назначено оно было так рано потому, что новобрачным нужно было тотчас после венца отправиться в Сосьву и еще засветло доехать до дому жениха. Зимний путь хотя и установился, но лед на реках был еще тонок и ненадежен, и поезжане, все опытный и бывалый народ, торопились. Ложась спать, Серафима Борисовна выразила сожаление, что свадьба будет при дневном свете.

— Вечером, при полном освещении храма, было бы торжественнее,— сказала она.

— И певчие будут не в полном составе, Назаров отказался петь,— проворчал Нагибин, закутываясь одеялом.

— Вишь, какой! Он, однако, очень смело себя держит, не мешает ему и замечание сделать,— сказала Серафима Борисовна.

Нагибин только что-то промычал в ответ; он изрядно выпил на обрученьи, и его одолевал сон.

Утром ему было доложено, что у одного из ямщиков захромала лошадь, а другой пирует на свадьбе в деревне и ни его, ни лошадей нет дома. Нагибин распорядился, чтоб бунтовщиков отправили на господских лошадях. Почтового сообщения между рудником и Новым Заводом не было, и приходилось сделать все семьдесят верст на одних лошадях по узкой дорожке, пролегающей долиной речки Кырьи, по которой в зимнее время подвозили руду с Троицкого рудника к новозаводской домне.

Распорядившись на этот счет и назначив в ямщики самых бывалых конюхов, он еще раз наказал Вахрушеву, чтоб к десяти часам ссылаемые были непременно отправлены, и ушел в спальню, где снова лег. Его что-то особенно сильно ломало с похмелья, а между тем к одиннадцати часам надо было быть у невесты.

Выходя от Нагибина, Вахрущев сердито чесал свою голову и ворчал себе под нос:

— Теперь скоро восемь, а ты вот изволь и подводы исправить, и ссыльных собрать. Бежать надо сперва на конюшню и, дай бог, хоть к обеду собрать и отправить.

XIV

В доме невесты к двенадцати часам все было готово. Перед тем как одеваться к венцу, Лиза еще раз просила отца отказать жениху и лучше отдать ее в монастырь, но на это так все закричали, так на нее замахали руками, что Лиза даже зашаталась от страха. Серафима Борисовна принялась ее брызгать водой, осыпая то ласками, то упреками, и тотчас же заставила девиц одевать невесту. Точно застывшая в немом отчаянии, Лиза безмолвно покорилась.

Приехал жених со священником, тысяцким, свахой, «боярами» и шаферами, чтобы получить невесту и родительское благословение и сейчас же ехать к венцу. Все поезжане у жениха были из Сосьвы, все его родственники, и только один Нагибин был «боярином» со стороны невесты. Сваха, Варвара Степановна, ужаснулась, взглянув на невесту, ее страшной бледности и синеве под опухшими от слез глазами.

«Ну, нечего сказать, хорошу красавицу привезем,— подумала она с неудовольствием, глядя на невесту.— И что она так ревет? Тут что-нибудь да неладно. Жаль, поздно мне это пришло в голову, а надо бы было поговорить с ней, допросить хорошенько».

Но вот церемония благословения иконой была кончена, и «бояре», подхватив иконы из рук отца и крестной, пошли из комнаты, а за ними и все остальные.

Свадебный поезд устраивался по-старинному: впереди всех ехали шафера с развевающимися лентами и цветками на лацканах сюртуков, которые они нарочно выставляли напоказ, распахнув свои шубы. Дуги были перевиты лентами, в гривах лошадей тоже были вплетены ленты, шлеи украшены разноцветными кистями. Сани и кошевы покрыты коврами. За шаферами ехали «бояре» с иконами в руках, за ними жених с тысяцким и священником, и уже за женихом ехала невеста со своей крестной, за невестой ехала сваха жениха и другие провожающие невесту дамы и девицы. От дому шафера поехали быстро, но Николай Модестович ехал тихо, он не любил и боялся быстрой езды. Проезжая мимо конторы, шафера увидели у крыльца ее две пары лошадей и с десяток стоявших около них женщин.

— А ведь это бунтовщиков везти хотят,— сказал один из шаферов, оглядываясь на плачущих женщин.

— Их самых,— ответил на это кучер, тоже оборачиваясь и сдерживая лошадей.— Да вот их и выводят,— добавил кучер, совсем останавливая лошадей, как бы за тем, чтобы подождать отставший поезд.

С крыльца конторы тихонько спускался Василий Иванович, держась за поручни. Скованные ноги мешали ему свободно двигаться. Сзади его шел полицейский Зеленин, назначенный сопровождать до места ссылки. Рядом с ним шел Назаров, а за ними шли Озерков и Шитов. Настолько быстро, насколько позволяли Крапивину скованные ноги, он подошел к сеням и, прислонившись к ним спиной, стал смотреть на подъезжающий поезд. С противоположной стороны подходил механик со свертком в руках. Поздоровавшись с Василием Ивановичем, он сунул свой пакет в сани со словами: «Это вам на дорогу Меричка посылает»,— и стал рядом с Крапивиным. «Хоть на один миг еще увижу ее»,— думал Василий Иванович, жадно впиваясь глазами в подъезжающих.

Очень неприятно было Нагибину, когда он увидал, что Вахрушев не успел отправить ссылаемых раньше, да еще выдумал отправлять их от конторы, а не из полиции, которая находилась в стороне от дороги. Ругаясь в душе и прикрывшись воротником шубы, он старался не смотреть на Крапивина. Зато торжествовал и ликовал душой Новожилов, откинув воротник своей енотовой шубы, он с гордым презрением взглянул на своего побежденного соперника. Он ехал к венцу, а его враг, униженный до последней степени, закованный в кандалы, с завистью в душе смотрел на него. Сытые кони быстро пронесли торжествующего жениха, следом за ним ехала его невеста.

Но что это значит? Почему не стало слышно топота и фырканья близко набегающих лошадей, зачем они остановились? Новожилов обернулся и остолбенел от удивления, не понимая, что происходит перед его глазами: лошади стоят, а его невеста в одном платье с развевающейся фатой бежит прямо по снегу к Василию Ивановичу и опускается перед ним на колени.

Не утерпела Лиза. Все, что было хорошего и доброго в ее природе, ее молодое, светлое и чистое чувство, так глубоко запавшее в душу, подняло и всколыхнуло ее с неудержимой силой. Быстрым движением схватив кучера за плечо, она заставила его остановить лошадей и выскочила из саней, оставив в руках Серафимы Борисовны

дорогую лисью шубу, за которую та хотела удержать ее, побежала к Василию Ивановичу и с рыданием опустилась перед ним на колени.

— Прости меня, прости меня, милый мой, незабвенный! Не своей охотой, не своей волей пошла я замуж, а только из страха отцовского гнева,— говорила она, обнимая его колени и обливаясь горячими слезами.

— Лизанька, радость моя,— еле мог выговорить Василий Иванович, глубоко потрясенный, подняв и крепко прижимая к груди рыдающую девушку.— Разве я не понимаю, что тебя принудили, застращали? Не виню я тебя, а мне только жаль, жаль, бесконечно жаль тебя, бедную.

Василий Иванович сам заплакал, покрывая поцелуями ее мокрое от слез лицо, ее волосы, с которых свалились венок и фата невесты.

— Господи, Лиза, что ты наделала? Василий Иванович, что вы! — в ужасе кричала Серафима Борисовна, успевшая, наконец, освободиться от оставшейся у нее на руках шубы и подбежать к ним. Она схватила Лизу за плечо и старалась оттащить, но молодые люди обнялись так крепко, и Лиза, припав к груди милого, чувствовала, как прибывает у нее сила для сопротивления, как укрепляется решимость. Около них образовалось тесное кольцо из провожающих ссыльных баб, забывших свое горе и с разинутыми ртами широко раскрытыми глазами глядевших на происходившее перед ними. Толпа все увеличивалась и прибавлялась подходившими женщинами и девушками, ехавшими в свадебном поезде. Между ними была и Варвара Степановна, протеснившаяся сквозь толпу баб. Она стояла сзади Серафимы Борисовны и с гневным презрением глядела на происходившее перед ней.

— Лиза, опомнись! Лиза, что ты делаешь! Образумься! — кричала Серафима Борисовна, дергая Лизу за рукав платья.

Кто-то из баб поднял упавшие на снег вуаль и венок невесты и подал их Варваре Степановне. Пренебрежительным движением оттолкнула она передаваемую вещь и сказала громко:

— Нам не надо то, что на земле валялось.

— Лиза, да опомнишься ли ты? — еще раз вскричала Серафима Борисовна, изо всех сил дергая Лизу за руку, которой ей, наконец, удалось овладеть.

— Я опомнилась, тетя,— сказала Лиза, поднимая голову и оборачиваясь к ней.— Я говорила вам, что не пойду за Новожилова, и не пойду.— И, снова повернувшись к Василию Ивановичу и с невыразимой нежностью глядя ему в лицо, она добавила своим негромким, но ясно и отчетливо звенящим голосом:

— Вот мой жених, ему первому я обещалась и не покину его в такой беде, готова ехать с ним и в ссылку и в каторгу. А Новожилову я не невеста.

— Да Новожилов и не возьмет вас, сударыня,— ответила ей громко и злобно Варвара Степановна.— После такого скандала да на вас жениться — это ведь надо дураком быть!

— Неправда, Лизавета Петровна, возьму, только иди за меня, с радостью возьму и все прощу и забуду, только иди за меня,— закричал Новожилов, услышавший слова своей сестры.

Его, с самого начала стремившегося броситься к Лизе и силой схватить ее, удерживали тысяцкий, «бояре», а наконец, и подбежавшие шафера. Но он всех их тащил за собой и все-таки успел подойти настолько, что мог видеть и слышать Лизу.

Лиза обернулась на его голос и сказала, как могла, громко:

— Нет, Федор Степанович, обещалась я раньше вас Василию Ивановичу и не могу его оставить в такой беде. Простите вы меня, что я вас невольно обманула, силой меня к тому принудили.— И, приняв руки с плеч Василия Ивановича, она низко поклонилась Новожилову. Затем она снова обернулась к Василию Ивановичу и движением, полным нежности и ласки, опять припала головой к его груди. Он обнял и прикрыл ее полой своей шубы.

— Василий Иванович, за что ты ее губишь? Сам ты погибший человек, да и ее погубить хочешь! Лиза, одумайся, оставь его! — кричал Новожилов и еще что-то кричал он, но его, наконец, осилили и оттаскивали все дальше и дальше к саням. Все его родственники собрались около него, уговаривая его успокоиться, оставить все ввиду такого неслыханного скандала и ехать домой.

Между тем совсем растерявшаяся Серафима Борисовна бросилась к священнику, прося его уговорить Лизу. Он подошел к Лизе и, дотрагиваясь до ее руки, сказал:

— Лизанька, не гневи родителя, вспомни, что я уже и молитву вам читал, грех теперь отказываться.

— Я раньше обещалась Василию Ивановичу,— ответила Лиза, поднимая голову и оборачиваясь к нему.

— Раньше и сказать было нужно. Вернись к настоящему жениху, внемли его просьбы.

— Я к настоящему жениху и вернулась и не уговаривайте, батюшка, я его не оставлю.

— Ошибочно ты поступаешь...

— Батюшка, оставьте вы Лизавету Петровну,— перебил его Крапивин,— пусть она поступает, как хочет. Этого свидания я не ожидал, но если мы встретились, значит, на это была воля божия. Что меня впереди ожидает, я не знаю, но думаю и надеюсь, что я не погибну и не загублю чужой жизни. Особенно теперь, после той радости, что мне доставила Лиза, я совершенно воспрянул духом и готов все перенести. У меня есть что ждать впереди, есть на что надеяться.

Потом он обернулся к Густаву Карловичу и сказал, взяв его за руку, тоном сердечной просьбы:

— Густав Карлович! вы и Марья Ивановна с самого начала были добры ко мне, как родные. Будьте же добрыми и родными для меня и дальше, не оставьте мою невесту в ее затруднительном положении, помогите ей пережить это время. Отец ее, пожалуй, к себе не пустит, но, я думаю, что Серафима Борисовна скоро смилостивится и будет попрежнему с ней доброй. Похлопочите за нее, пожалуйста! И на тебя, Семен, надеюсь, будь ей охранителем, защитником, все равно как братом. Ты знаешь, родных у меня нет, и обратиться больше не к кому.

Василий Иванович крепко жал им руки и умоляюще заглядывал в глаза.

— Ну, разумеется, она у нас поживет, сколько ей угодно поживет,— говорил механик своим смелым, громким голосом, отвечая на пожатие руки Крапивина.

— Вы знаете, Василий Иванович, как я всегда любила Лизу,— заговорила Марья Ивановна, поспешно подходя к ним из толпы, где стояла,— как всегда бывала рада ей и теперь буду так же рада видеть ее у себя. Я хорошо понимаю, что ей лучше всего приютиться пока у нас, а там смилостивится и тетка. Я ее упрошу, она ведь добрая.

— Да, да, Серафима Борисовна хорошая, добрая. Не беспокойтесь, батенька, это дело обойдется, мы его обде-

лаем,— говорил механик и ласково похлопывал Крапивина по плечу, в то же время стараясь заглянуть Лизе в лицо, и, уловив ее робкий, молящий взгляд, он, понизив голос, сказал ей:

— Славная девушка, славная! Не ожидал, какой молодец девушка выйдет, я думал, она только плакать и умеет. Не бойтесь, все обойдется.

Между тем как проходила только что описанная сцена, другая, немножко комичная, пожалуй, разыгралась между Серафимой Борисовной и Варварой Степановной.

— Да чего вы мечетесь, как угорелая? Чего хлопочете? — сердито и грубо заговорила Варвара Степановна, схватывая Серафиму Борисовну за рукав, когда та двинулась было к Лизе вслед за священником.— Неужели вы думаете, что после такого скандала брат мой женится на вашей племяннице? Да оборони его бог от этого. Нет, не на дураков напали, поищите других. То-то я дивилась, отчего так девка ревет, а у ней тут любовник оказался.

— Это неправда,— возмутилась Серафима Борисовна,— Лиза — честная девушка.

— Честная! Хороша — честная, что и говорить: среди улицы мужчине на шею бросилась. Слепы вы, сударыня, были, худо глядели за вашей племянницей. Никогда вам этого обману и этого сраму не забуду, да и от батюшки еще приточку получите. Он хотя и кроткий человек, а где его коснется, там не смолчит, вычитает вам все, как по книге.

— Да я ведь тут ни в чем не виновата,— оправдывалась Серафима Борисовна,— видит бог...

— Бог-то точно видит, а вы-то, сударыня, слепы были, слепы. Или только с рук сбыть хотелось. А там живи, как хочешь. Нет, матушка, не на дураков напали. За все с вас родитель взыщет, за все.— И, отпустив рукав Серафимы Борисовны, Варвара Степановна с презрительной и гордой миной пошла от нее и нос к носу встретилась с ее мужем.

Нагибин, проехавший значительно вперед, некоторое время сидел в санях с иконой в руках, не понимая, отчего там все остановились и столпились у крыльца конторы. Сидевший с ним рядом другой «боярин», сунув ему же в руки свою икону, убежал разузнавать, что там такое происходит. Туда же прибежали и шафера, и никто не воз-

вращался. Наконец, Нагибин, сложив иконы в сани и надев шапку, сам двинулся к месту остановки. Но тут раздраженная сваха загородила ему дорогу.

— Ну, батюшка Николай Модестович, хороших вы дел наделали, хороших! Покорно вас благодарю за угощение. Такого угощения всю жизнь не забудем!

— Да, матушка моя сватья, да ведь я тут ни при чем, и сам я ничего не понимаю,— взмолился Николай Модестович, стараясь пройти вперед.

— Нет, уж, видно, я вам не сватья да никогда ею и не буду,—возразила Варвара Степановна, снова заступая ему дорогу.— Племянницу свою да супругу благодарите за всю эту историю. Надо быть, ей небезызвестно было это дельце. Скажу вам только одно, что тысячи рублей я не взяла бы за такое бесчестье. Стыдно вам так поступать с нами! Столько лет родителя нашего знали, завсегда от него полное уважение в делах имели и так отплатили. Стыд и срам это вам будет на всю жизнь!

— Ну, стыд, ну, срам, да пропустите вы меня ради бога,— сердился Нагибин, пытаясь опять пройти мимо загородившей ему дорогу свахи.

— Проходите, проходите, Николай Модестович, полюбуйтесь, как племянница ваша со своим дружком целуется. Оно ведь любопытно. Такую оказию не каждый день увидишь,— ядовито говорила Варвара Степановна, отступая в сторону.

Но не успел он отойти и десяти шагов, как на него напали тысяцкий и муж Варвары Степановны и принялись укорять его и стыдить, не стесняясь в выражениях. Разозленный выше всякой меры, освободившись от своих сватов, Нагибин подбежал к Василию Ивановичу и бросился на него с кулаками. Но ему загородили дорогу механик и Назаров.

— Потише, батенька, потише,— говорил механик, обхватывая его сзади своими сильными руками и удерживая на месте.— Вы не горячитесь, это вам вредно, а рассудите спокойно, как тут быть.

— Что тут рассуждать? — заорал Николай Модестович, что было голосу.— Вахрушев, Зеленин! Почему до сих пор не уехали? Подлецы, мерзавцы! — и прочее и прочее посыпалось на головы провинившихся полицейских, которые спокойно стояли и с любопытством ожидали, чем все дело кончится.

— Садите в сани ссыльных и марш! Живее, живее ворочайтесь! — кричал Нагибин, не в силах высвободиться из обхвативших его, как тиски, сильных рук Густава Карловича.

Все заторопились, и тут только Николай Модестович увидел, как из объятий Василия Ивановича выскользнула Лиза, простившись со своим милым, и как, накинув на нее свою шубу, Назаров повел, или, вернее, понес ее к неподалеку стоявшим саням механика, предшествуемый Марьей Ивановной. Все торопливо прощались с Василием Ивановичем, желая ему скорого возвращения и помогая ему усесться в кошеву. За ним вскочил полицейский, и лошади тронулись. Следом за ними тронулась и другая пара с Озерковым и Шитовым, и опять раздались рев и причитанья баб, на некоторое время забывших плакать, и ругань Нагибина, весь гнев которого обрушился на несчастного Вахрушева, не сумевшего лучше выполнить возложенное на него поручение.

Серафима Борисовна, пригласив с собой отца Виталия, поехала к Архипову сообщить неожиданную новость; одной ей что-то страшно стало ехать к нему. Остальная публика, дивясь, толкуя, качая головами, мало-помалу стала расходиться.

XV

Лиза прожила весь пост у Марьи Ивановны, усердно помогая ей шить детские платья. Она хоть сколько-нибудь хотела отплатить за то радушие и гостеприимство, каким пользовалась в доме механика. Особенно ее трогала ласковая заботливость Густава Карловича об ее удобствах, его уменье всегда развеселить, ободрить. Он же устроил ей удобное сообщение с Троицким рудником. Рудовозы охотно брали ее письма и посылки Марьи Ивановны к Крапивину и привозили им письма от него. Таким образом, они скоро узнали, что, когда ссыльные приехали в рудник, смотритель распорядился снять со всех кандалы и что Василий Иванович помещен отдельно от рабочих и если ходит на работу, так только по своей доброй воле.

«Без работы было бы скучно,— писал им Крапивин,— она сокращает нам время, утомительно скучное по своему однообразию. Кроме смотрителя, тут не с кем перемолвить слово. Пожалуйста, пишите мне больше и под-

робнее, прошу вас, пишите все о себе и детях до последних мелочей. В ваших письмах заключается вся моя радость». И все писали ему, кто насколько умел, веселые и шутливые письма: и Лиза, и Марья Ивановна, и даже Сергей Максимович. У последнего Василий Иванович уже успел попросить кое-каких лекарств, чтоб полечить кого-то из заболевших в руднике рабочих. Сергей Максимович, конечно, с великой готовностью исполнил эту просьбу.

С Серафимой Борисовной Лиза виделась всего два раза. В первый раз на другой же день после расстроившейся свадьбы, когда она привезла ей от отца сундук с разными необходимыми вещами и объявила о его суровом решении никогда больше не видать своей непокорной дочери и лишить ее наследства. Лиза не особенно огорчилась этим последним решением, так как совсем не знала, сколь велико это наследство, а также и цены деньгам в ту пору еще не знала совсем.

— Но по крайней мере он не проклянет меня? — спросила она робко свою сердитую и нахмуренную тетку.

— Ну, что уж теперь проклинать? Батюшка уговаривал его простить, так он и слышать не хочет.

— А вы, моя дорогая крестная мама, вы простите меня? — спрашивала Лиза, припадая головой к теткиным коленям и покрывая поцелуями ее руки.

— Да что с тобой делать? Конечно, вечно сердиться невозможно, только недовольна я тобой, страшно недовольна. А дядя, так тот и говорить о тебе не хочет.

Серафима Борисовна ушла, оставив Лизу в слезах.

— Подождать надо, подождать,— сказал Густав Карлович, узнав о посещении Серафимы Борисовны и о решении Архипова.— Пройдет несколько времени, и укротится старик, и простит, и наследства не лишит. Терпенье все преодолевает. Будь молодцом, девушка милая, и жди.

Серафима Борисовна не взяла Лизу к себе жить, сколько потому, что муж ее не хотел этого, жестоко сердясь на Лизу, столько же и потому, что сама она, чтоб развлечься от постигшей ее неприятности, вздумала ехать на богомолье, а это взяло у нее почти месяц времени.

В сочельник утром, когда Лиза и Марья Ивановна украшали елку тайком от детей, которых чем-то занимал Густав Карлович в кабинете, им доложила кухарка, что

в кухне ждут мужики, привезшие письма и поклоны от Василия Ивановича. И Марья Ивановна и Лиза бегом бросились в кухню. Там стояли веселые и улыбающиеся Озерков и Шитов.

— Как? Это вы? — удивилась Марья Ивановна.

— Неужели вас совсем отпустили? — спрашивала не менее удивленная Лиза.

— Отпустили. Из главного управления приказание пришло отпустить к празднику.

— А Василий Иванович? — спросили обе женщины враз.

— Он вам тут пишет про себя,— заговорил Озерков, доставая из-за пазухи письма.— Об нем еще нет распоряжения, от работ только его приказано уволить и держать свободно, да это и до распоряжения так было. Смотритель там душа-человек, до всех хороший, а с Василием Ивановичем как родной был. Больные там кое-кто были, так Василий Иванович ходил за ними, как за малыми ребятами. А теперича, с неделю тому назад, смотрительша ребеночка принесла, так он у них заместо повитушки был, и спал у них, и ребеночка мыл и пеленал, и даже крестить его хочет сам везти. Ну и женишок у тебя, Лизавета Петровна, золотые у него рученьки и золотое сердце. Дай вам господи счастья на многие лета. А за родителя своего ты нас прости, голубушка.

И оба мужика поклонились Лизе в ноги.

Лиза, растроганная до глубины души, со слезами на глазах убежала в детскую читать свое письмо, а Марья Ивановна еще долго расспрашивала мужиков о Василии Ивановиче, об их жизни на руднике, о смотрителе и его жене, которых немного знала, и, наконец, угостив их водкой, отпустила.

Причиной скорого возвращения Озеркова и Шитова было то, что их некем было заменить на фабрике, и Нагибин просил выслать взамен их кого-либо из Благодатска, но и там лишних мастеров не оказалось, и поэтому Григорий Павлович распорядился возвратить их к их обязанностям, сократив время их ссылки по своему усмотрению. Но насчет Василия Ивановича он ждал распоряжения князя, однако ж перед праздником сделал представление и об нем, прося сократить ему срок наказания ввиду настоятельной надобности в его службе при больнице.

На святках Назаров ездил в Троицкий рудник и, вылезая из кошевы, сказал Крапивину, выбежавшему его встретить:

— Ну, если б не к тебе, ни за что бы не поехал: дорога из ухаба в ухаб, да еще в Кырье чуть не утонул.

— Тебе, такому долгому, и летом нельзя утонуть в Кырье,— рассмеялся Крапивин, обнимая приятеля.

Назаров советовал ему написать письмо князю с просьбой о прощении, но Василий Иванович решительно не мог взять в толк, как писать это письмо, и вместо князя написал только Григорию Павловичу. Он просил его ходатайствовать у князя о скорейшем освобождении из Троицкого рудника, а также просил его согласия на вступление в брак с девицей Елизаветой Петровной Архиповой. Такое разрешение на вступление в брак испрашивалось в последнее время просто из вежливости, да и раньше управляющие никогда не стесняли служащих в этом отношении.

Разрешение от князя Крапивину вновь вступить в отправление фельдшерской должности получилось только в феврале, так что он едва успел обвенчаться с Лизой до масленицы. Серафима Борисовна еще на святках взяла племянницу к себе, уговорив мужа примириться с ней, и Лиза выходила замуж не от чужих людей, а из дому примирившихся с ней дяди и тетки. Серафима Борисовна почти силой отобрала у Архипова все приданое Лизы; рассердившись на него за то, что он прогнал старуху-кухарку и взял в дом какую-то молодую бабенку, с которой, как гласила молва, и раньше был в связи, она поступила в этом деле смело и решительно. Он согласился благословить дочь у себя дома, но Крапивина видеть не пожелал и на свадьбе не был.

Свадьба была самая скромная, без девичника и обрученья. Невеста хотя и принарядилась, но не было ни венка, ни вуали, негде было достать их, и только одна маленькая веточка мирты, добытая где-то Марьей Ивановной, украшала ее грудь. Но зато сияли лица жениха и невесты таким искренним, таким неподдельным счастьем, что и всем присутствовавшим на свадьбе было любо и весело на них смотреть. Все женское население Нового Завода и все свободные от работы мужики сбежались в церковь смотреть венчание. Назаров со своей молодой женой (он женился за неделю до этого) был на свадьбе,

исполняя должность «боярина». По окончании церемонии, когда молодые пошли из церкви, раздался такой гул поздравлений и пожеланий им счастья и долгой жизни, что они едва успевали откланиваться во все стороны и благодарить.

На сырной неделе молодые уехали в назначенный им для жительства завод, где Василий Иванович и принял опять в свое заведование больницу. С горем и слезами провожала молодых Марья Ивановна, она все надеялась, что им позволят остаться в Новом Заводе, но князь решил иначе. Плакала и Серафима Борисовна, провожая Лизу.

— Хоть ты и много мне неприятностей наделала, а все-таки мне тебя жаль, уезжаешь далеко, в незнакомое место. Смотри же, пиши хоть письма почаще, а видеться придется, может, не больше разу в год,— говорила Серафима Борисовна, обнимая Лизу на прощанье.

Плакала и Лиза, оставлявшая место, где протекло ее девичество, плакала и провожавшая ее Маша. Только мужья их весело смеялись, прощаясь. «Увидимся,— говорили они,— может быть, еще и пожить доведется вместе».

Прошло три года. Наступило 19 февраля, и из многих тысяч грудей вырвался глубокий и благодарный вздох. И до сих пор со слезами сердечного умиления вспоминают все освобожденные этот радостный день.

Много перемен воспоследовало за освобождением из крепостной зависимости как в Новом Заводе, так и во всех других заводах. Нагибин недолго уже служил и был уволен на пенсию, а место его заступил Назаров. Механик поступил управляющим на завод другого помещика, Григорий Павлович вышел на пенсию и уехал на житье в город. Один Крапивин остался попрежнему фельдшером и остался им навсегда. Средств не было, чтоб ехать доучиваться, а ко времени освобождения у него уже было двое ребятишек. Только десять лет спустя после освобождения умер Архипов, и Лиза получила небольшое наследство, очень пригодившееся им на воспитание и образование детей.

Василий Иванович служил во многих заводах, служил и в земстве, и везде слыл за беспокойную голову, слишком близко принимающую к сердцу чужие горести, нужды и бедствия. А нужды и бедствия населения, среди которого он жил, с годами стали все увеличиваться и расти,

и очень часто приходилось ему воевать из-за недостатка лекарств, из-за недостатка больничных коек, постельного белья, иногда даже дров для отопления. Одним словом, вся его жизнь ушла на борьбу с мелкими житейскими невзгодами; но, живя и вращаясь в самом центре этих мелочей, поневоле начинаешь считать их самым важным делом своей жизни. Да и не лучше ли было бы, читатель, если бы каждый, делающий свое маленькое дело в жизни, делал его вполне добросовестно, с любовью и горячностью Василия Ивановича.

КАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Из рассказов старых людей

Прежде чем начать предлагаемый читателям рассказ, мне хочется познакомить их, хотя отчасти, с своеобразной личностью старушки-няни, со слов которой он был записан. В то время, когда я узнала ее, Арина Алексеевна, так звали няню, была уже преклонного возраста, но еще очень бодра, жива и подвижна. Она доживала свой век у своих последних господ, где вынянчила троих детей, пользуясь любовью и уважением всех живущих в доме за свой хороший характер, всегда веселый и ровный, и за свою готовность на всякую услугу. Услуживала она без той приниженной, рабской угодливости, которую так неприятно видеть, часто даже с ворчаньем, но таким добродушным и ласковым, что сердиться на нее или не принять ее услуг не было никакой возможности. Любили ее все и за мастерство, с каким она рассказывала сказки и бывальщины, за то, как живо представляла выводимых в сказках лиц, иллюстрируя их собственными пояснениями, а нередко от себя присочиняя краткую, но верную и яркую характеристику того или другого действующего в сказке лица. Иногда она проводила параллель и делала остроумные и меткие сравнения сказочных лиц с теми или другими знакомыми своих слушателей, а иногда и с ними самими, что всегда вызывало взрывы веселого, искреннего смеха.

В рассказах же разных событий из жизни, свидетельницей или участницей которых ей приходилось быть, она была проста и правдива. Необычайно ясная память, жи-

вая способность представления и замечательная наблюдательность, выказываемые ею в рассказах разных бывальщин, конечно, много способствовали их интересу. Переданные на бумаге, они отчасти теряют тот своеобразный характер, который имели, передаваемые устно; но все-таки интерес были и правдивости останется за ними, и, может быть, читатель не поскучает заглянуть в добрые старые годы, которые притом еще не слишком отдаленны и воспоминаниями о коих еще полно наше время.

I

Это давно уже было, лет сорок, а пожалуй, и с хвостиком прошло с той поры, а помню я все так хорошо, как будто вчера было. Было мне тогда всего пятнадцать годков и выглядела я еще совсем девчонкой, подростком малым. Тихо я росла, с истуги, мужчины меня тогда еще и во внимание не брали, ну, а я-то на них уж поглядывала. Страсть какая я была востроглазая да востроносая! Все, бывало, унюхаю, все усмотрю, за кем только заведется что,— уж я все узнаю. А для чего узнавала,— и бог весть! Так, из любопытства больше,— очень я любопытная была. Ну, а чтоб наябедничать на кого али доказать, ни — боже, избави! не было этого за мной; и мать меня на это не благословляла. «Если и узнаешь что-нибудь, говорила она, мотай себе на ус да молчи, а ябеды да ссоры в доме не заводи, тебе же худо будет от них». Так я и делала. Жила я в то время, не то чтоб в горничных, а так, на побегушках, у дочери главного управляющего всеми вотчинами графа NN, самого большого из всех помещиков нашей губернии. Сам барин в своих поместьях на моей памяти и не бывал; всем этот управляющий заведовал и правил. Всю полную власть имел от барина и жил в имении, в селе Воскресенском, где главное вотчинное управление находилось, как сам помещик, пышно да важно! У Катерины Алексеевны, так дочку его звали, старшая горничная из Москвы была вывезена. Она у ней заместо модистки была и заместо парикмахера: и платья шила, и головушку в локоны убирала, когда случай того требовал. Я же спервоначалу только так туда-сюда металась: то принести, то вынести, то в кухню с утюгами, то посуду вымыть, пыль вытереть, постели убрать; дела много, а

дело пустяшное, как раз по моему возрасту. Услуживала я и барышне и тетеньке ихней, что жила у них заместо компаньонки али вместо матери. Родная мать у Катерины Алексеевны давно померла, и Алексей Игнатьич, папенька ее, на второй был женат, да и та тоже померла, и в то время вдовел он уж несколько лет. Вот второй-то его жены сестра, тоже вдовая и бездетная, и жила у него. Так, пустяшная это была особа, жила просто для виду только, что будто человек в доме есть, а пользы от нее никому ни на грош. Катерина Алексеевна вертела ею то в ту, то в другую сторону, как только ей надо, и ни чуточку не боялась. Самовластная была девица, а родителя своего все же побаивалась, и ежели, бывало, не смеет что сказать ему, то и настроит свою тетеньку, напоет ей в уши,— ну, та и трещит, как заведенная машина. Да что! Ведь и сама потом уверится, что это все она от себя, и барина уверять начнет. Барин ей, однако, не верил,— усмехнется, бывало, на эти речи да и скажет только:

— Это все твои выдумки, Катя.

Ну, а что только можно, все ей дозволит, очень ее любил, даже можно сказать, души в ней не чаял. Умнейший был он господин и всякого человека насквозь видел. Это чтоб обмануть его, ни — боже мой! Ни один служащий не решался. Глаза у него были, как два ножа вострые, так тебя насквозь и пронзят. Ежели кто и провинится в чем, так лучше кайся прямо,— скорей простит, а начнет кто лгать да вилять, как раз запутается, и потом уж всегда на худом счету будет. Строгий был барин, и все его боялись, а вот дочь родная не побоялась и обманула, да еще как,— только дивиться надо!

II

И ведь какая строгая и гордая была наша барышня, вся в отца характером; из себя красивая да видная и думала о себе очень высоко. Женихов в нашей округе по ней и не было, ждали их из губернии. Только женихи позамешкались что-то: уж двадцать третий годок шел нашей барышне, а сурьезных женихов не бывало. Жил Алексей Игнатьич широко, на барскую ногу, хлебосольством гремел на всю округу; и из губернского города гости почасту у нас гащивали, а также и сам он с дочерью в го-

род езжал, ну, а все-таки дочка в девицах засиделась. Если взять по нонешнему времени, так что это за года, можно сказать, что самые молодые, а тогда барышни шестнадцати-семнадцати лет уж вчастую замуж выходили.

Катерина Алексеевна еще в столичном пансионе обучалась и, по выходе из него, с год в Москве жила у родной тетки, бариновой сестры, да померла тетенька, барин и привез дочку домой. Спервоначалу она у нас очень скучала, хотя и не показывала виду родителю, к нему она ласковая была, ну, а нам заметно было. Да и он примечал, конечно. Надо и то сказать, какое у нас ей могло быть веселье али удовольствие в нашем Воскресенске. Хоть село это было и большое, и торговое, и домов хороших много было, и церковь богатая, для нас-то оно и нивесть каким богатством да хорошим казалось, ну, а ей после столицы и поглядеть, поди, было не на что.

Одно только удовольствие и пришлось ей по вкусу,— это театр. Он у нас сыздавна велся и в ту пору, как она приехала, постоянно был. Представляли в нем приказные из вотчинного управления, и очень хорошо, и занятно представляли. Были даже и совсем особенные актеры, за то только им и жалованье платили, что они в театре играли да кулисы расписывали. Актерок же настоящих спервоначалу не было, а ежели девицу или даму надо изобразить, так помоложе который служащий и изображал.

Катерина Алексеевна театр очень любила, сказывала, что и сама у тетеньки на домашней сцене игрывала и у нас бы, пожалуй, охотно поиграла, да компании ей подходящей не было. Со своими же служащими, а они ведь крепостные были, папенька ей играть не позволял. Учить же, как должны актеры и актерки ту или другую речь сказать, не запрещал, а даже очень доволен был, что она театром занялась. Он и сам театр любил и почасту в нем бывал.

Перед каждым представлением, бывало, и соберутся все актеры у нас внизу и все перед Катериной Алексеевной проговорят, что кому полагается. Она их поправляет, учит, как то или другое слово сказать, где стать, где сесть, с которой стороны войти и как поклониться.

Я, бывало, все время тут же верчусь, потому беспрестанно с свечей снимать требовалось, ламп в то время не водилось, и свечи жгли все сальные, то и дело они наго-

рали. У Алексея Игнатьича за свечами смотрел казачок, только он завсегда при нем и находился, в его покоях. Дом у нас был барский, очень обширный: внизу было восемь комнат да вверху десять, и комнаты были огромные. Сам Алексей Игнатьич жил постоянно вверху, только обедать сходил в нижнюю столовую, а барышня жила внизу, и тетенька с ней рядом.

Сказала я, что актерками у нас все молодые люди были, которые из себя покрасивее да поразвязнее, ну, вот и попал в их число один молодой вьюнош, так годов девятнадцати али двадцати. Звали его Василий Бобров, отчества не припомню. Выехал он с матерью из Петербурга; мать его любимая была у графини горничная, ну и выпросила она сына с собой, когда ее графиня по старости и по болезни на покой отпустила в вотчину и пенсию ей положила.

В Петербурге он состоял при конторе, и у нас, в Воскресенске, в правление определился. Как только приехал он, в первую же осень в актерки попал, потому из себя уж очень красив был. Лицо такое белое да чистое было у него, и носик пряменькой, небольшой, а руки и ноги так и вовсе маленькие. Обращение и манеры совсем господские имел: развязный да ловкий такой и в женском платье совсем барышней выглядел. Больше всего мне у него глаза понравились: такие хорошие да светлые — глядит на тебя, точно говорит ими, без слов у него все поймешь. Волосы были у него темные, волнистые, носил их длинными для того, чтоб ловчее было к длинным волосам косу приплетать и женскую прическу устраивать. А бывало, что и парик надевал, и парики у нас водились, и костюмы всякие.

III

Увидела его в первый раз Катерина Алексеевна и говорит:

— Вот это актерка будет хорошая, надо только его немножечко отполировать, а то он все как будто лакеем пахнет.

И с первого же вечера, как собрались к нам на репетицию, принялась его муштровать — как войти и как выйти и поклониться али раверанс сделать, али по-тогдашнему книксен,— все ему покажет. Бывало, даже рас-

краснеется вся, до того его вертит туда и сюда. Опять же и тому обучала, как какую речь говорить. Всему этому обучала она в компании с режиссером — чин такой был у одного из актеров. Звали этого актера Васильем Ивановичем, и всем он в театре заведовал и заправлял и о многом с Катериной Алексеевной советовался. Человек он был уж пожилой и семейный, и сам разных благородных стариков не раз игрывал. Охоту к театру большую имел, и хотя службу нес хорошую, а и театром улучал время заниматься.

С осени это дело пошло у нас, театры эти, и всю зиму шло очень хорошо. Главный актер, Гурасов по фамилии, очень у нас хорош был, только запивал сильно, а играл великолепно. Каждую неделю по два раза в театре играли, в воскресенье и в четверг, и народу всегда в театре много бывало, даже из соседних сел и заводов съезжались смотреть. Говорили про Гурасова, слыхала я, что если бы он не крепостной был, так и на городской бы сцене мог играть. Ну и Боброва одобряли очень, и Василья Ивановича тоже. Только раз, слышу я, говорит Катерина Алексеевна тетеньке про Боброва:

— Портиться стала наша актерка.

— Что так? — спрашивает та,— неужто запивает?

— Нет, не то. Борода расти начала, голос грубеет, да и платья все коротки и узки становятся.

А тетенька хохочет.

— Уж я заметила,— говорит,— одно слово скажет басом, а другое дишкантом,— очень забавно выходит.

К масленице уехал Алексей Игнатьич с дочерью в город, а великим постом театр прекратили, на пасхе еще поиграли немного, а потом роздых дали актерам на все лето. Летом Катерина Алексеевна на два месяца в гости уезжала, а меня домой к матери отпустила. Приехала она домой перед Ивановым днем, вот что двадцать девятого августа бывает, и тогда же за мной послала. Она когда веселая бывала, так всегда со мной разговаривала и почасту учила меня и поправляла, если я что неправильно скажу. Так и в этот раз стала расспрашивать, что я делала у матери, где бывала, да нет ли чего нового на селе. Ну, я, конечно, сперва все про себя выложила: и что делала, и как страдовали, и в лес по ягоды и грибы ходили, и про всех других, какие новости знала, все рассказала. Сказала, что было, да стала рассказывать и то, что и впе-

ред будет: какой жених какую невесту сватать хочет. Катерина Алексеевна смеется.

— Ну, это еще неизвестно, кто за кого посватается,— говорит она.

Я-то уверяю, что верно знаю, что все люди говорят.

— Вот и про Боброва,— говорю ей,— верно знаю, что на Копровой Лизаньке хочет жениться; все с ней вместе гуляет и у них часто бывал, сказывают, что и на сцене с ней вместе играть будут. Вы его и не узнаете, барышня, такой он стал высокой да тонкой, как жердочка; из лица похудел немного, и усики черненькие появились. Красивый стал, с Лизанькой они парочка будут: она тоже хорошенькая.

А Лизанька Копрова была дочь того музыканта, что музыкой всей заправлял в театре. Ничего мне на это Катерина Алексеевна не сказала и расспрашивать больше ни о чем не стала.

В первое же воскресенье после этого Алексей Игнатьич и говорит за обедом дочери:

— А что, Катя, не поедем ли сегодня в театр, там тебе сюрприз подготовили. Труппа у нас новыми актерами пополнилась.

— Вероятно, на женские роли кто-нибудь поступил, папа,— отвечает Катерина Алексеевна.— Старая-то актриса у нас, сказывают, в усах щеголяет да и вытянулась не в меру. Я уж думала, что надо кого-нибудь приискивать из молодых людей на женские роли.

— Да, ты думала, а мы уже сделали, приискали, обучили и на сцену выпускаем сегодня. Василий Иванович все лето трудился, чтоб тебе угодить.

— Спасибо ему, он знает, чем мне угодить. Кого же это он нашел, папа?

— Да Копров дочь свою предложил, испробуйте,— говорит,— большую охоту и способность имеет моя Лиза к театру; дурного в этом я ничего не нахожу и сам всегда в театре бываю,— будет при моих глазах. Ну, я и согласился. И Василий Иванович хвалит, вот и поедем сегодня, посмотрим его выбор.

— Посмотрим, посмотрим,— повторила Катерина Алексеевна.

— А Бобров нынче будет у нас за первого актера, потому что Гурасов совсем спился, осип, обрюзг, ну, да и не молод уж стал. Пусть стариков играет.

— Это правда,— сказала Катерина Алексеевна,— только справится ли Бобров со всеми гурасовскими ролями? Тот ведь у нас был актер хороший. Ну да, посмотрим, что будет.

Вечером оделась Катерина Алексеевна, и уехали с папой и тетенькой в театр. Воротились домой веселые и довольные. Понравилось.

С той поры опять и пошло все по-старому: как играют что игранное, так к нам не собираются, а как новое что вздумают, то непременно у нас вечером репетиция бывала, а то и две. Иногда после репетиции чаем угощала Катерина Алексеевна актеров, а когда опять и так уходили. Алексей Игнатьич очень любил все сурьезное, то, что драмой называется, а водевили эти, так он и не смотрел: все, бывало, уедет. Ну, а Катерина Алексеевна завсегда оставалась до конца.

Я тоже все уж, бывало, выпрошусь, хоть на ногах где постою, да только уж все высмотрю и дома потом кухарке и Варварушке, так старшую горничную звали, все расскажу и в лицах представлю. Катерина Алексеевна, бывало, из-за двери и подслушает, как я представляю, хохочет потом надо мной. А бывало, ляжет рано спать, и не спится ей, она и заставит меня представлять, не то сказки сказывать; до слез иногда хохочет надо мной. Говорила я в ту пору очень смешно. Учить, бывало, примется меня, как то али другое слово сказать, а я не могу. Вот «всадник» слово — все, бывало, «свадник» говорю али «обыкновенно» — все «обнаковенно» скажу. А иное слово мудренее, так и не могла научиться говорить.

IV

Помню я, как сейчас вижу, сыгрывались раз актеры у нас в доме, вторая уж репетиция шла; Катерина Алексеевна сидела в кресле и молча слушала. Все шло хорошо и правильно. Только и пришлось Боброву свою любовь Лизе Копровой изъяснять, а она знатную даму разыгрывала, на колени он стал перед ней, руки у ней целует и так-то хорошо и складно говорит, что инда за сердце защемило. Взглянула я на Катерину Алексеевну, а она сидит насупившись, и даже не смотрит. Что, думаю, такое? Разве что неправильно вышло али, может, голова у

ней разболелась, бывало и это: кататься тогда с тетенькой ездили а то и со мной али с Варварой. Кончилась репетиция, стали актеры раскланиваться и уходить. Василий Иванович и спрашивает,— хорошо ли, понравилось ли ей?

— Все хорошо — говорит,— чего же лучше надо.— А сама такая пасмурная в кресле сидит, голову на руку опустила. Ну, верно, что голова разболелась. Стала я свечи гасить да взглянула на двери, а Бобров стоит у дверей да с Катерины Алексеевны глаз не сводит. Что, думаю, надо ему? Попросить разве чего хочет, может, в костюме что недостает у него? Костюм у него был мудреный, иностранный, с картинки взят, и сам-то он в нем точно картинка.

Встала, наконец, Катерина Алексеевна, хрустнула так руками и повернулась к двери. Увидала Боброва, вздрогнула вся и даже в лице изменилась и таково гордо говорит ему:

— Что вам нужно? Зачем вы остались?

А он ей отвечает:

— Желал бы я знать, довольны ли вы моей игрой?

— Да ведь я сказала Василью Ивановичу, что довольна, что все хорошо.

— Это вы про всех, а моя роль особенная, большая. Играю в первый раз и боюсь, что в иных местах у меня ненатурально выходит.

А она усмехнулась на это такой особенной усмешечкой да и говорит:

— Нет, это вы напрасно боитесь; в иных местах так даже уж чересчур натурально выходит.— И хочет сама из комнаты выйти. А Бобров ей дерзко так дорогу заступает, а сам говорит:

— Сделайте милость, одну только сцену прослушайте у меня еще раз, и если что нехорошо, скажите.

— Да ведь и суфлер ушел,— сказала Катерина Алексеевна и плечиками сама передернула, как будто недовольна.

А тот неотступно просит: наизусть, говорит, это место знаю. Вернулась Катерина Алексеевна, села и ждет. Подошел он, встал перед ней, сначала все только вздыхает, а потом и начал то самое место, где Лизе Копровой свою любовь изъяснял. И так это он хорошо сказал, что лучше нельзя. И хочет будто Катерину Алексеевну за руку взять и не смеет; смотрит на нее, словно на бога, точно молит-

ся. Она взяла да и подала ему свою руку. Схватил он ее руку, целует ее, к сердцу жмет, а сам ей в глаза так и заглядывает. И Катерина Алексеевна ему в лицо пристально смотрит, сама в лице разгорелась, как маков цвет. Да вдруг как вскочит с кресла, выдернет руку, и была такова. Так Бобров и остался на коленях перед пустым креслом. Положил на него голову да как зарыдает, зарыдает... Мне инда страшно сделалось,— я, возьми, да и убежи. Прихожу к Катерине Алексеевне в комнату, а она у зеркала стоит да на свое разгоревшееся лицо платком машет. Стакан воды налила и выпила за один дух, на часы взглянула, знает, что в это время пора ей у папеньки быть, чай наливать, а сама все не может себя успокоить, все у зеркала стоит и на свое лицо смотрит. И точно, будто лицо у ней другое стало: и моложе и красивее. Пудрой, наконец, себе щеки присыпала, веер взяла, помахалась еще и хочет идти кверху.

— А я,— говорю,— там свечи-то не все погасила.

— Почему?

— Да Бобров там остался, положил голову на кресло да плачет, плачет...

— Молчи,— говорит,— сходи и погаси там свечи,— и пошла из комнаты. А сверху уж казачок летит сломя голову, папенька гневается, что долго Катя нейдет.

Катерина Алексеевна только взглянула на меня да чуть так бровями пошевелила, а я уж поняла, что не болтай, значит, а сама, словно птичка, кверху вспорхнула. Раньше того и не видала я, чтоб она когда бегом бегала. Заглянула я в залу: вижу, свечи там погашены, и никого нету, я к тетеньке в комнату, она завсегда в это время после обеда отдыхала, доложила ей, что чай готов, и сама в верхнюю столовую пошла, может, подать что потребуется. Алексей Игнатьич только что из кабинета вышел и совсем не гневный, а веселый, сел к столу и говорит:

— Ну, Катя, смотри — не ударь лицом в грязь со своим театром, к святкам у нас гости из города будут.

— Кто такие, папа? — а сама ему чай подает, лимон придвигает, ром ставит поближе.

— Женихи,— говорит,— будут, целых два жениха, выбирай любого,— а сам смеется и весело таково ее по спине похлопывает.

Усмехнулась и она и говорит:

— Надоела я, что ли, тебе, папа, что ты меня замуж

выпроваживать хочешь. А мне, папочка милый, от тебя никуда уходить не хочется.

Придвинулась к нему со своим стулом и головушку к его плечу приклонила.

— Хорошо, хорошо,— говорит Алексей Игнатьич,— это я знаю; все девушки эту песню поют, а потом и променяют старика-отца на чужого молодца. Да время, уж время тебе, Катя, о женихах подумать. Я не хочу, чтоб ты у меня старой девой осталась.

— Да ты мне скажи, папа, что за женихи такие, кто они?

Тетенька в это время поднялась снизу, тучная она была, задохлась немножко, на лестнице села, а услыхала об женихах, тотчас уши навострила.

— Где женихи? Какие женихи? — спрашивает.

— А! Любопытно стало. Погодите, будет время, скажу,— смеется Алексей Игнатьич. Так в тот вечер и не сказал ничего. Тетенька было и того, и другого называла, однако отгадать не могла. И вечером еще к Катерине Алексеевне в комнату зашла об женихах поговорить, а та и разговаривать не стала.

— Вот, очень нужно об них беспокоиться; сказали,— приедут, так увидим. Я ими не интересуюсь нисколько.

И точно, что об женихах она не думала, а театром с той поры еще больше интересоваться стала. Выпросила у папеньки позволение на репетиции в театр ездить. Сначала тетеньку с собой таскала, только той скоро это надоело, спать она привыкла в это время.

— Да поезжай одна, Катя,— скажет, бывало,— Аришу возьми с собой, а то Варвару.

А Катерине Алексеевне это и на руку.

— Аришу лучше,— говорит,— Варваре шить нужно.

И точно, что она у нас всегда за шитьем сидела, большая мастерица была, и все приданое Катерине Алексеевне ее руками изготовлено было. А все-таки барышня ее не любила и не доверяла ей.

V

Был у нас возочек этакий махонький, с дверцами и со стеклами в них, вдвоем только сидеть было можно в нем. Вот в этом-то возочке всегда, бывало, и едем на репетицию. Из дому едем, меня с собой посадит, а из театра едем,

так уж все мне причиталось с кучером на козлах сидеть, а с собой Боброва посадит, и иногда больше часу катаемся; и катались не по улицам, а по тракту: гоним версты три али четыре, а потом назад повернем. Меня, бывало, своим пуховым платком укутает Катерина Алексеевна, чтоб не познобилась; и как Боброва высадит, то велит мне в возок пересесть и настрого закажет, чтоб ничего дома не сказывала, никому ни слова. Да если б и не заказывала, так я бы и сама пикнуть никому не смела, потому что хошь и молода была и глупа, а все ж понимала, что дело это неспроста делается.

Так-то и прошло у нас время до святок, а к святкам, и точно, гостей много понаехало: две барышни приехали из соседнего завода, тоже дочери управляющего, да из городу одна приехала и с маменькой. Ну, тут уж с Бобровым кататься нельзя стало, пришлось гостей занимать да веселить. В самые святки и кавалеры из городу понаехали. Трое их было, и молодые все люди. Остановились они в приезжем доме,— особый такой дом был, где наезжающие из городу чиновники останавливались: исправник и прочие там разные из губернского управления, которые нужные люди. Бывали в том числе такие, что жалованье им постоянное даже платилось от помещика нашего. У барышень, конечно, тотчас промеж себя разговоры пошли про молодых людей; принялись их разбирать по косточкам,— и нос, и глаза, и волосы, и как говорят, и как ходят. Один из них им всем особенно понравился. Из себя красивый и в танцах ловкий, а на речах бойкий да веселый; так одна беда, говорили,— чин на нем самый маленький, и звания, слышь, простого, канцелярского какого-то служителя сын. Правда, говорили, что у губернатора он в канцелярии служит и губернатор его любит и перед другими отличает, а все ж Катерина Алексеевна его забраковала. «Никакого еще он положения не имеет,— сказала она как-то про него в разговоре с барышнями,— и бог знает, когда еще он свою карьеру сделает». Барышни смеются: мы, говорят, замуж за него выходить не собираемся, а только бы нам потанцевать. И Катерина Алексеевна смеется: ну для этого-то он годится,— говорит. Другие же двое, хотя и чиновнее были, да зато из себя уж очень неприглядны. Даже нам, прислуге, не понравились, а барышни с первого вечера их на смех подняли и прозвища им смешные надавали. Од-

ного Бабаем прозвали, другого Лукашкой; и так на смешках их держали, что те приметили это, обиделись и ходить к нам перестали. Папенька за столом Катерине Алексеевне даже выговор сделал за них.

— Эти «бабаи» да «лукашки» — нужные нам люди,— сказал,— и обходиться с ними надо повежливее; да и прозвища вы им придумали неумные.— О прозвищах, должно быть, тетенька ему пересказала. Катерина Алексеевна только рассмеялась на это, а барышни сконфузились. Зато уж и ублажали же чиновников этих там, в приезжем доме: и винами, и наливками, и закусками всякими! Особый человек был отряжен для услуг им, а угощение все из нашего дому шло.

На третий день рождества еще гость к нам пожаловал, и этот уж прямо у нас и остановился. Алексей Игнатьич его с большим почтением принял, и Катерина Алексеевна обошлась с ним очень любезно, любезнее, чем с молодыми. Гость этот был пожилой уже человек, на висках седина пробивалась, и, как видно, чиновный, потому держал себя сановито да важно. Ростом из себя не очень велик был, ну, да и не мал, и кругленькой такой животик вперед выдавался; из лица полный да губастенький, а ничего, недурен собой, непротивен.

Вечером в этот день бал у нас устроился; все служащие в правлении с семействами приглашены были. Званы были и из молодых людей, которые повиднее должности занимали, ну, а Боброва не было, не пригласили. Из чиновников, что раньше приехали, только красивый-то и пришел, а другие два не пришли. Человек сказывал, что упились очень. Катерина Алексеевна с молодежью мало занималась и танцевала, только все упрашивала их, чтобы они веселились, и танцы, и игры всякие устраивали, а сама все больше с этим пожилым гостем и сидела, и ходила, и разговаривала. На другой день после бала с ним и кататься ездила, и в театре рядом сидела. Театром нашим он очень доволен остался и актеров много хвалил. И точно на отличку, в эту зиму актеры наши хорошо играли, так что Алексей Игнатьич им даже награду к новому году выдать приказал.

Еще очень богатый бал был у члена правления, так там, сказывают, Катерина Алексеевна даже вовсе танцевать не стала, а села в карты играть с Валерьяном Николаевичем, так пожилого гостя звали. Барышни после шу-

шукались промеж себя и Катерину Алексеевну осуждали. Из антересу-де это она все делает, и все притворно, а на самом деле он ей ни чуточку не нравится. Ну, а что она-то ему понравилась, так это было даже и очень видно. Все-то он около нее увивается, ножками так семенит, ручки целует и то и дело в глаза ей засматривает.

Встретили новый год у нас, и на другой день гости все поразъехались, а Валерьян Николаевич остался у нас еще дня три и в это время Катерине Алексеевне предложение сделал. И барышня наша приняла предложение это, и дали они с папенькой слово Валерьяну Николаевичу и по рукам ударили, а форменный сговор порешили весной сделать, а свадьбе быть под осень. Жених было просил, чтобы весной и свадьбу сделать, да Катерина Алексеевна не согласилась,— с приданым-де не управиться, ну и он потом рассудил, что так лучше будет, что к осени у него свой новый дом поспеет устроиться и отделаться, и порешили на том, что уж в новом доме свадьбу справят. Условились обо всем, и уехал жених, с Катерины Алексеевны слово взял не забывать его и приехать на сырную неделю в город.

VI

Только проводили жениха, на другой же день Катерина Алексеевна за Васильем Ивановичем посылает; захотелось ей что-то новое на сцену поставить. Сговорились с ним, и в назначенный день опять на репетицию поехали. Раньше того, бывало, катались мы с Бобровым, а тут стали к нему в квартиру заезжать из театра. Меня-то, бывало, посадят в возок и велят кучеру катать. Ну и возит он меня что ни на есть, по самым глухим и забвенным улицам либо к себе домой заедет, а я сижу у ворот, жду. Однова в сугроб меня завез, и возок опрокинулся, кое-как мы из снегу выкарабкались; долго тут провозились, и кучер испугался, думал, выговор будет от Катерины Алексеевны, а она и словечка не сказала, словно как и не заметила, что долго мы проездили. После узнала я, что в это время матери у Боброва дома не было, уезжала она в гости в другой завод на месяц али более, и Катерина Алексеевна времечко проводила с милым дружком, значит, с глазу на глаз. Ну, конечно, им в ту пору часы за минуты казались.

Пролетело времечко это у нас так-то быстро, что и оглянуться не успели. Смотрим,— уж сырная неделя подошла; папенька зовет барышню в город, а ей и не хочется. Отговаривалась было, однако к последним дням масленой уехала в город и больше недели там оставалась — наряды закупала и шила. Приехала домой и на другой же день меня за Бобровым посылает.

— Скажи,— говорит,— что Катерина Алексеевна вас звали часу в четвертом к себе и чтоб непременно пришел.

— Живо я слетала и ответ принесла, что непременно будет.

— Хорошо,— говорит мне,— ты его дождись на заднем крыльце, как время подходить будет, и проведи в ту залу, где репетиции бывали, пусть там меня подождет. А как проведешь, так приди и тотчас мне знать дай.

Только что пообедали, и разошлись Алексей Игнатьич с тетенькой по своим комнатам, чтоб отдохнуть после обеда, как я уж выскочила на крылечко и торчу там, дожидаюсь, с ножки на ножку попрыгиваю: время хотя и к весне близилось, а все-таки еще холода стояли. Немного подождала и вижу — идет он. Машу ему рукой, чтоб скорее, он живо на крылечко взбежал, а там и в сени, и коридором в залу пробрался. Я бегу барышне сказывать, а она уж навстречу идет; мне велела в коридоре посматривать, и если тетенька встанет али приедет кто, сейчас себе доложить, а сама Боброва увела в кабинетик,— маленькая такая комнатка от залы направо была,— и там с ним затворилась.

— Ты,— говорит,— мне только в двери пальцем постучи, если что случится.

Так-то я их и караулила. И неоднократно это дело бывало. Середи белого дня и при всей прислуге ходил Бобров, и все вид такой делали, что будто не замечают али будто так тому делу и быть надобно. Ходила в ту пору к нам женщина одна белье стирать,— матери моей она подружка была. Узнала она про это дело, отозвала меня этак в уголочек и говорит:

— Смотри, девка, не попади в беду. Ведь ты неладно делаешь. Сама попадешься да, пожалуй, и мать под ответ подведешь. Как, говорит, только не боитесь вы с барышней? А ну, как папенька узнает? — Сама головой качает, руками хлопает: — Вот, говорит, беда-то где, вот хлопота-

то с вами, с греховодницами! Уж ты на меня не погневайся, я матери твоей скажу.

— Что ж,— говорю,— скажи,—я ведь ни в чем не виновата. Мне что велят, я то и делаю.— И точно, матери сказала. На пасхе как-то мать и пришла ко мне, будто бы в гости, а на самом деле, чтоб Катерину Алексеевну увидать. Взошла следом за мной к ней в комнату, меня вон выслала, а я только за двери вывернулась да тут и остановилась — все в щелку и слышу, и вижу. Подошла она к Катерине Алексеевне и стала меня домой просить жить: очень-де нужна она дома мне по весеннему времю.

— На что вам ее? — спрашивает Катерина Алексеевна: — Какая такая у вас работа стала за ней? — А сама так строго на нее смотрит. Мать у меня робкая да смирная была женщина, опять же вдова, окромя меня, еще двое малолетков было у ней. Пенсион небольшой получала она и больше всего, конечно, боялась, как бы пенсиону ее не лишили. Оробела она и тихо так говорит:

— Да вот огород садить надо будет, да и кросна ткать хочу ее учить.

— Ну, это пустяки,— говорит ей Катерина Алексеевна,— огород посадить я вам пошлю женщину от себя, а кросна ткать еще научится. Я к Арише привыкла и пока замуж не выйду, до тех пор ее от себя не отпущу. Да и ты глупо делаешь, что теперь ее домой хочешь взять, через это она многого лишиться может.

— Да это понимаю я,— говорит мать,— только очень я боюсь, как бы с девкой какого худа не вышло.

— Какое же может худо выйти? — спросила Катерина Алексеевна, а сама даже с места встала и так строго матери моей в лицо смотрит.

Та и больше еще заробела.

— Да вот насчет прислуги я сомневаюсь очень,— говорит мать,— как бы не избаловалась девка. А больше всего боюсь, как бы барину не донеслось чего,— боже упаси! — сама подперла щеку рукой да так и улилась слезами.

Вся в лице вспыхнула Катерина Алексеевна и скоро так по комнате заходила. Потом подошла к матери и сказала ей:

— Не понимаю я, чего ты боишься и какого худа ждешь. Одно скажу, что ничего тебе худого не будет, а Аришу я теперь не отпущу. Иди домой и ничего не бойся.— Потом подошла к комоду, вынула и дала матери

сколько-то денег, повернула ее этак легонечко за плечи да и выпроводила из комнаты. Так я и осталась тут. Мне, конечно, по молодости и глупости моей остаться и хотелось на это время, чтоб свадьбу прожить и подарки получить со свадьбы.

Как стала вечером Катерина Алексеевна спать ложиться и спрашивает у меня, что такое я матери насказала и как осмелилась. Я божиться принялась, что слова никакого не говаривала, всех святых собрала и крест из пазухи выдернула, целую да божусь, что ничего не говаривала и знать не знаю.

— Если ты не говорила, так кто же ей сказал?

— Не знаю,— говорю,— разве, может, кухарка а́ль прачка.

— Пошли ко мне кухарку сейчас же,— приказала мне.

Что она с ней говорила, я не знаю, потому что у дверей не слушала, а в кухне ужинала в то время.

VII

На эту весну вплоть до петровок у нас театр продолжался, только вместо двух раз в неделю по одному разу играли. Сговор у Катерины Алексеевны в начале весны был, гостей съезжалось много, а барышни некоторые так и остались гостить у нас на все лето. Катерина Алексеевна им и не очень-то была рада, да делать-то уж нечего было, папенька их сам пригласил. Был у нас при господском доме сад обширный, и беседка в нем нарядная. Вот и придумали в беседке этой танцы устраивать, музыку театральную играть туда определили по вечерам. Кавалерами в танцах служащие в правлении были и Бобров в том числе бывал. Народу собиралось на гулянья эти очень много, которые танцевали, которые только на танцы глядели. Очень весело и многолюдно было. Случалось опять, в поле ездили на длинных этаких дрогах большими компаниями, ну, словом, так веселились в это лето, как никогда прежде.

А все-таки примечала я, что скучает Катерина Алексеевна. Негде стало ей с Бобровым видеться. Только в саду, бывало, встретятся и походят по саду и поговорят между собой. Свадьбу у нас отложили до сентября, сказы-

вали, что губернатор по губернии ездил и Валерьяна Николаевича с собой возил, да и дом его новый не поспел ко времю, так он и не бывал у нас все лето. Только письма от него с каждой почтой приходили. В конце июля и барышни разъехались по домам,— наряды себе к свадьбе готовить. Гулянье в саду прекратилось, потому что август месяц стоял дождливый да холодный. Тихо этот месяц прожили. Раньше этого завсегда я у Катерины Алексеевны в комнате спала на кушеточке у дверей, а тут она меня из своей комнаты выслала и велела мне спать в коридоре. По вечерам все себе в комнату закусить что-нибудь велит подать и бутылку вина али наливки поставить велит. И стала я примечать, что поставлю на поднос одну рюмку, а утром все две убираю, и из обеих пито. Что, думаю, за чудо такое, никто не бывал, и тетенька никогда не заходила. Она обыкновенно с барином вверху ужинала и потом уж прямо спать шла. Садилась с ними и Катерина Алексеевна, только кушала мало, что-то она в это время прихварывать стала. Старушка в это время к нам похаживать стала, кружевницей сказывалась, все в узелочке кружева носила, а на самом деле она лекарка была и повитушка. Ну да и кружевами торговала, это точно, только не своими, а чужими, и лекарства и снадобья разные давала от многих болезней. Чуть ли Катерина Алексеевна у нее не лечилась.

Раз как-то плохо мне ночью спалось и почудилось мне, что кто-то в коридоре ходит, взглянула я, а Варвара к барышниным дверям крадется, в одной юбке и босая. Подняла я голову, гляжу и вижу — из-под двери свет виден. А Варварушка — то ухо к двери приложит, то глаз, потом быстро так отпрыгнула и бросилась бежать по коридору бегом. Только она убежала, а Катерина Алексеевна дверь отворила да со свечой и вышла в коридор, осматривается. Увидала, что я не сплю, и спрашивает: кто тут был? Я вскочила с постели, подбежала к ней и шепотом говорю, что Варвара была, у двери слушала и подсматривала. Сказала это, да как-то и глянула к Катерине Алексеевне в комнату, а там Бобров стоит.

— Точно ты видела, что это она? — спрашивает Катерина Алексеевна, а сама в дверях со свечой стоит.

— Хоть побожиться — она,— говорю,— босиком и в одной юбке прибегала,— а сама дрожу вся стою, испугалась, что Боброва увидела. Думала я, что уж оставила его

Катерина Алексеевна, так как время к свадьбе приближалось, а выходит, что нет, не оставила, и лазил к ней милый друг в окошечко, благо — ночки темные подошли.

Сколько времени прошло после этого, хорошо я не помню. Должно быть, так в начале октября случилось у нас происшествие. Убили члена вотчинного управления Казарина, убили его дорогой, в то время как ездил он по селам собирать оброки да недоимки старые и вновь раскладку делать на крестьян. Человек он был жадный, несправедливый, большой лихоимец был, ну и порешили его крестьяне своим судом. Сказывали, что давно они до него добирались и даже записки ему не раз подбрасывали, только он, видно, не верил, не опасался их. Ездил один, только с ямщиком.

После ямщик и рассказывал, как дело было. Возвращался он уже домой из поездки, ну и порядочно с ним было добра нагружено: и медку, и индюшек в передке тарантаса наложено, да и в кармане было не пусто. На дорогах было спокойно да тихо в ту пору, ну и поехали поэтому безо всякой опаски. Не доезжая до Воскресенска пятнадцати верст, есть гора крутая и длинная да еще идет изгибом этак, и лес густой по обеим сторонам. Вот тут-то, в изгибе этом, когда усталая тройка шажком тащила по грязной дороге тяжелый экипаж, а Казарин дремал, ничего не подозревая, и наскочили на них трое мужиков. Один справа вскочил на подножку, другой слева, а третий лошадей под уздцы схватил. Ямщик и видел, как они из лесу на дорогу выбирались, да и внимания не обратил на них,— мало ли их по осени за охотой ходит. Как вскочили на подножку, Казарин очнулся от дремы и закричал: «Что за люди? Чего нужно?» — «Рассчитаться с тобой!»— сказал один из них да и выстрелил ему в висок чуть не в упор, а затем соскочили, да и были таковы. Ямщик и опомниться не успел, как это дело сделалось, перепугался до смерти, думал, грабить будут и его убьют, а они и синь пороха не тронули из того, что с Казариным было. Так он его и привез со всей поклажей в Воскресенск. А в ту пору, как убийцы в лес убежали, начал он кричать со страху: сначала Казарина звал, думал, что жив еще, потом «караул» кричал, а тут ни жилья близко не было, ни людей никаких не случилось, никто его и не услышал. Принялся потом лошадей нахлестывать, а дорога грязная, глинистая и в гору,— как их ни хлещи, они скорее шагу не

идут. Погода стояла ненастная, с утра небо все заволокло тучами, и день-то был темный, как сумерки, вечером же и вовсе темно стало.

— Век не забуду,— говорил потом ямщик,— как я темной ночью с мертвым-то телом от угору этого до Воскресенска шагом тащился.

Христом богом заклинался он и неоднократно присягу принимал в том, что ничего об этом деле не знал и не знает и подозрений ни на кого не имеет. Рассмотреть убийц в лицо он не мог, только и видел, что мужики были в лохматых шапках, в полушубках и мужицких бахилах; двое с ружьями, а третий с топором. Рожи снизу платками замотаны, и были ли они бородатые али безбородые, сказать не умел. Начальство, однако, ему не поверило, и долго его, бедного, по острогам таскали, да и кроме его народу много перебрали, а настоящих убийц так и не отыскали.

VIII

У нас в этот вечер все в гости ездили и, уезжая, заказали, что ужинать домой будут. Ну и ждем их, на стол вверху накрыли,— в последнее время все там и обедали и ужинали. Приехали домой часов в одиннадцать, побежала я сказать, чтоб кушанье подавали, и тотчас вернулась. Катерина Алексеевна с тетенькой сидят за столом и обе зевают, спать захотели, а Алексей Игнатьич у себя в кабинете у письменного стола стоит и какую-то бумажку читает. Подали кушанье, а он все не идет, все читает. Катерина Алексеевна и пошла к нему в кабинет.

— Чем это ты зачитался, папа? — спрашивает у него; — что тебя так заняло, что и ужинать не идешь?

— Да вот эта бумажка заняла,— говорит ей и показывает бумажку,— так маленькая и бумажка-то, пол-листика всего.— Донос кто-то написал, да вот тут без меня и положил. Как ты думаешь, Катя, кто бы это мог быть? — Сам руки ей на плечо положил и смотрит в лицо. Катерина Алексеевна протянула руку к бумажке и просит:

— Покажи, папа, что за донос? На кого?

Только не успел он ответить, как вошел в кабинет полицмейстер, перепуганный, бледный, даже губы трясутся. Алексей Игнатьич, как взглянул на него, так и понял, что происшествие случилось.

— Что такое,— спрашивает,— с какими вестями так поздно?

— Ох, Алексей Игнатьич, с худыми вестями, и сказать страшно.

— Да ну, не томите, говорите скорее, что у вас там стряслось?

А сам бумажку, что в руках держал, сунул в стол да и запер ключиком.

— Убийство, Алексей Игнатьич,— Степана Николаича Казарина убили дорогой. Ямщик привез его в правление уж мертвого.

Алексей Игнатьич даже отшатнулся в ужасе.

— Как? Неужели ж совсем убили? Может быть, жив еще? Где он теперь?

— В больнице; домой везти не смели, не знаем, как супруге его сказать. Доктор говорит, что моментальная смерть была.— Тут полицмейстер и рассказал все, что от ямщика слышал. Выслушал Алексей Игнатьич, взял шапку со стола и пошел в переднюю. Катерина Алексеевна к нему:

— Папа, ты бы не ездил!

— Нельзя, Катя, нужно самому взглянуть и к жене Казарина тоже надо самому ехать.

И уехал тотчас на полицмейстерских лошадях, своих уж после ему подали.

Тетенька ахает, руки ломает, из-за стола выскочила, по комнате бегает, с Катериной Алексеевной говорит; а та отозвала меня в сторонку, да и шепчет мне:

— Сбегай вниз, принеси мне маленькие ключики на колечке, знаешь, где лежат?

— Знаю,— говорю,— а сама уж бегу. Мигом слетала, принесла и подаю. Она взяла, сама тетеньку успокаивает разговорами, за стол усаживает. Потом прошла в кабинет, прибрала ключик и отворила стол. Бумажка тут и лежала сверху. Взяла ее, прочитала, повертела в руках, положила обратно и стол заперла.

Долго мы в тот вечер спать не ложились, всем чего-то страшно сделалось, все про убийства разные толковали. Я и спать к барышне в комнату выпросилась, боюсь в коридоре лечь, да и только. Стали ложиться спать, барышня и спрашивает у меня:

— Кто без нас на стол накрывал?

— Варварушка,— говорю я,— и я помогала.

— А Васька где был? — это про казачка.

— Он в кухне спал.

— Не видала ты,— ходила Варвара к папе в кабинет али не ходила?

— Не видала. Она сперва одна кверху ушла.

— Ну, так в то время она и положила это письмо. Только кто бы мог его написать? Она ведь неграмотная. Смотри, Ариша, если папа тебя спрашивать будет насчет Боброва, говори, что ничего не знаешь.

Я так и затряслась вся.— Ну, думаю, беда моя приходит. Так вот какой донос, насчет Боброва! Господи! спаси и помилуй!

Утром боюсь и смотреть на барина; думаю,— вот спросит, а он ни слова — ни мне, ни дочери. Происшествие это очень его заняло в то время. Приехал исправник, чиновники съехались следствие производить; народу страсть сколько к допросам перетаскали, а ничего не открыли. Потом Казарина хоронили, наши все на похоронах были. Одно только распоряжение в это время Алексей Игнатьич по дому сделал: велел внизу зимние рамы все до одной вставить и каждый вечер, как все спать улягутся, стал сам обходить все комнаты со свечой в руке и смотреть, все ли двери на запоре. А раньше того вчастую двери запирать к ночи забывали, так и спали, ничего не опасаясь,— ни воровства, ни убийства. Еще сказывал казачок, что ящик с заряженными пистолетами около кровати стали к ночи ставить. Стал и Алексей Игнатьич злых людей опасаться. Да и как не опасаться было. Вся власть над многими тысячами народу в его руках была, угодить же каждому ведь и справедливый человек не может. Стали жить поосторожнее, и нельзя стало Катерине Алексеевне к себе Боброва принимать, и видалась ли она с ним в это время, не знаю. Выезжала она иногда в сумеречках к кружевнице этой, к Пахомовне старухе, и меня с собой не брала.

— Что тебе,— скажет,— под дождем мокнуть, сиди дома.

Ненастье тогда стояло чуть не целый месяц,— то дождь, то слякоть да с ветром холодным. Болезни даже пошли в народе, доктор приезжал Алексею Игнатьичу доложить, что тифозная горячка появилась. Велел меры принимать против нее.

Время стало к свадьбе близиться, стали гостей под-

жидать. Раз как-то, после обеда и говорит мне Катерина Алексеевна:

— Ариша, выдь на крыльцо и подожди Боброва: он скоро придет, ты и проведи его в кабинетик. Это уж в последний раз, завтра гости приедут.—Я накрылась платком, выскочила, а ветер такой холодный,— постояла немного, продрогла и назад повернулась уходить, а Бобров — в ворота.

— Ариша, стой! Куда мне пройти? — Я бегу вперед, ему показываю, он пальто свое мокрое мне на руки бросил, а сам живо в кабинет прошмыгнул по знакомой дорожке. Я пальто унесла в кухню сушить, вернулась и в коридоре похаживаю на карауле и слышу — Алексей Игнатьич вверху у лестницы откашливается и огня себе требует. Опрометью бросилась я к кабинету, стучу в дверь кулаком; отворили мне.

— Что такое?

— Папенька не спят, чуть ли не сюда идут.

Катерина Алексеевна выскочила из кабинета, а меня туда втолкнула и пошла из залы. И точно, он вниз шел, в коридоре с ним и встретилась.

— Что с тобой, папа? Что ты не спишь? Здоров ли?

— Так, не спится что-то. Посоветоваться с тобой иду, как и где мы гостей разместим, не надо ли перестановки какие-нибудь сделать, кроватей прибавить? — А сам обхватил ее за талию да и ходит с ней по зале мимо самых дверей, за которыми я стою ни жива ни мертва да в щелку выглядываю. Взглянула на Боброва, а и он не лучше меня, тоже у дверей стоит, норовит, ежели двери отворят, за ними спрятаться,— а сам весь трясется, рукой за грудь схватился, с трудом от кашля удерживается. Вот, думаю, беда-то, как закашляет.

Походили они по зале, Катерина Алексеевна и повела папеньку в другие комнаты.

— Пойдем,— говорит,— в те комнаты и посмотрим вместе,— какие там перемещения сделать нужно.

Как только они вышли из залы, так Бобров из кабинета выскочил да в коридор. И ведь надо же было так случиться, что выходит он из этих дверей, а из других, на другом конце коридора, тетенька выходит да со свечой в руке. Так бы лицом к лицу и столкнулись, да на этом конце-то была дверь в чулан холодный отворена, кухарка там что-то прибиралась. Бобров и заскочил туда. Кухарка как за-

кричит сперепугу, потом узнала его, погрозила кулаком, вышла из чулана и дверь за собой на ключ заперла. Тетенька спрашивает, чего она кричала. А та говорит, что Аришка-дура ее испугала. И тетенька к барину с барышней прошла, и все вместе по комнатам ходят, рассуждают, как чему быть. Самовар потребовали в нижнюю столовую,— чего уж давно не бывало,— и чай тут пить расположились. После чаю, когда уже все наверх поднялись, тогда я у кухарки ключ выпросила да Боброва выпустила. Посинел даже весь от холоду, а кухарка еще смеется над ним: таковский был, говорит, не ходи, куда не следует.

IX

И что бы вы думали, захворал ведь после этого Бобров: тут ли простыл, раньше ли того что было, только сделалась у него горячка. Каждый день к Алексею Игнатьичу старший фельдшер с докладом являлся,— сколько больных в больнице, сколько по домам, кто умер, кто вновь заболел, все это рапортовал. Вот и о Боброве он доложил, что сильно болен. Василий Иванович приходил тоже об этом докладывать, что играть некому,— а как раз хотели представления в театре начинать. Решили отложить немного; барышни досадуют, в театр им хотелось, Боброва все жалеют.

Разговоров об нем много было, особенно потому, что Лиза Копрова совсем к Бобровым переселилась, чтоб помогать его матери за больным ухаживать. Одни ее осуждали за это, говорили, что неприлично девице, другие тем оправдывали, что актриса она, да и Бобров будто ей жених был. Катерина Алексеевна говорила папеньке,— нельзя ли Боброва в больницу взять, чтобы ходили там лучше за ним, да и матери облегченье сделать. Он ей ответил, что и сам хотел это сделать, да мать его не согласилась сына в больницу отпустить, сама за ним ходить пожелала. Меня Катерина Алексеевна частенько посылала узнавать об его здоровье, а тетенька раз даже банку варенья со мной послала к ним. Как самоё старуху встречу, так все кланяться прикажет господам и благодарить за внимание, а как Лизаньку увижу, так та с сердцем скажет, бывало:

— Ну, чего шатаешься каждый день? Что еще вам с

барышней надо от него? И так уж чуть жив по ее милости.— Я пришла домой да так все и бухнула Катерине Алексеевне. Она только руками хрустнула, повернулась к окну и говорит про себя:

— Ненавижу эту дерзкую девку. Легче мне его мертвым видеть, нежели на ней женатым.

За Васильем Ивановичем послала в тот же день и просит его, чтоб хоть какой-нибудь спектакль устроили.

— Постараюсь,— отвечал он,— только вряд ли что хорошее выйдет,— еще один актер у нас заболел, да и Копрова наотрез отказалась играть, пока Бобров не выздоровеет.

— Ну, ее и принудить можно,— говорит барышня,— сказать ей, что вспоможения ей не выдадут, если играть не станет.

— Она этим не подорожит, и ничем ее не принудишь, ничего она не побоится: ни толков, ни сплетен. Говорит, что и на сцену только для Боброва поступила,— сказал Василий Иванович и сам руками развел.

— Ну, хоть «Филатку и Мирошку» поставили бы,— сказала Катерина Алексеевна,— хоть что-нибудь, только смерть мне барышень моих надоело занимать.

— Хорошо,— говорит Василий Иванович,— устроим. И точно устроил: на другой же день афишу принесли. Барышни в восторге,— в театр отправились, а мы с Катериной Алексеевной Боброва проведать поехали.

В сенях у них темно было, едва дверь нащупали. Входим, а мать его сидит у стола в первой комнате да плачет, плачет. Лизанька стоит возле нее, руку свою к ней на плечо положила, уговаривает ее, утешает, а у самой по щекам слезы так и катятся, капля за каплей. Поднялась старушка к нам навстречу, еле на ногах держится.

— Что,— спрашивает у нее барышня,— каково ему?

— Плохо ему, милому, плохо,— отвечает старушка; — верно господь не услышал мои молитвы; приготовить доктор его посоветовал, ждем сейчас священника, отложить до утра боимся, вряд ли эту ночь переживет.

Выслушала Катерина Алексеевна и молча к нему в комнату вошла. Старушка за ней идет.

— Не ходили бы вы лучше, матушка моя,— советует Катерине Алексеевне.— Болезнь изменила его страшно, вам и не узнать его теперь.

А Копрова им вслед говорит:

— Ничего, пусть посмотрит, полюбуется,— это ведь ее рук дело.

От больного из комнаты вышла Катерина Алексеевна, как мертвец бледная. На Копрову и не взглянула, прошла мимо, да и та стоит, как столб, и не кланяется.

Приезжаем домой, а Алексей Игнатьич нас в нижнем коридоре и встретил.

— Где это ты была, Катя? В театр не поехала, больной сказалась, а сама рыщешь в такую дурную погоду.— А Катерина Алексеевна на это так и сказала прямо:

— Я у Боброва была, папа, он умирает.

Алексей Игнатьич схватил ее за руку, подвел к свету и говорит:

— Я верить не хочу, Катя, что у тебя с Бобровым было что-нибудь. Если было, говори прямо, я не хочу быть подлецом перед Валерьяном Николаевичем.

— Ничего у меня с Бобровым не было, а просто мне жаль его,— сказала она; — и с чего ты взял подозревать меня? Поди, выпей холодной воды и успокойся.— Выдернула у него руку, ушла к себе в комнату и заперлась. Постоял он тут, по коридору прошелся, в дверь к ней стукнул, не отворила, так и ушел к себе в кабинет.

На другой день поутру слышим — и точно, Бобров кончился. Алексей Игнатьич даже на литии был у него. Вечером перед чаем, как все собрались в столовой, подошел к Катерине Алексеевне и говорит ей:

— Ну, Катя, забудем все неприятности и печали; сейчас нарочный приехал с письмом, завтра к обеду жди жениха, а послезавтра и обрученье сделаем. Медлить нельзя,— время не позволяет.

— Хорошо, папа,— ответила она, подошла к отцу и поцеловала у него руку. Обхватил он ее рукой, увел в залу, и долго там ходили и разговаривали.

Утром другого дня, пока все спали, мы с Варварой бегали на мертвого Боброва смотреть. Какой он страшный стал, гораздо страшнее убитого Казарина,— исхудал, глаза ввалились, лицо пошло пятнами темными, куда вся красота девалась. Проснулась барышня, я ей и рассказываю, она молчит, только губки слегка покусывает. Плакала ли она об нем, не знаю, я слез не видала. Стала ей рассказывать о том, какой хорошенький Боброву гроб делают, как его Лизанька Копрова сама украшает, а Катерина Алексеевна как закричит на меня:

— Да замолчи ты, дурища! — я так и онемела.

В тот же день жених наш приехал и какие-то барин и барыня с ним. Остановились в особой квартире,— нарочно для них приготовлена была,— и только к обеду к нам пожаловали. Жених, конечно, радость свою изъявляет, руку у невесты целует; очень озаботился, что сильно в лице она похудела. Она усмехается, его успокаивает, ничего-де, все пройдет. Весь вечер с ним просидела, али по комнатам ходят, все разговаривают.

Пришла спать к себе в комнату и стала с себя наряды срывать и бросать.

— Господи,— говорит,— какая му́ка! Ариша, расшнуруй меня скорее. И сколько еще дней придется эту муку терпеть.

Расшнуровала я ее, раздела, улеглась она в постель и говорит мне:

— Завтра, как встанешь, тотчас сбегай за Пахомовной и приведи ее ко мне пораньше, пока все спят. Да, смотри, не проспи.

Как велела, я так и сделала. Ранехонько утром Пахомовна уж у нее была, и весь день она у нее за ширмами возле кровати просидела; я ей туда и обедать приносила. А барышня как из комнаты выйдет, так и дверь на ключ запрет, будто сторожится, чтоб не покрали что из комода из дорогих вещей. И точно, что баб в кухне, помогающих, много набралось, и беречься не мешало.

Утром в этот день Боброва похоронили,— а у нас приготовления к балу шли. С обеда с самого барышни одеваться стали, прически устраивать, пукли припекать, локоны завивать. Около десятка их гостило у нас, всем надо было помочь одеться, а кому еще и платья погладить. Обе с Варварой мы над ними хлопотали, а потом приспело время невесту одевать. Барышни было к ней в комнату набрались, да она их выпроводила вон, с одной Варварой одевалась. Она ей и голову убрала, и подбелила, и подрумянила; большая она на это искусница была.

Долго она одевалась, уж все гости собрались, музыканты и певчие приехали, священник с дьяконом, наконец, и жених со своими поезжанами явился, во фраке и при ордене,— а невеста все не выходит. Тетенька два раза стучалась к ней, барышни около двери шмыгают, перешептываются: недовольны, что невеста их из комнаты выгнала. Наконец, отворилась дверь, и вышла невеста совсем уж

одетая. Барышни тотчас ее обступили, платье ее хвалят, прическу, а пуще всего ее самое.

— Интересная,— говорят,— ты какая сегодня, глаза горят и румянец в лице играет. Красавица ты!

Благословил ее Алексей Игнатьич иконой, и тетенька с ним заместо матери благословила. И повел ее за руку в залу к жениху и гостям. Как только помолились богу, тотчас шампанское подали, и певчие концерт загремели. После того музыка началась; спервоначалу все попарно, и старики и молодые, по всем комнатам прохаживались, а потом уж одна молодежь танцевать стала, а пожилые барыни в гостиной уселись и десертом занялись. Стояла я, стояла в передней, загляделась на танцы да и вспомнила, что надо идти постели приготовить. Ключ от барышниной комнаты у меня в кармане был. Вошла к ней, а Пахомовна лежит на диванчике, свою шубенку в головы подложила да похрапывает. Удивилась я, думала, она уже давно ушла, а она все тут.

Проснулась, пивца попросила.

— Так бы,— говорит,— я домой и ушла, да боюсь, барышня ночевать велела.

Приготовила я постель да и села за ширмы в креслице,— такое там низенькое стояло, на котором барышня всегда раздевалась,— и как только села, так и задремала. Очень уж я в тот день притомилась, хоть и молода была, и прытка, а все же устала. И не только задремала, а, надо быть, что и соснула порядочно. И слышу я сквозь сон, как будто кто-то стонет, будто бегает кто-то, суетится, хлопочет о чем-то, кто-то тихонько говорит. Слышу все, а очнуться не могу. Однако ж очнулась, выглянула из-за ширм да так и обмерла на месте.

Стоит Катерина Алексеевна у комода, обеими руками за него держится, а на полу у ее ног крохотный ребеночек лежит.

Пахомовна по комнате мечется, губы и руки трясутся; то схватит и бросит, другое схватит и бросит; перепугалась, не знает, что и делать. Видно, не ждала она такого случая. Только причитает шепотом:

— Что мы делать-то будем, матушка ты моя? Погибли мы, погубили свои головы!

— Полно причитать, старуха, убирать это надо скорее,— говорит ей Катерина Алексеевна, а у самой в лице мука страшная.

— Да куда убрать-то, куда? Научи ты меня глупую?

— Куда хочешь убери,— домой унеси, в реку брось, в землю зарой, только убери сегодня же ночью. Денег тебе надо, бери, я тебе показала, где они лежат. Только убирай скорее.

Наклонилась Пахомовна к ребеночку да и шепчет в ужасе:

— Господи, да он ведь жив! Хоть и недоносок он, а водиться с ним, так он бы ожил: дыхание в нем есть. Воля твоя, Катерина Алексеевна,— я душу губить не согласна.

Поглядела на нее Катерина Алексеевна так-то ли мрачно, только на один шаг подвинулась и наступила ребенку ногой на горлышко. Я, где стояла, так на том месте и присела, ноги подо мной со страху подогнулись. Опомнилась немного и подлезла под кровать тихонечко. Лежу там, боюсь и выглянуть. Что они делали, как Пахомовна барышню оправляла, ничего не видела я, слышала только, что в дверь к ней то та, то другая подружки стучатся и кверху зовут; что жених об ней соскучился, сказывают ей, и папенька ее требует, а она им крикнет:

— Сейчас приду,— а сама не выходит.

Долго мне это время показалось, страсть долго, а на самом-то деле время немного прошло.

Тетенька, наконец, звать пришла:

— Катя, иди скорее,— и папа и Валерьян Николаевич беспокоятся, да и ужин сейчас подавать будут.— Тогда, слышу, зашуршало платье на ней, и двери хлопнули,— ушла, значит. Вылезла я из-под кровати, к Пахомовне бросилась:

— Что мы делать-то будем, бабушка, ведь засудят нас?!

— А ты, дурья голова, молчи,— матери родной слова пикнуть не смей, не то ли что кому другому. Помоги мне прибраться, воды неси.— Принесла я воды, помогаю, а у самой и руки и ноги дрожат, и зуб на зуб не попадает. Прибрались,— оделась Пахомовна в свою шубейку, взяла сверточек маленький, в старое платье завернутый, под полу, да и давай бог ноги. И я следом за ней выскочила и комнату запереть забыла. Как этот вечер кончился, плохо я помню. Помню только, что как бал кончился, так жених невесту до дверей ее комнаты провожал и барышни все около них шли. Варвару я послала ее раздевать, а сама и глядеть на нее боялась.

И на другой день весь день меня лихорадка трясла; нет-нет, да так вся и задрожу. Барышни даже заметили, думали, что простудилась я али от усталости это со мной. Конфет мне надавали, яблоков, печенья, а я и есть не могу. Кое-как этот день скоротала; Катерина Алексеевна его весь в постели пролежала, встала уж вечером, как к венцу одеваться. Папенька к ней два раза в комнату заходил проведать. Успокаивала его все, уверяла, что к вечеру поправится.

И точно, оправилась. Бодрая такая встала, одевалась в нижней зале при всех барышнях и при всех подбелилась и подрумянилась.

— Это,— говорит,— для вечернего освещения необходимо нужно.

После уж, много спустя, Пахомовна мне сказывала, что когда ее Варвара одевала к обрученью, так покаялась ей, что письмо это она подложила, а дала ей письмо Лиза Копрова. Очень прощенья просила, вперед верой и правдой служить обещалась и в город просила с собой взять. И точно, ее Катерина Алексеевна простила и в город с собой взяла.

X

Пышная свадьба у нас была, такой раньше ни у кого не бывало. Иллюминацию зажигали и у церкви, и у дому, и вензель в окне был выставлен. Как к венцу ехали, немного дождик шел, а потом разгулялась погода. Люди говорили, что к добру это.

После венчанья танцев не было, а только ужин богатый, да певчие пели вперемежку с музыкой весь вечер. Барышни только поздравили новобрачных, шампанского выпили и тотчас все разъехались,— кто домой, кто в гости к знакомым. Ужин рано подали, утром назначено было пораньше в город отправляться, чтоб засветло через реки переправиться, и к вечеру в городе быть. Что лошадей было заготовлено по дороге, что народу было согнано к перевозам,— по рекам, уж, сказывают, лед шел.

Тетенька с Варварой всю ночь укладывались, и я помогала. К утру только кончили и рады были до постелей добраться. Только уснули, и опять вставать надо. Еще не проснулась я как следует,— слышу, казачок бежит сверху, воды умываться велит нести к молодым в комнату. Вар-

вара заспалась, и пришлось мне с кувшином кверху бежать. Вхожу, а Катерина Алексеевна сидит в кресле и что-то из склянки нюхает. Валерьян Николаевич в бархатном халате около нее суетится, хлопочет, платок в воде намочил, ей на лоб положил. Она его за руку взяла и посылает в залу.

— Поди,— говорит,— успокой папу, а я сейчас одеваться буду.

Варвара пришла, меня и выслали из комнаты. Вышла я, а в зале уж стол накрыт, самовар подан, и повар пришел спросить, не пора ли кушанье подавать, и Алексей Игнатьич, совсем одетый, всем сам распоряжается.

Вышел Валерьян Николаевич из спальни, обхватил его рукой и повел в кабинет, а сам в тревоге такой рассказывает, что Катерина Алексеевна всю ночь не спала, очень ей нездоровилось; только приляжет на постель, тотчас дурно сделается, так и просидела все время в кресле. И Алексей Игнатьич омрачился, ходят по кабинету, оба встревоженные. Тем временем молодая живо оделась по-дорожному и идет к ним.

Алексей Игнатьич к ней навстречу:

— Что ты, Катя? Что с тобой?

— Ничего, папа,— отвечает она,— теперь мне лучше, а поедем, так на воздухе и совсем моя дурнота пройдет. Это оттого со мной сделалось, что вчера я постилась весь день, а после венца много шампанского выпила: оно же всегда на меня дурно действует. Однако, что ж ты меня не поцелуешь, папа? Али муж на меня пожаловался? — А сама смеется и смотрит на Валерьяна Николаевича.

— Как же на тебя не жаловаться,— говорит ей Алексей Игнатьич,— разве прилично новобрачной хворать? Смотри, как ты своего мужа измучила.

Катерина Алексеевна выпустила отцовы руки, подошла к мужу и взяла его обеими руками за щеки.

— Стыдно, стыдно хмуриться на больную жену; иди одевайся скорее, уж завтрак подан, а ты в халате,— поцеловала его в губы и проводила до дверей. Потом подошла к столу и открывает ящик, где у Алексея Игнатьича пистолеты лежали.

— Не трогай, Катя,— кричит он ей,— пистолеты ведь заряжены!

— Заряжены? Ну, вот это хорошо; ты один дай мне с собой на дорогу, а то я бояться буду, если с нами ника-

кой обороны не будет.— Взяла один и кладет его в особый такой маленький ящичек.

— Вам бояться нечего,— говорит ей Алексей Игнатьич,— на вас никто не нападет. Ты ведь с ним обращаться не умеешь, отдай по крайней мере его мужу, а то еще поранишь себя как-нибудь.

— А он его и в руки-то взять боится,— засмеялась Катерина Алексеевна,— я и не скажу ему, что с нами пистолет есть, а то еще бояться будет, как бы он не выстрелил.— Обернула ящичек платком и унесла к себе в комнату.

Как только позавтракали, тотчас прощаться стали. Алексея Игнатьевича и тетеньку к себе зовут. Обещанье дал он, что завтра же выедет, а тетеньку с Варварой и поваром следом за ними отправит. Валерьяну Николаевичу очень наш повар понравился и выпросил он его к себе на неделю.

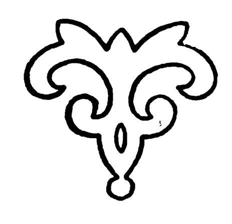
Проводили молодых, а на другой день и Алексей Игнатьич за ними укатил. Прогостили в городе всего двое суток, дольше оставаться — распутицы забоялись и вернулись домой веселые и с подарками. Тетеньке зять материи на платье подарил, а Алексею Игнатьичу золотые часы с репетицией. Ну, да и стоило: тетенька сказывала, что он за Катериной Алексеевной двадцать тысяч денег дал, окромя приданого. Конечно, можно было почитать и уважать такого тестя.

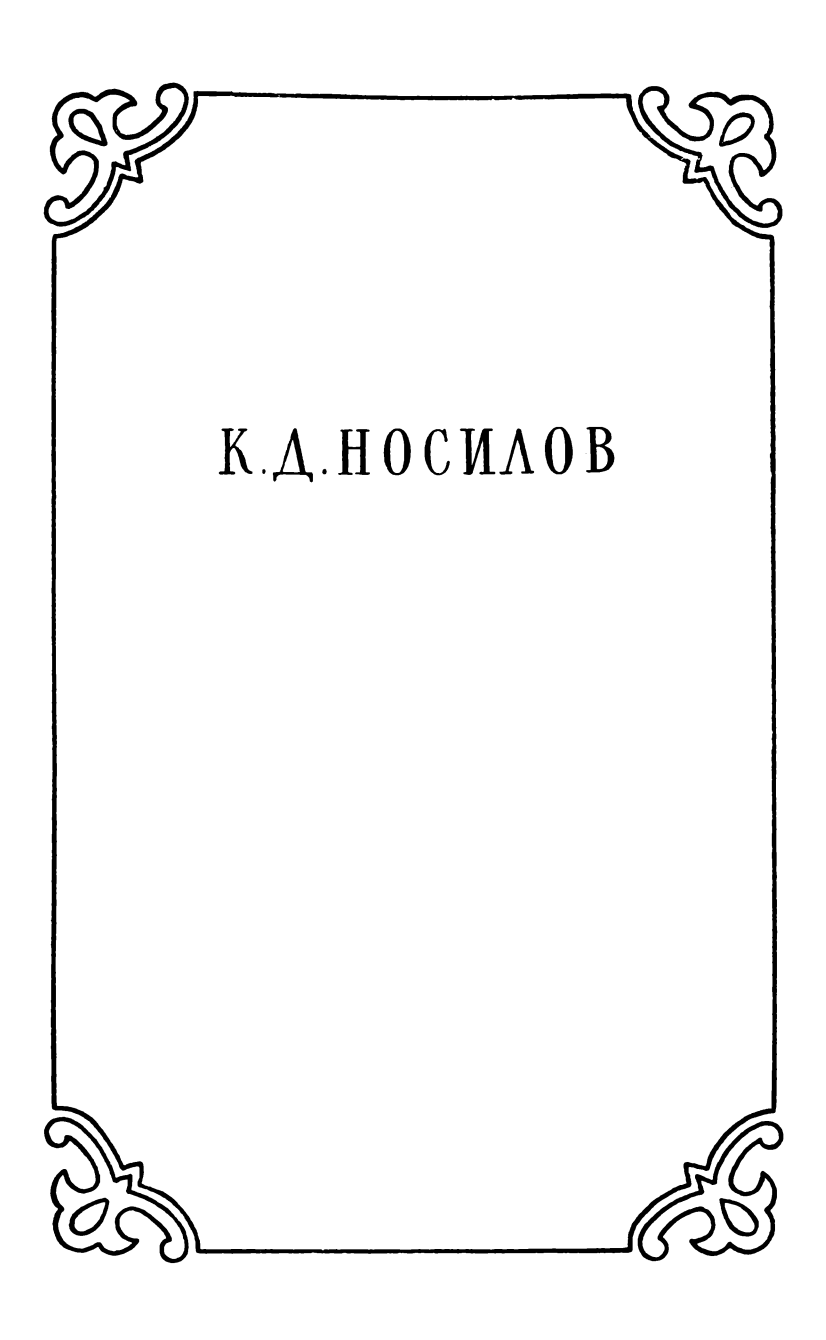
Меня наградили и отпустили домой. Все ж таки я к ним в дом ходила, и про Катерину Алексеевну вести доходили до меня. Слыхать было, что хорошо жила она с мужем, уважал он ее и слушался. В одном только ей бог счастья не дал, детей у нее не было. Ни одного живого ребенка не родила она, все выкидывала. Знать бог ее наказывал за старый грех. Слышала я потом, уж через много лет, от Варвары, что сперва жизнь у нее с мужем не ладилась, что долго она у себя в комоде пистолет заряженный держала и все мужа стращала, что застрелится, если он хоть слово какое-нибудь скажет ее отцу.

— Ты сам наказывай меня, как хочешь,— будто бы говорила она мужу,— а отцу не говори ни слова, он ни в чем не виноват.— Так Алексей Игнатьич и не узнал историю эту. Да и никто не узнал; я-то говорить боялась, матери даже не сказывала долго, а с Пахомовной когда-то заговорила, так она отперлась даже от всего.

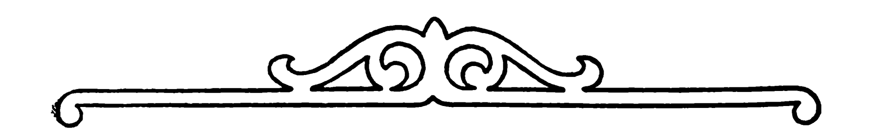
— Не мели пустяков,— сказала мне,— во сне это все тебе приснилося, и лучше про такие сны ничего не рассказывать. Вот как.

Меня мать той же зимой замуж выдала, да недолго я с мужем пожила, всего два года,— и овдовела. С той поры довелось мне мыкаться по чужим людям в прислугах. Живала и горничной, и кухаркой, и прачкой, а больше всего жила няней. Во всех должностях переслужила и насмотрелась на своем веку всяких людей. В мире, как в море,— всего много: и добра, и зла.





К. Д. НОСИЛОВ



БРОДЯГА

Это было как-то осенью, еще во дни моего детства, когда я увлекался сбором грибов.

Грибы совсем недалеко росли от нашей Маслянки,— всего в каких-нибудь верстах двух расстояния, в прекрасном белом березовом лесу, под зеленой, нежной травкой, под полусгнившими темными листьями, пахнувшими этими грибами, под тенью высоких берез, почти не пропускающих лучей солнца. Тут было сыро, полутемно и глухо, как вообще бывает в таких огромных лесах, как бы затихших в своем величии, не пропускающих шума к себе, наслаждающихся полным безмолвием, укрывающих в себе разную птицу и зверя. Когда, бывало, заходишь в лес,— даже страшно делалось маленькому сердцу; уши невольно прислушивались к этой торжественной тишине, глаза пытливо всматривались в каждую тень, ложившуюся от дерева; какая-нибудь ветка, жалобно хрустнувшая под неосторожною ногою, уже бросала тебя в дрожь, в каждом кустике, казалось, вот-вот покажется зайчик... И никогда, никогда бы, пожалуй, не пришел в эту рощицу, если бы там не было таких сокровищ грибного царства.

Это прямо было какое-то царство грибов.

Но как ни соблазнительны были все эти боровики, масленики, грузди, в эту рощу ходить нам было страшно.

Страшно было потому, что дорога из нашего села к этой березовой роще была мимо кладбища с свежими и

старыми холмиками могил, с новыми и старыми покачнувшимися крестами и с ветхой часовенкой. Хотя на этом пустынном кладбище никогда никого не было, разве только укрывшиеся от человека зайцы, прижавшиеся порою между холмиками, но проходить мимо него было все-таки очень страшно. Страшно потому, что нас с детства еще напугали няни разными сказками о привидениях.

Поэтому, когда меня особенно разбирала охота искать грибы и побродить в этой березовой роще, я обычно собирал чуть не всех своих сверстников по нашему переулку, и даже захватывал с собой девочек, которые не отставали от нашего брата.

В большинстве случаев это были: Ванька-Волчёнок, Гришка Осипов, Мишка-Кузнечёнок, Дунька — дочь соседа нашего, который жил на самых наших задворках, и иногда еще любимый мой товарищ по разным подобным экскурсиям в луга и леса — Васька-Горошинка.

Горошинкой мы звали его потому, что он вечно ходил и бегал такою мелкою поступью, что казалось, что он катится по земле как горошинка.

Собравши эту шумную обычную компанию, с корзинками в руках, с краюхами и шаньгами за пазухой, с батожками в руках, при помощи которых легче было разыскивать в траве грибные сокровища, вооружившись перочинным ножичком, я и отправлялся в этот березовый лес гожей погодой.

С шумом, гамом, с веселыми разговорами мы выходили из нашего проулочка, быстро проходили полевой дорожкой весь выгон с болотными кочками и надоедливыми пиголицами, которые знали нас за давнишних врагов, разоряющих их гнезда, немного затихали невольно, проходя мимо самого кладбища, и припускали во весь дух, завидев, наконец, высокую березовую рощу, и живо добегали до ее опушки.

Вглядевшись предварительно, нет ли на ней волков, мы робко вступали в этот лес и быстро забывали все наши страхи, рассыпаясь по лесу в поисках счастья.

Уже некогда было думать о чем-либо, кроме только грибов, которые тут же попадали нам под руку, вызывая громкие восторги нашедших.

Скоро мы совершенно забывали разные страхи, которые еще нам недавно мерещились, и лес, громадный березовый лес, словно оживал от наших восторгов и криков.

И чу́дно, хорошо было в этом лесу, откликающемся нам эхами, и все зайчищи выбирались поспешно из него и садились в задумчивости на опушке.

Сразу, в один дух, вперегонки мы проходили всю рощу, и через какие-нибудь полчаса уже светилась впереди опушка; мы выходили гурьбою на зеленую опушку и садились отдыхать у самой межи засеянного пшеницей поля.

Что за роскошь была эта высокая, покатистая, с зеленою травкою межа, с самыми разнообразными осенними листочками, цветочками, с видом на далекий неподвижный сосновый лес, на далекое, словно потонувшее среди полей, село с высокою белою колокольнею и с видом проезжей, оживленной теперь, в страду, дорогой. Корзинки были почти наполнены; кто-то нашел ежа; кто-то разыскал на ветке гнездышко и забрал его с собой вместе с березовой тонкой веткой; кто-то разыскал белый душистый, редкий в наших лесах громадный гриб, который теперь осматривался самым внимательным образом и переходил из рук в руки.

Однажды, беспечно сидя на опушке, мы заметили, что на нас накатилась громадная, низкая, темная туча, которую мы из-за рощи и не заметили. При виде этого у нас сразу стало холодно на душе, и мы затрепетали. Девчонки прижались к нам и заплакали, и мы так было растерялись в первый момент, что не знали, что делать.

Разумеется, двинуться к селу не было уже ровно никакой возможности, между тем остаться в этой потемневшей теперь роще было еще того хуже. Что-то уже тревожно зашумело в вершинах осин, в вершинах берез как бы завыло.

Как вдруг кто-то нашелся:

— Ребята, айда скорее к Тимкиной избушке, надо спасаться скорее от тучи!

Все вскочили быстро на ноги при этом окрике и устремились, держась ручонками друг за друга, вдоль по меже к маленькой избушке, чуть заметно видневшейся на краю леса.

Избушка эта была ранее для нас недосягаемою, так как очень уже казалась нам далекою, но теперь было не страшно к ней двигаться, потому что она казалась нам единственным спасением, и нас отделяло только громадное поле.

Как мы бежали к этой спасительной избушке, нагоняемые черною тучей, уже погромыхивающей, я не помню, помню только, что нас подхлестывало свеженьким ветром по спине.

Как вдруг кто-то заметил, едва переводя дух, но радостным голосом:

— Ребята, в избушке кто-то есть из наших деревенских: вишь, как дымок поднимается из трубы!

Мы остановились от этого неожиданного радостного открытия и так припустились бежать, что за нами едва поспевали девчонки.

Вот недалеко и Тимкина избушка; мы видим ее низкую соломенную крышу, видим ее широкий навес; мы разглядываем уже ее маленькую дверь и еще быстрее туда устремляемся в ожидании кого-нибудь найти там из нашей деревни.

Открываем дверь, а там бродяга.

Настоящий бродяга-старик, с страшным лицом, замазанным сажею, с всклокоченной головой и в таком одеянии, что мы так и шарахнулись прочь.

Впечатление было такое сильное, что мы даже не крикнули, а тут же присели от страха.

Бродяга тоже, казалось, был поражен нашим неожиданным появлением; но, видя, что мы одни, что напуганы тучею, что в безвыходном положении, сразу нашелся.

— Не бойтесь меня, ребятушки, девушки, я хоть бродяга, но добрый...

Мы решительно не знали, что делать.

— Заходите в избушку скорее,— пригласил нас старик, и мы было сунулись туда, но остановились на пороге.

— Заходите скорее, а то стали, как овцы перепуганные! — рассмеялся старик, и это нас заметно ободрило, и мы тихонько, один за другим проникли в избушку.

Заманив нас туда, бродяга припер дверь самым обстоятельным образом и обратился к нам с речью:

— Что, испугались меня? Хотя я и бродяга, да тоже такой же человек, как все люди. Не бойтесь, не съем. Волки едят людей, медведи в лесу задирают человека, а не люди. Вы за груздочками, видно, пожаловали? Ну, что ж, это хорошее дело — грибы собирать, только не надо бояться ничего и в лесу. Лес что? В лесу божья благодать. Все в лесу есть: и ягодки вкусные, и грибочки. Ничего нет

в лесу опасного, кроме разве только волка. Что волк? Видал я волков, сотни, поди, видал на веку своем, встречался даже с ними с глазу на глаз, а тоже вот и волки меня не съели. Днем волк очень опасливый: больно, больно он боится света. Вот ночью другое дело, темною ночью может и потревожить человека. А так, без волка здесь и ночью совсем не страшно: спи хоть прямо где на траве и меже,— никто не тронет тебя, потому что нет врагов здесь у человека. Не страшно зверей — зачем бояться человека, хотя меня, например, бродяги старого? Я сроду никого не обидел в лесу, даже не тронул ни зверя, ни птичку. Пусть живут себе да радуются красному солнышку и поют ему свои песни.

Мы было уже совсем заслушались этого разговорчивого старичка, когда он, сидя перед печью-каменкой, у маленького огонька, вдруг заключил свои слова отрадной для наших желудков, уже порядочно проголодавшихся, вестью:

— Ну, вот и картошки испеклись, поди, у меня; вот и поужинаем вместе с вами, ребятки. Разбирай картошку, ребята! Какая сладкая картошка у вас в поле — просто чудо! — И он разрыл золу, и мы двинулись к нему, заглядывая туда через его грязные плечи.

— Ну, что вы стали? Берите скорее по картошке, пока горяча, кушайте на здоровье и говорите спасибо деду!

Мы потянулись за картошкою, и какая же показалась она нам сладкая!

А когда после вкусной картошки он предложил нам сварить из наших грибов губницу, у нас прошли окончательно все страхи, и мы зашевелились.

— Бродяга-то какой,— шептали мы друг другу на ухо: — смотри-ка, смотри-ка, какой у него котелок, гляди-ка, гляди-ка, ребята, какие у него топанцы,— оглядывали мы его уже бесстрашно, и страшно хотелось поделиться этой новостью дома, в семье, что мы удостоились видеть такую знаменитую личность...

А бродяга как бы не замечал нашего удивления, ни наших испуганных глаз, и то ворошился с своим закопченным дорожным котелком, то вынимал что-то такое неожиданное из своих тряпиц, в виде соли и перца, то рылся в своем дырявом грязном мешке, разыскивая там ножик и ложку.

Все это было страшно для нас интересно, и мы было забыли уже тучу грозную, как она грянула вдруг и завыла под самой крышей.

— Постойте, ребятки, туча божья надвигается, в грозу нельзя разводить огня, может ударить молния и разнести всю нашу избушку,— важно заметил бродяга.

Но нам как-то уже не было страшно с этим простодушным разговорчивым стариком, и так как страшно хотелось поскорее губницы, то мы тут же приступили к очистке и к отбору грибов, предлагая ему все, что только было, на выбор.

Он с любовью осматривал наши корзиночки и рылся в них, как бы оценивая наши находки.

Белому груздю даже позавидовал старый бродяга.

— Вот это гриб! Вот это гриб! У нас, в Расее, множество этих грибов по сосновым и еловым лесам, а здесь их не видно. Это гриб! Если высушить его, повесить на ниточке у трубы, это даже годно в лапшу зимою.— И он понюхал с наслаждением этот с толстою ножкою гриб и обратно положил, как редкость, в корзинку.

Про масленики он как-то неохотно, неодобрительно отозвался.

— Это что? Это господское кушанье; у кого много масла скоромного, у кого сытое брюхо.

Но про боровик он отозвался самым одобрительным образом.

— Это тоже, ребята, штука: если высушить его, такой будет пирог зимой, что мое вам почтение! Самый превосходнейший пирог! Лучше пирога и не бывает!

Мы стали очищать отобранные им грибы, а он отправился к колодцу за свежей водой.

Как только затворилась за ним дверь, мы сразу заговорили.

— Ребята, какой бродяга! Ты видел, какая рубаха на нем? Даже не узнаешь — то ли она пестрядинная, то ли она из мешка! А штаны-то, штаны-то какие у него громадные, как у татарина! А топаки-то, должно быть, из сырой коровьей кожи.

— Какое коровьей! — перебил кто-то из товарищей: — прямо из кобыльей! Что ты? Наверно, лошадь где ободрал в лесу и сшил себе топаки, чтобы неслышно ночами ходить по лесу.

— Давай, ребята, посмотрим, что у него в мешке,—

предложил кто-то,— так разгорелось наше любопытство, и так мы расхрабрились.

Но мы, однако, не посмели сделать этого, боясь оскорбить этим старика, тем более, что он оказался для нас таким добрым, хотя мешок этот давно уже нас занимал своей поместительностью, и нам даже казалось, что там у старика было, бог весть, что запрятано тайного от человека.

Только одно заставляло нас задуматься: старик, говоря с нами ласково, все нет-нет да посматривал на нашу девчонку Дуняшку. Она тоже робела от этого взгляда и жалась при этом за нашей спиной.

Что было в Дуняшке нашей замечательного или привлекательного,— нам было решительно незаметно: рубаха на ней пестрядинная в виде длинного дубаса, в белой косичке — еще зародыше ее косы — была какая-то вплетена ситцевая лоскутинка, а ноги были такие грязные, что даже Гришка Осипов, с своими замаранными ногами и обтрепанными штанишками, не мог соперничать с ней по поводу грязи. Куда лучше ее была другая наша подруга — Катя Сметанина, такая худенькая, но опрятная девочка, в ситцевом платьице; но бродяга как будто даже не замечал ее, посматривая из-за нахмуренных, нависших, страшных бровей только на нашу Дуняшку.

— Смотри, ребята, чтобы он не отобрал от нас Дуняшку! — заметил кто-то.

Но мы так вступились, стращая заочно бродягу, за Дуняшку свою, что она даже повеселела, видя наше горячее заступничество.

Скоро бродяга возвратился с водою в котелке, и мы под хлещущий проливной дождь весело занялись приготовлением теплого кушанья, которое было так кстати.

Дуняшка наша вызвалась, поощренная стариковскими на нее взглядами, сварить губницу, и на нашем маленьком очаге скоро закипела вкусная похлебка. Пока варилась она, старик продолжал нам рассказывать про то, как он недавно явился в наши края и поселился на зиму в этой избушке. Он говорил, как бы обрадовавшись вдруг возможности поболтать с нами, детьми, и посматривал на нас таким довольным взглядом, и нет-нет, притягивая когонибудь к себе, гладил по голове своей заскорузлой грубой рукою.

Бродяга говорил, что он недавно явился в наши места проходом из далекой лесной Сибири, что был уже в нашем селении, виделся кое с кем, и что ему разрешено здесь провести эту надвигающуюся лютую зиму; он говорил, чтобы его не боялся никто, что он просто бедный старик, пробирающийся на свою родную сторону, чтобы хоть еще раз увидеть ее и повидаться с родными, а потом умереть где-нибудь в ссылке... Рассказал нам, что он бывает изредка в нашем селении, но только тогда, когда мы преспокойно спим, а он пробирается, избегая злых людей и собак, к нам огородами, гумнами, ригами на задворки.

Он приходит в селение за милостыней, и хотя бывает темная ночь, хотя уже все спят, но он находит ее у добрых людей, нарочно выставленную то у окошечка клети какой, то и просто выложенной под вечер доброй и сердобольной хозяюшкой за окно, на примете. Там для него у доброй хозяюшки завсегда найдется какая-нибудь шанежка или кусочек мягкого хлеба или кружечка молока. И как бывает он рад этой находке, как трогает эта ночная милостыня, как после он молится за добрых людей, что они не забывают его,— совершенно чуждого им человека.

Все это было для нас совершенной новостью, и мы были удивлены, что ночью около нас блуждает этот страшный по виду старик, с своею грязной громадной сумою, и на него даже не лают наши сердитые собаки.

— Как же ты не боишься ночью ходить? — спросил его наш товарищ Тимка-Волчёнок.

— Зачем бояться бродяге ночи? Ночь для него — родная матушка: ночью он только и ходит за милостыней, чтобы не попасть на глаза худому человеку, ночью он только и пробирается на родину, чтобы не попасть как на глаза злому человеку.

И мы, слушая его, невольно жалели его, старого, обтрепанного, грязного, забитого самой жизнью, и недоумевали, как он ходит ночью как тень, как он не боится волков и воров, как он тихонько пробирается нашей Маслянкой, когда, кажется, не высунул бы носа своего из комнаты, не только что за ограду, в свой проулок.

Но как-то хорошо, отрадно было слышать, что в нашей родной Маслянке были добрые люди, которые тайно помогали ему, которые тайно выставляли где-то на полочке, за окном, нарочно для этого приделанной полочке, ночную милостыню — ставили крынку молока, клали там мягкие,

вкусные шанежки, чтобы порадовать этого лесного человека.

А когда он разговорился потом, что он даже бывает тихонько в разных избах, где его полюбили хозяева, которым он как-то понравился,— это даже нас удивило. Но по поводу этого он заметил:

— Везде есть добрые люди, но больше зачем-то злых. Не будь добрых людей,— плохо было бы на свете. Только добрыми людьми и держится свет. Только добрыми людьми и поддерживается доброта в мире.

Таким людям он и отплачивал тоже своей добротою: то поработает им где в поле страдной, тяжелой, спешной порою, то поможет им где в лугах, когда они косят траву, то поможет им в лесу, когда они заготовляют себе на зиму топливо...

— Друг за друга — бог за всех! — сказал нам бродяжка по этому поводу, и рассказал один случай, как он помог в страду одной осиротевшей семье, которая было уже опустила руки от изнеможения, видя, что ей не справиться с крошившимся на поле спелым хлебом. Вдобавок он никогда ничего не требовал себе за труды, разве только черствый кусок хлеба.

Он так хорошо говорил, что мы все заслушались и даже не заметили, как прокатилась гроза и перестал дождь.

— Ну, идите с богом, ребята! — сказал нам старик и вывел нас из избушки, где навстречу нам глянуло словно обмытое солнышко с радугой, поднявшись высоко-высоко в безоблачное небо.

Как хорошо было теперь в этом поле, сколько светлых капель висело на веточках; где-то запела маленькая певунья-птичка.

Нам не хотелось расставаться теперь с этим стариком-бродяжкою, и, как бы сговорившись, мы стали звать его в деревню.

— Пойдем, дедушка. Не бойся, никого у нас нет, ничего родители наши не скажут.— И у дедушки бедного даже слезы навернулись на глазах, так хотелось ему с нами идти к селению.

Но как мы ни звали этого дедушку, как мы ни уговаривали, он решительно отказался.

— Куда мне с вами, ребятки, идти, видите, в каком я рубище, только и можно ходить мне ночью!

При свете яркого солнышка одежда его показалась нам еще ужаснее, но мы обещали ему принести рубаху и штаны, непременно выпросив это у матушки, чтобы он на следующий раз пошел с нами в деревню.

И это обещание нас так утешило, что мы радостно простились с стариком, выведшим нас на самую проезжую дорогу.

— Прощай, дедушка! Прощай! Прощай! — закидали мы его прощанием и весело двинулись к селению, неся свою лесную добычу.

Разумеется, в тот же вечер все было рассказано дома, что было в лесу и в Тимкиной избушке, хотя под страшным секретом.

Впечатление от пережитого дня так было сильно, что я, помню, долго не мог заснуть в этот вечер: то мне мерещилось, что за гумнами тихонько идет этот старик, то, что он стоит уже у нашего кухонного окна и дожидается там милостыни, то один-одинешенек сидит в избушке и плачет. Плачет о людях и их довольстве и счастье, плачет о том, что он несчастный, о том, что он в рубище, о том, что одинок на этом свете...

Странное дело, меня что-то словно потянуло к этому старику, привязало к нему, и на следующий же день, как только поднялось высоко солнышко и не страшно было идти мимо кладбища, я один тихонько прокрался знакомой дорожкой в его избушку.

Как жутко было идти, как билось у меня сердце, когда я один приближался к этой молчаливой избушке, и как я, помню, обрадовался, когда она оказалась не пустой.

Старик встретил меня как старого знакомого, и, кажется, как будто даже обрадовался мне; но его смутило несколько довольно странное подаяние, когда я сунул ему в руку сверток сахарных сухарей вместе с щепоткой чаю и несколькими кусочками сахара.

Это была, кажется, моя первая милостыня, и старик даже на меня покосился. Он как бы узнал, что я взял ее тихонько от родителей, и отнесся к этому неодобрительно.

Я застал его за странным занятием, которое меня сначала удивило.

Он сидел в избушке, освещенной одним крошечным окошечком, на полу, окруженный светлой ржаной соломой. Он брал тихонько соломинку за соломинкой, внимательно осматривал их, измерял и острым ножом резал их на час-

ти, а затем, уложивши рядком на голом полу, что-то выплетал из них такое красивое, узорчатое, но что, я никак не мог сначала понять, потому что застал его только что усевшегося за эту работу.

Я с удивлением смотрел на него, рассказывая новости нашего селения, разговорившись так охотно, чтобы занять этого бедного, сегодня молчаливого старика.

Как вдруг в его руках начала родиться необыкновенно красивая корзиночка, с узорными столбиками и такою блестящею соломинками крышкою, что я раскрыл глаза от удивления этому неведомому искусству.

Я удивился, что можно сделать из простой соломы, той самой соломы, которую мы подстилаем под ноги нашей скотине. Эта солома блестела в его корзиночке и отливала золотом; эта солома, смотря по излому, то делалась темною, то светлою.

Он показал мне одно такое уже готовое изделие, спрятанное у него в мешке, и у меня разбежались глаза.

«Вот бы маме»,— подумал я, а старик словно понял меня, предложил мне воспользоваться такою корзинкой, чтобы я подарил ее кому из своих домашних.

Но у меня решительно не было чем заплатить; корзинка мне казалась громадной ценностью, редким украшением, и я было задумался о том, как ее взять, как воспользоваться таким сокровищем, чтобы было старику не обидно.

Но старик, словно заметив и это мое смущение, просто предложил:

— Возьми унеси с собой, подари там кому-нибудь дома... Может, сестренка есть, может, матушка не побрезгует моею работою нищенской. Я много делаю от нечего делать таких корзиночек и продаю их потом, кому понравится, пятак за пару. Кто пожелает — больше даст, вот и вся работа моя на старости! Молод я был — делал не это!

И он стал рассказывать, какой он мастер был, как все у него спорилось, пока не стряслось с ним несчастье и он не угодил в холодную Сибирь, в вечную ссылку.

Страшно, говорил он, ему было в этой далекой, суровой Сибири, страшно он тосковал на поселении, когда, наконец, не выдержал этой тоски и бежал.

Он сослан был далеко. Ему тысячи верст пришлось потом идти неизвестными ему дорогами. По пути жили какие-то дикари, с которыми страшно было даже повстре-

чаться, так они были суровы и дики, и он напрямик шел пустынными лесами, чтобы только избежать этой встречи.

Немногим лучше было потом идти ему и вдоль сибирского большого тракта, где жили поселенцы: народ отчаянный, обидеть странника — дело было даже забавное, на бродяжек устраивались облавы. И он шел целые годы вдоль этого тракта, плетя вот эти корзиночки, чтобы заработать когда на хлеб, когда—на понюшку табаку от встречного проезжающего, который его никогда не обижал.

Он много мне рассказывал, и рассказы его были полны наблюдательности, и передо мной словно живая вставала в воображении эта Сибирь с ее странным разнообразным народом, со странными обычаями людей, населяющих ее на тысячи верст расстояния. А когда он начинал говорить про зверей, вспоминая свои встречи с медведями, волками,— даже страшно было его слушать.

Это был какой-то герой, только в рубище, пробивающийся на родину, чтобы посмотреть хоть одним глазком, как он говорил, хоть минутку одну на родное селение, на небо их голубое, ясное, на зелень родную, знакомую, послушать в небе поющего жаворонка, подышать тем воздухом, который наполняют ароматом липы...

Когда он говорил о родине — Малороссии,— даже жутко было слушать, слезы выступали у старика, он забывал свое плетение и уносился мыслью туда, где, быть может, не осталось у него теперь никого родного.

И я ушел от него, словно нагруженный этими его воспоминаниями, милыми и страшными, и ночью мне грезились чужие, неизвестные страны.

Помню, когда я в этот раз робко возвратился домой и показался на глаза своей матери, ожидая упреков за долгое отсутствие, она ахнула, увидав у меня красивую соломенную корзиночку.

— Костя, откуда у тебя такая хорошенькая корзиночка? Кто тебе ее дал?

И я повинился матери в тайном свидании со стариком-бродяжкою, но она не упрекнула меня ни единым словом, а словно обрадовалась еще этому, принимая стариковский подарок.

Это меня ободрило, и когда я на другой день отправлялся к этому старику, она завернула мне такой сверток, что я пустился бежать, чтобы обрадовать старика этой посылкой.

С этого времени я стал посещать старика почти ежедневно. Он полюбил меня, и я проводил с ним почти целые дни за плетением корзиночек, слушая его рассказы.

И что это были за рассказы — интересные, неторопливые, полные неизвестной мне жизни! Я словно учился у этого старика географии, расспрашивал его подробно о разных людях, заставлял его рассказывать про природу, их окружающую, про зверей и птиц, про то, как живут люди в лесах, про то, как они катаются там на быстроногих диких оленях...

ЗА САРАНКАМИ

Ранней весной, после пасхи, когда только что появлялась первая крупная почка на березе, когда начинала распускаться ива и покрывался зеленью выгон,— наша деревня, где протекало мое счастливое детство, обыкновенно развлекалась бабками.

Бабки были у нас очень любимой игрою; в бабки играли и малые, и большие, и в праздники на улице можно было видеть не только нашего брата-подростка с панком в руке, прицеливающегося в длинный кон белых и крашеных бабок, но и взрослых мужиков, которые становили козны громадной шеренгой и жестоко били железными плитками, бросая их на десятки сажен с такой силой, что бедные бабки скакали на сажень вверх, прыгали на стены и разлетались даже пополам, переставая от таких ударов быть даже бабками и превращаясь в ничего нестоящую кость.

Я страшно любил играть в бабки; Агафья-стряпка не смела никому, кроме меня, дать бабки, когда вываривала на студень бычачьи ноги; я ее заставлял красить их, когда она красила к пасхе яйца, также в луковом пере и фуксине, а работник Трофим нередко наливал их свинцом, чтобы битки, которые я бросал в кон, были тяжелее, чтобы бабки разлетались от них по сторонам, и мои карманы были бы полны чужими бабками.

Но как я ни старался, как ни красила Агафья бабки, как ни наливал Трофим полно панки свинцом, я все-таки каждый раз, отправляясь на игру к соседним товарищам, неизбежно проигрывался в пух и в прах, часто до последнего битка.

В тот день, весенний, ясный, теплый день, к которому

относится этот рассказ из моих воспоминаний далекого детства, я, к удивлению своему, не нашел охотников со мной поиграть: соседи мои — ребята были в лесу, даже не было маленьких девочек — их сестренок, и я нашел одного только знакомого парня, от которого узнал, что все мои приятели ушли за саранками.

Боже мой, как я мог прозевать такой случай — побывать в лесу и в поле в это время!

«Ушли за саранками»,— да ведь это горе: они все саранки выкопают и поедят...

Парень говорил, что они взяли и бурачки для березовки.

Горе мое, казалось, с каждой минутой росло, и я с такой тоской посматривал в соседний березовый лес, что не бойся я его берез, что стояли группой за выгоном на кладбище, то я смело один отправился бы, чтобы догнать товарищей, которые предприняли без меня такой важный поход в поле.

Делать было нечего; пришлось покориться и ждать другого дня, когда товарищи мои снова отправятся за саранками и можно будет идти с ними...

«Но если будет дождь? Если не отпустит мама!» — грустно думал я.

Но мама утешила меня, говоря, что она отпустит за саранками, если только пойдут в поле завтра деревенские ребята.

Вечером они воротились. Ни саранок, которые они поели в лесу, ни березовки, которую они выпили там, на месте,— у них не было; но у них были такие счастливые лица, так горели глаза, столько было рассказов про то, как они видели в лесу серого зайца, что я чуть не со слезами просил их взять завтра меня с собой в лес, чувствуя, что я не вынесу другого такого же горького для меня дня.

Они обещали взять меня. Один сверстник, с которым я был более всех дружен и еще не дрался ни разу, даже обещал зайти за мной,— я успокоился и стал ждать.

Ночью я десятки раз вскакивал, боясь проспать, десятки раз подбегал к окну и смотрел, не начинается ли день; но утром меня сморила усталость, и я вскочил тогда уж, когда в окно смотрело солнце. Я не стал пить чай, как меня ни удерживали, взял корзинку, в которую еще с вечера мне положила Агафья пару яиц и кусок хлеба, и, прежде чем мать хватилась меня, как я уж был за воро-

тами, и обернулся взглянуть на нее только тогда, когда она постучала мне в окно и что-то крикнула,— вероятно, прося, по обыкновению, быть осторожнее.

На месте назначенного сборища была уже целая ватага ребятишек — мальчиков и девочек во всевозможнейших костюмах: кто в материной кофте и отцовской шапке, кто в пимах, кто босиком, кто в одной рубашонке, кто в дырявом армячишке с отцовского плеча с подтыканными полами,— и все вооруженные: то боронным зубом, то сломанными железными вилами, то лопаткой, то старым ножом, то тупицей, словно мы шли на какого-нибудь неприятеля, отправляясь в дальний поход. У более взрослых, которые были проводниками и брали нас, мальчуганов, под свое покровительство, были даже заткнуты за опояску настоящие топоры, у одного было даже какое-то короткое ружье, которым,— он клялся,— убьет зайца.

Девочки в белых и красненьких платочках, одни босиком, другие в ботинках и сапожках, стояли особняком, не смешиваясь с ребятами, с корзиночками в руках, на дне которых лежала провизия, а также деревянные ложки для березовки; некоторые захватили по бурачку, где было пока молоко.

Вся эта ватага ребят шумела, спорила, кого-то дожидалась; многие бегали за забытыми вещами и, сгорая от нетерпения, не могли еще тронуться, дожидаясь то товарища, то товарки.

Наконец, мы тронулись в путь, побежали по проулку, и хотя наши смелые вожаки кричали нам: «Не торопитесь! Не торопитесь!», но мы не могли сдерживать своего страстного желания поскорее добраться до леса, и многие уже вытянулись по выгону и, казалось, готовы были бежать к ближайшим кладбищенским березам, которые нам казались настоящим страшным лесом.

Вот и кладбище со старыми крестами и свежими могильными насыпями из желтого песку. Сколько знакомых могил, крестов, могилок! Тут лежит брат Васи, там отец Петра, тут дедушка моего приятеля Кирилла...

Вот мы уж рассыпались около ближайших толстых корявых берез, перебегаем от одного ствола к другому, торопимся найти свежую засеку, в которой накопилась за ночь вкусная березовка — березовый сок. Боже, какая вкусная березовка! Кажется, вкуснее ее нет ничего на свете!

Вот свежая засека в корявом толстом стволе березы, которая немного даже склонилась в эту сторону; сквозь свежий заруб просачивается белый сок, стекает в лунку, и в ней уж накопилось через край вкусного сока, и он тоненьким ручейком-струйкой течет вниз по стволу, теряясь в расселинах ствола, словно слезы в старческих морщинах. Маленькие щепочки плавают в нем; тут же замокло белое берссто. Но это ничего, мы сдуваем его осторожно; становимся на колени, припадаем и аппетитно пьем, прося друг друга оставить попить еще, жадно припадая разгоряченными губами к сладкому, словно сахаром напоенному соку, который пахнет березой...

Кажется, ничего нет слаще, ароматнее этого напитка, ничего нет полезнее для груди, которая поднимается выше, дышит глубже, вольнее в этом свежем березовом лесу, уже отдавшем воздуху аромат своих почек и белых стволов.

И вся наша команда уж рассыпалась по лесу, шумит, дерется, стучит топорами, даже не думая, что подрывает жизнь старым березам, которым нужно потом несколько лет, чтобы залечить эти раны.

Дети на коленях подрубают дерево, на коленях пьют сок, на коленях сливают ложками сок в бурачки, чтобы унести домой и напоить там маленьких братьев и сестер, которых не пустили в лес.

Проходит добрый час или два, пока мы жадно пьем сладкий сок; шумная компания снова собирается на место; наступает продолжительный, говорливый отдых на зеленой траве; сообщаются разные новости, накопившиеся за это время, впечатления, разбираются ссоры, упреки, и наша орава снова поднимается на резвые ноги, чтобы пуститься дальше в путь к настоящему уж березовому большому лесу, что чуть виден за пашней.

Там уж неизвестные земли, таинственность. Там Гришутка Козленков зимой, когда ездил с отцом за снопами, видел серого волка. Там пропасть, по словам Степки, зайцев. Там может быть и опасность, и мы молча, сбившись в кучу, пускаемся туда, оглядываясь назад, соображая тайком: далеко ли нам придется бежать, если мы увидим волка.

К этому невольному страху прибавилось и то, что вдруг стало сумрачно. Яркое солнце, горячо разливавшее лучи свои с раннего утра, теперь зашло за облако; темное обла-

ко сулило настоящее ненастье; подул сырой ветерок; деревья тихо зашептали; сухая прошлогодняя трава склонилась к северу, и словно с этим холодным, сырым ветром в наши маленькие души пахнуло что-то неприятное, предсказывая нам неблагоприятный исход нашего дальнейшего путешествия.

Вот окончилась и большая пашня Савоськи с сжатой соломой прошлогодней ржи, вот и опушка березового леса, дальше идет высокий осинник дяди Прокопия, там мы рассыплемся искать саранки, луковки, из которых летом, в страду, вырастают такие высокие дудки с фиолетовыми висячими цветами-колокольчиками, украшая этот лес вместе с другими разнообразными цветами.

Вот и березовый, местами вырубленный дядей Прокопием, лесок; сучья трещат; мы спотыкаемся от торопливости и невольного страха, вступая в этот неизвестный лес, где можно заблудиться; боязливо пробираемся по нему к осиннику, оглядываясь по сторонам, нет ли где в кустах черемухи волка, и, уж совсем замолкнув, вступаем в таинственный осиновый лес, где только одни старые желтые и красные листья осины нарушают покой, трепеща у сучков от пробегающего по лесу легкого ветерка.

В лесу темно, страшно, таинственно; сквозь синеватые стволы ничего не видно; кругом — тишина, высокая старая трава; земля завалена вся плотно широкими листьями осины, которые при каждом шаге шелестят, опутывают ноги, и они вязнут в топких, сырых местах.

Вон горка муравейника; вон сломленная бурей осина с опрокинутым синим стволом и переломанными ветвями, которые обглодали зайцы; вон воронье гнездо в ветвях; вон следы жировки зайцев, тропы, ложбища в сухих ветвях,— и лес, осиновый толстый лес словно замолк, пропуская наше затихшее вдруг общество между своими высокими стволами, готовый напугать нас первым скрипом, первым натиском порыва ветра.

Становится жутко и страшно.

Но вот кто-то крикнул: «Саранки, саранки!» — и бросился в сторону; ватага сразу ожила: страх забыт,— все бросились на поиски, разбежались по лесу, зааукали, закликали,— и бороньи зубья, ножи, все острые инструменты пущены в ход,— сырая земля, листья полетели в стороны там, где должны быть саранки.

Мы долго со Степкой не можем найти саранок; все

роют, все копают, вон уж едят, а у нас словно застлало что глаза, мы не видим, пробегая мимо; кругом нас уж идут счеты: сколько кто нашел, кричат вновь и вновь: «Саранки, саранки, еще, еще!», а мы словно ослепли, ничего не видим и только бросаемся из стороны в сторону, смотря с недоумением, как другие роют, выцарапывают руками, вытаскивают черными уж от земли ручонками большие и маленькие луковки и, обтирая их той же грязной рукой, едят, едят, впиваясь в белые и желтые, вкусные, сочные пёрышки белыми зубами и оставляя там свои следы.

«Господи, неужели не найдем мы ни одной саранки?!.»

Но вот, наконец, Степка, с которым у нас компания на паях, бросился в сторону, вскрикнув от радости: «Саранка!» Я бегу за ним и растягиваюсь, задев ногой за какую-то ветку, локти уходят в сырой лист и мокры, коленки тоже, рука оцарапана, язык больно прикушен, но я встаю и подбегаю, когда он становится уж перед тоненькой дудочкой старого ствола саранки на колени, крестится и сильным взмахом тупицы начинает окапывать кругом его сырую землю, вонзая в нее глубже и глубже топор.

Я тоже становлюсь на колени, крещусь; ствол саранки передо мной. «Неужели там нет в земле саранки!» — думаю, вздрагивая от каждого удара ржавого топора, который уходит глубже и глубже в сырую землю; я замираю, бросаюсь, чтобы помочь выцарапывать из ямки землю руками, перепачкал уж их. Но как-то верится в опытность Степки, и вдруг он вытаскивает кругленький комочек земли,— ствол падает, оторванный его руками,— и, обтерев его о сырой лист, показывает мне луковицу, желтую, большую луковицу саранки с загнутыми сочными пёрышками, с острым хвостом, как у репы, которую я почти вырываю из его рук, чтобы в свою очередь полюбоваться ею. И мы, забыв все, садимся около свежей ямки на сырой лист, протягиваем ноги, разглядываем ее и начинаем пробовать, отламывая перышко за перышком, наконец узнав ее прекрасный, несравнимый ни с чем вкус, начинаем есть, добираемся до ее круглой, пестиком, сердцевинки, из которой должен был вырасти потом высокий ствол травки и распуститься за счет этих вкусных перышек в пышный цвет фиолетовыми колокольчиками, которые так любят пчелы.

Какая вкусная саранка, как хороша она в этом лесу! Вот показать бы маме!

Но саранка живо съедена; хочется еще, еще, много, чтобы набить полные карманы, чтобы принести домой, дать сестрам, брату, показать маме, и мы бросаемся снова на поиски, пока не находим, не становимся на колени, не рубим тупицей землю, не роемся руками в сырой земле, не вытаскиваем саранок, чтобы наесться досыта и набить карманы...

Я сам уже отыскиваю саранки и, увидав, бегу, падаю на них и кричу Степке: «Саранка, большая саранка!»

Мы уж далеко забежали в лес; по временам становится страшно, когда стихают голоса; лес стал темнее, зашумел вершинами, потом затих, словно перед грозой; но саранки, как на грех, попадались чаще и чаще. Уж набиты ими карманы, уж у Степки набита пазуха, как вдруг — выстрел, мы бросаем топор, прислушиваемся, и страшный, нечеловеческий крик, крик зверя, но какого — неизвестно, доносится до слуха. Кто-то крикнул: «Волк!», волосы зашевелились, мороз пошел по коже, и мы в ужасе бросились со Степкой бежать без оглядки, забыв и топор, и саранку.

«Волк! Волк!» — кто-то крикнул еще и еще, и все ближайшие наши соседи по лесу бросились бежать с криком, визгом, пугая друг друга, сбивая с ног, падая через колодины, рассыпая саранки, бросая корзинки, кузовки, набегая на стволы деревьев, ломая сучья, боясь собственных своих шагов, замирая от шагов товарищей и треска сучьев, боясь оглянуться назад и посмотреть, боясь отстать друг от друга, с ужасом в лице, с приподнятыми волосами, без шапок на головах, забыв все, только стараясь как можно поскорее выбежать из этого страшного леса на пашню и улепетнуть поскорее в деревню, которая—увы!—так далека...

Я несся стремглав за Степкой, видя только его черные пяты; передо мной падали, кричали, запинались и совались носом, словно убитые пулей неприятеля, товарищи; кто падал, тот, казалось, погибал навсегда; кто с ревом отставал, не имея сил больше двинуться с места, чтобы поспеть за убегающими товарищами, казалось, обречен был на верную гибель; у меня не было в карманах уж ни одной саранки, все повыскакали, и мы опамятовались только тогда, когда перебежали пашню и снова были на кладбище, откуда хорошо была видна наша деревня. Сбившись в кучу, мы заметили, что нас осталось немного.

Кто-то еще бежал по пашне, высунув язык и раскрыв рот. Мы забираемся на высокую могилу, залезаем на крест и смотрим, но позади стоит одиноко осиновый лес,— там царит такая тишина, словно уж все кончено. Ясно, что волки поели всех наших товарищей и товарок.

При этой мысли страх еще сильнее охватывает наши маленькие души, и мы в ужасе несемся тем же аллюром дальше, в деревню, с страшной вестью, что волки поели наших товарищей и нашего стрелка в осиновом лесу дяди Прокопия.

Вот и деревня, вот и гумна, вот и проулок, и мы несемся по улице и разбегаемся по своим дворам с ужасной вестью, дрожа от страха.

Мать не верит мне, слушая бессвязный рассказ; сестра бледнеет при вести, что погибла ее подруга Настя; брат с ужасным лицом раскрыл рот да так и застыл в недоумении; Агафья хлопает в десятый раз руками, слыша такие страшные вести; я не верю почти в свое спасение...

Посылают на выручку кучера Трофима на Карьке; я хочу с ним разделить отвагу, но меня не пускают; проходит томительный час, и Трофим является с докладом к моей маме, с полными карманами саранок, говоря, что мы напрасно только всех перепугали, так как вместо волка наш охотник убил зайца, который и визжал так страшно, умирая. Настя жива; сестренка хлопает в ладоши от радости, и мы бросаемся на саранки, забывая весь испуг и только что пережитые волнения нашего первого путешествия в лес, в неизвестные страны.

Нечего и говорить, что я в этот вечер не отходил от матери и боялся пройти через темную комнату; зарылся поскорее с головой в одеяло, ложась спать, видел во сне саранки величиною с голову, ел их целую ночь, стонал от ужаса, когда гнался за мной серый волк через пашню Савоськи, хватая меня за пяты, вскрикивал, не раз пробуждался от ужаса и проснулся на другое утро с такой головной болью, какая обыкновенно является результатом таких похождений в лесу в сырое время и страшных волнений дня и ночи.

Но все это — ничто перед саранками. Как вкусны были эти саранки!

КАТЯ БОГДАНОВА

Из уральской старины

I

Это была прехорошенькая четырнадцатилетняя, с золотистыми кудрями, шустрая, бойкая заводская девочка, отец которой — крестьянин, как все другие крестьяне сто лет тому назад на горнозаводском Урале, был простым приписным рабочим Верх-Нейвинского завода, занимаясь там кричным мастерством.

Тяжелое и суровое было это время для уральского крестьянина, приписанного к какому-нибудь заводу, где добывались железо и медь.

Ранней весной его гонят из дальних деревень на заводскую работу, опускают в шахты, темные и глубокие, чтобы он там кайлом и заступом добывал железную руду и потом поднимал ее оттуда в бадьях на поверхность; посылают его в далекие непроходимые леса, чтобы он там рубил деревья и обжигал их на угли для завода,— в лесу приходится ему жить все лето в каком-нибудь жалком курене; а еще хуже, когда поставят его перед раскаленным горном, где плавится чугун, обжигая рабочему тело своим страшным, невыносимым жаром... А работа кричного мастера, каким был отец Кати Богдановой, была хуже всего, особенно для непривычного крестьянина, оторванного от семьи и поля; он целый день возился с раскаленными тяжелыми болванками, то перетаскивая их от печи к своей наковальне, то откалывая их так, что вокруг летели, как яркие звездочки, железные раскаленные искры...

Страшно бедно жили эти заводские рабочие, отрывае-

мые вечно от своих полевых работ и семьи и бросающие свое хозяйство ежегодно. И если кому жилось тогда привольно и весело, то разве-разве только детворе, в высоких, лесистых, привольных горах Урала, куда они устремлялись за грибами и малиною, где они лазили по отвесным скалам, где они пропадали целыми днями за самыми разнообразными розысками чудесного и нового, где, может быть, еще не ступала нога человека. Летом здесь было раздолье: цветов — целые роскошные ковры на красивых пригорочках; ягод — малины лесной, клубники, смородины, вкусной и душистой княженики, не под силу выбрать человеку, а осенью столько разных грибов, что ими запасались на всю зиму.

Было хорошо и зимой на этом горнозаводском Урале, с катаньем с пригорочков на санках и лыжах, с песнями и веселыми посиделками зимним долгим вечером, с катаньем на лошадях...

Все же лучше, привольнее всего было теплое лето. На речке Мельковке с ранней весны беспрерывно звенела вода по камешкам, вымывая их, особенно после летних обильных дождей, такое множество, что вся детвора из заводского поселка устремлялась туда, чтобы поискать разноцветных чудных камешков и поиграть ими.

А игра эта состояла в том, что каждый в ней участвующий должен был найти пять одинаковых по размеру камешков, которые бы можно было легко и удобно подбрасывать на руке.

Задумав такую игру, бросаются дети на речку Мельковку, резвятся на ее каменистой россыпи с мелкой, прозрачной, ключевой водой. Какое теперь горное богатство под их босыми ножками! Красноватая, как запекшаяся кровь, яшма, белый кварц с металлическими вкрапинами, тут и там полосатый красивый сердолик, тут же рядом камешек зеленого красивого малахита, а там целый прозрачный, золотистый или белый кристалл горного хрусталя, а иногда даже настоящий топаз или аквамарин, смешанный с горной рудной породой. И все камешки такие яркие, чистые,— настоящая драгоценность для детей.

Насобирают целые подолы этих камешков дети, выйдут на зеленый бережок, усядутся за тенью развесистой ели или пихты и разбирают, отсортировывают свои сокровища, которыми подарила их сегодня Мельковка, расшумевшись после дождя.

Налюбуются дети вдоволь этими редкими, разнообразными, красивыми камешками, и ну живо играть в камешки. А игра эта заключается в ловкости, с которой мечутся камешки,— сначала по одному, потом по два, по три, по четыре зараз и, наконец, по пять, так чтобы не только метнуть камешки рукой вверх, но и словить все без остатка.

Не словил кто из играющих хотя одного камешка, обронил его,— игра его кончена, и он должен дожидаться своей очереди, чтобы снова попытать свою ловкость.

Катя Богданова в этой игре превосходила всех, как и вообще превосходила всех своих сверстников ловкостью, быстрым приметливым глазом и выдумкой на всякие разнообразные детские игры.

Кто сгомонил сегодня всех заводских ребят в дальние горы за малиной, не боясь даже мохнатого бурого медведя? — Катя Богданова. Кто забрался всех выше на скалу? — Тоже она. Кто взобрался на вершину высокой ближайшей горы первым из собратии, чтобы полюбоваться горным широким видом и на расстилающийся под ногами завод? — Катя Богданова. Кто набрал больше всех ягод и грибов? — Она же. Это был настоящий коновод всех детских смелых предприятий, все равно, будь это в лето красное, будь это холодною зимой. А уж кто больше всех наищет самоцветных камешков в речонке Мельковке, то это, несомненно, Катя.

Вот на этой-то речке, родной Мельковке, в поисках разноцветных чудных камешков и случилось с Катей Богдановой происшествие, которое навсегда увековечило ее имя на Урале.

II

Это было как-то летом,— ровно сто лет тому назад, когда особенно после грозы что-то расшумелась речка Мельковка, приток знаменитой реки Чусовой, по которой тогда единственно только и сплавлялись металлы Урала.

Ночью гроза была особенно какая-то страшная: молния блистала почти беспрерывно, не утихая ни на минуту; гром с страшными ударами разражался в высоких горах, и дождь барабанил таким продолжительным ливнем, что избушка Кати Богдановой только вздрагивала.

Вся семья уснула только на заре, и как только показа-

лось яркое солнышко, Катя Богданова была уже на берегу особенно шумевшей сегодня речки.

Речка Мельковка была в настоящем разливе: мутная белая вода с шумом летела с далеких гор и плескалась о прибрежные камни; на середине ее были настоящие высокие волны, и дно ее гудело, как будто там ворочались тяжелые камни, как жернова, до такой степени был силен поток, такая силища гнала сверху дождевую воду...

Катя долго любовалась грозным видом обыкновенно тихой и маленькой горной реки, и как только спáла вода, как только пронеслась она с гор высоких, накопившись там после сильной грозы,— она уже была во главе целой партии заводских детей в поисках чудных находок.

И, действительно, сколько чудных и редких камешков вымыла сегодня из своих берегов родная речка: хрусталь и топаз так и блестели в воде, как яркие бриллианты; красная яшма горела яркими красными разводами; опал, как жемчуг, гляделся среди камешков и мелкого золотистого песка, а зеленый малахит, как незабудка, выглядывал из-за камешков, заставляя детей кричать друг другу о редкой находке.

Это была целая россыпь камней самого разнообразного цвета; и мальчики, засучив свои штанишки, а девочки, подобравши свои юбочки, то и дело, звали друг друга к себе, чтобы показать, похвалиться редкой находкой. Разноцветных камешков было громадное количество; дети уже насбирали их чуть не полные подолы, а камешки все попадались и попадались один другого заманчивее, увлекая детей все дальше и дальше вдоль речки.

Как вдруг Катя Богданова, по обыкновению всегда впереди всех других своих сверстников, крикнула и бросилась вперед, увидавши какой-то необыкновенный камешек.

Камешек, действительно, был какой-то необыкновенный,— блестящий, как золото, тяжелый такой на вес, и в то же время он не походил на камешек, а скорее как будто на застывшую матовую лепешечку.

Разумеется, Катя Богданова собрала всех своих сверстников, чтобы полюбоваться находкой, и они один за другим бережно, как драгоценность, брали из ее рук этот камешек и смотрели на него очарованными глазами. Но что это за камешек, такой тяжелый в руке; что это за камешек, такой золотистый, как кудри нашедшей его девоч-

ки,— ровно никто из детей не мог сказать, почему Катя Богданова бросилась к своей матери, чтобы показать ей свою находку.

Катя чуть не до смерти перепугала мать свою, чем-то занятую по домашности, с такой поспешностью влетев в домик свой, вместе с многочисленными подругами, по случаю этой находки.

— Господи, боже мой! — только проговорила ее мать, увидевши ее с подобранным и мокрым подолом.— Да что такое случилось у вас?

Но не успела она закончить вопроса своего, как все заговорили вдруг про чу́дную находку.

Катя подала матери камешек; но и та не могла определить, что это за камень такой, и только назвала его «рудою».

— Руда какая-то, девушки,— только и сказала она,— ужо положите на божничку, придут вечером рабочие с завода, они скажут. Они все знают насчет разной руды, и я скажу вам тогда, какую находку нашла Катя. И, посоветовавши дочери переодеть скорее юбочку, она снова занялась хозяйством.

III

Прозвенел вечерний, урочный, заводский колокол; посыпался рабочий народ из завода по улице, торопясь к своим, после тяжелой и долгой работы, и тихая улочка, где жила Катя Богданова, живо наполнилась рабочими, и заводская слободка словно вдруг ожила от говора торопящегося к своим домам народа.

Возвратился, по обыкновению, невеселый после тяжелой работы и отец Кати Богдановой; но ни девочка, ни мать ее не посмели сказать тотчас же о находке. Приличие требовало сначала накормить проголодавшегося рабочего; за столом тоже было не принято говорить,— так почитался каждый кусок хлеба; и только когда семья вышла из-за стола, Катя завертелась что-то около отца, готовая выдать свою тайну.

Но мать ее опередила:

— Глядь-ка, отец, какой камешек сегодня нашла наша вострушка в Мельковке! На что я постоянно хожу за водой, и то не видала такого камешка, наско́лько он чуден! Должно быть, какая руда...

— Покажи-ка,— обратился он к дочери, уже направляясь на улицу, где обычно рабочий народ собирался под вечер, чтобы покалякать на завалинке. Катя живо вскочила на лавочку, достала камешек с божнички и с поспешностью и радостью подала его своему отцу.

Тот взял камешек, повертел его в руке, повесил, но не сказал ни слова.

Отец Кати Богдановой был крайне неразговорчивым человеком, и Катя так и не дождалась ответа отца, хотя всячески старалась, чтобы он вымолвил хоть одно какое ей слово.

Катю даже обидело это невнимание; но скоро она услыхала в окно, что на завалинке разговаривают про камешек, и девочка живо притихла в избе и стала прислушиваться к каждому слову.

А за окном, на завалинке, собравшиеся уже товарищи рабочие стали исследовать камешек, каждый по-своему заинтересовавшись им: кто провесит его на руке и скажет, что это, должно быть, какой-нибудь металл; кто ударит его о кремень свой, которым тогда раскуривали трубки, и скажет, что он не дает искорки; кто попробует его зубом и скажет, что он мягкий; кто поскоблит его ножичком и скажет, что он блестит...

— Руда какая-то, ребята, в нашей речке Мельковке находится,— сказал один рабочий,— только какая руда,— не знаю, медная — не медная, железо — не железо...

Как вдруг рабочий, рассматривавший блеск камешка, заметил:

— Уж не золото ли, братцы, это в нашей Мельковке? Чего нет на Урале? Находятся, слыхать, даже драгоценные камни...

— И впрямь, братцы, не золото ли? По-золотому, ровно, блестит, только вот мягко,— говорили рабочие.

И эта мысль так заинтересовала рабочих, что они тут же решили отправиться к батюшке, который считался начитанным, самым умным человеком в заводе.

Батюшка сидел в это вечернее свободное время перед сном тоже на завалинке и обрадовался, когда к нему подошли с почтением рабочие, прежде всего взявши благословение.

— Что скажете, братия? — благословивши всех, обратился священник.

— Да вот, извините, батюшка, пришли мы вам по-

казать одну находку. В Мельковке нашей отыскала ее одна девочка, вот дочь его,— указали на отца Кати Богдановой,— и что это за камешек, что за руда — мы никак не можем догадаться...

— Покажи-ка,— обратился батюшка к отцу Кати Богдановой,— знаю я твою дочь,— и протянул свою руку. Ему подали камешек, и он тоже, как рабочие, страшно им заинтересовался.

Батюшка внимательно стал рассматривать камешек, весил его на руке, и вдруг по лицу его пошла счастливая улыбка.

— Как будто, ровно, золото... Золото и есть,— заговорил он и вдруг кликнул свою попадью.

На зов его живо явилась матушка, и батюшка к ней обратился:

— Ну-ка, мать, сними свое обручальное кольцо золотое на минуточку,— рабочие принесли мне камешек, как будто он похож на червонное твое золото, что в колечке.

Матушка торопливо сняла с своего опухшего пальца золотое обручальное кольцо и подала его священнику, предупредивши, чтобы оно куда не закатилось.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, матушка,— заговорили рабочие почтительно и еще теснее окружили теперь батюшку, который стал сличать кольцо по блеску с камешком Кати.

Чиркнет тихонько батюшка по шиферной доске золотым кольцом, чиркнет найденным камешком, помуслит и смотрит, какая металлическая черта осталась по следу. Что червонное золото, что и камешек Кати Богдановой делают совершенно одинаковую черту.

Исчеркали всю шиферную плиточку, и батюшка объявил, что это не иначе, как золотой самородок.

— Золото, золото,— заговорили радостно рабочие и с вестью, что у них на речке Мельковке объявилось золото, про которое даже и не слышно было на Урале до этого времени, разошлись в тот летний вечер по домам, чтобы завтра встать снова на работы.

Когда возвратился в свой дом отец Кати Богдановой с находкой своей дочери, она спала уже сладким сном, набродившись днем по речке Мельковке, даже не подозревая, что ожидает ее наутро.

IV

А утром весть про золото, пока спала эта девочка, уже разошлась по всему Верх-Нейвинскому заводу. «Золото открылось в речке Мельковке»,— говорили рабочие,— «золото, сказывают, нашли на заводе», и весть эта живо дошла до управляющего завода, который плавил тут чугун для хозяина своего — купца Демидова и был владыкой завода и крепостных рабочих.

Управляющий этот был человек старого времени, строгий-престрогий, и как только услыхал про золото, про Катю Богданову, распорядился привести к нему девочку вместе с находкой.

Можно вообразить, какой переполох поднялся в доме Кати Богдановой, когда пришли туда и потребовали ее с находкой к ответу к самому управляющему заводом по фамилии Полузадову.

— Господи, боже мой! — только всплеснула руками мать ее у печи. Девочку подняли с постели самым бесцеремонным образом, одели ее поскорее в свеженький пестрядинный самодельный сарафанчик понаряднее, заплели ей косы и повели к управляющему, где неизвестно, что еще будет.

Чуть жива, говорят, стояла Катя Богданова перед крыльцом управляющего.

Это были самые торжественные выходы управляющего, где обычно ранним утром уже толпился разный нуждающийся рабочий народ со своими слезными просьбами, где обычно делались разные распоряжения и наказывался провинившийся.

Было много рабочего народа к этому времени; но, когда показался на крыльце управляющий, он обратился первым долгом к девочке, которая стояла позади всех.

— Эта, что ли, девочка нашла у вас какой-то камешек? — обратился он строго к своим подчиненным, указывая глазами на Катю.

Ему с поклоном доложили, что эта самая.

— Ну-ка, пусть подойдет, красавица, посмотрим мы, что она нашла в речке Мельковке? — проговорил важно управляющий, и девочку толкнули к нему чуть не под ноги.

— Покажи, что нашла? — обратился к ней управляющий, и все присутствующие невольно расступились перед

Катей Богдановой, которая вся вспыхнула, очутившись на глазах управляющего, и словно застыла на месте.

Но Катя живо оправилась от первого смущения, смело подошла к самому крыльцу управляющего и учтиво, как ее учили дома, поклонилась. Поклонилась и тут же протянула руку и разжала перед управляющим свой кулачок. В кулачке ее блеснуло золото, и все заметили, что блеснули и глаза управляющего, который, повидимому, был поражен этой находкой. Он быстро спустился с крыльца, торопливо взял блестящий, как чистое золото, камешек, теперь уже очищенный от темного налета, и взвесил его на руке.

Перед ним, несомненно, было самородное золото; но недаром он был управляющим Демидова, чтобы тут же обнаружить свою радость. Он, как хитрый, осторожный человек, сообразил, что донесись весть о находке этой до Петербурга,— отберет казна дачу его хозяина под добычу золота, и конец не только ему, управляющему, но и его направленному с таким трудом заводу... И быстрый в своих решениях, в досаде, что все залюбовались несомненным золотом, он живо спрятал самородок в свой жилет и строго распорядился:

— Отведите-ка ее на конюшню и дайте ей розог!.. Да наказать ей, чтобы отнюдь не говорила никому про находку свою и не шлялась по речке Мельковке... Услышу, что шляется,— запорю до смерти...

И прежде чем Катя Богданова поняла, в чем дело, ее подхватили какие-то жестокие руки и так, в слезах, при криках ее отчаянных, зовущих на помощь, унесли на господские задворки...

А управляющий как ни в чем не бывало набросился на просителей и так раскричался, что они не знали, что делать.

Грозой, говорят, пронесся этот день для завода Верх-Нейвинского, когда пострадала за свою бесценную находку невинная девочка, и ее в беспамятстве принесли к матери, которая так и упала на землю от горя.

Но жестокая мера управляющего не заглушила в народе вести про золото, которое нашлось на Урале. «Золото, золото, золото»,— заговорил рабочий народ; все уверены были, что это, действительно, было золото, все говорили, жалели эту девочку, пострадавшую за него, и скоро весть про Мельковку, Катю Богданову, про золото разнес-

лась по всему горнозаводскому Уралу. И рабочий народ стал внимательнее присматриваться к разноцветным камешкам, и золото скоро было открыто чуть не всюду на Урале.

Урал объявлен был золотоносным. Уралом загордился рабочий народ. Про золото Уральского хребта пронеслась весть далеко за границу.

Скоро началась и добыча золота, открытого Катей Богдановой на речке Мельковке.

И когда вспоминают ее, ее позор за это золото, то както невольно связывают этот металл и с горем, и счастьем.

Простой рабочий народ говорит на Урале: «Недаром золото приносит человеку и счастье, и горе, когда оно облито было при находке его этой девочкой горькими невинными слезами и кровью Кати Богдановой».

Вспоминайте, читатель, и вы эту бедную девочку — Катю Богданову, когда будете носить на своей руке золотое колечко,— кто знает, быть может, оно с этого золотоносного Катиного Урала.

ДЕДУШКА-ВОГУЛ И ЕГО ВНУКИ

Из путешествия по реке Конде

Это было в самой вершине реки Конды, в самом глухом далеком углу вогульского края, когда я в 1892 году забрался туда с весны, чтобы видеть весь расцвет его природы среди лета. Мне говорили местные жители, что это самое удобное место, и хотя там почти нет людей, хотя там почти уже край света, но там есть чудное озеро, на берегу которого осталось еще несколько маленьких юрточек, в которых можно будет укрыться на лето.

За сто верст до озера Орон-тур идут такие леса, такая глушь, что кругом ни души человеческой...

Едешь целый день по этому лесу, плетешься иногда без малого сутки, пока доберешься до человеческого жилья, и то заметишь его среди леса или по мелькающему меж деревьев огоньку, или уж тогда, когда неожиданно станут лошади, и ямщик скажет: «Приехали, вылезай».

Вылезешь из дорожных санок, пойдешь по сугробам к хижине и, действительно, увидишь ее во всей ее прелести, полузанесенную снегом. Залезешь в юрточку и найдешь там огонек и людей, которые с удивлением смотрят на тебя, недоумевая: откуда это взялся незнакомый, чужой человек, которого они сроду не видали.

И обрадуются люди, что нашелся еще на свете человек, которому люба их милая природа, так обрадуются, так весело и дружелюбно смотрят, готовые угостить вас, если бы только хотя что-нибудь у них было. Но угостить, как на грех, нечем: рыба не ловится в реке, убить птицу — нет пороха.

Вот так-то по снежным сугробам, без дороги, мы и доехали, наконец, до озера Орон-тур, цели нашей дальней поездки. И хотя был март месяц, хотя солнышко радостно смотрело на землю и по небу гуляли веселые перистые облачка, но маленькие юрты Орон-тур-пауля мы нашли под снегом, и ни сосновый бор, который стоял кругом этого озера, ни самое озеро, спавшее под белой пеленой снега, ни самое жилье человека ровно еще ничего не говорили о приближении весны, которая словно запоздала где-то и, быть может, недалеко за этим темным, мрачным лесом.

В этих-то юрточках в Орон-тур-пауле, который всего-навсего состоял из двух изб и одной старой хижины среди леса, я и встретил старика вогула Савву с его внучатами, которые потом сделались моими закадычными друзьями. Я увидел его тотчас же, как только мы приехали к этим юрточкам, и нас пригласили вогулы зайти в первую избу.

Как сейчас помню эту избу вогулов: темная, большая, с грязным полом и громадной, битой из глины печкой, впереди стол и над ним закопченный образ, те же лавки, как у нашего крестьянина, те же голые стены из бревен, та же печь с полатями, только лица ее обитателей нерусские, все черные, скуластые, черные грубые волосы, черные, бойкие, любопытные глаза и маленький приплюснутый нос. Одежда — армяк, ситцевая рубашка, платье, кофточка, платочек, все было чисто русское, но надето на грязное, никогда, кажется, не мытое тело. И я сразу почувствовал себя дома среди этих людей, которые подкупили меня своим радушием и гостеприимством.

Осматривая обстановку, я заметил на нарах у самых дверей странного старика, который сидел, подняв голову немного кверху, и не то вслушивался в наши разговоры с хозяевами, не то всматривался в темный потолок, раскрыв свои прищуренные узкие глазки, видимо, с жадностью ловя каждый звук нашего голоса.

В первый момент я не заметил, что он слепой, и только потом, когда вгляделся в его лицо, это мне стало ясным, и я спросил хозяина:

— Твой отец?

Смотрю, Савва, заслышав, что о нем говорят, как-то встрепенулся.

— Нет, чужой, из других юрт будет, только мне его отдало общество: корми,— говорят,— ослепнешь, тебя кто-нибудь также прокормит, и я взял его, с тех пор и кормлю.

— Что же он, одинокий?

— Нет, старуха есть, тоже слепая, живет за нашим озером в другой юрте.

И мне вдруг жаль стало этого старика, и я подсел к нему и заговорил с ним.

— Здорово, дедушка,— крикнул я нарочно погромче, думая, что он глухой.

— Пайся, пайся (здравствуй),—закивал обрадованный старик, заслышав вблизи себя незнакомого человека.

— Что это ты, не видишь?

— Не вижу, не вижу,— забормотал скоро старик и вдруг, словно смутившись немного, повесил голову.

— Давно, дедушка?

— Давно, уж плохо помню...

— Отчего же это с тобой случилось?

— От дыму, господин, от дыму!.. Весь век мы со старухой жили в дыму да в грязи, весь век у нас глаза болели, вот дымом, должно быть, их и выело...

Я посмотрел на других вогулов и, действительно, заметил, что и у тех блестят неестественно глаза от вечного дыма и копоти, и спросил:

— Откуда же у вас столько дыма?

— Все от наших чувалов (каминчиков), они дымят больно, затопишь их, разгорятся дрова, набежит с бору ветер, заглянет в нашу трубу,— велика ли, дым и пахнёт прямо в избу, так и сидим с ним весь век, глаза портим. Куда денешься от дыму... Холодно в нашей стороне зимой и летом, рад будешь и дыму, чтобы не замерзнуть...

Мне захотелось обласкать старика, и я спросил его: нюхает он или курит, зная хорошо, что табак — любимое удовольствие вогула.

Старик, оказалось, нюхал и был так рад, что я ему подарил пачку нюхательного табаку, и даже вытащил откуда-то берестяную табакерку... Эта пачка табаку, кажется, окончательно подкупила добродушного старика, который так повеселел, словно встретил кого родного.

Мне предстояло прожить в этом поселке месяца три,— надо было устроиться сколько-нибудь сносно. Мне предложили поместиться в летней холодной избе во дворе, и я с радостью согласился на это.

Через час я уже расположился в новом помещении, где была просторная комната и маленькие сени, в которых устроена была битая теплая печь. И когда вытопили эту

избу, когда поставили кровать, когда повесил я на окна свои розовые ситцевые занавески, прикрыл ее уродливые голые стены картами и фотографиями, то получилась такая квартирка, что я даже не мечтал о чем-нибудь подобном в таком диком, глухом крае.

Я даже выкинул флаг над своей квартирой, что окончательно привело вогулов в удивление и восторг; многие прибежали ко мне посмотреть и решительно не узнавали своего летнего неуютного помещения.

Не пришел ко мне в тот день только дедушка, но зато он явился наутро и не один, а со своими внучатами, которые и привели его к моей квартире. Накануне этих внучат я не заметил. Они, вероятно, прятались от меня под лавку.

Это были лет пяти мальчик и лет двух девочка, оба черные от грязи, оба жалкие, как дикие лесные зверьки, и оба в таких рубищах, что страшно было смотреть, кажется, и привычному ко всему человеку. Бедность, ужасная бедность как-то особенно ярко взглянула на меня. И я чуть не заплакал при виде этих бедных детей, у которых не было даже рубашки, чтобы прикрыть свое тело, на них были только лоскуты. И как они прошли снежным двором, как привели в это морозное утро своего дедушку, я решительно недоумевал.

Я пригласил их в комнату. Они робко вошли, прижимаясь к стенке. Я попросил их сесть. И слепой дед, словно прислушиваясь к обстановке моей квартиры, ощупью опустился прямо на пол, усадив тут же и своих несчастных внучат, которые, как зверьки, оглядывали каждый угол.

— Откуда это у тебя, дедушка, дети?

— Внуки мои. Тоже, как я, сироты... пожалуй, есть отец, да беспутный, не кормит... Живут у меня больше под лавкою, вместе возим с озера хозяевам воду.

— Как же возите вы, ведь они почти без рубашек?

— Что сделаешь? Где возьмешь, когда нету?

И старик, словно желая убедиться, что́ на его внуках, обнял их тихонько рукою и стал ощупывать полуголенькие тощие плечики.

— Где же их отец, и почему он их бросил?

— Тут же живет, за нами. Только больной он...

— Что с ним такое?

— Болезнь какая-то, не знаю. Кости болят, в лес пойдет, зверь от него бежит, птица прочь летит; сетку на рыбу

поставит, рыба ее боится, так и живет впроголодь и от ребят уж отступился. Вот я их и прибрал к себе, все же не бьет их всякий...

— Разве бьют их?

— Как не бьют, когда под руку подвернутся. Всякий бьет, и маленький, и большой: кто любит таких-то?

В этот раз мы так и не разговорились ни о чем другом со слепым стариком. Я, угостив детей кренделями, которые они с жадностью начали тут же грызть, словно боясь, чтобы не отняли другие, угостив старика рюмочкой водки, скоро отпустил их, наделив своими розовыми ситцевыми занавесками, чтобы хотя к празднику прикрыть их бедное тело.

Старик ушел от меня, неся эти занавески, сопровождаемый детьми, которые вели его за палку и что-то по-своему говорили ему, когда он натыкался на дверь или не решался двинуться вперед и останавливался.

Когда я заглянул через час, проходя по двору, нечаянно в избу моих хозяев, то увидал неожиданно следующую сцену. Посреди избы стояла совсем голая девочка-сиротка, у ног ее, тут же на полу, сидел слепой старик и две взрослых уже девушки, дочери хозяйки, озабоченно кроили ножом мои занавески, разостлав их на грязном полу.

Я спросил их, что они делают, девушки смущенно ответили мне, что кроят девочке платье. Вскоре это платье было наполовину сшито оленьими жилами, и они примеряли его на тощее тело детей.

На другой день, так же рано утром, дедушка Савва явился ко мне в сопровождении своих внучат, которых я едва узнал.

Дети были уморительно смешны в моих розовых с цветами занавесках; девочке, пожалуй, это еще подходило; но мальчик решительно походил более на акробата, чем на обыкновенного мальчика в рубашке.

Но малютки были равнодушны к такому превращению и, повидимому, так же спокойно относились к этому наряду, как и ранее к своим рубищам. Но дед был страшно доволен и все прижимал их, сидя на полу, одною рукою, с удовольствием и наслаждением поглаживая их по спинам.

С тех пор эти друзья мои стали самыми обычными моими посетителями, с которыми я с удовольствием делил почти все свое время.

Савва был редкий старик; он знал страну, как свои пять пальцев, его жизнь была истинною летописью, его рассказы захватывали своей простотой и задушевностью. И я каждый день, сидя перед ним у своего треногого столика, тихонько записывал страницу за страницей своего дневника, пополняя его такими неожиданными сведениями, которые меня поражали.

Он рассказывал мне, как он рос, воспитывался в этом лесу, учился; он рассказывал, как хорошо, светло было его детство и отрочество, и картины его юности были так живы и оригинальны, что, слушая его, я жалел, что мы совсем не знаем этого.

Это была какая-то поэзия его лесов и этого тихого, задумчивого озера; это было какое-то особенное, известное только одному дикарю счастье. И среди этой школы природы он невольно как-то научился петь, и эти песни весны его жизни он помнит еще до сих пор, хотя уже давно ему стали изменять голос и память.

И слепой старик, сидя на полу со своими внучатами, часто пел их мне, переводя скороговоркой, пел под аккомпанемент своего «лебедя», как называют вогулы свои гусли.

С этими гуслями, сделанными им еще в молодости, старик не расставался.

И нужно было видеть этого старика на полу моей комнаты, нужно было слышать его музыку и пение, чтобы хотя немного заглянуть в его душу. В такие минуты он перерождался, жил исключительно прошлой светлой жизнью, и ему снова хотелось страшно жить; перед ним снова, как живые, вставали — и его бедная юрточка на берегу залива, и зеленый, вечно шумящий лес, вся его таинственность, вся его прелесть...

Но в то время, когда у старика бежали слезы от дорогих ему воспоминаний, когда он захлебывался и пел, и звенел, его внуки были ко всему этому равнодушны, он не мог пробудить в них жизни.

Их не коснулась еще живая природа.

Они пробудились только раз на моих глазах, в пасху, когда я пригласил их со слепым дедушкой Саввой показать мне обещанное представление, своего рода пьесу-пантомиму вогулов.

На это представление собралась в моей комнате почти вся публика Орон-тур-пауля.

Я очень был рад такому необыкновенному сборищу вогулов, моих соседей, отчасти потому, что это был случай посмотреть их всех разом, отчасти потому, что мне было скучно.

У меня собрались вогулы, настоящие лесные жители Сибири, в оленьих костюмах, с косами и растрепанными волосами, с темными, обветрившимися лицами, с выдающимися скулами и любопытными, маленькими, черными глазами, в тех самых одеждах, в которых они охотятся, и только одни женщины немного как будто принарядились, надев на себя ситцевые платья и опоясавшись любимыми красными кушаками. И вся эта публика, с сопровождавшими их ребятишками, скромно уселась или встала около стен в ожидании того, что будет.

Сначала я предложил им угощение: высыпал на стол кучу кренделей и белого хлеба, потом мужчинам было подано по рюмочке, и мало-помалу между нами завязался непринужденный разговор, и интерес скоро сошел на охоту. Особенным рассказчиком оказался среди них молодой, стройный, смуглый вогул, родственник старика Саввы, который, казалось, только и думал об охоте. Он стал рассказывать что-то про охоту на бобров, на оленей, как вдруг слушавший его старик словно впал в какое-то вдохновение и тронул свои медные струны.

Сначала это не произвело, повидимому, никакого впечатления,— старик словно только еще пробовал свой инструмент, беря знакомые аккорды, но вот из-под его руки что-то стало выходить уже стройное, определенное, как мотив, вот еще и еще послышались захватывающие звуки, он всхлипнул, взялся побойчее за струны, наклонил ниже голову, и все невольно заслушались и засмотрелись на него.

Скоро затихли и последние голоса разговаривавших, старик завладел всеми, и в комнате полились звуки мелодии и песня. Старик запел какую-то старинную былину, прерывая ее словами рассказа, поясняя этим то, что он не может высказать ни музыкой, ни своей отрывистой песней.

Я спросил, что он поет, и мне шепотом передали на ухо, что он поет старинную былину, как прежде жили вогулы. Я не понимал ни одного слова, но мне ясно было, что старик пел о милой свободе, мне ясно было, что он пел о прошлом времени, и, глядя на лица людей, я сразу понял, в чем дело, потому что все сразу как-то задумались и по-

никли головами, только порою взглядывая, словно умоляя старика не надрывать их души.

Певец задел их за самое больное место, он напомнил им, как изменилась их жизнь, когда-то привольная, богатая зверем и птицей, жизнь, которая уже не воротится.

Но эта песня была коротка: старик оборвал ее, и вогулы как-то глубоко, тяжко вздохнули, провожая мысленно далекое прошлое.

После песни старика заиграл его родственник, молодой вогул. Он играл уже что-то веселое, и лица вогулов сразу прояснились и засмеялись, и на сцену сразу выскочило несколько молодых людей и девушек, которые пустились в пляску.

Они танцевали свой излюбленный танец лесов, изображали зверя, рыбу и птицу, взмахивали руками, как бы хотели улететь, вскрикивали, как испуганная птица, вертелись, приседали. Надо было видеть их, знать хорошо их природу, чтобы понять, кого они представляют в этих танцах.

Порою, когда кто-нибудь особенно вскрикивал, делал особенно удачное движение, пробегал рокот удовольствия, ему восторженно хлопали в ладоши и хвалили, и довольный танцор прятался в толпу, уступая место другому.

В какие-нибудь полчаса все молодые люди показали свои таланты. Музыка затихла под шумные требования представления, которое обещал старик Савва.

Савва, довольный, улыбался, но не начинал, возясь с струнами своего лебедя. Этот лебедь сегодня был украшен красными ленточками, которые ему навязали девушки-вогулки, и глядел особенно как-то весело, как глядел сегодня сам старик Савва, как глядели сегодня даже и его внуки. Умытые, в моих розовых занавесках, улыбающиеся, они сегодня совсем не походили на забитых и смело жались к чужим матерям, смело заглядывали всем в лица, словно ища общего к ним внимания и ласки.

Но вот старик Савва отдает распоряжение, что можно начать представление.

Это вызвало общий восторг и говор. Дети, молодые люди пришли в оживление,— кто бросился вон из избы, получив роль оленя; кто бросился за поисками костюмов; роли были розданы общими голосами, и в сенях пошла такая толкотня меж одевающимися, словно предстоял настоящий маскарад.

Роль охотника досталась на долю молодого вогула музыканта. Ему живо достали лук и колчан, он облачился в одежду настоящего охотника, и через полчаса самых шумных сборов все было готово, и комнату полуочистили для предстоящей сцены.

Кто мог из зрителей, поместился на печь, около стен и окна; кто не мог занять выгодного положения, сел на полу, подобрав возможно ближе ноги, дети уселись на плечи больших и свесили оттуда свои голые ноги, и публика замерла в ожидании одетых актеров, костюмы которых уже за дверями приводили в восторг одевающих и исполняющих роль добровольных режиссеров.

Старик взялся за лебедя, заиграл прелюдию, в комнату вошел молодой охотник. На нем лук с тетивой, колчан с острыми настоящими стрелами, на нем лыжи, легкие охотничьи чулки, нож и принадлежности охоты. И красивое, смуглое, оживленное лицо, развевающиеся волосы, каждое движение — все говорило об отваге. На его костюме— даже следы запекшейся старой крови; за его поясом даже свежеободранная шкурка лисы...

Его встретили рокотом удовольствия, но он ничего и никого уже не замечал: он в лесу, один на охоте, его лицо носит следы какой-то заботы и вместе с тем воодушевления, и он весь отдается этому окружающему его лесу, который уже захватил его душу своей таинственностью, который уже давит, гнетет его своей тишиной. Он не говорит, но вы видите, что он крадется осторожно, отводя ветви; он не говорит, но вы видите, что он переживает в сердце, и вы словно идете вместе с ним в лесу, следите за всеми его движениями, которые вам говорят сами тысячью мелких вещей, как словно бы вы сами шли на его месте по лесу, видя перед собой дикую чащу поемного северного леса.

Эта картина была чудесна, она сразу захватила наше внимание, и старик-музыкант придал ей музыкой еще большее впечатленче.

Актер с луком в руках обходит несколько раз сцену, не обращая на нас ровно никакого внимания, как будто он на самом деле в лесу; ему тесно, ему некуда просунуть лыжи, но это ему не мешает, он скользит на них почти на одном месте и покачивается, заглядывает между стволов и снова пускается заботливо в бегство. Но вот он словно запнулся — наклоняется и поднимает что-то с земли.

По комнате пробегает шепот. Вогулы поясняют, что он нашел след и теперь определяет его свежесть. Он оживает. Он нашел то, что искал, что ему нужно, и он обводит нас таким взглядом, который без слов говорит о счастье охотника.

Музыка продолжается. Охотник бежит по следу. Он следит по самым ничтожнейшим признакам: по обломленной ветке, по сбитой коре, по сломленной былинке и, решив, что зверь уж недалеко, живо скидывает свой дорожный костюм, поправляет одежду и берет крепче лук в руки. Теперь его движения страстны, смелы и быстры, он уж не видит леса, не чувствует его тишины, теперь он — весь движение, и мы только видим, как он мелькает, бежит и прячется за стволами, прыгает и припадает, высматривая, далеко ли добыча, готовый пустить в нее острую стрелу. Вдруг он останавливается и замирает на месте, прячется за ближний ствол и падает почти на снег.

Публика замерла.

Кто-то говорит, вскрикивает, что охотник нашел зверя.

Действительно, это правда: в комнату вбегает пара оленей в вывороченных оленьих шубах.

Это пара новых молодых актеров. Они уморительны на четвереньках с привязанными оленьими рогами, они смешны в роли зверя. Но они делают вид, что пасутся, не замечая еще вблизи охотника, который припал за ствол ближайшего дерева и лежит, словно не дышит. Один из них мать-самка, другой молодой олень, у которого на голове маленькие, черные, еще в пуху рожки... Мать выбивает из-под снега мох, сын ее протягивает к ней голову, она его трогательно кормит, и когда он жует, она чутко прислушивается и поводит носом, словно чувствуя вблизи опасность.

Музыка чуть-чуть наигрывает какой-то грустный мотив, словно ропот пробегающего ветра по вершинам. Зрители замерли и ждут, жалея бедных оленей.

Олени беспечны, не видят опасности и спокойно бродят около самого охотника, который все еще лежит за стволом дерева, готовый пустить, однако не пускает почему-то стрелу.

Зрители говорят, что его положение невыгодно, друг друга уверяют, что на него веет ветер, который может его выдать.

Чувствуется драматический важный момент.

Охотник медлит, беспечный детеныш разыгрывается, сопровождая свои движения смешными прыжками около матери, и при взгляде на них и смешно, и жалко.

Но вот что-то словно треснуло, стукнуло в стороне леса; олени сразу делаются внимательными и, словно слыша опасность, отходят в сторону и уходят совсем со сцены.

Охотник поднимается и озабоченно отирает пот с лица. В его движениях какая-то неуверенность, он оглядывается, словно кто ему мешает.

Музыка наигрывает грустные мелодии.

Вогулы говорят, что охотника преследуют завистливые боги. Он, действительно, к чему-то прислушивается и, словно решившись, снова начинает скользить и подкрадываться осторожно, разнимая каждую ветку.

На сцену снова выбегает олень, скоро за ним выбегает пара маленьких, в которых я узнаю внучат деда. На их рубашки натянуты шкурки маленьких ободранных лосят, которые могут сойти сегодня за шкурки оленей. Они смешны, но серьезны, и мальчик преуморительно подскакивает на месте, взлягивая ногами, еще, видимо, не зная, как себя ведет на самом деле дикое животное. На это мало обращается внимания. Их заметил уже охотник. Он снова прячется за деревья и подкрадывается. Теперь он наметил себе жертву — маленького олененка, который ближе и который совсем глуп. Охотник тихонько, не сводя глаз, вытягивает уже из колчана стрелу, он осматривает ее острие, оно остро, как нож.

Публика ахает и замирает. Даже слепой музыкант и тот останавливается, прислушиваясь, что будет.

Охотник крадется, крадется и уже поднимает лук. Глупый детёныш словно предчувствует что-то грустное и тоже замирает.

Что-то тревожное пробегает по лицам зрителей, слышатся вздохи, жалость за маленького оленя.

Еще момент, и тетива натянута, стрела на месте, готова разрезать воздух, вонзиться... Еще момент, и охотник прицеливается прямо в спину...

Вдруг в комнате со стороны раздается треск, щебет маленькой птички, настолько неожиданный, настолько знакомый, что словно в комнату только что впорхнула северная жительница этих лесов, так что невольно почувствовалась дрожь, как дрожит человек в лесу, заслышав

щебет, тревогу этой птички, которая словно вас преследует, защищая вашу жертву.

Я взглянул на зрителей, отыскивая, кто так удачно изображает эту знакомую птичку, и сразу догадался, что это проделывает все тот же наш музыкант —старик Савва, приложив руку к губам, так ловко чирикает, поднимая настоящую лесную тревогу. И по лицу его, потному, добродушному, скользит удовольствие...

Стрелок вздрагивает от неожиданности и опускает лук. Олени тревожно подняли головы и на секунду застыли, прислушиваясь к голосу все продолжавшей трещать птички. Убедившись, что им грозит опасность, вдруг закинули головы, как настоящие олени, заскакали по полу и скрылись в соседнюю комнату, показав нам на секунду только свои голые пятки.

Зрители зашумели, заговорили, словно обрадовавшись такому обороту дела; им жаль было от души бедных оленей, и все с любопытством, с насмешкой смотрели теперь на стрелка, который вдруг поник головой и задумался, за что его преследуют боги, которые покровительствуют зверям, когда их хочет обидеть человек.

Птичка замолкла, и слепой старик Савва снова заиграл на своем инструменте какую-то вогульскую грустную мелодию, прерывая ее шумными аккордами лесной бури. И под влиянием его музыки как будто действительно стало темно в лесу, на него надвигалась буря, и охотник невольно стал боязливо оглядываться по сторонам.

Вдруг он о чем-то вспомнил, изменился в лице и, быстро вырвав из груди клочок шерсти и ниточку красного гаруса, перевязал его и повесил на ближайшую стену.

— Жертву, жертву приносит,— шептали вогулы, и музыка снова стала как-то замирать, и старик снова заиграл веселые мотивы.

Буря пронеслась; боги умилостивились; ветер изменился. В охотнике снова пробудилась прежняя уверенность в удаче, и он, попробовав, откуда дует ветер, подбросив на воздух горсть снега, снова устремляется на преследование бедных зверей, уверенный уже, что ему на этот раз не помешают боги...

В публике снова — ожидание и тревога, в музыке снова — тихие мелодии.

Вон звери на лужайке. Теперь их три,— два больших и один маленький, даже без рожек; они мирно пасутся тут,

не замечая охотника, который сразу, завидев их, упал на пол и ползет. Он уверенно разгибает ветки по своему пути и уверенно поглядывает.

В комнате наступает мертвая тишина, замолкли даже медные струны деда...

Но вдруг что-то хрустнуло опять на полу, хрустнуло так, как только могут хрустеть в лесу старые ветки. Олени насторожились, у охотника страдальческое лицо, но момент уж пропущен, олени снова услышали охотника и бегут прочь, уходя от стрелы. Но вот у охотника мелькнула какая-то радостная мысль, и он побежал, гонится по следу.

Вогулы говорят, что он догонит, непременно догонит детеныша, потому что снег слаб, и ему не убежать далеко.

И, действительно, олени как будто стали приставать, детеныш держит их, матери не хочется оставить, и она мучительно подталкивает его грудью, мучительно зовет его, когда он останавливается, шатается уж от усталости. Наконец, олени встали, и мать с тоскою смотрит в сторону охотника, в то время как детеныш прижался к ее боку и лежит, повесив голову.

Проходят несколько томительных минут, в которые охотник крадется к оленям, вынимает стрелу. Она остра,— мы видим потому, как он ею доволен,— на ее конце блестит острое, как нож, железо. Тяжелый момент, когда он мучительно долго прицеливается в дрожащих оленей, потом публика вдруг ахает, и молодой олень падает на землю, и стрела уже в его боку, из раны уже льется алая кровь на пол... Мать вздрагивает и отбегает, но ей жаль детеныша; она зовет его и дрожит, не смея тронуться с места... Она облизывает его рану... Но вот еще прицел, еще стрела, и мать падает с ним рядом, и ее ветвистые рога беспомощно бьются о землю.

Спасается только один олень, который, как вихрь, уносится в соседнюю комнатку, запнувшись и падая, к удовольствию зрителей, тут за порогом...

Публика смеется, но у нее на глазах слезы: ей жаль от души эту мать и ее бедного маленького детеныша. Публика смеется, но она сердита на этого охотника, который расстроил минутное счастье зверя.

Но охотник в восторге, он машет руками, он рад и бросается к зверям и уж вынимает нож из ножен, ощупывает их, готовится снимать с них шкуры, чтобы скорее по-

лакомиться свежей кровью и мясом, как представление сразу замирает, заканчивается без занавеса, без аплодисментов, и обрывается на страшном моменте.

Актеры поднимаются в вывороченных шубах с пола, снимают рога, и перед нами снова наша комната с вогулами, которые шумно рассуждают об успехах сцены, тогда как старик продолжает шумно, весело что-то наигрывать, словно так же, как у нас в театре, провожая публику прощальным маршем.

Так закончилось это представление охоты на оленей, с участием деда Саввы, как музыканта, и его бедных внучат, которым, кажется, в первый раз еще пришлось играть роль в своем обществе.

Они были страшно довольны и, помню, целый день оставались в моей комнате, вспоминая игру в оленя, и так увлеклись ею, так чувствовали себя хорошо, что даже разрумянились, блестя веселыми глазами.

Но это единственное, светлое время в их жизни: больше уже не удавалось делать представлений; началась весна, и с нею прилетели птицы, всех потянуло в леса и на простор вод, всех потянуло невольно как-то из комнаты на свободу. И я уже почти не бывал в юртах, охотясь по лесам и плавая в маленькой лодочке по разливам речек. Я только охотился, писал, фотографировал, чертил.

Летом юрты почти опустели: мужчины были почти поголовно в лесу и на озере, где ловили рыбу; дети тоже возились с силочками и приманками, сзывая по берегам селезней, и в юртах оставался только один слепой дедушка Савва со своими бедными внучатами, которые тоже рвались от него к озеру, к лесу. Единственной его спутницей теперь была его слепая же старушка, которая порой выводила его на берег родного озера, где они долго задумчиво, молча сидели, вероятно, прислушиваясь к тем волнам, которые когда-то говорили и им о другой, более живой, деятельной жизни.

Но когда изредка я возвращался в юрты с экскурсий, старик почти безвыходно бывал у меня со своими внучатами и старухой, и я, помню, много еще раз заставлял его петь мне былины и рассказывать про старое доброе время, как они жили. И старик снова оживал, вспоминая до мелочей прошлое своей жизни, передавая мне тысячи разных вещей, которых никогда, кажется, уже не узнать, не увидеть никакому путешественнику в жизни.

Он пел мне про своих богов, которые стоят в лесу в виде идолов, ожидая кровавых жертв; он пел про страшных бурых медведей; он пел про белочку и шустрого бобра; он пел про птиц, про разных насекомых, и все, о чем пел он, поражало меня такою наблюдательностью, такою любовью к природе, какой мог бы позавидовать всякий натуралист. И я удивлялся этому, я больше и больше узнавал, что может дать природа человеку, и этот темный лес, это светлое, с виду пустынное озеро, эти дебри, развалы гор обрисовывались передо мной в такой чарующей, незнакомой мне еще обстановке, что я с удивлением смотрел на старого слепого деда, думая, сколько он пережил светлых минут в своей, нам казавшейся беспросветно-темной жизни.

ЮДИК

Из жизни самоедов[1] на Новой Земле

I

С Юдиком, маленьким самоедом, я познакомился почти тотчас же, как только приехал на Новую Землю, на этот полярный северный остров Ледовитого океана. Я приехал туда, как путешественник, а Юдик жил там со своими отцом и матерью.

Чум его отца — старика Фомы Вылки — был рядом с моим домиком; его мать, маленькая веселая старушка-самоедка, вызвалась мне служить с первого же дня, как только я высадился с морского парохода на берег. И вот мы с Юдиком — не только соседи на этом острове, но и знакомые.

Скоро он запросто стал заходить в мой кабинет; потом мы с ним подружились, и через месяц я уже беспокоился, если его не видел в дверях своего кабинета, куда он стал приходить каждое утро, чтобы сообщить мне о погоде и новости.

Погода — это было первое, потому что, судя по ней, еще валяясь в кровати, можно было решить: можно ли сегодня отправиться куда на охоту или в экскурсию; новости, хотя их было мало, все-таки были новостями,

[1] Так до Великой Октябрьской социалистической революции называли ненцев, нганасан и энцев. В этом официальном названии малых народов Севера было отражено великодержавно-шовинистическое к ним отношение.

19 Заказ № 2850

потому что других и не было на этом острове, который только два раза в год сообщался со всем остальным светом.

Забежит рано утром ко мне Юдик, скажет, что сегодня хорошая погода, ветер с гор перестал дуть, и мы с ним уже начинаем мечтать о поездке в море на лодочке; скажет — худая погода, холодно и сыро, и мы с ним не торопясь начинаем пить чай, потом садимся обдирать шкурки разных морских птичек и приготовлять из них чучела.

Это была любимая наша работа — составлять коллекции. Юдику решительно нечего было дома делать, потому что промышлял и кормил его пока отец, первый охотник на белых медведей на всем острове, а он только так таскался с ружьем на охоте. И вот любознательный мальчик скоро привык ко всему тому, что я делал на его глазах, и стал таким ревностным препаратором, что я наполовину предоставлял ему делать чучела.

Это его страшно занимало; он, видимо, любил птиц и на моих глазах порой придавал мертвой шкурке птицы, напяленной на палочку и паклю, такой артистический вид, что она была словно живая: вот-вот или закричит или поднимется на воздух и выпорхнет из моего окна.

Благодаря Юдику наша работа спорилась, и скоро в моем кабинете была масса чучел разнообразных птиц и зверьков этого замечательного полярного острова — и на полках, и под потолком, куда мы их вешали просушивать, и на столах, и на полу. Мать Юдика, которую я просто звал бабушкой, только хлопала руками от удивления, смотря, чем мы себя окружили. Она, разумеется, не понимала, зачем мы так возимся в крови и перьях, только пачкая пол и мебель, которую ей приходилось постоянно чистить. Но для нас это занятие имело большое значение, и мы день ото дня окружали себя все новыми и новыми птицами и зверьками, и так сжились с ними, так к ним привыкли, что, кажется, кроме них, ни о ком не думали. Все эти чучела словно живые смотрели на нас стеклянными глазками в разных позах: то словно сидя в гнезде, то словно перепархивая с камешка на камешек, то словно собираясь лететь, подняться в воздух. Они были не только дороги нам по воспоминаниям, как мы на них охотились: где мы их увидали, как к ним подкрадывались, как стреляли, как поднимали их с морского берега или

просто с волн моря, на которые они падали, распластав крылья; но мы ими дорожили еще и потому, что мы над ними работали, их оживляли, превращая почти никуда негодную шкурку в какой-то артистический предмет, выходящий из наших рук словно помимо даже нашей воли.

Однажды, я помню, мы с Юдиком убили и начинили очень удачно белую маленькую лисичку-песца и положили ее на наш диванчик в позе отдыхающего зверька. Бабушка наша, войдя без нас в кабинет, так его испугалась, что моментально выбежала вон и больше уже не входила, пока мы не возвратились с охоты. Она в простоте своей души думала, что мы принесли его туда живого, и он готов броситься на нее, как только она зайдет в нашу комнату. Я помню, когда мы рассказали ей, что это уже чучело, то даже и тогда она долго боялась, посматривая подозрительно на пушистую мордочку этого сердитого зверька, словно опасаясь, чтобы он и в самом деле даже мертвый не бросился на нее и не перепугал ее, трусиху.

И, работая так в кабинете, наполняя день ото дня его разными чучелами, бывало, я с удовольствием засматривался минутами на этого самоедского мальчика, который вертел в руках какую-нибудь птичку или зашивал ей брюшко нитками, чтобы не помять ее нежных, тонких перышек, или обдумывал, какую ей придать позу. И бледное личико его с черными любопытными глазами и курчавыми прядями черных, как смоль, волос было в эти минуты детского задумья так хорошо, что я часто думал снять так его на желатинную пластинку.

Он был уже не ребенок: ему, как говорила его мать, шел уже пятнадцатый год; но ни физически, по развитию, ни чем другим он еще не отличался от маленького мальчика, и бледный, с слабым сложением, он скорее производил впечатление ребенка, словно эта полярная страна, где он родился, навсегда хотела его оставить таким хилым и слабым, как почти все у нее из животного и растительного мира. Он редко когда говорил; от него никогда нельзя было допытаться долгого рассказа, но зато он так любил слушать, когда я что-нибудь рассказывал ему, словно всякое слово для него была нивесть какая важная новость... И я порой даже улыбался, видя, как он слушает меня с полураскрытым ртом и широко раскры-

тыми черными глазами, даже не моргая пушистыми ресницами.

И это совсем немудрено, потому что он ровно ничего не знал, кроме своего полярного, вечно в снегу, острова, и птиц, и зверей, никогда не бывал на материке, никогда не видал нашей, даже деревенской жизни. Все это его страшно занимало, все это было для него такою же новостью, как нам, людям материка, море и его остров, затерянный в Ледовитом океане. Он постоянно меня спрашивал, останавливая в разговоре: что такое купец, что такое церковь, что такое архиерей, какая это столица, и как там живут люди, что едят и чем промышляют... И я мало-помалу знакомил его, раскрывая перед его детским умом, который все запечатлевал в себе с такой верой, с нашими городами, сословиями, народом, хлебопашеством, скотоводством и тысячей мелочей, то рассказывая ему, то показывая на фотографиях и картинах.

Последние были для него чем-то необыкновенным, и он в другое время с какой-то особенной задумчивостью перелистывал мои иллюстрированные журналы, рассматривая там картинки из бытовой жизни. Стоило мне взять в руки бумагу, как он уже допытывался, из чего и где и как ее делают; стоило мне взять в руки карандаш, как он останавливал меня вопросом: как он пишет и кто его изобрел?.. Ему было до всего дело, и он, расспрашивая меня, порой ставил в такое положение, что я иногда должен был рыться в своем энциклопедическом словаре, чтобы объяснить ему правильно то, что было нужно.

Результатом всего этого было то, что он пристрастился к науке, с которой я его невольно таким образом познакомил, и уже через какой-нибудь месяц стал просить меня, чтобы я его научил читать и писать.

Отец его, старик — самоед Вылка, был грамотный, хотя это страшная редкость среди самоедов; он научился читать и то самоучкой, у какого-то бродячего со стадом оленей зырянина и читал не иначе, как только по-славянски, разумеется, не понимая и половины. Он научил читать и Юдика по-славянски, и Юдик тоже читал единственную книгу — псалтырь; но так как ни тот, ни другой не знали достаточно хорошо даже русского языка, не только славянского, то, разумеется, читали разве только для того, чтобы читать, потому что это их развлекало и доставляло большое удовольствие их старухе, которая

страшно гордилась тем, что они грамотны, и любила сидеть возле них и слушать непонятные, новые для нее слова.

Я, разумеется, стал учить Юдика русской грамоте, и чрез какие-нибудь две недели он уже не только читал, но даже стал и понимать прочитанное благодаря тому, что я ему объяснял всякое новое, мудреное для него слово.

Таких мудреных слов для него была пропасть: встретится слово «лес», и он уже не знает, что это такое, потому что леса на его острове совсем не водится, так как остров этот полярный; встретится слово «лошадь», и нужно ему показать ее на картинке, чтобы он понял, что это за зверь, потому что они ездят на собаках; и так как на Новой Земле многого не было того, к чему мы привыкли с детства и знаем, то нужно было, уча его грамоте, посвящать его совсем в новый мир, словно он только что родился.

Скоро мой Юдик так погрузился в любимое новое занятие — чтение, что только и сидел с книгой. Он даже спал с ней, валялся на шкурах своего чума и, кажется, расставался с ней охотно только тогда, когда я звал его с собой в экскурсию или на охоту.

II

Охоту он любил страстно, и я, будучи сам страстным охотником, всегда находил в нем не только хорошего, опытного проводника, но и товарища по охоте. А охотиться в горах и на море мы с ним не упускали случая каждый раз, как только этому благоприятствовала погода.

Скажет Юдик, что сегодня утро прекрасное и на море тихо, и я уже вскакиваю с постели и подбегаю к окну, чтобы посмотреть на рассвет ясного дня, который бывает весьма редко на этом полярном острове.

И вот начинаем торопиться: пьем наскоро чай, собираем патроны, чистим ружья, еще не определивши, куда направиться: в море ли на нашей легкой парусной шлюпочке, или в горы, где бродит порой столько диких оленей и бегают белые песцы.

Решаем ехать в море. Берем с собой дорожный чайник и припасов на день, прощаемся с книгами и кабинетом и выходим на улицу.

Как хорош ясный день на полярном острове! Море, залив — как темное зеркало с чуть-чуть двигающимися, ровно пологими валами после ветра; дальние острова словно спят на его синей поверхности, чернея и отчетливо обрисовываясь каждым мыском, как будто тут нет и воздуха, а дальний горизонт моря так и слился в каком-то легком голубом тумане с синим безоблачным небосклоном. Обернемся назад, а там еще лучше того — стоят горы: на целые версты, видно, кажется, каждый камешек; ближайшая вершина горы вот словно тут, и белые пятна снега, не успевающего растаять за лето, так и блестят под лучами низкого солнышка, рассыпая кругом себя ореол разноцветных лучей. Но тут — ни движения, ни звука, все мертво, пустынно, дико; а там, в море, совсем другое, и нас невольно тянет туда, к жизни, движению. Донесшийся в воздухе крик морской чайки, словно песня какая, отозвался в груди и заставляет сильнее биться сердце.

— Поедем скорей! — говорит Юдик, словно чувствуя удачную охоту. И мы бодро сталкиваем шлюпочку и ставим на нее маленькую мачту; течением уже нас отнесло от берега. Я сажусь на руль, Юдик поднимает парус, и легкий ветерок, который вечно, даже в тихую погоду, тянет из ущелья гор, уже натянул его и тихо, плавно, неслышно понес нас к дальним островам, которые тоже словно, как и мы, плавают далеко в море.

Хорошо! Запах морской воды так и вливается в легкие,— дышишь полной грудью; шлюпка ровно то поднимается, взбегая на гребень тихой пологой океанской волны, то опускается, когда она проходит. Вода синяя и темнеет на глубоком месте; по поверхности плавают чудные медузы, и порой недалеко от нас, всего саженях в десяти, вдруг высунется мокрая, блестящая на солнце голова тюленя, который уже любопытствует: кто скользит по его вечно мирным волнам, покачиваясь на белой шлюпке? Выплывет, высунет голову, постоит так несколько секунд, фыркнет, изогнет свою круглую, жирную, лоснящуюся спину и брызнет хвостом, скрывшись снова в свое царство чудных громадных водорослей, где у него целый тропический сад.

А мы плывем и плывем, неслышно, тихо подвигаясь, замечая свое движение только потому, что напротив нас двигаются одна за другой громадные пологие волны,—

где-то далеко уже позади громыхающие о каменистый берег нашего острова, вспенивая там его воду.

Острова начинают вырастать; с моря доносятся голоса птиц: кричит звонко морская чайка, доносится смутное воркование гаг, и вот около нас уже начинают с криком носиться, не то радуясь, что видят человека, не то предупреждая о нас, белые, легкие, увертливые чайки с черными головками и приятным, нежным криком, который не устаешь никогда слушать.

Юдик пытливо следит глазами за их легкими, неслышными движениями, слушает их, и по лицу его, доброму лицу, видно, что он их давно изучил, знает все их движения и любуется ими, быть может, схватывая теперь те моменты, которые особенно красят эту белую воздушную птичку в синем небосклоне, когда она падает над нашей лодкой или на секунду останавливается в воздухе. Он лежит теперь в носу лодки; видимо, все его существо наслаждается этим ровным покачиваньем, которым нас качают волны; видимо, он весь отдался только одним впечатлениям, а если думает о чем, то только лишь по мере того, как трогает его мысль вот это синее небо, вот эта плавающая и летящая на нас белая птичка, вот это ровное, плавное опускание лодки и шелест, тихий шелест воды у борта. И, глядя на него, мне кажется, что лучшая колыбель, которая вскачала его с рожденья, лучшее время его детства — это поездки с отцом на море, на охоту, где развился его ум и пробудилась та страстная любовь к природе, которая постоянно тянет его в горы и в море, которая постоянно зовет его к себе, давая неограниченный простор и чувствам и уму.

Но вот мы уже около острова и плывем мимо его отвесных пенящихся берегов. Они высоки, они все из камня до самой вершины, и только там видна глазу узкая полоска зелени, словно яркий бордюр на этом темном фоне. На нем — ни души, ни движения; туда только изредка разве опустится какая чайка с добычей, чтобы ее растерзать на утесе; но зато какое движение, какая жизнь внизу, у россыпи камней, постоянно омываемых морем! Боже, сколько тут разнообразных птиц плещется в воде и ныряет, сколько летает в воздухе, сколько сидит на воде, качаясь на волнах!.. Это место, где больше всего может питаться разная морская птица; это место, где больше всего подходит мелкая рыба к берегу и теряется в роще

водорослей, которыми сплошь покрыто дно у таких морских, выдвинутых в море островов. И мы плывем мимо черных гагарок, которые ныряют тысячами и кричат без умолку; проплываем мимо целого стада морских чаек, которые кружатся над этим местом. Лишь только какая-нибудь гагара вынырнет из прозрачной голубой воды с мелкой рыбкой во рту, как чайки стрелой налетают на нее и отнимают добычу. Вокруг так и носятся над ними стада тупиков и других птиц, которые любят так эти острова и редко залетают на наш берег.

Еще немного, и перед нами расстилается уже безбрежное синее море, где видны только белые полосы пловучего льда, да вода, да голубое небо без конца, без границ; и кажется, что в центре этого беспредельного пространства только мы одни с Юдиком на своей маленькой лодочке.

Там, на пловучих белых льдах, спят на солнышке тюлени. Юдик ясно видит их простым глазом; но я этого видеть не могу, беру бинокль и застываю в очаровании: перед нами недалеко теперь видна громадная пловучая белая льдина с горками голубого льда, в котором играют лучи солнца. Она вся отразилась в воде и смотрится в нее всеми своими выступами, всеми своими неровностями, со всеми оттенками лазури; на ней, у самой воды, мирно спит большой черный тюлень, шкурка которого уже высохла на теплых лучах солнца и блестит, серебрится, кажется, каждой шерстинкой. Он нежится, он даже повернулся своим белым брюшком к солнцу,— так приятны ему его лучи, и короткие ласты его, словно рукавички, то топорщатся, как бы захватывая это тепло в прозрачном, свежем воздухе, то беспомощно опускаются, скользя вдоль сизой его шкурки.

Он спит, а Юдик уже проснулся от забытья и созерцания и теперь сидит со своей винтовкой, зорко сторожа первое его пробуждение, чтобы пустить в него пулю. Я правлю прямо на эту льдину; шлюпка неслышно подходит ближе и ближе; льдина тихо покачивается, отражаясь в воде, и животное, ленивое, игривое животное, уже можно рассмотреть невооруженным простым глазом. Я спускаю парус; шлюпка тихо подходит еще ближе к тюленю; Юдик и я застываем в страшном моменте, ожидая, когда животное пробудится и увидит под носом врага. Тюлень не просыпается. Юдик медлит с спуском

курка и оглядывается на меня, словно указывая, как хорош этот тюлень среди родной обстановки... Но вдруг тюлень встрепенулся и поднял голову; мы видим его большие черные испуганные глаза, которым он словно еще не верит, и выстрел, оглушительный выстрел, с дымом и огнем, раздается с носа и на секунду застилает все, чем мы только что любовались, едва переводя дыхание. «Молодец, Юдик!» — кричу я и вижу, как безжизненно распластался на месте тюлень, едва вздрагивая своей пушистой, серебристой шкуркой и окрашивая лед красной кровью там, где лежит его беспомощная голова. Юдик живо выскакивает на льдину, бросает на ходу маленький якорек, и мы оба уже на пловучей льдине идем к мертвому тюленю и останавливаемся, следя за его судорожными подергиваниями кожи, которая так и блестит, отливает на солнце. И нам совсем не жаль этого убитого зверя, потому что впечатления от него так полны, так богаты, что их не забудешь, кажется, во всю жизнь.

III

Мы разгуливаем по льдине, как по земле,— она большая и толстая,— взбираемся на ее высокие бугры, чтобы осмотреть море, и с них нам видно, хорошо видно, множество таких же, как наша, других льдин, и сколько там зверей и птиц лежат и сидят на них в качестве пассажиров! Чудная картинка! Вон там сидит на льду целое стадо гаг, и к нам доносится их воркованье; тут, ближе, на обрыве льдины, лежат такие же, как наш убитый, тюлени; там плещется в воде стадо люриков, тут пищит другое — черных чистиков, которые словно сошли с ума, радуясь теплому, редкому дню, и гоняются друг за другом, раскрыв широко свои красные клювы.

Сколько красок в этой картинке, сколько света от этих льющихся на море лучей. Юдик застыл перед этой чудной картиной его родины, хотя он видел ее, быть может, в сотый раз. Я завидую ему, что он вечно живет на этом острове, любуется такими картинами природы, не зная нашей бедной, скучной жизни, где никогда, проживи целую жизнь, ничего не увидишь подобного, разве только когда в театре в какой-нибудь волшебной феерии, при искусственном огне, на один момент. А здесь эта картина в миллион раз больше и светлее и величественнее...

Я гляжу на Юдика, и мне становится понятным и его задумчивость, взятая с этой картины, и его чистый взгляд, словно отнятый от этой лазури неба.

Эта картина, этот океан, эта жизнь моря, этот потонувший позади нас гористый остров без воздуха — единственная его школа, где все знания, все впечатления не вдалбливаются в его свежий мозг, а просто струей, неудержимой струей вливаются в его душу и поднимают ее, отрывают от земли. И мне бы сейчас не хотелось, чтобы он знал что-нибудь больше, кроме этого полярного мира, больше этого своего острова, который он знает в совершенстве, как мы никогда не знаем своего собственного села, своих соседей, всего нас окружающего, порой с удивлением, с очарованием останавливаясь на прогулках даже около своего жилища над тем, что нас поразило, очаровало в природе.

И, действительно, случилось так, что он не узнал, кроме этого, ничего уже на свете, хотя бедняга страшно желал, рвался увидать свет, быть может, воображая, что он так же всюду хорош, как его полярная, чистая, бескорыстная родина с разнообразием и вольной жизнью человека.

IV

Это случилось в первую же зиму, как только я приехал на этот полярный остров.

Я задумывал уже вывезти Юдика на следующее лето в Архангельск, чтобы показать ему чудеса нашей жизни, к которым рвался его пытливый ум; он уже много прочитал и узнал из моих рассказов, он уже мечтал об этой поездке,— как произошло нечто совершенно неожиданное даже для жизни самоедов.

За промелькнувшим летом, коротким полярным летом, наступила сразу зима; наши горы покрылись снегами и сугробами, наш залив замерз и подернулся синим льдом; потом и на него нанесло массу снега, и скоро мы ровно ничего не видели, кроме белого необозримого снега, только с гор рассматривая узкую полосу синей незамерзающей воды океана, которая еще говорила немного о том, что мы видели раньше, чем мы так восторгались летом.

Эти льды угнали из наших глаз море, этот снег совсем скрыл от нас и то, что мы видели в горах, а поляр-

ные сумерки вместо зимнего нашего серого дня, полярная ночь совсем, казалось, скрыла от нас и остальной мир, погрузив нас во мрак трехмесячной суровой ночи. Зашумел буран; стужа, страшная стужа, сковала камни и море. Ночь все сокрыла от наших глаз, и если мы с Юдиком еще могли любоваться когда природой, то только выходя ясной ночью на улицу и смотря на синее небо, по которому или тихо плыли ясные звезды, словно застывши тоже от мороза на небе, или бороздили лучи, чудные лучи северного сияния, которое, как зарево пожара, подчас охватывало весь темный небосклон. Такие ночи мы страшно любили и долго просиживали, надев на себя теплые оленьи костюмы, на нашем сугробе, куда мы порой выходили и днем, если так можно было назвать чуть-чуть заметный рассвет зари, показывающейся на два или два с половиной часа на южном горизонте.

Там на сугробе, на обрыве берега, мы уже не говорили, а только следили и думали; там нельзя было ни о чем говорить и думать о чем другом, кроме того, что видели, точно так, как не говорят и не думают ни о чем другом в театре, когда видят или слышат что-нибудь очень интересное. Северное сияние — это был для нас тот же театр, только в увеличенном виде, где вместо искусственных декораций нам служило само небо, где, казалось, только недоставало ангелов, чтобы мы услышали их песнь. Мы затаивали дыхание, когда невидимая рука раскрывала нам самое небо; мы едва верили своим глазам, когда перед нами развертывалась от края и до края горизонта на синем небе разноцветная, вздрагивающая лента сияния; у нас застилало в глазах слезами, когда перед нами начинали двигаться, кружиться, скрываться и снова выступать огненные разноцветные столбы; мы плакали, когда загоралось красным огнем все небо... И наш остров, полярный остров, потерянный в этом мире чудесного, с его снегами и снежными горами и далеко шумящим морем, казался таким милым и дорогим, что мы в эти минуты едва ли его променяли бы на какой другой край, даже тропический, только из-за этой небесной картины. И минутами, когда над нами вспыхивал особенно яркосиний огонек, разгоралась волнующая лента, мы почти не узнавали знакомую летом картину,— когда наши горы вдруг обливались синим светом, когда наши льды моря вдруг словно вспыхивали, как вспыхивает темной летней ночью

окружающее нас при ярком свете молнии на секунду. Тогда мы закрывали глаза, чтобы навсегда удержать и этот тихо мерцающий свет, и эти озаренные льды моря, и эти очаровательные горы, которые, словно нарочно, показало нам это чудное северное сияние в том виде, какой даже не может нарисовать нам воображение. И мы лежали, следили за этой игрой неба долго молча, неподвижно, замерзая и даже не чувствуя, что нам холодно, что мы дрожим...

Но это были редкие моменты нашей жизни; ясное звездное небо покрывалось тучами, с гор начинал дуть страшный ветер, в воздухе начинал кружиться снег, и природа, показав нам это зрелище, словно торопилась опять принести нам стужу и ужас полярной ночи.

В такие дни и ночи было даже страшно выходить на улицу. В воздухе стояла одна снежная пыль, захватывающая дыхание; наш домик дрожал и трясся от порывов, страшных порывов ветра. Кругом ничего не было видно даже на сажень, и холод прохватывал наше тело, словно на нас совсем не было одежды. В такие дни, случалось, мы даже не выходили из дома; в такие дни мы даже не знали, что делается в каких-нибудь десяти саженях от дома, в чуме у соседей; в такие дни мы даже не смели выглянуть на улицу, потому что между нашими домами ветер накидывал такие сугробы, что они были вровень с нашими крышами. И только, бывало, попробуешь высунуть за дверь свой нос, как тебя или обдаст целой горстью снежной пыли и запорошит глаза, или просто бросит и понесет по гладкому, убитому ветром снегу в сторону, откуда уже трудно было попасть в дом.

Эту зиму стояла на диво бурная и снежная погода. Наши дома еще с ранней осени занесло снегом. Перед моим окном был такой сугроб, что мы не видали неба, и сидели почти все время со своими книгами и чучелами в кабинете, и только изредка выходили на улицу, чтобы подышать чистым воздухом и размяться.

Это было довольно тяжело: хотелось света и воздуха, хотелось хотя на минуту еще увидеть солнце, которое давно уже скрылось и теперь только показывало нам порой свою зорю, то в бледноголубом виде, то розовую, с легкими облачками, окрашивавшую слегка горизонт на востоке и наше окно с чудными узорами мороза.

Но все это было бы еще ничего, если бы самоеды до-

статочно заготовляли мяса тюленей и оленей, которыми они почти исключительно питаются; но самоеды беспечны и редко запасают провизии на зиму. На нашем острове наступил голод: олень куда-то отшатился в сторону, к другому берегу; льды угнали тюленя дальше в океан, и наши самоеды, а в том числе и отец Юдика — старик Фома Вылка, сидели почти на одном хлебе и чае, скучая о свежем куске мяса. Погода, как на зло, не унималась всю осень, и вот только что наступили зимние тихие дни, как наша маленькая колония поднялась на ноги и стала расходиться, разъезжаться по сторонам от негостеприимного берега. Самоеды один за другим сбирались артелями и ехали кочевать на другую сторону острова. Скоро и старик Фома, как я его ни упрашивал остаться зимовать со мной в колонии всю зиму и не разлучать меня с Юдиком, стал собираться в дальний путь, за сто верст, на берег Карского студеного моря.

Там он зимовал уже не один раз; там, по его словам, теперь должны быть непременно олени, и он упорно стоял на своем, несмотря на то, что оттуда неслись не совсем успокоительные вести: говорили, что будто бы олень ушел на эту зиму на другой соседний остров и на берегу Карского моря так же голодно и холодно, как и здесь, на берегу Ледовитого океана.

Но старик был упрям, и вот однажды, в серенькое утро, когда перестал дуть горный ветер, ко мне заходит невеселый Юдик и говорит, что сегодня они едут, и что старик уже укладывается, готовый пуститься с ним в дальний путь; он увозит с собой и мою добрую бабушку, которая так любовно за мной ухаживала со дня моего приезда.

Я вышел проститься со стариками, пожать руку Юдика, прося не забывать меня там и поскорей дать мне вести об их жизни.

Пара санок, запряженных собаками, тронулась в горы, чуть-чуть видимые в темноте полярного дня. Собаки завыли, старик Фома взял длинный шест, которым он правил, Юдик вскинул на плечо ружье, санки двинулись, бабушка присела на них на свой багаж,— и через минуту-две они уже скрылись все в темноте полярного дня, словно растаяв в этом сером воздухе. Я посмотрел в их сторону, послушал и отправился снова в свой кабинет, который словно осиротел с этой печальной минуты.

V

Прошел день, прошел другой, начались бури; я погрузился в свои обычные занятия. Юдик, его мать и добрый старик Фома с вечно всклокоченными волосами и с очками на глазах, каким я его более всего в последнее время видел за псалтырью, рядом с своею старушкой,— все они казались мне точно в сновидении, начиная отходить в область прошедшего.

Потянулись недели, прошел месяц, но вестей от Юдика никаких; и самоеды, изредка возвращаясь с того берега, куда ушел старик Фома, только приносили одни печальные вести, говоря, что они там чуть не умирают с голоду.

Около рождества, когда наступила уже настоящая полярная беспросветная ночь и начались сильные морозы, самоеды стали поговаривать уже о том, жив ли старик Фома Вылка. Вестей от него никаких, и порой, сидя с самоедами в своем кабинете и в разговорах вспоминая о старике, мы как-то невольно все вдруг замирали и притихали, словно предчувствуя что-то недоброе с этой семьей.

Но ехать туда было невозможно: никто не знал, куда мог уйти этот своенравный старик; остров велик, следов его не отыщешь, и мы стали ждать, горько сожалея, что отпустили его отсюда, где все же нельзя было умереть от голода или стужи.

Пришло рождество, наступили святки, как вдруг ночью, когда я спал, в мою комнату ворвалась самоедка и разбудила меня страшным шепотом:

— Барин, барин, вставай! Фома явился... притащил мертвого Юдика... Чуть живы... голодны... пропадают.

Я не верил своим ушам. Я думал, что это сон, кошмар, но это была действительность. Мой пес вдруг завыл, словно заслышав что-то недоброе, и я не помню, как накинул на себя второпях одежду, захватил первую бутылку красного вина, фланель и бросился в соседний домик, откуда прибежала эта женщина.

Бегу за ней, забегаю в ее сени,— она говорит:

— Вот здесь, на пороге, его нашли, Фому-то... Лежит, стонет... Собаки уже залаяли, так вышли... А Юдика — у дверей, на улице... Едва их принесли в избу...

В сенях полно собак; мы едва протискиваемся мимо

них, и я вбегаю в полутемную избу, освещенную единственным мерцающим ночником, который горит где-то на полке, распространяя удушливую копоть. Изба полна самоедами; все стоят около переднего угла нар, и мне ровно ничего не видно из-за спин и всклокоченных заспанных голов.

Растолкав народ, я пробился в передний угол и остановился в ужасе. Предо мной, прислонившись к стене, прикрытый какой-то оленьей шкурой, голый, со страшно грязным телом, с диким выражением глаз, с всклокоченными волосами, сидел какой-то старик, седой, страшный старик, в котором ровно ничего не было похожего на Фому Вылку. Щеки его были сплошь отморожены и покрыты какими-то черными пятнами, вероятно, от дыма и грязи, нос совсем почернел, а лицо, тело, скорченные ноги были до того худы, грязны и черны, что страшно было смотреть...

— Фома, Фома! — прошептал я.

Старик меня признал и протянул мне из-под оленьей шкуры до того худую, черную, страшную волосатую руку с отмороженными скорченными пальцами, что я не решался ему подать своей... При этом движении оленья шкура скатилась с его плеч, и я увидал перед собой такое костлявое тело, что в ужасе отшатнулся...

Фома, бедный старик, заметил это и, не дожидаясь вопроса, что с ним такое случилось, чуть слышно, еле шевеля раздутыми от мороза губами, прошептал:

— Пропали мы, совсем пропали!.. Беда!.. Как уж дошли — не знаю, не помню... Отощали...

И Фома, вздрагивая всем телом, как-то по-стариковски, тяжело застонал тонким голосом и вдруг заплакал и повалился к стене, о которую опиралось его тощее тело.

— Юдик, Юдик где? — вдруг бросилась мне в голову страшная мысль, и от предчувствия сжалось сердце.

— Вон там! — сказал кто-то мне в ответ. Толпа расступилась перед другими нарами, рядом, и я увидал на них какую-то совсем незнакомую фигуру, скорчившуюся, полуголую, тоже прикрытую только шкурой оленя. Эта фигура, не обращая внимания ни на что, глодала мерзлую сырую оленью ногу...

— Юдик, Юдик! — бросился я к нему. Но он молчал и продолжал свое дело, держа кость неимоверно тощими, черными от грязи руками у самого своего рта.

Я дотронулся до его худого плеча, спросил о чем-то, но он, словно сумасшедший, пробормотал мне что-то, вероятно, не узнавая меня.

«Он сошел с ума!» — подумал я и с болью в сердце смотрел на эту скорчившуюся на корточках страшную фигуру своего друга, который теперь походил скорее на голодного зверя, чем на человека; он, лишенный, видимо, рассудка, был занят только тем, что было в его руках.

Я попросил самоедов, чтобы отняли у него кость; я стал говорить им, что теперь ему есть много опасно, что они умрут, наевшись досыта сразу, что им лучше нужно дать чаю, вина. Но самоеды молча стояли с вытянутыми лицами, видимо, еще не приходя сами в чувство перед тем, что они видят, что они вдруг узнали, проснувшись и сбежавшись на крик того, кто первый нашел Фому и его сына. Они только говорили, как они услыхали вой и лай собак, как они, засветив огонь, вышли и нашли в сенях умирающего бессильного старика; они передавали мне, как они втащили их в избу, как освобождали на этом грязном полу от смерзшихся страшных одежд, полных снега, как они усадили их на эти нары и дали им мяса, чтобы потом уже броситься ко мне за помощью... И все их рассказы, все их слова так и врезывались в сердце, мешая мне что-нибудь предпринять.

Но, наконец, я упросил женщин бросить стоять бесполезно перед несчастными и разогреть лучше поскорее воды, чтобы заварить чай; потом я попросил помочь мне — дать им хотя по одному глотку красного вина, чтобы согреть их дрожащее, замерзшее тело, которое самоеды напрасно хотели отогреть оленьими шкурами, накинув на их голые худые плечи.

Женщины бросились растоплять печку; я стал уговаривать старика Фому не есть больше мерзлого мяса и подал ему первую подвернувшуюся чашку красного вина, прося его поскорее выпить, чтобы согреться.

Бедный старик, все еще дрожа и всхлипывая от рыданий, бросился ко мне, обхватил чашку своими отмороженными пальцами и стал жадно пить, процеживая вино между зубами. Но вдруг он остановился и со стоном протянул свою руку к Юдику, вероятно, вспомнив сына, жизнь которого ему была, видимо, всего дороже... Я успокоил старика, сказав, что Юдику дам другую чашку, что у меня еще много вина, и Фома снова жадно припал к

чашке, едва проглатывая вино, но чувствуя, что в нем его спасение, его жизнь...

Кое-как удалось дать попить немного вина и Юдику, и после того они вдруг оба впали в какое-то полузабытье, сон, немощь, и мы стали их обмывать на полу теплой водой, обтирать их грязное, теперь согревающееся тело. Они подчинялись всему этому, как дети, только знаками показывая иногда, что теперь им хорошо, что теперь им страшно хочется уснуть и забыться.

И скоро, возясь так около них, мы согрели их окончательно и уложили в мягкие оленьи постели.

Юдик заснул моментально, только его положили, а бедный старик, казалось, все еще боролся со сном и что-то хотел нам сказать. Когда я закрывал его теплым одеялом и нагнулся спросить, не нужно ли ему еще чаю, он схватил мою руку, сжал ее, как мог, своими костлявыми пальцами и пробормотал:

— Спасите старуху!.. старуху... осталась... на Карской стороне... В снег мы ее с Юдиком зарыли... Жива ли... не знаю...

Голос его оборвался, и он снова заплакал.

Я совсем было забыл про бедную бабушку, и его слова страшно поразили меня.

Старик стал толковать самоедам, обступившим его при этой вести, стал называть им какую-то речку, какую-то гору, у которой они зарыли старуху.

Самоеды вдруг заволновались, заговорили, заохали, и в то время как старик засыпал, будучи спокоен, что спасут и старуху, все приступили к обсуждению вопроса, как мы будем спасать старуху, когда она лежит в снегу с несколькими кусками мяса и подохшей любимой своей собачонкой, которую я ей подарил этой осенью. Она лежала верстах в ста; дорогу туда знали немногие, место — еще меньше того, и нам пришлось немало обсуждать все это, прежде чем придти к решению немедленно отправить туда двух человек на лучших наших собаках.

Я собрал все, что необходимо для первой помощи, и утром, как только стала брезжить заря, мы проводили своих разведчиков в дорогу на паре санок, которые скользнули по мягкому снегу только что стихшего бурана и быстро исчезли в темноте.

Нам стало спокойнее: мы верили, что они ее отыщут.

Но после полудня снова заревела буря; в воздухе за-

кружился снег; на дворе стало темно, как ночью, так что, кажется, не вышел бы на улицу и на десять сажен от дома.

Вечером буря разыгралась настолько, что у всех была одна мысль, что наши разведчики погибнут. Женщины плакали, дети не знали, что делать, а самоеды толковали, вспоминая, как трудно в такое время бывает в дороге. Мне было так же страшно оставаться с мрачными думами одному, как слушать их рассказы про те страдания, какие выносят они в такие погоды, застигнутые бурей в пути.

Я долго не мог уснуть в эту ночь, прислушиваясь к буре. Крыша дома трещала, печка вздрагивала; окна так обхватывало снегом, словно в них кто бросал его лопатами. По комнате, казалось, ходили вихри, и огонек моей лампады бросался в разные стороны, разбрасывая тени по всему кабинету. Как вдруг ночью ко мне снова, как и вчера, вбегает женщина и говорит:

— Воротились наши!.. Чуть сами не попали в погоду... собак потеряли. Беда, какая погода!..

И прежде чем я успел сообразить со сна, что такое случилось, она уже убежала с этой вестью.

Выскакиваю из комнаты, бегу на двор и застаю там группу самоедов, среди которой стоят с шестами в руках два наших разведчика, занесенные с ног до головы снегом, и рассказывают остальным, как они блудили, как, наконец, выбившись из сил, остановились, чтобы зарыться в снег и переждать бурю, и как потом, спустивши собак, потеряли некоторых из них, потому что бедные животные, сбитые с толку бурей, не зная, что делать, бросились в горы и пропали там бесследно. Рассказывая это, они больше всего жалели одного черного мохнатого водолаза, которого только что этой осенью я вывез из Архангельска и который страшно выл, когда увидал, что пароход уходит без него в море: водолаз словно предчувствовал, что ему не воротиться больше с этого полярного острова к теплому югу.

Потеряв несколько собак, самоеды, разумеется, не могли дальше пуститься в дорогу и воротились, чтобы запастись свежими собаками. Мы обогрели их, снабдили еще кое-чем на всякий случай, и они утром снова отправились в путь на розыски бедной старухи. Наступило снова томительное ожидание.

VI

Больные были в забытьи. Они спали целыми сутками словно наверстывая время, которое они проводили без сна, голодные, в дороге. Но в то время, когда старик поправлялся и, просыпаясь, хватался за пищу, бедный Юдик терял силы с каждым днем, почти совсем отказываясь есть что-либо.

Теперь он по временам приходил в сознание, улыбался мне, когда я сидел около его постели, слушал мою речь, узнавал людей; но как только вспоминал, что нет около него матери, которую он, помнит, оставил живой в снегу, на берегу Карского моря, он начинал беспомощно метаться в постели, стонал, обливался слезами и засыпал только тогда, когда впадал в счастливое для него теперь забытье.

У нас разрывалось сердце при виде его горя, и мы думали только о том, чтобы поскорее его успокоить: мы видели, как тает его жизнь; мы догадывались, что он уже у могилы, и теперь желали только одного, чтобы он перед смертью увидал свою мать, прижал бы ее к сердцу. Но ее все не было, а наши посланные все не возвращались...

В то время как Юдик болел, не вставая уже с постели, старик, его отец, скоро поправился. Однажды он пришел ко мне в кабинет, все еще хилый, все еще трясущийся, словно он промерз уже навсегда на морозе, все еще с испуганным, диким взглядом, и рассказал, что было с ними на Карском берегу после того, как они с нами простились и отправились искать оленей.

VII

Они ушли от нас тогда с небольшим запасом хлеба, надеясь исключительно на тех оленей, которые им встретятся на пути и на берегу Карского моря. Но вот они прошли поперек весь остров и не видали в горах даже следа оленей; вот они приходят на берег моря — и тут тоже нет их и признаков. Море замерзло, как и здесь; на тюленей нет надежды, белых медведей нет и следа, и даже песцы, маленькие полярные лисички, которые обыкновенно любят бегать по ночам около жилища человека,

желая что-нибудь утащить съедобное,— и те куда-то убежали прочь, вероятно, почуяв голод.

Юдик с отцом призадумываются, но, однако, ставят чум на берегу моря, чистят ружья и отправляются на другой день на промысел, думая еще отыскать оленей. Но сколько они ни бродят по глубокому снегу, нет даже следа оленей. Тогда они снимаются и идут дальше к северу, полагая, что туда перекочевал олень. А между тем маленькие дни с одной зарей становятся еще меньше; наступает почти беспросветная ночь, а бури делаются одна после другой ожесточеннее, страшнее... Подвигаться по глубокому снегу трудно. Проходит неделя за неделей, бури еще страшней, провизия выходит, и путники уже сами тащат с собаками свои санки, побросав все лишнее, что было тяжело и бесполезно. Скоро собакам перестали давать хлеба; скоро они совсем отказались тащить санки старика Фомы, где у него лежал чум — единственное их пристанище и надежда в бурю. И вот старик со слезами на глазах заколол одну собаку и отдал ее другим, чтобы они подкрепили свои силы и помогли ему тащить чум.

Но собаки не захотели есть своего брата и только сели кругом его и так страшно завыли, что старик готов был провалиться сквозь землю от этого страшного воя, который словно предсказывал ему горькую участь...

После этого стала пропадать одна собака за другой. Старик с Юдиком в ужасе тащили санки уже одни. Снег был очень глубок, и, выбившись из сил, они подвигались так медленно, что делали только по пяти-шести верст в сутки, оставляя каждый день за собой в снегу мертвую собаку. Это было ужасно: они теряли тех, на кого еще была надежда. Вместо того, чтобы спать, они не смыкали глаз по целой долгой ночи, а утром снова или тащили санки или бродили около чума, чтобы хотя что-нибудь достать на промысле, хотя для собак немного мяса. Но кругом их ни души; остров словно вымер, и даже белой совы и той не было, тогда как она почти повсюду встречается на этом острове. Собаки им не давали минуты покоя: прося пищи, они подходили к ним и лизали их руки; они по часам сидели перед ними, словно спрашивая, когда все это кончится; они выли ночами перед чумом, и было так страшно тогда, так страшно, что Юдик рыдал как ребенок, а старики затыкали себе уши, чтобы не слышать этого воя собак, и падали в постели и тоже плакали.

Ночью они не решались даже выходить на двор, потому что боялись собак, чтобы они их не разорвали, одичав от голода. Наконец, собаки почти все перемерли, и осталось у них только две ездовых и одна маленькая собачка, с которой бабушка, кажется, тайком делилась последней своей крошкой хлеба. Приходила пора умирать и старикам с Юдиком: хлеб кончался, пищи больше не было, и они питались только сухарями, и то съедая их только раз в день после утомительного пути. Старик Фома решил сделать еще одну последнюю пробу — сходить в горы и взял с собою Юдика с ружьем. Идут в горы, залезают на одну из них повыше, чтобы посмотреть, нет ли где оленей, взбираются, вглядываются; но перед ними одна страшная пустыня, которую они никогда не видали; они даже не знают, куда зашли, далеко ли отсюда до нашей колонии... Упал старик на месте на камень и заплакал. Горько стало, тяжело... Стал уже думать о смерти и готов был умереть, да только жаль ему стало Юдика со старухой! Он не знал, за что они страдают, за что они должны умереть... Когда они стали спускаться с горы и направились в свою сторону, вдруг перед ними очутился, словно чудом каким, олень, тощий олень, который прямо шел в их сторону, пошатываясь так же, как и они с Юдиком, от голода... Они не верили сначала глазам, они пали оба в снег, чтобы он их не увидел: от него ведь зависела их жизнь, в нем были их надежды, и старик так обрадовался, так был взволнован, что даже отказался первый стрелять, предоставив все сыну.

Я не буду описывать их радости,— она понятна. Они дотащили почти целиком этого оленя до своего чума, и первое, что сделали, накормили оставшихся собак, которые встретили их еще далеко от чума, уже слыша кровь зверя.

Этот тощий олень был их спасением. Они потащились теперь в горы, чтобы пересечь их и попасть к нам в колонию; но случилось не совсем так, как они предполагали.

Беда шла за ними по пятам: снег оказался таким глубоким, что не было сил двигаться; оленя хватило ненадолго: его почти всего поели собаки. Наступил опять голод; собаки окончательно примерли, умер и маленький пес старухи; но она не решилась бросить его на пути, как других собак, и почему-то тащила труп его за пазухой, словно еще надеясь, что он оживет...

Наконец, в горах они выбились из сил, санки стали, и старуха приказала им зарыть себя в снегу, чтобы самим добраться до колонии. Это был единственный исход. Она не боялась смерти, она хотела, чтобы был спасен только ее сын, и благословила его в путь, уверяя что она продержится живою долго, пока они не возвратятся из колонии. И они зарыли ее в снегу, в сугроб, а чтобы не потерять ее среди этой пустыни, поставили над ней шест, так как ее могло всю занести снегом. Было ужасно, когда они прощались и с рыданьями уходили от этой живой могилы.

Как они шли в горах, как они там ночевали, как страдали от голода и бурь, как блудили,— они уже не помнят... Старик помнит только одно, что Юдик не раз падал на снег и просил его бросить; старик помнит, что Юдик не раз на коленях умолял оставить его, чтобы он мог хотя умереть спокойно, потому что ему было тяжело и холодно; но старик не оставил его и силой тащил его за собой, за руку, или просто волок его по снегу, когда он уже не мог двигаться сам. Он, как оленя, вносил его на гору; он как какую-нибудь вещь стаскивал, волоча за собой, его с гор, и в таком виде, голодный, усталый, измучившийся, наконец, увидел колонию подошел к своему дому и тут упал без сил, только крича, чтобы его спасли от смерти. Его сил хватило только до порога, через который он уже прополз один, оставив Юдика почти без чувств. Он не мог даже постучаться в двери, так как совсем уже лишился сил. Тут его и нашли ночью самоеды, когда наши собаки подняли лай, заслышав чужого человека.

VIII

Только через восемь суток после того, как явился Фома с Юдиком, воротились наши посланные.

Был вечер. У меня сидели самоеды, не переставая на тысячу ладов говорить о розысках старухи. Мы думали, что пора уж ехать разыскивать наших посланцев, как вдруг залаяли собаки, им откликнулись другие, со стороны,— и к нашему дому, только что мы выскочили, подъехали и остановились санки, на которых завернут был словно труп. Это привезли бабушку, и проводники ее сказали нам, что она еще жива...

Бабушку живо отвязали от санок и, как спеленатого ребенка, внесли в дом.

Когда раскрыли оленьи шкуры, в которых она была завязана, то старуха оказалась живехонькой и даже улыбалась. Оказывается, она преблагополучно пролежала в снегу больше недели, и только когда пришли к ней люди, она вообразила, что это бродит смерть, и так перепугалась, вылезши из снега, что тут же повалилась в обморок, думая, что умирает. Ей все мерещилось, что кто-то ходит вблизи; она часто выползала и подолгу сидела у своей норы, вглядываясь в горы; ей все слышались колокольчики, скрип снега, лай собак; к ней не раз прибегали белые лисички, и она была так рада им, что кормила их, бросая чуть ли не последние куски мяса, которое она берегла себе... И ей жаль было, когда лисички убегали в горы, хотя она хорошо знала, что умри она — и они будут обгладывать ей нос, уши и потом к весне, теплой весне, съедят ее всю, не оставят даже косточки на месте. Порой ей слышалось, что около нее ходит белый медведь, нюхает ее снежную хижину, и она замирала от страха. Порой она засыпала, и ей снилось, что она в тепле, со своим Юдиком, и слушает, как он читает вместе с стариком псалтырь, хотя это был только однообразный шум бури, которая выла над нею целыми сутками, занося ее еще глубже в эту молчаливую, снежную могилу. Она говорила, что ей совсем не было так страшно, как мы предполагали: она ни минуты не сомневалась в том, что ее спасут; она верила, что старик доплетется до колонии, и только жалела, сильно жалела, и боялась за Юдика, которого страшно любила. И только что ее раскутали, только что ее распеленали от оленьих шкур, как она бросилась к Юдику и пала на его раскрытую грудь.

Юдик уже был слаб, он почти не узнавал ее, разметавшись в горячке, которая его захватила после всего перенесенного; он только что-то шептал в бреду, чего понять уже было невозможно.

Было тяжело видеть эту мать-старушку у постели своего сына. Она не отходила более от него ни на минуту, и, заходя в их чум, часто можно было видеть, как бедные старики сидели у постели сына, не сводя с него глаз, думая какую-то грустную одну и ту же думу.

Через неделю Юдик тихо скончался.

IX

Буря сразу стихла, и утром, когда мы проснулись, была такая тихая, теплая погода, ветерок с юга принес такую оттепель, с моря доносился такой тихий ропот волн, что словно все, что мы только пережили, был сон, а не действительность; и казалось,— доживи наш бедный Юдик до этого утра, вдохни этот соленый, освежающий теплый воздух, перед которым так чутко раскрывается грудь,— и к нему бы воротились силы, и злой недуг оставил бы слабый, истощенный его организм.

Но Юдика уже не существовало: его труп лежал в переднем углу, и старик, его отец, уныло, монотонно читал у его изголовья псалтырь, засаленную псалтырь, которую он словно только для того и выучился читать, чтобы прочесть ее перед трупом своего сына.

Но оттепели, оттепели, которой мы все так обрадовались, хватило только всего на один короткий день: ночью наступила страшная стужа, снова завыл буран, и еще ожесточеннее завыли вихри, срываясь с гор и занося окончательно снегом нашу одинокую колонию.

И немудрено: была середина полярной ночи; мы уже полтора месяца не видели солнышка; море замерзло и точно ушло от нас далеко-далеко, а кругом была такая темнота, глухая, страшная, что, казалось, земля уже перевернулась, и к нам никогда не воротится красное солнышко с его золотистыми лучами.

Самоеды упали духом, боялись выходить на улицу, чувствуя, что поблизости, как зверь, ходит смерть; некоторые даже заболели, и цынга,— страшная болезнь севера, когда человек погружается в невольный сон и так и умирает, заживо разлагаясь,— вот-вот, казалось, захватит нас, и мы вымрем все, как это случалось не раз с экипажами морских судов, которые останавливаются зимовать у этого полярного острова.

Смерть Юдика, казалось, только была началом; все ждали, что туда же, в могилу, пойдут и старики, затем заболеют с тоски и ужаса и другие, и будет общая паника, общая повальная смерть. Поднять дух стариков было трудно. В их чуме все говорило о смерти; сколачивали из досок гроб, делали приготовления к похоронам, копали могилу, и, заходя туда в какое угодно время ночи, можно было слышать только одно монотонное чтение старика

Фомы, который, казалось, забывался в этом чтении, читая у трупа Юдика не переставая день и ночь.

Тут же, около Юдика, всегда сидела и его бедная мать, не сводя глаз с его воскового бледного лица.

Было ужасно видеть эти две фигуры, тощие, потерянные в горе, словно ушедшие всем своим существом в эту вытянувшуюся фигуру бедного мальчика, освещаемого лампадой.

Как мы ни торопились поскорее схоронить Юдика, это было невозможно. Старики не хотели с ним расставаться; Фома непременно хотел прочитать всю псалтырь, которую бы ему хватило еще на добрую неделю, так как он с трудом разбирал слова, потеряв окончательно зрение и вооружившись уже стеклом от моего старого бинокля. Могилу выкопать не было никакой возможности, потому что земля была мерзла, как камень, и мы решили просто отпеть Юдика и поставить пока его гроб в сени, чтобы сохранить его там до весны, что часто делают самоеды. Они обыкновенно зарывают в таких случаях покойников до весны в снежный сугроб. Мы то же хотели сделать и с Юдиком, но старики решительно воспротивились, страшно боясь, чтобы туда не повадились бегающие ночами кругом песцы и не поели что у бедного Юдика. И мы поставили гроб его в сени.

Это страшно всех беспокоило: суеверные самоеды боялись выходить ночью на улицу; дети дрожали от страха, проходя мимо места, где стоял гроб; но всех тяжелее было старикам, которые почти не отходили от гроба день и ночь, сидя на крылечке даже в непогоду и безучастно смотря перед собой в море.

Так прошло несколько недель, так мы встретили снова появившееся солнышко, так мы встретили первые признаки весны, и только тогда, при свете солнца, когда оно в первый раз облило этот остров своими красными лучами, была, наконец выкопана около нашей колонии могила и был поставлен большой крест над могилой Юдика, который смастерил, чудно смастерил ему сам старик Фома Вылка.

С появлением дня все изменилось в природе: солнце день ото дня стало больше и больше оставаться на горизонте, появились первые прилетные птички, в открытом море снова загудел птичий мир, на голой черной скале запел снежный белый жаворонок, в синем небе закру-

жился орел, лед унесло, и у берега заплескалось море, и снова наступила чудная пора этого острова, когда он вдруг пробуждается от сна, словно желая наверстать потерянное время.

Только не просыпался один Юдик, и у могилы его каждое утро можно было видеть пару дряхлых стариков, которые молча, о чём-то думая, смотрели в море.

ТАНЯ ЛОГАЙ

Рассказ из путешествия по Северу

I

На Новой Земле у меня есть одна знакомая самоедская девушка, которая, будучи тринадцати лет, уже била белых медведей.

Эту замечательную девушку все знают на этом полярном острове; зовут ее Таня Логай.

В первый раз я с ней познакомился зимой 1887 года.

Однажды в зимний коротенький денек, когда вместо солнечного света в замерзшие окна заглядывали к нам полярные сумерки, а на дворе шел снег, мы вдруг услыхали под окнами нашей зимовки громкий лай целой стаи собак. Это было верным признаком, что приехал к нам кто-нибудь из самоедов.

Действительно, через какую-нибудь минуту вместе с облаком холодного пара вошел к нам в комнату весь в снегу, в широкой мохнатой оленьей малице-шубе, с громадной, пришитой к ней шапкой, маленький, юркий, веселый самоед Логай.

Он зимовал от нашей колонии верстах в двадцати, на берегу одного широкого залива, где стояла его маленькая избушка, и мы тотчас же догадались, что он приехал к нам в такую погоду по какому-нибудь важному делу.

С трудом освободившись от своего теплого костюма, в котором смело можно решиться заночевать в какой угодно мороз прямо на снегу, он нам сообщил новость: у него родился недавно сынок.

Угостив нашего гостя чаем, мы собрались вечером в путь, потеплее закутавшись в самоедские шубы. На дворе стоял мороз, и к тому же с утра порошило снегом, и пробегали вихри, поднимая и крутя в воздухе снежную пыль. Около дверей нас уже с нетерпением поджидала пара низеньких самоедских санок, в которые было запряжено по целому десятку разношерстных самоедских собак. Они нетерпеливо потявкивали, старались освободиться от легких ремешков — лямочек, которыми их привязали к санкам с надетыми на шеи петлями, что-то вроде хомутов, и были очень рады сорваться с места; как только их вожаки взяли длинные хореи — палки и предложили нам покрепче сесть и держаться. Мы сели, закутались и, при оглушительном лае собак, которые от радости чуть не передрались, быстро скользнули из колонии на лед залива и понеслись, прыгая по изрытому ветром твердому снегу, вдоль высоких скалистых берегов моря.

Я очень люблю езду на собаках. Маленькие длинные низенькие саночки, десяток разношерстных пушистых, с загнутыми на спину хвостами, собачек, которые так забавно вытянутся на ходу во весь рост, приподнимут веселые мордочки, поставят торчком уши, их поспешный бег, их оживление, высунутые языки, порой, на бегу, маленькая драка,— все это делает поездку такой необычной, такой оживленной, веселой, что ее не скоро позабудешь. Легкие санки неслышно скользят по твердому, убитому ветром снегу, скачут по льду, поднимаются на берег, пересекают голый скользкий лед озерка, речки, летят стремглав под гору, раскатываются на поворотах, перепрыгивают через камни, слетают с сугробов.

При всем этом не нужно забывать, что на Новой Земле нет не только какой-нибудь дороги, но даже и тропы. Быстро, порой во весь собачий опор несутся впереди запряженные веером собаки. Они и без дороги хорошо знают, как и их вожак-самоед, куда надо держать путь; им совсем не тяжело тянуть за собой санки с двумя седоками, и порой, когда мы пересекаем свежий след песца, лисицы, им даже хочется попробовать догнать зверя. Но длинный тонкий шест самоеда, которым он то правит, то тормозит с горы санки,— этот шест направляет собак снова на настоящий путь, и они, позабыв уже песца, снова бегут вперед, и мы неслышно несемся при слабых сумерках вечера в полярной пустыне.

Порой, чтобы дать вздохнуть собакам и поправиться самим, обтереть от снежной пыли лицо, мы останавливаемся. Собаки тогда садятся в кружок, ластятся к нам, охорашивают свои пушистые лапки, а мы прислушиваемся, как шумит в горах ветер, как стонут в море под берегом льды, как треснет что-нибудь от мороза в речке... Минута, и мы снова несемся дальше.

Двадцать верст промчались в каких-нибудь полтора часа, и даже меньше, и вот уже мы на том самом широком пустынном, с высокими снежными горами по бокам, заливе, где зимует самоед Логай.

Вот впереди на низменном, едва видимом берегу мелькнул огонек. Собаки оживились и с лаем бросились туда во весь дух. К ним навстречу выскочили и несутся другие, и мы, все в снегу, в облаке снежной пыли, влетаем на берег и прямо останавливаемся чуть не в самых сенях зимовальной избушки.

Какая маленькая хижина, где живет этот самоед! Она почти вся вровень с крышей занесена снегом, как стенами, обложена сугробами, и только крыша одна да дымовая труба, из которой теперь валит тихонько серенький дымок с искрами, говорят о том, что здесь живут люди.

Через целый сугроб снега мы скатываемся в сени, вползаем в избу и видим бедную обстановку жилища самоеда. Оно всего в пять шагов длины; впереди видно маленькое оконце, заткнутое тряпицей, по бокам тянутся нары с мягкими постелями из оленьих шкур. При свете ночника с тюленьим салом и воткнутым туда лоскутом тряпицы мы разглядели, что на нарах сидят в ряд в оленьих мохнатых костюмах, с шапочками на головах, пять маленьких ребятишек, которые с любопытством нас разглядывают, засунув, разумеется, пальцы в рот; вместе с ними — пара молодых щенят, которые составляют постоянную компанию детей.

Против них в углу топится очаг, а перед ним стоит жена Логая, которая так нам обрадовалась, что не знает, как и чем нас встретить. Дым от очага прямо поднимается кверху и так густо застилает потолок, что его совсем не видно.

Мы с трудом освободились от тяжелых костюмов и только тогда рассмотрели, что в одном углу сидит, не смея пошевелиться, та девушка, которую мне так хотелось давно видеть.

Таня совсем еще ребенок, невысокая, с круглым смуглым личиком, которое так красили черные глаза, застенчивая. Она, казалось, совсем не видала людей и была готова при первом же слове спрятаться или убежать из дому. Но ее костюм так оригинален, что мы невольно засмотрелись. (Через три-четыре года Таню выдадут замуж, и ее наряжают, как будущую невесту.) Она была одета в олений, расшитый разными цветными сукнами костюм, с яркими красными, синими, зелеными, желтыми ленточками, которые торчали повсюду среди шерсти, с замысловатыми узорами из разноцветных шкурок по подолу. Ее косы были унизаны разноцветными бусами, колечками, даже какими-то медными пряжками, составляющими, несомненно, драгоценность для самоеда. Мы так засмотрелись на оригинальный наряд, что не могли отвести глаз. Девушка, разумеется, еще больше от этого стеснялась. Но, к ее счастью, в избу вошел ее отец, зажег привезенную от нас свечку.

Нас стали угощать, как гостей. Нам сварили уху из лососей, которых старший брат Тани накануне наловил с ней в ближайшем озере, угостили копченым оленьим мясом, которое нам очень понравилось после дороги и мороза, и мы стали расспрашивать самоедов, как они живут. Уже по самой обстановке можно было судить, что Логай живет не богато, как и большинство самоедов, но зато их жизнь была так разнообразна, так оживлена благодаря охоте, что я даже и теперь променял бы свою на их, хотя бы и на короткое время.

Как только выдастся тихий, без ветра денек, Логай с сыном, в другой раз и с Таней, отправляются на морской лед залива, к ближайшей полынье, где так часто показываются тюлени.

Охотники становятся вдоль края полыньи, прячутся за высокие льдины и ждут, когда на гладкой поверхности не застывшей полыньи покажется любопытная голова тюленя. Этот житель полярных льдов очень любопытен, и стоит только ему заметить на льду человека, стоит только слышать его шаги, как он уже появляется из-под воды, вытягивает свою круглую голову, и если человек его не пугает, а еще прячется и свистит, то любопытство и смелость тюленя доходят до того, что он подплывает к самому краю льда, еще более вытягивает толстую шею, еще сильнее вглядывается, кто спрятался там за льдиной, пока в его

голову не ударит пуля и он, опрокинувшись навзничь, затрепещется весь на минуту и потом всплывет уже трупом.

Тогда поспешно сталкивают маленькую промысловую лодочку, плывут к тюленю, вывозят его на лед, тут же обдирают лоснящуюся пеструю шкуру, а мясо бросают собакам. (Тюленью кожу хорошо знают школьники,— из нее делают ранцы.)

Порой Логай с детьми ездит в горы, где бродят олени, разыскивая белый вкусный мох среди россыпей, камней; здесь его не так глубоко заносит снегом, как в долинах. Высмотрев оленей, охотники подползают к ним на выстрел из-под ветра и стреляют в них из ружей. Перепуганные животные бросаются в сторону и исчезают где-нибудь за первым пригорком, недоумевая, что случилось: они редко видят, а часто вовсе не знают человека и не слышат выстрелов на этом пустынном полярном острове.

В другой раз, когда наступит весенняя пора, когда выдастся тихая лунная ночь, эти охотники едут вдоль берега моря, объезжают мысы, осматривают заливы и ищут там белых медведей, которые в это время любят выходить с пловучих льдов на берег, любят бродить в поисках тюленя на льду залива, любят кататься с горок, со снежных заносов, гоняться друг за другом и играть. И это самая лучшая охота, самое лучшее, незаменимое удовольствие, особенно, если охотникам удастся подкараулить медведя, догнать его на льду, спустить на него собак, которые займут его лаем, заставят его гоняться, кружиться в погоне за ними, благодаря чему охотнику легко удается подбежать и пустить в зверя верную пулю даже среди лунной ночи.

Но в охоте на медведя редко участвует Таня, хотя у нее есть свое, подаренное ей отцом ружье — винтовка, и она от всей души рада была бы ездить на охоту, так как совсем не боится медведей. Но ее не берут на эту охоту, потому что боятся оставить ночью на долгое время свое семейство: по ночам часто ходят по острову медведи, и Таня, в случае прихода незваного гостя, что случается далеко не редко, может защищать семью от нападения.

Чаще всего Таня занимается охотой на песцов, на тех маленьких белых пушистых лисичек, которые сами прибегают по ночам к зимовке, забегают даже, случается, в сени, тащат оттуда все, что только попадется, и нисколько

не боятся ни человека, ни собак, с которыми даже порой устраивают игры.

В стороне от зимовья Таня ставит на песцов капканчики, кладет в них для приманки кусочки тюленьего сала. Песцы, разыскивая пищу, заслышав лакомый запах, бегут к приманке и попадаются в капканы.

Каждое утро Таня осматривает эти капканы со своим маленьким любимым братишкой Костей. Порой они застают около капканов, даже при свете дня, песцов, которые, повидимому, нисколько не опасаясь людей, ни за что не хотят бежать в горы без своих товарищей, тоскливо сидящих в капканах, с прижатыми холодным железом лапками.

Так как песцы кусаются слабо, а часто и совсем не сопротивляются, позволяя себя взять в руки, то Таня берет их рукавицей за шею, освобождает с помощью брата из капканов и идет обратно домой с живой ношей, которой так всегда бывают рады ее братишки; для них забава с песцами — любимое дело.

Случается, что некоторые из молодых песцов так привыкают к людям, что приживаются, как собаки, бегают по хате, играют со щенятами и спят вместе с своими маленькими хозяевами, даже не думая о свободе, где и холодно, и голодно в зимнее время. Другие, быть может, и убежали бы снова на волю, но так страшно боятся собак, что не смеют даже сунуть носа в сени.

Одного из таких любимцев показала нам Таня во время нашего разговора с нею. Она его с трудом разыскала за печкой, куда он, вероятно, со страху при появлении незнакомых людей, забрался. Зверек был так выпачкан в пыли и грязи, что его белоснежная шкурка и пушистый лисий хвост скорее походили на цвет серого зайца. Он любопытно смотрел на нас карими веселыми глазками, тянулся из рук и, когда мы дали ему кусочек вареной говядины, жадно схватил ее и заковылял, сгорбившись по-лисьи, снова за печку, где, вероятно, ему казалось и спокойнее, и теплее.

Мы, помню, с восторгом слушали Логаев, торопившихся нам рассказать, как они коротают зиму. Эти постоянные охоты, поездки на море, в горы, домашняя, полная разнообразия жизнь, этот интерес к окружающим их полярным животным,— все это заставляло посидеть у них подольше и послушать, посмотреть, как они живут совер-

шенно одни на этом берегу залива, где сначала кажется так дико, печально, грустно, при взгляде на бедность жилья, на суровость природы Севера.

Но главного, что нам хотелось так услышать — как Таня убила белого медведя,— нам она все-таки не рассказала. Как только мы коснулись этого важного для нее воспоминания и попросили ее передать нам хотя немного подробностей, она вдруг, вспыхнув румянцем, быстро скользнула в угол и скрылась, как и ее песец, за печкой.

Сам хозяин Логай не мог, к сожалению, передать нам все подробности этого замечательного события, прославившего на всю Новую Землю маленькую самоедскую охотницу: он был в это время вместе со своим старшим сыном Иваном на промысле, в море, а дома оставалась одна его жена с Таней и ребятишками. Но наше любопытство все же было удовлетворено рассказом его жены, которая хоть и плохо говорила по-русски, но понять ее все-таки было можно.

II

Это событие случилось как раз год тому назад.

Так же, как и сейчас, Логаи зимовали тогда в такой же маленькой зимовальной избушке, находящейся на берегу одного широкого морского залива, но только много южнее, на так называемой Гусиной Земле. Это — большая низменность на западном берегу Новой Земли, куда в летнее время прилетает масса гусей, которым нравится тамошнее приволье и озера,— потому-то и прозвали так эту землю.

Как и теперь, зимовальную избушку Логая занесло вровень с крышей снегом, и только в сторону моря она была свободна от сугробов и смотрела туда одиноким крошечным оконцем. На ночь, когда бывало холодно, оконце затыкали тряпицей, а днем для свету вставляли в него льдинку, сквозь которую и проходит слабый свет в хижину.

Однажды рано утром, как только забрезжилась заря, Логай с сыном Иваном захватили с собой ружья, лодочку, запрягли собак и уехали на море промышлять тюленей. Дома остались только женщины да ребятишки, да еще с ними две собачонки. Ребятишки поели каши, заползли на постели и давай играть со щенками, а мать с Таней занялись чем-то у печки. Не прошло и часа с тех пор, как уехали охотники, вдруг окошечко брякнуло на пол; стало тем-

но, и к ним в избенку просунулась огромная голова белого медведя... Просунул он голову в оконце и смотрит блестящими глазами... Затем потянул носом, фыркнул и зарычал...

Мать с Таней отскочили в угол, стоят и смотрят на медведя. Так он их перепугал, что даже с места они сдвинуться не могут: «ну, думают, съест...»

Ребятишки закричали, бросились с постелей, кто — за печку, кто — под кровать, кто — к матери; щенята с визгом за ними, собаки залаяли. Жена Логая закричала, и неизвестно, что было бы, если бы в это время не нашлась наша Таня. Она быстро подскочила к огню, выхватила оттуда пригоршню углей и, размахнувшись, бросила ими прямо в страшную голову зверя. Тот, вероятно, не ожидал такого нелюбезного приема со стороны хозяек, зарычал и вытащил голову из окошка. Слышно было, как он поскребся немного около угла и, не желая больше заглядывать в окно, залез по сугробу на крышу. С потолка посыпался песок, когда медведь зашагал по крыше. Думали, что он продавит потолок, провалится в избушку, задавит и съест всех; но, к счастью, он там нашел тюленьи шкуры, стащил с крыши и начал их грызть, как раз против самых сеней. Сунулась было жена Логая запереть двери в сени, а он тут как тут, у самых дверей.

Видит Таня, что дело плохо, вытолкнула к медведю пару собак,— может, они его отгонят. Но собаки были плохие, перепугались медведя так, что с визгом удрали на залив, а оттуда — чуть не за версту, и лают на него, зачем он пришел к ним на зимовку... На собак, значит, надежда плохая. Стащила Таня поскорее со стены старое отцовское ружье, зарядила его пулей и решилась стрелять. А ребятишки вцепились в мать и ревмя-ревут, не дают ей и поворотиться, не то что помочь чем-нибудь Тане...

Но только что Таня завозилась с ружьем, отыскивая пистоны, как медведь снова появился в окошке, еще дальше просунув голову, так и ломится в избушку. Но тут уж в его белую громадную голову полетела целая головешка. Крякнул он, помотал головой перед окошечком и опять полез на крышу. Нашел там опять что-то, снова сполз вниз и ест недалеко от избушки. Высунулась Таня в сени, видит — нет его там, захлопнула поскорее сенные двери и стала смотреть на двор. Видит — медведь недалеко, гложет тюленьи шкуры, только клочья летят.

Тут ей страшно захотелось выстрелить в зверя. Просунула она в щель ствол винтовки, прицелилась, выстрелила и убежала в избу... Слушают, выглядывают в оконце,— ничего не видно. Приотворила Таня двери в сени, выглянула на двор, а медведь как ни в чем не бывало рвет да ест тюленьи шкуры. Ухватится лапами за один конец шкуры, прижмет к снегу, возьмется зубами за другой да так и отдирает, а сам все посматривает на избу, нельзя ли туда зайти и съесть ребятишек.

Таня бросилась в избу, опять зарядила пулей винтовку и пошла в сени стрелять медведя... А он как раз уже стоит перед самыми дверями и пробует их отворить лапой... Выстрелила она в него в упор, не помня себя, убежала в избу и держит ручку дверей, думая, что медведь бросится за нею... Но в сенях ничего не слышно.

Затихли все. Прислушиваются... Проходит так несколько минут и зверя как будто не стало. Зарядила Таня еще раз винтовку, выглянула в сени, а медведь лежит у самых дверей мертвый.

Долго они не смели подойти к подстреленному зверю. Долго он еще вздрагивал, ворочался, скреб широкими, мохнатыми лапами снег, но, наконец, совсем затих. Только теперь прибежали собаки и, набравшись храбрости, стали лаять на убитого медведя, потом набросились на него и начали его грызть, теребить за уши. Но тут, видно, поняли псы, что с мертвым воевать не стоит, бросили его и стали подлизывать кровь, которая лилась из раны на снег.

Ребятишки так перепугались белого гостя, что не только выйти, не смели даже взглянуть в сени. А Таня ликовала; она с гордостью в сотый раз обходила кругом зверя, пробовала поднять его мохнатую широкую лапу, пробовала стащить его с места, так как он как раз лежал у самых дверей; но зверь был так велик и так тяжел, что им и с матерью вместе не удалось стащить медведя с места.

Сам Логай, когда вечером воротился с сыном, даже глазам не верил, когда увидал, что белый медведь лежит в сенях у самых дверей избушки.

С этих пор Таня стала настоящей охотницей. Медвежью шкуру продали и купили Тане бус, платков, ленточек, в которых она теперь франтила перед нами, а отец ей даже подарил свое старое ружье. С этих пор ее стали

часто брать на море, где она охотилась не хуже брата, обдирала тюленей, ловко ездила на промысловой лодочке, лихо стреляла, соперничая со своим старшим братом в меткости стрельбы.

Но еще раньше в Тане заметна была страсть к охоте. Отец рассказывал, что она совсем еще маленькой девочкой уже обнаруживала некоторое пристрастие к ней.

Бывало, как только отец возьмется налаживать ружье, она уж тут как тут, сидит рядом, смотрит, как он заряжает или починивает, и расспрашивает, куда он хочет ехать, далеко ли это, надолго ли уедет, какого зверя привезет, где спят белые медведи и прочее. Ее все интересовало, и, бывало, когда наступит теплое время, вскроется море, прилетят гуси, зашумят с гор ручьи, он никак не может от нее отвязаться, берет ее с собою и везет в санках к морю, посадит там в лодочку и ездит с нею целый день по заливу, стреляя тюленей, гоняясь за водяной птицей, а она спокойно сидит себе в лодочке, следит за всем своими черными бойкими глазками и даже дом и мать забудет.

Таня ездила с отцом и в горы, когда он промышлял там оленей. Она даже не боялась оставаться там одна, когда отцу нужно было, подсмотревши оленей, оставить с ней собак с санками, а самому ползти, подкрадываясь к зверю. Однажды, когда Таня так оставалась с собаками, а отец ее ушел стрелять оленей, собаки, увидя последних, не выдержали, бросились от девочки, вырвали у нее вожжечку и убежали, оставив ее совершенно одну в горах. Она и тут не испугалась: залезла на большой камень, набрала камешков, стала ими играть и заснула. Отец ее очень перепугался, когда не нашел на месте ни дочери, ни собак. Помчался в горы, и там ее нет. Собаки убежали версты за три, и он их переловил, а Тани все нет. Только вечером нашел он ее на камне и увез домой.

Когда мы кончили разговоры и собрались домой, моим ямщиком на обратный путь оказалась Таня. Она проворно выправила собак в лямках, взяла длинный шест, крикнула собакам, те вскочили, бросились за первыми санками; она на бегу присела на передок, и мы понеслись с ней в сумраке ночи, оставляя снежный вихрь позади санок.

Только теперь я мог рассмотреть, какой лихой, живой человек эта девочка: она ловко правила собаками, быстро справляясь с ними на раскатах, и те, чувствуя над собой

ее длинный покачивающийся шест, зная ее руку, летели вперед во весь собачий дух, так что я держался обеими руками за санки.

И на каждом толчке раската, на каждом нырке сугроба только побрякивали ее медные цепочки, шуршали бусы и развевались по ветру ее ленточки... Я не мог налюбоваться на удаль этой молодой девушки, которой, казалось, больше доставляло удовольствия быть в роли мальчика, возиться с ружьем, чем сидеть дома, играть в куклы и забавлять маленьких братьев и сестер.

Через какой-нибудь час мы были дома, и я подарил моей юной приятельнице такой красный платок, какого она сроду не видала на Новой Земле.

Так кончилась моя поездка к Логаю, где я познакомился с этой замечательной маленькой охотницей-самоедкой.

III

Познакомившись с Таней Логай, я часто потом видал ее у нас в колонии, куда она подчас являлась одна-одинешенька, а то и с братом или с отцом за покупками, или просто повидаться, поболтать с знакомыми самоедами. У нее теперь были свои санки для разъездов, собаки, которые ее любили, потому что она их хорошо кормила, и все принадлежности охоты. Непременно с ней же неразлучно всегда было и ружье, которое она привязывала вдоль санок, в особом чехле, с порохом и пулями наготове.

В такие приезды она непременно заходила и к нам. Теперь она уже нас знала и меньше стыдилась. Придет, поклонится нам и станет скромненько у дверей.

— Ну,— спросишь, бывало,— Таня, как расправляешься ты нынче с белыми медведями, часто ли ходят они к вам в гости?..

Она засмеется.

— Как промышляешь, много ли тюленей убила, сколько песцов поймала в капканы?

Таня все подробно и обстоятельно расскажет. Пригласишь гостью чаю напиться (дома она редко пила чай, потому что отец не держал его, считая баловством этот напиток), и вот она оживится, расскажет, как она ездила с братом в горы, как он промахнулся в оленя, а она убила на бегу его пулей, как их чуть-чуть не оторвало от берега

на льдине и чуть было не унесло в море, когда они стреляли тюленей на льду залива, как они видели стадо моржей, белых дельфинов, когда прилетели первые гаги на море, когда слышали голос лебедя... Все это она знала, за всем следила, ей была мила, дорога эта природа полярной страны, где она родилась, ей понятен был ее язык, ее прелести. Она следит за всем, она не живет жизнью одного скучного чума — жилища самоеда, для нее есть другой мир, и она его любит. И странно, порой эта девочка, совсем еще не развившаяся, почти ребенок, низенькая, худенькая, заставляла нас заслушиваться ее рассказов; с ней было отрадно, весело, приятно.

Все самоеды тоже ее любили. Они утверждали, что Таня, действительно, хорошо стреляет.

— У нее твердая рука и счастье на зверя.

И, действительно, это была правда; не прошло и года с нашей первой встречи, как Тане опять посчастливилось поохотиться на белого медведя, тогда как другим самоедам не удавалось по целым годам даже в глаза видеть зверя.

В этот год Логаи зимовали очень далеко от нас, и я видел только один раз Таню. Они жили на берегу одного длинного мыса, выдавшегося в море в верстах полутораста от нас, и нарочно туда уехали еще по весне, чтобы поохотиться на белых медведей, которые, бродя зимой вдоль берегов Новой Земли, любят заходить на выдающиеся мысы острова. У них даже там проложена своя дорога — тропа в зимнее время.

Логаи и теперь промышляли преимущественно тюленей. Теперь у них не было избушки, потому что выстроить ее было не из чего, и они жили в кожаном оленьем чуме-палатке, в виде конуса, в котором зимовать еще страшнее, чем в маленькой избушке. Так как жилье их было далеко от полыньи, где они охотились, то приходилось складывать убитых тюленей на один мысок залива, который, как крепостная стена, возвышался над заливом, неподалеку от места их промысла. Мыс этот состоял из отвесных скал, куда только с двух сторон можно было подняться с моря по крутым неловким подъемам, словно нарочно высеченным в скале.

Стаскивая туда тюленей, Логаи укладывали их в кучи и были уверены, что медведи сюда не заберутся. Но оказалось напротив. Как только море замерзло, как только

нанесло к берегам пловучие льдины,— на них приплыли и белые пассажиры. Склад сала у Логаев стал заметно убывать...

Оказалось вскоре, что туда ходит не один медведь, а чуть ли не целый пяток. Как только Логаи приедут на мыс утром, смотрят,— уже десятка тюленей и нет; и нахожено, и наброжено по снегу. В одном месте видно, что ел сало большой медведь; там видно, что тащил тюленя маленький, а здесь — остались одни клочки шкуры... Мало того, что медведи ели запасы,— они еще здесь и забавлялись: поедят-поедят, а потом покатаются с сугробов на спине, поиграют, попрыгают около, а некоторые даже и спать тут улягутся; выроют себе за ветром ямы в снегу, и видно, что отлеживаются после сытного обеда.

Незваные гости грозили скоро совсем уничтожить склад сала, и Логаи решились их побеспокоить. Но как они ни старались захватить медведей ранним утром, как ни поджидали их поздним вечером, им никак это не удавалось. Медведи приходили на воровской промысел поздней ночью и уходили тотчас же, как забрезжит заря и со стороны зимовья послышится лай запрягаемых собак.

Оставалось одно: караулить их здесь, на месте, оставшись тут на ночь. Но решиться на такое дело было трудно: медведь ходил не один, ночь темна, стоит только промахнуться,— как зверь уже перед тобой и заносит широкую лапу.

В это же время, как нарочно, занемог сам Логай, и Тане со старшим братом приходилось одним отбивать медведей от склада сала.

Долго они придумывали, как им отвадить медведей лакомиться чужим добром; долго они обсуждали, как устроить ловушку, капкан или что-нибудь такое, чем бы можно было хоть испугать медведей; но ничего у них не выходило. Поставили они однажды старое заряженное ружье, взвели курок, протянули от него нитку, думая, что как только зверь станет подниматься по спуску, то заденет нитку, курок опустится,— и пуля угодит зверю прямо в лоб. Но оказалось, что пуля попала в скалу и медведей лишь рассердила... Таня с братом на другой день нашли от ружья одно только ложе и обломки, а сала убыло еще больше... Но на их счастье наступили тихие, светлые лунные ночи, и они решили подкараулить гостей на месте.

Взяли они свои ружья, зарядили их крепкими зарядами и отправились под вечер на скалу, куда ходили есть их сало медведи.

Там они сделали себе в снегу засаду над самым тем подъемом, по которому влезали на скалу медведи, где была уже протоптана целая тропа широкими медвежьими лапами, и засели.

Пока еще догорала румяная заря на темном горизонте моря, золотя пловучие льды, сидеть было весело; но как только наступили сумерки, с моря потянуло холодом и сыростью, пропала из виду дальняя зимовка, сумерки закутали и море, и горы,— охотники остались совсем одни в этом сыром, холодном полумраке, и стало им так жутко среди этой мертвой тишины, в этом одиночестве, что они готовы были уже бежать домой, если бы только это было теперь возможно.

А между тем скрип льдов под берегом, треск лопавшегося от мороза камня, шорох сталкивающихся в море льдов, осыпь снега где-нибудь под скалою — так волновали их, так тревожили, что им казалось, будто уже их окружили, идут к ним со всех сторон белые медведи, и не видать им больше ни дому, ни отца с матерью...

Вслушиваясь в эту тишину, вглядываясь в потемневший снег залива, Тане и брату уже ясно казалось, что вот идут со льдов медведи, вот остановились, прислушиваются, вот поднимаются на скалу,— и молодые люди, невольно пугая порой друг друга, схватываются за ружья, готовые бороться за жизнь до последней капли крови, замирая от волнения, так что слышно было, как колотятся в груди их сердца...

Но вот позади из-за горы показался отблеск света, еще немного,— и оттуда выкатилась полная луна и облила все таким серебристым светом, что заиграли лучами снега и льды, и стало даже весело...

Теперь все хорошо видно: и залив под снегом, и горы с снежными вершинами, мрачными скалами, и темная поверхность застывающей полыньи, с которой поднимается густой белый пар и тянется к берегу, тут же теряясь в морозном воздухе ночи. Теперь они могут видеть все, им совсем не страшно, только холодно, и они продрогли.

Но недолго пришлось нашим охотникам дожидаться к себе белых гостей.

Где-то недалеко послышались явственно тяжелые шаги... Всмотрелись Таня с братом в края льдов залива и увидали, что к ним прямо подвигается медленно что-то огромное, белое... То шел медведь и притом, видимо, старый, большой.

Он один. Он осторожен. Он часто останавливается на ходу, влезает на льдину, встает на дыбы и всматривается вперед, словно чувствуя, что там, в засаде, сидят люди... Затем опять идет. Идет медленно, широко размахивая громадной головой, уверенный, видимо, в своей силе, не боясь никого и ничего на свете. Охотники замерли. Таня говорила, что у нее даже волосы зашевелились от страха, когда медведь подошел к самой скале, остановился, стал всматриваться, потянул мордой воздух и фыркнул.

Они уже думали, что зверь их заметил и только высматривает... Стоит им шевельнуться, и медведь бросится на них. Но, к счастью, зверь их не заметил, и, постояв в раздумье под скалой с минуту, которая показалась нашим смельчакам вечностью, он так же медленно и уверенно полез вверх на скалу, по крутому подъему... Слышно было, как полетел из-под его лап камень, как посыпался снег... Но только что медведь поднялся до половины и высунулся из-за ближайшего камня, как мелькнул на секунду огонек, другой, раздались раз за разом два выстрела, и что-то, кряхтя, покатилось под скалу и там заворочалось, заворчало... Немного погодя все затихло...

Таня с братом схватили запасные ружья, взвели курки и, не смея сказать друг другу слова, не зная, что случилось, убит ли зверь, или надо ждать, что он очнется, бросится на них,— чутко прислушивались к тишине, которую только на миг нарушили слабо треснувшие в морозном воздухе выстрелы.

Была такая мертвая тишина, что, казалось, будто ничего и не случилось... Только дрожащие руки говорили о том, что произошло что-то страшное, что где-то около бродит, быть может, смерть...

Посмотреть под скалу, куда свалился медведь, было невозможно: скала отвесная, ночью как раз сорвешься... Вот они опять сидят с ружьями в руках, с взведенными курками, то посматривая вперед на спуск, то оглядываясь тревожно назад, все еще ожидая, что зверь очнется, подкрадется и бросится на них.

Но вместо него со стороны темной полосы морской

воды послышались шаги, и охотники увидали, что к ним направляются еще две белые фигуры.

Вот они подходят ближе, вот можно уже разобрать, что это медведица с годовалым медвежонком. Таня с братом знают, как злы бывают медведицы, и приготовляются встретить страшную гостью, спешно заряжая ружья.

Медведи идут прямо по следу первого. Они не останавливаются ни на секунду и, вероятно, полагая, что первый уже закусил, торопятся утолить и свой голод. Медведица идет впереди, молодой лениво тянется позади. Но вот он узнает место склада, бросается нетерпеливо вперед, бежит к подъему. Но тут его нагоняет мать и дает ему такого шлепка широкой лапой, что он кубарем летит прочь и стонет от боли... Вот медведи уж у самой скалы, вот их стало не слышно. Охотники замерли в ожидании. Они едва держат ружья. Проходят минуты за минутами, но звери не показываются. Вдруг Тане и брату приходит на мысль, что медведи взошли с другой стороны и, быть может, смотрят на них сзади... Они оглядываются, и, действительно, перед ними всего, быть может, саженях в десяти стоят медведи и, вытянувшись, в недоумении, не решаясь еще напасть, смотрят на них, готовые броситься. У охотников опустились руки; они видят, как блестят глаза медведицы, они видят, как поднимается у нее на спине шерсть, но у них нет силы поднять ружья, они застыли от ужаса, от неожиданности...

Раздался страшный рев, медведица стала на дыбы, медвежонок бросился назад... Тогда мать быстро, неожиданно повернувшись, скрылась за медвежонком под скалу, оставив в покое прижавшихся друг к другу охотников... Слышно было, как медведи ушли в море. Стало совсем тихо. Но Таня долго не могла успокоиться и рыдала на груди своего брата...

Под самое утро еще приходил один молодой медведь, но он их не заметил, не решился подняться на скалу и долго, до самого рассвета бродил около скалы, что-то нюхая и не давая заснуть утомленной, полузамерзшей и теперь равнодушной ко всему охотнице...

Утром охотники нашли под скалой, у самого подъема, наповал убитого медведя: обе пули попали ему в грудь, и смерть была моментальная.

Так закончилась эта памятная ночь, о которой Таня что-то не любит вспоминать и рассказывать.

Но этот случай, как можно было бы ожидать, не отбил у девушки страсти к охоте. Она все скоро забыла, страсть взяла верх, и вплоть до самого моего отъезда с острова (я прожил там еще два года) мне часто приходилось слышать, что Таня по-прежнему охотится, ездит за оленями, ловит в капканы песцов, стреляет в море моржей, белых дельфинов и даже перещеголяла на охоте отца и брата.

Самоеды просто удивляются ей и уж собираются сватать, но она ни за что не хочет менять своей свободы и ружья на чум и котлы и непременно хочет остаться девушкой и помогать старику-отцу поднимать на ноги ребятишек.

В последний раз я ее видел незадолго до своего отъезда. Она приехала к нам одна-одинешенька с берега Карского моря, где тогда зимовал ее отец. Это было, по крайней мере, в верстах полутораста.

Таня явилась не одна, а в компании с маленьким белым медвежонком, которого она привезла живым, поймавши его где-то там, в берлоге, после того, как они с братом убили медведицу.

Белый кавалер сидел у нее за спиной на санках, привязанный веревочкой, и что-то жалобно жаловался, вероятно, не привыкши кататься на санках с такой удалой красавицей.

Я стал ее расспрашивать про отца, про семью, про то, как они провели эту зиму, много ли убили белых медведей, много ли словили белых песцов. Все оказалось хорошо: охотились они там чудесно; зимой медведей была пропасть, чуть не каждый день бродили они кругом зимовки. Иной раз собаки спать не давали, гоняясь за ними, но было плохо одно, что ее отец болен и лежит вот уже целый месяц, а маленький ее любимец Костя, которого она уже таскала на охоту, недавно умер, и его похоронили на берегу Карского моря...

Таня очень любила братишку и теперь, вспомнив про него, заплакала...

Она погостила у нас день, накормила собак, запаслась припасами. Я послал ее отцу лекарства, сказал, что унывать не надо, болезнь пройдет, все поправится, простился с ней, и она, попрежнему веселая, беззаботная, выправила собак в лямках, крикнула на них, села в санки и в минуту скрылась за ближайшим мысом нашего залива.

После того мы уже с ней не видались и, вероятно, больше и не увидимся; но, вспоминая ее, я часто вижу перед собою худенькую, низенькую девушку с смуглым красивым личиком, с блестящими, черными, бойкими глазами, которая, может быть, и теперь носится привольно по своей пустынной и дикой родине на легких саночках, запряженных веселыми мохнатыми собачками, с привязанным ружьем на боку...

ЯХУРБЕТ

Из жизни на Новой Земле

I

Это было на острове Новой Земле, в самую полярную ночь, когда мы, единственные его обитатели, я и несколько семейств бедных самоедов — жители этого полярного острова, затерявшегося далеко в Ледовитом океане,— сидели и зимовали в маленькой полярной колонии — Малые Кармакулы, почти совсем занесенные снежными бурями.

На дворе постоянно, почти не перемежаясь, ревел страшный буран. В вершинах снежных серых гор словно неслись с шумом какие-то железнодорожные поезда от страшного в верхних атмосферах ветра. Из падей, узких глубоких долин, словно дым какой, неслись к морю беспрерывные снежные вихри, а море, даже наш ледяной залив, так скрипело, скрежетало, жалобно плакало полярными толстыми льдами, приводимыми в движение громадными волнами, что, казалось, оно совсем разрушит наш каменный, изглоданный уже веками берег.

Словом, была настоящая полярная ночь с бурями, ветрами, вихрями, штормами, жалобным, страшным воем и свистом ветров, когда полдень плохо отличался от самой темной полночи, и когда мы, вместо дня, видели только слабый рассвет на минуты. А порою были и такие дни, что мы не смели носа показать на улицу, без риска быть немедленно снесенными страшным порывом ветра под обрыв нашего берега, где шептались сердитые волны. И самое-

ды, жившие от нас всего в двадцати шагах, в зданиях колонии, были ограждены от нашего здания такими сугробами, которые были, пожалуй, выше дома. И только порой, когда вдруг затихали вихри бури и на горизонте юга загоралась слабая (точно утренняя) заря, мы осторожно выходили в снежные холодные сени, с трудом откапывались от навалившихся за дверью снегов, поднимались, как на бруствер какой, на снежный сугроб и оглядывали, что стало после бури.

В другой раз было жутко посмотреть, что сталось с нашею бедной зимовкой. Здания занесены, сугробы наравне с крышами, стены убиты мокрым снегом и забрызганы обледенелыми солеными брызгами. И мы, вылезшие на сугроб, его жители, казались какими-то привидениями в своих мохнатых белых оленьих костюмах.

— Живы ли вы? — кричали самоеды, появляясь из своих жилищ тоже перед сугробами. Мы отвечали: «живы еще» и справлялись: не заболел ли кто страшною цынгою.

Но и эти свидания порой были минутными: заревет снова остановившийся было страшный буран, грянет с ближайших гор страшный снежный вихрь, и мы ныряем с высокого сугроба и снова прячемся, чтобы нас не унесло в сердитое, ледяное, страшное море.

Вот в такое-то время, когда мы забыли уже о солнышке и даже не мечтали о тепле, появилась на свет от моей собаки маленькая собачка.

Спускаю с постели раз утром я ноги, разыскиваю в темноте мягкие олени туфельки, надеваю одну, начинаю надевать было другую, как вдруг там что-то такое мягкое, теплое и еще шевелится...

Я даже ахнул от неожиданности и поторопился убрать скорее с пола ноги. «Что такое за явление? — думаю.— Неужели в мои туфли забрались полярные мыши?» Прислушиваюсь: как будто дыхание слабое, и я решительно теряюсь в догадках.

Осторожно добываю огонь; осторожно, оглядываясь, зажигаю свечу на ночном своем столике, свешиваюсь и смотрю с кровати.

В моей туфле, оленьей теплой туфле, лежит какой-то неизвестный маленький пес, который залез туда и уткнул в нее свою мордочку и выставил за туфлю один хвостик, толстый, с белым концом, хвостик, который так насмешил меня своим странным положением, что я расхохотался.

— Яхурбет! — выругался я на арабском наречии и, заинтересованный окончательно этим явлением, спустился тихонько с кровати, склонился на пол, сел на разостланную у кровати мохнатую оленью шкуру и стал рассматривать, кто поместился в моей туфле.

Трогаю тихонько рукою,— ворчит. Трогаю осторожно за кончик хвостика,— увертывается. Глажу тихонько по шелковистой пестрой спине,— не шевелится. Пробую вынуть из туфли,— дальше залезает.

«Однако,— думаю я,— нам нужно познакомиться», быстро поднимаю туфлю и без церемонии вываливаю содержимое на оленью шкуру.

Смотрю: прекрасный породистый щенок, чистый водолаз самой лучшей породы, с блестящей шелковистой шерсткой, с красивой толстой мордочкой, разделенной белым пятном, как у настоящего сан-бернара, с пушистой волнистой кудрявой шевелюрой и с такими толстыми лапами, которые обнаруживают впоследствии большую, рослую, сильную собаку.

Я даже обрадовался этой неожиданной находке и решил тут же принять в нем горячее участие; и так как он страшно беспокоился, все ползал по оленьей шкуре и искал чего-то толстою своею мордочкой (как я догадался, тепла своей матери), я быстро взял его и устроил на своей постели.

Почувствовав тепло, он быстро успокоился, а я задумался, глядя на него, как он умело свернулся в клубок и стал засыпать у самой моей, еще теплой, подушки.

Потом осматриваюсь, откуда он взялся.

Оказывается, самым естественным образом. Он родился в соседней пустой комнате, потом, вероятно, найдя помещение это слишком для себя прохладным на голом полу, проник, разыскивая тепло, в мои приоткрытые двери, и тут нашел себе помещение в туфельке, которая только что оказалась ему впору.

Я удивился ранней догадливости щенка и за эту догадливость решил взять его к себе и вскормить во что бы то ни стало.

Что касается названия, то оно так и осталось за ним, как вырвалось у меня невольно.

На моей кровати был Яхурбет, о существовании которого я даже не знал за минуту.

II

С появлением на свет Яхурбета словно пахнуло на нас счастье. Погода, страшная погода сразу остановилась; вместо ветров на дворе была полная тишина, а на южном горизонте вспыхнула такая красная заря, что я залюбовался.

Словно море пахнуло весной, хотя до ясного солнышка было еще очень далеко. Бывает такая погода зимой: вдруг вскроется после бури бурное море, отдаст чистому воздуху все свое принесенное течениями с южных морей тепло, повалит мягкий снег, пробрызнет даже дождик, поманит человека весной и теплым воздухом и снова заморозит.

Я знал это явление и наслаждался им, когда весть об Яхурбете уже разнеслась в колонии и ко мне в комнату прибежали самоедские дети.

— Покажи собачку! — кричали они, блестя глазками, ясные, веселые. Я провел их в свой кабинет, и они приветствовали по-своему маленького Яхурбета.

У одной красивой смуглой девочки в оленьей, расшитой ленточками шубке даже заиграли глазки, но я устоял перед искушением и не отдал, не подарил ей Яхурбета, как она об этом ни заговаривала.

А днем ко мне явилась осматривать его вся наша шумная самоедская колония, сразу заполнивши мои комнаты теплыми костюмами и свойственным им ароматом.

Известно, что самоеды, как все дикари нашего Севера, страшно любят всяких животных; но собак они любят особенно, почему и немудрено, что появление на свет Яхурбета вызвало такое внимание.

Все смеялись, шутили, рассматривали его, вертели и ахали; все разглядывали его, как, не знаю, какую драгоценность. А он спокойно давал себя ощупывать и прижимать к груди и целовать, обнаруживая в своей толстой мордочке особенную, ему прирожденную собачью важность.

И все нашли, что это будет важный ездовой, пожалуй, даже передовой пес.

Известно, что самоеды более всего ценят собак не по злобности, не по падкости на разных крупных зверей, а по силе, которой они дорожат, передвигаясь на собаках.

Однако знатоки, настоящие охотники, пришедшие ко мне вечерком, высказали мне несколько иное мнение отно-

сительно маленького пса, предварительно внимательно его осмотревши.

Старик Семен Уучей, в своей вечно замаранной кровью зверей и блестящей от этого малице, осмотрев внимательно пса, серьезно сказал, что это будет, судя по ушам, «послухменная собака». Мой друг и проводник в охотничьих экскурсиях, неизменный товарищ по охоте — Костя Вылка, осматривая пасть Яхурбета с темными и полосатыми крапинками внутри, заметил, что он будет злобною собакой. Андрюшка Табарей, толстый самоед, с вечно заплывшею физиономией, благодаря страшному здоровью и обжорству, нашел какую-то особую примету на груди, по которой определил его будущую силу. А старик Максим Пырерка, самый опытный охотник на белых медведей, который потерял уже и счет убитым им медведям, отыскал, ко всеобщему удивлению и удовольствию, у Яхурбета какой-то лишний палец, по которому предсказал ему блестящую на охоте по зверю будущность и такие охотничьи способности, которые редко бывают в одной собаке. И он даже привел никем не опровергнутый факт, пример на своем давно пропавшем псе, который отличался такою злобностью, что один останавливал медведей.

И даже «кривая бабушка», как мы ее прозвали за потерянный глаз, жена этого старика-самоеда, особенно отличающаяся нежностью к собакам, и та высказала, что это будет прекрасный, красивый, крупный пес, причем не преминула засунуть его за свою просторную пазуху, чтобы погреть его своим старческим телом.

Я чистосердечно поверил всем этим предсказаниям добрых людей и еще больше проникся нежностью к этому маленькому животному, которое нас всех так заняло и оживило.

III

И вот пес стал у меня жить, сделавшись предметом нежных попечений не только со стороны меня, но и всех с завистью смотревших на него самоедов. Ползал по полу моей комнаты и повизгивал солидным голосом, когда нужно пищи; нюхал и обнюхивал все с собачьей своей серьезностью; грыз все и кусал, словно знакомясь пока на ощупь своими зубами; катался и разваливался, когда было особенно тепло и уютно, и спал целыми днями и ночами то на диване, то на моей кровати, постоянно почему-то вздраги-

вая и шевеля своими толстыми лапами, что нас особенно занимало.

И с жизнью, ростом, развитием маленькой собаки быстрее шли дни, и как-то не так жутки были одинокие, длинные, бурные ночи.

Раз утром, не помню на который день после рождения Яхурбета, я заметил у него открытые глазки. Черные, умные глазки, которыми он с удивлением смотрел то на меня, то на горящую яркую свечку.

Казалось, что-то даже говорили эти глаза, о чем-то серьезном, светлом будущем, о какой-то радости бытия и вместе с этим горя.

Приходили и дети самоедов смотреть его глаза; девочки были от них даже в восторге. Приходили и женщины смотреть его глаза, и им они тоже очень понравились. Приходили смотреть на глаза Яхурбета и охотники-самоеды, и им они показались умными, серьезными, обнаруживающими охотничью умную собаку. Но всех трогательнее был отзыв кривой бабушки, которая была в восторге. Она просто расцеловала его, увидав, как Яхурбет взглянул на нее ласковым, светлым, собачьим преданным взглядом и лизнул еще ее теплым языком прямо в физиономию.

Я уже не говорю о том, какими ласковыми, нежными именами называли его, любуясь при этом случае.

Общее мнение, высказанное этими любителями и ценителями собачьего рода, было такое, что это будет умная собака.

Но пока ум этого маленького, любопытного, красивого пестрого пса обнаруживался странным образом.

Он грыз мою, неимоверно теплую оленью малицу, в которой я обычно выходил прогуливаться в тихую погоду, почему-то особенно преследовал тоже олений коврик у кровати, грызя его со всех сторон и самым жестоким образом. Моим теплым туфлям он не давал решительно покоя и скоро превратил их в самый растрепанный, некрасивый вид, так что я стеснялся их носить даже полярной ночью. Стулья мои, ножки столов, табуреток тоже подверглись его нападению, а книги, ученые, дорогие книги, упавшие каким-то образом на пол с этажерочки, подверглись такому разгрому, что я только покачивал головою в раздумье, как буду жить дальше.

А собака моя так весело поглядывала на меня своими умными глазками, так ласкалась ко мне, царапала меня

своими толстыми лапами, бросаясь на грудь и падая тут же от неустойчивости и потом разваливаясь передо мною на полу, что как бы умоляла меня еще позволить ей повозиться с листами моей книги.

Но больше всего она надоедала не мне, а моему песцу, полярной белой дикой, но прирученной теперь, лисичке.

Эту лисичку я раз нашел застигнутою злыми самоедскими собаками под обрывом каменистого берега. Повидимому, она была молода и поэтому глупа. Она подбежала близко к дому; злые псы целою оравой заметили ее и загнали под скалу, и только благодаря одной случайности, что я находился тут около, прогуливаясь под скалой, она не разделалась с ними своей шкурой.

Я без труда отогнал тростью собак; потом, не без затруднения, достал лисичку своей мохнатой рукавицей.

Она попробовала было укусить за нее меня, но, видя, что это меня не испугало, спокойно сдалась моим усилиям, и я принес ее за шиворот в комнаты и устроил в соседней пустой комнате. А потом она так привыкла ко мне, будучи от природы не пугливой, что спокойно брала мясо из моих рук, лакомилась гагачьими яйцами, которые мы употребляли на этом полярном острове, не имея куриц, и спала у меня в комнате, смотря по тому, где ей захочется: на мягком диване или кровати. Мы были даже друзья с этой лисичкою и порой играли с ней на полу, коротая время.

Сначала я думал, что мой Яхурбет будет нам добрым товарищем; но скоро убедился, что горько в этом ошибся.

В нем слишком рано стали развиваться охотничьи промысловые способности, и он стал делать стойку на этого мирного безобидного зверька, бросаться на него с лаем, когда он не хотел поддаться объятиям его лапок, ловить его даже за хвост, когда он быстро перебегал комнату, и устраивать настоящую облаву на него, когда тот забивался за печку.

А когда Яхурбет как-то взял ее за шею мертвой хваткой, и она за это нахальство ответила ему таким укусом острых белых зубов, что он поднял вой на все Малые Кармакулы, они стали такими неприятелями, что я задумался, что дальше у них будет.

Но, к счастью моему, у них не было больше подобной ссоры; пес сразу понял всю невыгодность вступать с лисичкой в ссору и обратил внимание на полярных мышей, которые мирно проживали в соседней комнатке, тоже прине-

сенные мной раз из экскурсии, когда попались целым гнездом на дороге.

Нужно сказать, что они не были похожи на наших домовых мышек: они были мохнатые и белые, как есть белые медведи, а ростом были в два раза больше наших мышей. Они спокойно, не кусаясь, давались в руки и даже не имели того тонкого хвостика, который нам так знаком по кухням и чуланам.

Словом, это были самые мирные животные, которые перебегали по комнате, ели насыпанную им по углам крупу и свежий снег, грызлись по ночам за печкою, отбивали дробь своим толстым ноготком, которым они пробивают себе быстро в снежных сугробах норки или проходы. Они боялись только моей лисички, которая была от природы их врагом и преследователем, потому что ими питалась на воле.

Но здесь, в комнатах, она не касалась их, хотя принуждала нередко к осторожности, поглядывая на них своими блестящими хищными глазами. На этих-то маленьких, привыкших к человеку зверьков этого полярного острова и перенес свои охотничьи поползновения, свою страсть мой Яхурбетка. Он с лаем гонялся и преследовал их в соседней комнате, когда они перебегали по полу, оглушительно лаял на них, как на настоящих белых медведей, царапал печь, когда они скрывались в ее маленьких отверстиях, исчезая перед самым его носом, набрасывался и получал заслуженные о нее удары. Он лежал часами, высматривая их в отверстиях и вынюхивая, все думая, что они попадутся в конце концов ему в сильные зубы.

И когда не удавалось ему это преследование, он жестоко рвал мои бедные туфли, таскал по комнате олений ковер, грыз ножки стола и стульев и даже упражнялся над железной печкой, пока не обжигался.

Казалось, зубы ему не давали покоя, и он всячески старался их развить и усовершенствовать, следуя закону своей породы.

Так он рос у меня, то играя, то засыпая крепким сном, растягиваясь потешно на полу и вздрагивая всеми членами, навозившись, не видя пока ни света солнца, которого все не было, ни красок ясного дня, который еще не наступил на этом острове, ни холода и стужи, а видя только свет лампы и свечи и ощущая только тепло искусственной печи.

Я не раз тогда задумывался: как ему не понравится стужа этого острова, и как он будет удивлен потом ясному весеннему дню, хотя, кажется, это было скорее моею личною мечтою — дождаться этого счастливого времени, которого все ждали в колонии, тяготясь беспросветной тьмой и сумерками вместо дневного света.

Но, несмотря на то, как медленно катилось скучное, холодное, темное время, пес рос с удивительною скоростью, и самоеды, заходившие по временам ко мне, удивлялись только, как он подается в росте.

К ним, как к новым людям, охотникам, пахнувшим другим воздухом, вносившим ко мне в комнату частички другого света, он относился с особенным любопытством.

Он обнюхивал с самым серьёзным видом их пимы и малицы; он с важностью старого любопытного пса обнюхивал их, когда они садились на пол по-татарски, и, только подробно обследуя, сообразивши что-то, осмотревши вдобавок серьезными, умными глазами их кругом, ложился в середину их и затихал, дремал, чтобы потом разоспаться самым сладким образом, как будто мы его усыпляли своей неумолкаемой тихой беседой об охотах.

Мне казалось, он догадывался о существовании другого мира, других подобных ему псов на острове, потому что он так серьезно относился к этим визитам.

Но этот мир был пока для него загадкой, а я все откладывал выводить его на свет, потому что было холодно на острове и скучно.

Так мы с ним встретили и провели рождество; так протекло и последовавшее потом время, и единственно, с чем он пока ознакомился далее комнаты, это с нашим темным, вечно холодным коридором.

Но он не нравился этому изнеженному теплом маленькому псу; он вздрагивал, как только его касался сухой и холодный воздух, дрожал потом немало и даже пятился и убирался под кровать, когда открывались в сени двери.

Между тем на нем росла шелковистая, волнистая, кудрявая шерсть, которая отсвечивала только при свете зажженной лампы, поражая красивыми темными и белыми пятнами.

Маленький пес превращался в красивую, рослую собаку породы водолаза.

Самоеды редко ласкали его; они не ласкают обычно собаку, но зато малейшее движение рукой, хоть признак ласки, возбуждает страшно собаку. Так дети, порой не избалованные ласками, чувствуют малейшее к ним проявление ее и готовы плакать даже и от мимолетной ласки.

IV

Прошло скучное, вдали от родины, рождество; прошел и новый год, веселые на родине святки, а мы все переживали полярную ночь, которая только изредка, в полдень, напоминала нам о солнышке, вспыхивая на южном горизонте алой зарею. Той алой, нежной зарею нашей зимы, когда она золотит наше заиндевевшее, задернутое красивыми капризными узорами окошко нашей спальни утром, на которое долго, бывало, любуешься, закутываясь крепче еще в теплой постели. Но заалеет горизонт, покажется в окне в полдень как будто зарево слабое, нежный отблеск, и снова уже темно, не брызнут лучи, не заиграет изморозь оконницы...

На дворе стало еще холоднее, наступила стужа.

Яхурбет только подрагивал, когда трескала от холода крыша; молодая собака только прислушивалась, когда в заливе раздавались звуки, как пушечные выстрелы.

Это ломался от холода толстый лед; ломался и оседал, долго еще повизгивая, постанывая у берега, как будто плакало море.

Но вместе с холодом пробивался день. В половине января уже было довольно светло; среди дня в замерзшее окно пробивался какой-то нежно-нежноголубой свет. Приникнув к окну, уже можно было прочесть страницу книги. И маленький пес, все еще не знающий солнышка, а знающий вечную тьму, с удивлением поглядывал, различая за окном высокие сугробы снега.

Наконец, двадцатого числа появилось солнышко. Брызнули лучи, показался краешек яркого красного солнышка, запрыгал, заскакал на самом горизонте и, словно убедившись, что живы еще мы, не умерли тут от цынги, спрятался за море.

Это было радостное явление. Мы любовались им, как истые солнцепоклонники в старое время, и готовы были

броситься друг другу на шею со слезами в глазах, как настоящие дети.

Дети же решительно сходили с ума от радости: то кувыркались, съезжая с сугробов крыши, то кричали что-то яркому солнышку, то бежали к матери и падали на грудь, говоря, что видели солнце...

Не видел его только Яхурбет: на дворе было страшно холодно, и я со слезами на глазах объявил ему, что видел солнышко, что скоро будет тепло, весна и теплое лето...

Пес, ласковый пес, с удивлением смотрел на меня, повидимому, недоумевая моей радости.

Но день ото дня, когда все больше и больше оставалось у нас солнышко и прибывало, словно расцветало, он начал как-то волноваться. Что-то инстинктивно тянуло его на улицу, к солнцу, и я решился вывести его, как только будет немножко еще потеплее.

Я вынес его в тулупе, прижавши к груди, на вышку, откуда было видно красное, совсем не ослепительное в это время солнышко, и был свидетелем, как поразило оно собачку.

Она с удивлением раскрытыми широко глазами смотрела на него, подрагивая немного от холода, потом взглянула на меня и взвизгнула от радости. Перед Яхурбетом было солнце!

С тех пор в полдень уже трудно было удержать собаку: она рвалась на чудную улицу, белую снежную улицу, с сияющим, хотя холодным солнцем, и я вывел, наконец, ее на свет.

Все было ново для нее: и снег, который похрустывал под толстыми лапами, и свет, которым ее ослепляло с непривычки, и тихий ветерок, который шевелил ее шерсть, и страшный высокий сугроб, который нагнали к дверям зимою бури.

Изнеженный пес с радостью, подрагивая, повизгивал у моих ног, суя повсюду морду. Но высшее его удивление было то, когда он увидал собак.

Признаться сказать, я было струсил за моего песика, когда на него с громким лаем бросились самоедские псы. Но пес, хотя и поджавши хвост, с достоинством выдержал испытание и дал себя обнюхать.

Казалось, и самоедские псы, как и их хозяева-охотники, нашли, что это добрая собака, и, должно быть,

это прекрасно заметил Яхурбет, потому что минутная трусость у него закончилась решимостью, и он стал знакомиться с псами.

После этого трудно стало уже удерживать его в комнате; интерес к мышам и к песцу у него быстро сменился интересом к собакам,и он целые дни проводил уже на улице, найдя там себе таких товарищей, которые взапуски с ним летали по сугробам снега.

Как-то раз, в феврале, когда уже ярко блестело солнышко, я взял его с собой в горы.

Пес с радостью носился по снежной равнине; завидев черный камень, тыкался в него носом, с недоумением останавливался перед пеструшками, которые прятались в снежные норы, и раз был испуган до невозможности белой полярной совой, как она крикнула, увидев его рядом под скалою, заснувшего было на солнце, и взмахнула широкими крыльями.

Там, в горах, мы нашли с ним свежий след оленя. Рогатый дикий олень шел по самой вершине горы, отыскивая занесенные мхи, и Яхурбет даже остановился в недоумении, какие водятся на свете звери.

Он обнюхал след и взглянул на меня, как бы спрашивая; я уськнул его вдоль по следу, и собака поняла, что нужно преследовать, и мы оба бросились по следу.

Олень был недалеко. Он спокойно, не замечая опасности на этом пустынном острове, рылся в снегу копытом, как я приложился и выстрелил, и он бросился в глубокую долину, заложив за спину рожки.

— Пыр-р-р-р-усь! — крикнул я псу, и он бросился за раненым животным; но, догнавши, решительно остановился, не зная, что делать.

Раненый олень остановился, видя собаку. Потом бросился на нее, пугая рогами; но Яхурбет нашелся, и раздался лай, который заставил животное поворотить в другую сторону по направлению в горы.

Еще выстрел, и олень, подскочив высоко, как будто делая последние усилия, остановился и рухнул, забившись ногами.

Пес долго не подходил, ходя кругом и узнавая животное раньше по воздуху, потом осторожно потянулся до заду и только тогда, когда убедился, что животное уже мертво, стал нюхать его самым подробным образом, виляя хвостом, торжествуя победу.

Это был наш первый промысел. Яхурбет досыта налакался свежей крови и с таким сознанием своего достоинства возвращался назад, как будто взрослая охотничья собака.

Но ему решительно не посчастливилось на льдах.

Уже порядком в марте пригревало солнце. Кругом колонии на льду залива была пропасть маленьких прорубок. Это толстый ленивый тюлень продул их и проскреб во льду своими лапами; и, когда солнце особенно грело и на острове пахло весной, он с утра вылезал тут понежиться и дремал, осторожный, у самой прорубки.

Как-то раз, соблазнившись этим зверем, мы отправились с Яхурбетом на море. Сиял ясный весенний денек. Окружающий снег горел миллионами светлых блестящих искорок, так что даже ослепляло глаза без консервов.

Первый же тюлень, лежавший на льду, когда набросилась на него моя собака, исчез, показавши нам только ласты. Яхурбет страшно был удивлен такому явлению и все нюхал воду лунки; но, кажется, он еще более был удивлен, когда тут же, перед самою его мордой, показался и пыхнул тюлень, думая снова выбраться на воздух. Яхурбет дал тягу от этого водяного чудовища, и, кажется, теперь только понял, что он далеко не брат тюленю.

Два-три таких урока на льду сразу приучили его не трогать, не гоняться за тюленем. А когда он неосторожно выкупался еще в воде, попавши нечаянно в лунку, он нашел, что это уже совсем неподходящее для него занятие гоняться за каким-то водяным зверем.

Он только охотно ел жирное мясо его, когда самоеды убивали этого ластоногого, приезжая охотиться на край самых льдов, далеко в море.

Это была своего рода картина. Пока обдирали такого лахтака, псы кружком послушно, только облизываясь, сидели на чистом льду возле хозяина; потом, когда им отдавали тушку, они набрасывались на нее с жадностью и долго волочили ее на снегу, поджавши хвосты и откусывая кусочки.

В этом же занятии, собачьем пиршестве, упражнялся и мой пес, и нужно было видеть его старание, чтобы знать, какая у него была жадность.

— Посмотри, какой будет пес! — только говорили самоеды-охотники, посмеиваясь, как он урывал куски и проглатывал их, даже не жевавши.

После этого от него пахло так язвительно для обоняния, что я подолгу оставлял его на улице.

Но больше всего ему нравилось ходить со мной за белыми песцами.

Казалось, у него была давнишняя ненависть к этому зверю, и нужно было видеть, как он его выслеживал, как гонялся за ним по снежным равнинам. Но раз, в охоте за ними, с нами случилась неприятность.

Мы нечаянно согнали со скалы, где он спал, старого песца. Животное, казалось, совсем не боялось собаки, и, вместо того, чтобы удалиться по льду, он спокойно воспользовался какой-то громадною намерзшею льдиной, кругом которой и повел кружить Яхурбета, пока тот не высунул язык как лопату. Я был на скале и следил за этими маневрами; мне совсем не хотелось бить весною лисичку; льдина и зверь были передо мной, как на ладони, и я заливался хохотом, видя, как бегал песец и носился за ним Яхурбетко.

Казалось, это было беспрерывное кружение. Казалось, пес, задохнется от досады. Порою он даже останавливался в недоумении и прислушивался. Но зверь был тут, хитрая лисичка выглядывала из-за льдины, и Яхурбет с воем бросался снова ее преследовать, пока снова не терял из вида и не останавливался, окончательно задохнувшись. Вероятно, это продолжалось бы до полного утомления; но в это время на выручку явился другой, сторонний пес, бросившийся в противоположную сторону, и зверь был в пасти.

Это случилось по ту сторону льдины, и я не видел этого любопытного зрелища, но должен был поспешить к нему, потому что Яхурбет заревел таким голосом, которым реветь ему совсем не полагалось.

Когда я прибежал, песец был на воздухе: за хвост его тянула самоедская собака, а Яхурбет пел самым пронзительным голосом, чувствуя, как в его чернеющий нос впились лисьи зубы.

Положение было критическое; Яхурбет мог лишиться носа, а пес тянул, тянул песца за хвост; а тот не отпускал в свою очередь носа Яхурбета.

Пришлось разнять, убивши предварительно живот-

ное, и Яхурбет долго потом помнил песца, но все же не перестал иметь к нему некоторое пристрастие.

Казалось, лисиц он страшно ненавидел: он гонялся за ними при каждом удобном случае, преследовал их в скалах, взбирался за ними на самые горы и пропадал за ними, как за зайцами, порою долго не возвращаясь.

Разумеется, это было бесполезно: на воле песец не поддастся собаке, а в норе, среди камней, его взять и подавно не было возможности, потому что он так далеко залезал, что чувствовал себя в полной безопасности.

Так обнаруживались у пса охотничьи страсти!

Но все же самоеды, посматривая на его рост и сильные толстые лапы, были уверены, что это ездовой, а не охотничий пес, почему однажды весной, уже в апреле месяце, когда мне предстояло отправиться в далекую экскурсию на берег Карского моря, они предложили мне взять этого пса, чтобы воспользоваться его силою, когда пристанут ездовые собаки.

V

Как я сказал уже, это было в апреле. Солнце, не закатывающееся теперь целых двадцать четыре часа, кружилось теперь по небосклону. Белый снег горел под ним всеми радужными искрами; темные скалы сурово синели на белом фоне; по небу катились легкие весенние облака; но ночью было холодно попрежнему, стояли даже морозы, и только среди дня пригревало немного на солнышке, настолько, что было не холодно в теплом костюме.

Это лучшее время для экскурсий: горы спали, окутанные снегами; в долинах настолько были плотны снега, что не было следа даже от человека, а речки мирно спали глубоко подо льдом и сугробами, так что переходи их, где хочешь. Говорили о скорой весне только одни горячие лучи солнышка.

Нам нужно было перевалить хребет, высокие белые горы, и мы отправились долинами, в которые смотрелись горы.

Безжизненно, пустынно. Море давно осталось позади с шумливыми волнами и жизнью, и нам только порой попадался след какого-нибудь зверя. Одинокий легкий

след, который с подробностью обнюхивал мой Яхурбет, следуя с веселостью молодого пса впереди нашего собачьего поезда.

Он с недоумением смотрел, куда мы шли так далеко, и когда взлетала с камня белая сова или когда показывался под скалами песец — его неприятель, он так заливался лаем, что увлекал всех псов, которые были в упряжке. Раз даже они чуть не разнесли нас благодаря его погоне за совою: им подумалось, что это белый медведь в отдалении. Мы спускались как раз с одной вершины, и псы понесли наши санки с такою стремительностью, что я живо слетел с них под высокий сугроб, а самоед-проводник удержался только какою-то случайностью благодаря тому, что во-время стал бороздить шестом, которым правят обычно самоеды своими собаками.

Чтобы закончить мирно и благополучно путь, мы решили за лучшее запрячь и Яхурбета.

Ему очень это не понравилось: хомут из лямки тер ему толстую жирную шею, соседние собаки казались ему какими-то неприятелями, а шест сзади — какой-то страшной угрозой; но он тащил с такою поспешностью и так повытянул свою вожжу, что мне, признаться, жалко было смотреть, как пес старался и изнурялся. А самоед только покрикивал и хвалил его за усердие, говоря, что из него будет прекрасная собака!

Опыт кончился тем, что пес страшно за день проголодался, и, прежде чем я разложился с припасами, он стянул у меня солидный кусок мороженого мяса, что меня привело в некоторое смущение. Мне не нужно было его наказывать: за меня его жестоко наказали самоедские псы. Они так быстро вырвали у него лакомую добычу и так навертели ему шею, что мое негодование к нему живо сменилось на жалость. Кажется, он понял, что воровать нехорошо, потому что возвратился ко мне с ласкою, за что и получил свою порцию мяса во-время.

Дорогой он все время держался около меня, ночью обязательно спал у моих ног, как бы сторожа меня от белого медведя, и только утром благоразумно отходил далеко в сторону, пережидая, когда мы запряжем без него собак в наши санки.

Его сообразительность нас очень удивляла, мы хохотали с самоедами каждый раз, глядя, какую он занимал

далекую позицию во время запряжки, но щадили пса, зная уже по опыту, что он не бережет свои силы.

Зато он утешал нас, следуя весь день впереди наших санок. Он носился попрежнему от скалы до скалы, уморительно лаял, когда на его лай отдавалось эхо, бежал стремглав, поджавши хвост, когда вдруг осыпались скалы, и лаял на нас пронзительно, когда мы отставали, оживляя мертвый, неподвижный воздух.

Мы только через пять дней дотащились до противоположного Карского берега. Там жило три семьи зимовавших самоедов. Они страшно обрадовались мне; но они не знали еще нашего пса, который скоро обратил их внимание, забравшись, пока мы еще здоровались на улице, и стащивши олений язык у женщины, которая только ахнула от подобного нахальства.

Мне стыдно было за пса, но благодаря мне его простили чистосердечно.

Как я уже сказал, здесь жили три семьи охотников всю зиму. Прожить полярную зиму и ночь в чумах — на это нужно чисто самоедское терпение; но их влекла сюда масса диких оленей и бродящие по берегу белые медведи.

Это же самое, только весной, привлекло и меня сюда, чтобы попытать тут счастье. Рассказы самоедов были удивительны: белые медведи наведывались к ним к самому чуму. Один раз ночью даже просунул в чум свою страшную морду; другой — напал на псов, несмотря на раздавшиеся выстрелы; а третий — буквально «слопал», как выразились самоеды-рассказчики, их товарища на льду, оставив в воспоминание о нем только его пимы, шапку и рукавички.

Про оленей и говорить нечего, так их тут было много. Даже женщины, оставаясь днем одни, не раз убивали их из самого жилища старой винтовкой, когда они подходили к ним беспечно.

Яхурбет, кажется, чувствовал их даже теперь, понюхивая воздух своею черной мордкой, когда мы с ним выходили из чума на воздух.

Но более всего, кажется, чувствовал их я. Я решительно не мог спать первую ночь спокойно и встал наутро ранее даже самоедов, чтобы утолить скорее охотничью страсть, которую взволновали во мне их рассказы.

VI

И, действительно, я не обманулся.

На море мы скоро разыскали свежие следы. Проехав пять — шесть верст вдоль берега, мы открыли ночное ложбище медведя. Нужно было видеть удивление и серьезность нашего пса, когда его нос коснулся свежих следов этого чудовища.

Он насторожился весь, поднявши шерсть на спине и поджавши хвост самым уморительным образом, а место, где ночевал эту ночь страшный зверь, он обнюхивал с такою нервностью, как будто ждал, что из-под сугроба покажется страшная морда зверя.

Но зверя здесь давно уже не было: проспавши ночь, он спокойно ушел к воде за новой жертвой. И мы, привязав упряжных собак, отправились со своей собакой к морю, которое блестело на солнышке своею тихою поверхностью, отражая плывущие кое-где льдины.

Было несказанно красиво в этот день на море: белые льдинки, как лебеди на темной блестящей поверхности, линия сплошных льдов, как белый сильный бруствер, а с открытого моря неслись такие крики чаек и полярных чистиков, что сильно билось сердце.

Как вдруг — медведь, поднявшийся далеко из-за льдины. Громадное белое чудовище, царь этих льдов и моря! Белый весь, немного изжелта, с претолстыми мохнатыми лапами, которыми он широко размахивает на ходу, и тяжелой, опущенной, тоже размахивающейся на ходу головою.

Мы прекрасно рассмотрели его в зрительную трубку и тотчас же выработали план его атаки. Я должен был зайти за мыс, к которому он двигался, самоед же, проводник, должен был объехать его с моря.

Прошло полчаса, я был у мыса под скалою с Яхурбетом. Из-за обледенелого камня мне видно было, как он тихо двигался, по временам приостанавливаясь и озираясь сзади на человека, чернеющегося с собаками. Вот он поднялся высоко на льдину, вот он встал на дыбы, озирая море с человеком. Какое чудное, захватывающее дух охотника зрелище! Но пес не видит еще его, хотя что-то тревожно поводит носом.

Расчет самоеда был верен: зверь должен был миновать далеко выдавшийся мой мысок. Я в двадцатый

раз осмотрел внимательно штуцер и, уложив пса тут, около, стал с замиранием сердца дожидаться зверя.

Где-то взвизгнул вдруг и залился самоедский пес. Послышались голоса более сердитого темпа. Яхурбет было заволновался, но я успокоил его рукою.

Медведь спокойно, казалось, шел прямо на нас. Собаки, догнавши его, уже вертелись около, не останавливая своим лаем; издали они были сравнительно с ним, как мыши перед собакой. Но временами он сердито оглядывался, и тогда псы трусливо отходили прочь, поднявши на спинах шерстку.

У меня вдруг вырвался Яхурбет. Был момент, когда я чуть не бросился за ним, чтобы спасти его. Момент, и он исчез уже из глаз среди торосов льда, а через минуту он злобно понесся, поощряемый другими собаками, прямо в морду зверя, и в один миг произошло что-то ужасное, и Яхурбет несся уже ко мне, заливаясь жалобным воем, с ободранной спиною.

Но мне было не до него: последовали выстрелы, потом погоня за зверем к морю. Я бежал и падал на бегу; навстречу неслись другие пули; что-то визжало и ревело в воздухе, и я опомнился только тогда, когда зверь свалился, немного не добежав до моря.

Только тогда я обратил внимание, что недостает моего пса. Где он был,— решительно было определить невозможно. На крики мои он совсем не отзывался, перепуганный, и мы нашли его уже в становище, на постели моей, в углу, где он виновато и испуганно облизывался, все еще дрожа от страха.

Оказалось, что не цела шкура: со спины был содран медвежьим когтем порядочный клок, — как раз белая красивая пежина, но в других местах все было цело, так что нечего было особенно тужить об Яхурбете.

Вечером мы произвели ему удачную операцию: старик Пырерка зашил ему шкуру иглой с оленьей жилой; языком пес сгладил маленькие неровности, и хотя ворчал, но спал сравнительно спокойно.

Он только боялся более выходить на улицу и жался к женщинам, которые его ласкали, а вечером был напуган страшною белою шкурой, когда неожиданно встретил ее на санках.

На другое утро он долго лаял почему-то к морю. Самоеды говорили, что он слышит зверя; но он реши-

тельно не побежал со мною на охоту, как мы ни увлекали его туда различными кличками, и остался возле чума.

Я думал уже, что этот урок с белым медведем навсегда отучит его от охоты; но оказалось, что он охотно шел с нами в горы, только не к морю. И когда мы на другой день отправились было за оленями, он сопровождал нас с санками, только озираясь как-то на белые предметы.

К морю он уже не ходил. Моря он боялся, как боялся всяких белых шкур, даже если бы это были невинные оленьи шкурки.

Но всего более он насмешил, когда мы запрягли его опять в наши санки, тронувшись обратно в колонию. Дело в том, что на санках была неободранная со шкурой голова медведя; и нужно было видеть, как он старательно вытягивал свою лямочку, чтобы быть как можно дальше от этой страшной морды.

И стоило только дорогой вздохнуть, фыркнуть по-медвежьему, как он визжал и подпрыгивал, опережая своих товарищей по лямкам!

VII

Мы воротились домой с Яхурбетом хотя и с повинкой, но все же с важной, завидной и ценной добычей.

Повинка скоро заросла, а от случая осталось только одно воспоминание, которое скоро изгладилось, можно сказать, совсем благодаря большому знакомству с этим зверем.

Дело в том, что в бухту пришло поморское промысловое судно. На этом судне, когда мы приехали его встречать с Яхурбетом, оказался белый медвежонок. Яхурбет сначала было бросился за борт, но испугался бушующего моря; а потом зверь оказался таким ручным, что ел сахар с ладони, облизывал руку и вообще вел себя таким же мирным образом, как обыкновенная ручная собака.

Яхурбет даже понюхал его, и с этого момента у него сложилось понятие, что не все белые медведи сердиты. А когда потом эта белая молодая медведица, прозванная матросами Машкою, была сброшена за борт шутли-

выми, любившими ее матросами и стала там нырять и плавать, цепляясь за канат, Яхурбет пришел в такое неистовство, что готов был броситься за ней, чтобы спасти ее, как бы она не утонула...

В нем сказалась дальняя кровь водолаза.

В это время было чудно в море: волны тихо шептались в борта; синего льда и в помине не было; воздух пахнул морем, а с ближайших островов, населенных миллионами птиц разных пород, доносились по ветру такие шумные голоса, как будто там был город или шумела населенная деревня чисто человеческими голосами.

Это было птичье царство, птичьи острова, которые только можно видеть на дальнем Севере, где человек еще не нарушил пока царства птиц и животных.

Там, на этих птичьих островах, у промышленников белухи была еще поставлена сторожка, где постоянно все лето, днем и ночью, сторожили поморы, глядя в море и замечая ход белух, чтобы потом, когда они зайдут в нашу просторную бухту, окруженную островами, запереть их в узком проливе для ловли.

Пустынные, тихие доселе острова были теперь оживленны, и мы, помню, целой веселой компанией отправились туда вместе с поморами, захватив даже с собою Машку.

Она, выкупавшись в море, была в восторге от этого пикника. Как только люди залезли в карбас, она поместилась в самый нос лодки; Яхурбета осторожно спустили тоже туда за шиворот, и он поместился рядом с ней, представляя уморительную, единственную в своем роде картину.

Поморы сели в весла; лодка отчалила, и мы понеслись по волнам, которые тихо плескались у борта.

Но дорогой случилась некоторая оказия. Машку соблазнила какая-то вдруг под носом метнувшаяся рыба; мгновение одно — и зверь исчез за нею в воде, и я видел только, как зазеленело под волнами и зверь нырнул глубоко в море.

Яхурбет растерялся от этой неожиданности; но Машка скоро показалась на поверхности, и он, недолго думая, соскочил туда же в воду, вероятно, полагая, что она тонет.

Матросы расхохотались от этой трогательной заботливости и остановили карбас, а я смеялся от души, гля-

дя, как Яхурбет плыл к этому зверьку, окружал его и брал было за шиворот, чтобы втащить в лодку.

Но каждый раз, когда он с трудом добирался до нее, она исчезала так же легко, как появлялась на поверхности, только отфыркиваясь, и нужно было видеть жалость и удивление пса, когда он один оставался на поверхности.

Кончилась эта картина спасения погибающей медведицы тем, что она вдруг вынырнула снова у самого носа карбаса, отфыркнулась, ухватилась ловко лапой, и, прежде чем Яхурбет нашел ее глазами, плавая кругом один и повизгивая, она вскочила в карбас и заняла свое место.

Пришлось Яхурбета вынимать из воды, как мокрую тряпицу.

Но, к счастью, берег был недалеко, и он выпрыгнул на него не без радости и пустился описывать такие круги, так поджимал свой мокрый хвост и делал такие уморительные увертки, что Машка в свою очередь пришла в недоумение и даже встала потешно на дыбы, чтобы полюбоваться этой невиданной картиной.

Она совсем в противоположность собаке не нуждалась в таком отряхивании, потому что ей достаточно было встряхнуться раз, чтобы шкурка ея была суха так же, как была раньше до купанья.

Затем мы двинулись к караулке поморов опять всей компанией, и впереди нас с любопытством что-то обнюхивая, двинулись пес и резвушка Машка.

На самой возвышенной точке острова, у отвесной высокой скалы, мы нашли род караулки, выложенной из голого камня поморами. Поморы оживленно стали докладывать своему старому хозяину, как видели стадо белух сегодня ночью, а Машка, воспользовавшись случаем, залезла на самый верх стены с ловкостью мартышки. Яхурбет снова остался, повизгивая, хотя ему, повидимому, страшно хотелось поиграть с этой белой красавицей, которая занята была собой, но совсем не его особой. Она решительно выводила его из терпения своими капризами и теперь довела его до того, что он оглушительно стал лаять на нее, чтобы она слезла.

Она слезла потом, но не для него, а за сахаром, которым поманили ее матросы, и мы были свидетелями, как она учтиво подходила к ним и брала белый кусок из

руки, как потом залезла на колени и искала, нет ли еще, и как, мурлыча что-то ласковым голосом, лизала ладонь руки, что означало, что она просит еще сахару у матросов.

Мне даже стыдно было за необразованность Яхурбета, который умел только вилять лохматым хвостом и облизываться, когда его лакомили другие.

Потом мы посетили место свежеванья зверя белухи. Оно лежало в самом углублении маленькой низменной бухточки; по берегу валялись отвратительные ободранные туши китообразных, но в то время, когда мы сторонились от них, наши приятели принялись за них с такою жадностью, как бы это было самое лакомое блюдо.

К нашему удовольствию, на берегу лежала в стороне нетронутая туша. Это был громадный, сажени в две с половиною, китообразный зверь. Белая эластичная шкура его желтела, отливая на солнце китовой лопастью. Но в то время, когда мы любовались им и стояли около, на него нечаянно наткнулся Яхурбет и пришел в такой ужас, как будто это было повторение истории с медведем.

Это очень насмешило поморов, хотя мне лично было трудно перенести эту невиданную, странную трусость. Пришлось, чтобы пес совсем не скрылся куда от трусости, оставить берег.

Мы направились к галдящему берегу, полному носящихся в воздухе птиц. Там стоял такой шум, что мы скоро были оглушены им, и это было поразительно после того, как мы привыкли к мертвой тишине этого острова, в которой порою сутками не раздастся ни звука.

Там были миллионы птиц из породы большей частью гагарок; одни из них, что-то крича беспрестанно, сидели по выступам скалы; другие плавали под самым берегом, ныряя; третьи носились с криком по воздуху; четвертые дрались самым ужасным образом, отстаивая клочок скалы, где были накладены бледнозеленые крупные яйца с крапинками; пятые стоя нагревали их, прижавшись грудью к темной, нагретой солнцем скале, выводя детенышей прямо на голом камне... И над ними, и возле них на самом обрыве берега носились, сидели, кричали, вертелись еще более странные пернатые существа с такими толстыми красными носами, которые походили скорей не на нос, а на топор, почему поморы и прозвали их «топориками».

Тут же с оглушительным криком носились и сидели морские чайки-клуши.

Они, как хищники, только сторожили момент, чтобы урвать где яйцо у зазевавшейся гагарки.

Словом, картина была такая живописная, что мы присели тут и стали наблюдать, и я даже забыл о существовании Яхурбета с Машкой.

Вдруг, оглянувшись кругом, я заметил новое зрелище: Яхурбет, как дикий, носился вдоль берега за летающей низко птицей. Его заметили осторожные чайки и с таким азартом и криком напали на него, падая на его спину с высоты полета, что он пришел от этого в бешенство и ничего не придумал более, как с лаем ловить их в воздухе и носиться за ними вдоль берега острова, как сумасшедший.

Машка оказалась куда спокойнее: она просто занялась разыскиванием вкусных яиц и уже стояла над одним гнездом испуганной рябой гагары, с аппетитом пожирая ее голубоватые крупные вкусные яйца.

Я со всею силою кричал Яхурбету, чтобы он оставил опасную погоню; но шум, крик, гам птиц был такой, что мой голос терялся в этом шуме.

Кончилось это тем, что Яхурбет сорвался с берега и полетел под кручу. Я уже думал, что кончено с собакой. Обрыв скалы был в сорок сажен; под ним сердито, с пеной, с шумом разбивались волны; но, к счастью, пес удержался за один карниз, и когда мы бросились, то нашли его окруженным гагарками, которые страшно кричали на него, что он их потревожил.

Он был в самом жалком положении: красивый наряд его был замаран птичьим пометом; вверху была скала, внизу шумело море, а в воздухе над ним с криком потешались его враги, слетевшиеся чуть не со всего острова.

Пришлось бежать на пост поморов за чем-либо в виде веревки. Принесли ремень моржовой толстой шкуры; в конце ремня устроили нечто в виде мертвой петли; ее с трудом надели на голову бедного пса и, несмотря на то, что он задыхался и упирался еще лапами, мы вытащили его и спасли от смерти чуть не полумертвого от страха.

Яхурбету сегодня решительно не везло, и мы решили поскорее отправиться в колонию или на судно.

VIII

Эта экскурсия на судно поморов-промышленников белух имела то последствие, что у меня очутилась Машка.

Я приобрел ее, так как заметил привязанность к ней Яхурбета. Странно, после происшествия на Карском берегу, он полюбил ее и очень за ней ухаживал.

Я рад был, что он нашел такую милую товарку; но последующее, однако, показало, что как она была прекрасна там, на судне, настолько она оказалась неуживчивою в домах.

Она стащила у меня при первом же визите со стола в кабинете чернильницу; во время чая лезла лапами на стол, разыскивая сахар; во время игры на полу так обняла меня, что я чуть не лишился сознания; а когда я выгнал ее на улицу, она появилась через минуту в окне, сбросив предварительно все любимые, единственные горшки мои с геранью.

Кажется, скоро за мной, и сам Яхурбет в ней разочаровался. Не знаю, грустила ли она о судне и поморах, ею тешившихся; не знаю, недовольна ли была новым помещением и пищей,— там она ела рыбу; не знаю — так ли в ней сказался женский каприз, но то она была такою ласковой и милой, а то так кусалась и царапалась, что было ужасно. И скоро у них с Яхурбетом вышла какая-то стычка в сенях, после которой он долго облизывал свою раненую спину.

Однако, когда я выходил с ружьем, они бежали со мной вместе и довольно даже весело. Но охотиться с ними было решительно нельзя: они дрались самым ужасным образом из-за всякой птички, один спасая ее от удивительной прожорливости, а другая — от Яхурбета. Так что мне доставались только перья и крылышки, — не больше.

Так прошел май месяц. Так прошел и следующий за ним июнь с тяжелыми туманами, которые говорили, что в океане — плавающие льды. Так, наконец, в конце этого месяца наступила и весна, а за ней и полярное короткое лето. В эти три месяца солнце только согнало снег, да и то не тронув еще громадные сугробы. Однако из-под снега между камней показались яркие незабудочки, на россыпях камней заалели каменоломки, северный мак, по

склонам гор зажелтели мхи и мелкая жалкая травка, а между камней, прячась от стужи, развернулась даже ползучая уродливая березка.

Яхурбет с удивлением смотрел на эту неизвестную ему растительность и еще больше носился по ней, вынюхивая мышей и следы разного зверя.

Теперь у него была прекрасная охота на песцов; их народилось еще в апреле месяце пропасть. С каждой каменной россыпи, как пойдешь гулять, раздавались хриплые их голоса: то лаяли маленькие детеныши, увидя собаку, смело вынося сь на самые высокие голые камни и трусливо убегая, завидев несущегося пса, в каменные норки.

— Ур-р-р-р... — урчали они в таких верных, неодолимых даже для человека убежищах. Пес нюхал, лазил, рылся напрасно кругом, и стоило ему отбежать на десяток-другой сажен, как они снова появлялись на своих сторожевых камнях и лаяли в свою очередь на него хриплыми голосами.

Он снова возвращался и пропадал на камнях. Словно песцы дразнили его, мстили ему за то беспокойство, которое он причинял им, носясь за ними зимою.

Не меньше теперь его изводили тюлени.

Теперь не было льдов, и тюлени плавали у самого берега. Стоило только пойти гулять, стоило только постучать камнем о камень, как они, заслышав незнакомые шаги, мучимые вечным своим глупым любопытством, высовывали свою круглую, как у человека, голову на поверхность и плыли к самому берегу, нюхая носом воздух.

Другой тюлень даже перепугает вас, выскочив неожиданно у самого берега и громко отпыхнувшись. Посмотришь: в сажени — в двух от тебя громадная, с усами, фыркающая голова; присядешь, — она еще ближе; постукаешь камень о камень, ее еще больше разбирает любопытство...

В этих случаях пес сходил с ума; он, как бешеный, бросался в холодную воду, плавал на месте, где показался тюлень, смотрел потешно около и потом пускался еще дальше, когда тюлень показывался далее от берега, чтобы потом мокрым вылезти на берег и заняться потешными прыжками, к удовольствию Машки.

Так мы жили с Яхурбетом, пока не пришла пора разлуки.

Раз утром в комнату ко мне врывается самоед.

— Пароход идет! — мог только крикнуть он мне от радости. Я кинулся к окну и, протирая глаза со сна, заметил вдали на море силуэт громадного парового судна.

Это был русский срочный, делающий рейсы на этот полярный остров пароход из Архангельска, с родины. Мы ждали его давно, с грустью думая, что он не проберется к нам за льдами. Батюшка даже служил молебны по этому случаю, видя нескончаемые туманы; но сегодня туман рассеялся, и судно оказалось крейсирующим у наших берегов, которые скрывало от него облако тумана. Это судно везло нам провизию и вести, это судно было праздником для острова, которых бывает только два в лето.

Когда я выбежал на улицу, там полно было народу. Все стояли, с трепетом следя за его маневрами в заливе; на домах уже развевались флаги, и только Яхурбет один не знал, какое ждет событие, навстречу которому, приветствуя, уже грянула с горочки наша пушка.

На нас надвигалась цивилизация, совершенно другой, уже позабытый мир, и как-то жутко было предстать пред ним такими мрачными, обнюшенными, грязными, — так, как нас украсила полярная ночь.

Вот пароход уже входит в гавань. Я торопливо сажусь в шлюпку, чтобы ехать на ней для встречи прибывших гостей. Яхурбет, дрожа от страха перед чудовищем, подавшим голос толстым пронзительным гудком, садится тоже; туда же залезает наша приятельница Машка, и мы едем впятером с гребцами-самоедами, представляя, должно быть, чисто полярную группу.

— Браво, браво, — встречает меня знакомый добрый капитан не то от радости, что видит в таком сообществе, не то от радости, что видит еще живого... И мы по трапу вваливаемся на пароход, встречаемые всеми, не исключая даже черных кочегаров.

Яхурбет даже растерялся от невиданных многочисленных людей, обступивших и рассматривающих нашу группу; но Машка была уже в этом отношении опытной и смело направилась в сторону кухни, из которой что-то парило, догадываясь, вероятно, что коки (повара) добрее матросов.

Нечего и говорить, что мы были почетными гостями на пароходе благодаря своей зимовке и лишениям и были предметом общего внимания.

Яхурбет понравился очень многим. Некоторые даже находили, что из него выйдет особенная полярная собака, и, быть может, кровь чистокровного водолаза, смешанная с кровью самоедских собак, даст для этого острова особенную потом породу собак, которые будут отличаться мохнатой, красивой, кудрявой шерстью, громадным ростом и выносливостью, не говоря уже о способности выносить большие тяжести в упряжке.

Я был доволен таким вниманием и только тайно скорбел, что мне предстоит скоро оставить его тут в одиночестве на полтора-два месяца, пока я буду в дороге и в Петербурге.

Предстояла не совсем приятная разлука с собакой; я чувствовал, что в ней моя привязанность, и если чем утешался немного, то это тем, что я не подвергну ее в Петербурге наморднику и тем лишениям, которые предстоят собакам на железной дороге...

Относительно другой привязанности — к Машке я был спокоен: она вместе со мной ехала в Петербург, только с тою разницей, что ее повезут из Архангельска морем кругом Швеции и Норвегии, а я поеду прямо, водой и железной дорогой.

И как я ни откладывал минуты разлуки, — она настала.

— Яхурбет! Ты останешься в моей квартире. За тобой будет присматривать кривая бабушка, —говорил я ему не раз, перед самой разлукой, перед свистками парохода, прощаясь. Но пес не слушал меня и что-то как будто предчувствовал, видя, как пустеет комната и выносят мои вещи.

— Яхурбет, будь умницей, не гоняйся напрасно за песцами! — говорил я ему ласково, но он повизгивал и бросался ко мне на грудь, видимо, понимая, что я еду.

Я бежал от него на пристань, где уже ждала меня шлюпка, оставив его с кривою бабушкой в комнатах, но он вырвался от нее и бежал туда, видя, что я покидаю остров.

Как он бегал по берегу, дожидаясь меня, думая, что я еще ворочусь с парохода! Как он рвался ко мне, бро-

саясь в волны с берега, видя, как пароход со мной уходит! Как он выл страшным голосом на берегу, когда мы удалялись дальше!

Потом я уже не видел его, не мог за ним следить, потому что горло сжали рыдания, а глаза застлали слезы.

Знаете, когда в жизни нет друзей, привыкаешь страшно и к собаке.

Но я скоро утешился: мысль, что пес среди друзей и сыт, и дома, на своей родине, меня успокаивала; я верил, что собака будет цела. Красивое море, с его синими волнами, меня развлекало немало, а тонущий остров с пятнистыми горами, где все еще не вытаяли, несмотря на лето, снега, казался, так оригинален, красив таинственным своим безмолвием и одиночеством, что я им залюбовался.

А потом качка морского пути, полярные плавающие льды, туманы, попутные суда с темными парусами, летающие над водой и касающиеся крыльями волн буревестники, ныряющие киты с фонтанами, стадо белух,— все это так заняло меня, что я только поздно вечером вспомнил бедную собаку, воображая, как она чутко прислушивается, лежа у меня на коврике, у кровати.

А потом я и совсем редко стал вспоминать пса, — такова привязанность человека.

IX

Я вспомнил Яхурбета живее и стал задумываться о нем все более и более только через полтора месяца, снова на Ледовитом океане, следуя к Новой Земле и нашей, казавшейся где-то далеко-далеко колонии, везя Яхурбету красивый стальной ошейник.

Чем ближе я ехал, тем больше задумывался. «Жива ли собака? Не случилось ли с нею какого несчастья? Сыта ли она?» И даже порою я видел ее во сне худую и тощую, то сытую и веселую, скачущую ко мне на шею...

Вон горы, снегом покрытые, белые горы; я даже не узнаю своего острова. Вот, кажется, наш залив: так он неузнаваем стал через полтора месяца, покрытый снова снегом. Вот и наша бедная одинокая полярная колония, видно, что на берегу нас встречает кучка народа.

Я схватываюсь за бинокль и узнаю знакомые дорогие лица; но пса нет, и в поле зрения все самоедские чужие собаки.

«Неужели не выдержал, погиб с тоски, иль что случилось?» На сердце какое-то тяжелое предчувствие, и я печально сажусь и еду на шлюпке домой, как вдруг на берегу знакомый лай... и собака.

— Яхурбет! — кричу я во все горло. В ответ визг и лай собаки, которая бегает у самой воды по камням.

— Яхурбетко! — кричу я от радости и машу рукой и ему, и самоедам и вижу, как собака садится на берегу и воет, страшно воет...

— Яхурбет! — кричу я еще, и он бросается в холодную воду и плывет ко мне, встречая меня уже у пристани, не сводя с меня темных глаз, повизгивая не то от холода, не то от радости, что видит меня, наконец, с собою в лодке.

Он лизал мне руки и лицо, и я не отворачивался, потом он мокрый скакал на меня на пристани, когда я здоровался с самоедами и обнимал старушку-самоедку — кривую бабушку.

Нечего и говорить, что это была радостная встреча и она стала еще гораздо радостнее, когда мне рассказывала бабушка, что было с собакой.

Бедный пес скрылся из глаз ее, как только отплыл пароход, дав последний прощальный свисток берегу. Самоеды видели, как он бросился было сначала догнать пароход, как он добежал до мыска, выл ужасным образом и, наконец, бросился в море; а потом он пропал на четверо суток, и все полагали, что он уплыл в море и был захлестан там крупными волнами.

Он явился только на четвертый день, явился усталый, голодный, ободранный и все нюхал мои следы, все к чему-то чутко, даже ночью, прислушивался, вскакивая и бросаясь к двери, когда слышал чьи-нибудь шаги... Но, встретив чужих, тоскливо ворочался, снова укладывался возле кровати на коврик и так стонал, так вздыхал, что было вчуже жалко.

Однажды в заливе показалось судно под парусами. Пес поплыл к нему и чуть не утонул, заливаемый там, далеко от берега, волнами.

В другой раз, наскучив ожидать моего возвращения, он почему-то убежал далеко в горы и бегал там весь

день, вероятно, отыскивая мои следы. Самоеды говорили, что он бегал за полтораста верст на Карский берег, где он вместе со мною имел сражение с белым медведем, и воротился поздно на другие только сутки, все такой же печальный и худой.

Наконец, он, видимо, успокоился. Бабушка ему твердила, что я возвращусь, и он как будто понимал ее уверения и все ждал меня, все прислушивался и тяжело вздыхал, тоскуя одиноко.

Бабушка, добрая бабушка, даже плакала, рассказывая, что он извел своею тоскою ее душу; а я сидел, улыбаясь и гладя рукой голову этого пса, который, казалось, понимал, что рассказывают про его похождения за время моей отлучки.

На толстой кудрявой шее пса теперь красовался стальной никелированный красивый галстук, и на нем вырезано было: «Яхурбет».

X

Теперь мы были неразлучны: пес не отходил от меня ни на шаг; даже ночью следил за моими движениями. Он как-то быстро изучил все мои привычки: когда я брал книгу из библиотеки, он спокойно свертывался на оленьем коврике у моих ног, будучи вперед уверенным, что я долго останусь в покое. Когда я стучал в стену, он знал, что придет матрос и принесет мне завтрак или чаю. Когда я снимал туфли, он уже повиливал хвостом, предчувствуя, что будет прогулка, а когда я брался за патроны и ружье, он так лаял, скакал на меня, бросался к дверям, как будто торопил меня охотиться за песцами.

Эти песцы решительно, кажется, сводили его с ума: когда мы выходили на двор, он стремительно кидался по направлению в горы, как бы говоря, что там его неприятели; и только видя, что я направляюсь в другую сторону, он покидал это направление и следовал, описывая круги передо мной по льду залива. Признаться, он был неравнодушен ко льдам; и когда мы бывали с ним в далеких торосах, у края льдов, далеко в море, он не отходил от меня на дальнее расстояние, как будто помня свою стычку с белым медведем. А торосы, белые, похожие на белых медведей, приводили его порою в такое

смущение, что он долго лаял на них, пока не убеждался, что это лед. И тут еще обнюхивал, обходил их кругом, как бы не доверяя очень зрению.

Но зато в горах он чувствовал себя прекрасно: не было следа, по которому он не нашел бы песца. Порою трудно было его вызвать из расселин камня, где он разыскивал норы; а когда нам удавалось подстрелить белую лисичку, он приходил в такое исступление, что нужно было бежать и отнимать у него, чтобы она сохранилась сколько-нибудь целой.

И даже дорогою, неся ее на плече, и то нужно было сторожиться, потому что Яхурбету все казалось, что она жива еще и посматривает на него лукавыми глазками, и он нет-нет щипнет ее или потянет зубами и пастью за лапы.

Однажды в кухне матросы попробовали его подразнить этим животным, зная его слабость. Он лаял громогласно, скакал на них, потом рассердился так, что глаза его покраснели, налились кровью, и, наконец, озлился до такой уже степени, что изодрал на одном жилет. Когда они увидели, что пес пришел в неистовство, они забросили песца на печь, и он скакал на нее до такой степени, что высунул язык от жару. И тут еще не успокоился и сторожил весь вечер песца, поглядывая, как бы его достать и уничтожить.

Недаром на его мордочке сохранились навсегда следы зубов этого животного, когда он было думал задушить его, гоняясь вокруг льдины.

Наступил октябрь; солнце снова стало показываться ненадолго в полдень; море встало, речки тоже; глубокий снег запорошил каменные россыпи, и я отправился с Яхурбетом снова в полярную экскурсию, чтобы проведать самоедов в одном далеком северном заливе.

Расстояние было порядочное,— что-то около полутораста верст. Нужно было захватить порядочно провизии на случай нечаянной зимовки вне колонии. Собак было немного к моим услугам, и я припряг Яхурбета, который был уже таким коренником, что самоеды мне завидовали. Он тянул самым отчаянным образом; длинная палка, которой правят оленей и собак самоеды, никогда не дотрагивалась до него. Его слабые товарищи были назади; он один трогал с места тяжелые нагруженные санки и вдобавок решительно не обижался на такое заня-

тие, и даже посматривал вперед: нет ли где белой полярной лисички. И стоило ей только где подвернуться в пути, как он с лаем срывался тогда и не слышал уж никаких отчаянных криков и так увлекал всех псов, что крушение было неминуемо.

Так мы двигались с ним к северу сутки за сутками, коротая дорогу, — днем в пути, снимая карту, делая заметки, наблюдая полярную природу; вечером, при луне,— то же самое, а ночью — ночуя прямо под открытым небом.

Выберешь где-нибудь за ветром мысок, поставишь нарты (санки) углом, прикроешь навес брезентом, разведешь огонь, чтобы сварить себе с проводниками чайничек, поешь мерзлой оленины, спустишь и накормишь тюленьим мясом собак, если есть еще в запасе — нет, так и так протерпят дня два или три, собаки лягут в снег, зарывшись наполовину, — закроешься оленьей шкурой, товарищ отопчет ноги снегом, чтобы не замерзли, и спишь себе спокойно, уставши за день, надеясь, что псы услышат приближение медведя и не выдадут, а ружье, поставленное в головах, не даст осечки.

Раз мы даже нашли на дороге, в Грибовой губе, избу для ночевки. Про нее давно уже говорили самоеды, как про единственное убежище во время дороги и шторма. Изба была некогда, быть может, столетие тому назад, местом зимовки экипажа какого-то судна, и самоеды говорили, что бывали и летом у нее и видели даже черепа людей, которые умерли тут от цынги или голода в старое время. Изба оказалась просто несчастной хижиной сажени в полторы длины и в сажень ширины; в сенях ее трудно было пролезть; потолок так низок, что трудно было выпрямиться; дверь была всего один аршин в квадрате, а печь заменяла обычная деревенская банная каменка, над которой было отверстие, служившее выходом для дыма и вместе с тем заменявшее и окошко.

Половина ее внутри была занята нарами, которые до того были черны и грязны, пропитанные дымом и жиром еще за столетие до этого времени, что нужно было постлать что-нибудь, чтобы не замараться.

Когда мы добыли огонь и влезли в нее втроем, то было тесно, а когда тут же вздумал поместиться и погреться Яхурбет, то ему пришлось идти по нашим спинам и головам, чтобы пробраться подалее на нару.

Скоро и от огня костра, и от пара нашей мохнатой одежды, и от дыхания и испарений так потеплело, что мы остались на ночь в одних рубашках.

Вероятно, в этом отношении она и была удачной для полярных зимовок, что давала такое тепло, какое даст вам только разве баня.

Когда мы огляделись, то заметили еще одно ее совершенно непонятное на первый взгляд удобство. Нижнее бревно с той и другой стороны нар оказалось подвижным, вынималось. Сначала я думал, что это для свежего воздуха, но самоеды объяснили это совсем иначе. Это — выход для людей, застигнутых тут нечаянно белыми медведями, которые спокойно могли зайти зимою на самый потолок избушки, продавить его, ворваться в хижину и передавить людей, или же запереть им выход через сенцы. Тогда-то люди вылезали низом, чтобы принять врага рогатиной или пищалью.

Я даже попробовал вылезти таким странным образом, и Яхурбет пришел в удивление: ему показалось, вероятно, будто я исчез под землю. Но мы ночевали в этой хижине самым благополучным образом. Медведя не было вблизи, бегали только полярные лисички, и собаки не раз гонялись ночью за этими лукавками, которые всегда настолько нахальны и хитры, что только прозевай, как уж утащат ремень, шкуру какую, кусок провизии или рукавицу.

В эти тревожные моменты ночи один из нас поднимался с постели и высовывал голову в дымовое отверстие, а мы спрашивали, нет ли медведя на крыше.

Вскоре потом мы дошли до залива.

XI

В заливе этом жили самоеды. Мы еще за целые сутки пути видели их след, когда они выезжали, вероятно, за промыслом на оленя далеко в горы; но когда пришли в залив, хотя и светила заря, мы долго не могли определить, где было их жилище.

Оказалось, они жили в чуме, который был так занесен сугробами, что от него вверху только торчали дымовые колья; по этим-то кольям, по этому дымку, когда

вздумалось им затопить, мы и догадались, что тут есть живые люди.

Это было какое-то чисто допотопное сооружение: в сугроб вела темная длинная снежная дыра. Когда мы подъехали, из нее сначала показались собаки, а потом вынырнула фигура в малице, и оказалось, что это и есть выход из чума.

— Что вы закутались так? — спрашиваю я вынырнувшего оттуда самоеда.

— Так теплее! — отвечает он и потом прибавляет, обращаясь ко мне:

— Давай лезть — гостем будешь! — и словно, чтобы показать мне, каким это образом надо проникать в жилище, он поджал ноги, скатился в сугроб и исчез, прежде чем я решил, спускаться ли мне ногами вперед или головою.

Решил — головою. Лег на брюхо и скатился в темноту и уперся головой в какую-то бочку. Оказалось — с провизией. Тут был у них в сугробе амбар, и я, сопровождаемый повизгиваниями недоумевавшего Яхурбета, пополз далее, в темноте, позабыв даже собаку.

Ползти пришлось порядочно; впереди полз самоед, указывая дорогу, и только проползши так, в темноте, мимо собак, провизии, склада дров и разной рухляди самоедского обихода, всего спрятанного укромно в снегу, в норе, как у кротов, я попал в самый чум, в котором как ни в чем не бывало сидели у огня и посмеивались люди.

Там было даже тепло, в этом снежном жилище самоеда, и ничто, ровно ничто не напоминало, что мы в снегу или в сугробе, как звери.

Но прежде чем я мог вдоволь налюбоваться этой картиной — людей в шатре, у огня, над которым уже кипели разные котлы и чайники, случилось нечто неожиданное... В чум чуть не в самый костер свалился Яхурбетко, который, вероятно, напрасно разыскивая меня в снегах и не пускаемый туда чужими псами, попал в дымовое отверстие и сорвался оттуда вместе с снегом и комьями льда прямо на середину чума.

Визг и крик детей приветствовали его появление. Над огнем взвилось громадное облако пара, дыма и пепла; потом раздался в чуме взрыв хохота, и Яхурбет предстал с ошпаренными боками, как виновный.

Но это несчастное обстоятельство послужило, однако, к тому, что все его сразу полюбили за догадливость и тут же решили отвести ему самое почетное место возле меня, на оленьих шкурах.

Надо было видеть его довольную морду, когда он тут же уселся с нами в рядок, у огня, посматривая на огонь и думая какую-то пёсью думу!

В этом чуме в сообществе двух семей самоедов да десятка ребят, которые резвились тут, ползая по матерям и нашим спинам, по Яхурбету и собакам, окруженные десятком других псов, помещавшихся в снежном коридоре, в проходе, освещаемые днем и ночью костром, продымленные дымом его в ветреные дни, мы и должны были с Яхурбетом прожить половину второй полярной ночи. Это было чудное житье, полное веселья и приключений. Рассказы охотников не затихали в чуме; мурлыкали какие-то песни-импровизации самоедки; часами шла игра в карты и шашки у самого пламени или коптящего ночника; шла чеканка и починка ружей и литье разных пуль с заговорами: убить непременно медведя. И это прерывалось беспрестанной едой: утром — холодного мерзлого мяса, днем — бесконечными чаями с салом, мозгами и самоедскими лепешками на тюленьем жире, а вечером — таким обедом в котлах, на который уходит целиком олень, чуть даже не с его рогами.

Тихо было относительно только ночью; но и то сон прерывался собаками, которые тихо входили ночью в жилище и, отыскивая кости, уже обглоданные людьми, дрались из-за них самым остервенелым образом, не разбирая, что местом драки служат спящие люди.

Тогда горе было и мне и Яхурбету: самоеды схватывали первое, попавшееся под руку полено, и хлестали им в темноте по псам, а часто и по нашим телам, закутанным в шкуры.

Тогда добывался огонь; из шкур вылезали самоеды, голые и лохматые, и с громким хохотом рассказывали, кого и как и кто лупил, думая, что попадает по псам, а не по человеку.

Но были дни, когда мы занимались и экскурсиями и охотами, для которых прибыли сюда с Яхурбетом.

Это были чудные поездки.

Еще ночью, — темно еще на дворе, — самоеды объявляли, что сегодня день охоты. Самоедки рано разводили

огонь и варили нам чай и готовили горячее мясное кушанье; в просторные мешки наскоро совались патроны, пули, порох; у огня торопливо оттачивались ножи, приносилась теплая одежда, и мы, еще гораздо ранее рассвета, выходили из снежной норы и торопливо запрягали собак в сани.

Яхурбет сам давался теперь в упряжку, вероятно, привыкнув к новой своей обязанности, и мы, скользнув с высокого сугроба у берега, летели в темноте, по льдам, к какой-нибудь далекой полынье, дымящейся в море.

Попадет трещина во льду — ничего; попадет торос — с упорством взбираемся; попадет тонкий лед только что застывшей полыньи, санки подгибаются, но нас быстро выносят собаки. И через час-два езды мы где-нибудь далеко уже в море. Кругом полная тишина и темнота, и не знаешь, стоишь ты на неподвижном льду или же оторвало тебя от берега и несет незаметно в открытый океан.

В такие дни были азартные охоты: тюлень лез, что называется, на дуло ружья; выстрелы гремели беспрерывно и тонули в тихом воздухе, а льды только постанывали от движения воды — прилива или отлива.

Берег льда, бывало, чернеет от темных туш тюленей; другие попадались — настоящие гиганты; не успевала плавать лодка с подбирающими зверей охотниками, а псы наедались до такой степени, что только лежали и дышали.

Не то было в дни непогоды.

Из чума слышно было, как посвистывал ветер на воле, сыпалась пороша к нам в дымовое отверстие; но в чуме в снегу была полная тишина, как бы в могиле.

Тогда мы не выходили неделями из-под снега, тогда бегали проведывать только псы и хозяева, что делается на улице, но мы и без слов, без доклада, угадывали, что творится там, наверху, когда они возвращались оттуда все в снегу, запорошенные, сгребая рукой снег с лица и отряхая одежду, с которой летели хлопья снега.

Но пройдут метели, наступит тихая ночь, и тогда мы с Яхурбетом наслаждаемся воздухом столько, сколько хотим.

Тогда каждый сугроб нам постель, и лежишь на ней и любуешься северным сиянием, которое в такие ночи там бесконечно.

Какие-то огненные столбы двигаются по звездному, чистому, ясному небу, развертываются в ленты и вымпелы, разгораются все разноцветными нежными цветами; а то ударят вдруг словно неподвижною ракетой высоко-высоко или вдруг вспыхнут целым бледным облаком, которое потом видно, как тает.

Лежишь и любуешься, и мысли далеко вверху, в этом непонятном доселе небесном явлении, в этой загадочной игре света...

А то гуляешь вдоль низкого берега, на котором выдуло весь снег ветрами, страшной бурей. Гуляешь часами взад и вперед, до усталости, погруженный в какие-то изменчивые, как сон, далекие от берега этой земли, мысли.

Раз, гуляя так у мыска, мы с Яхурбетом было натерпелись порядочного страха. Только что было присели у камешка и сидим, окруженные морскими испарениями в виде густого тумана, как вдруг шаги, явственные, тяжелые шаги со стороны моря. «У-р-р-р-р!..» — заворчал было Яхурбет своим сердитым голосом, но они направляются смело в нашу сторону. «У-р-р, ур-р-р, ур-р-р...» — пятится он немного ко мне, поджавши хвост между ногами. Кто-то всходит, поднимается с моря на мысок. «Медведь», — думаю я, хватаясь кругом, позабывши, что у меня и оружия нет. Вдруг белое громадное пятно стало перед нами среди тумана. Пес с визгом бросается к ногам, чуть не сшибая меня, и я несусь, несусь за ним по направлению к хижине, чувствуя даже за собой как будто ужасную погоню.

Вбегаю я в чум и зову самоедов на зверя; но, оказывается, вместо медведя, там бродит безобидный дикий олень, который и представился нам в тумане белым мохнатым морским чудовищем.

Так жили мы, зимовали другую зиму с Яхурбетом, даже не думая о будущем; между тем оно словно только поджидало нас с своим горем.

После Николина дня мы покинули снежный сугроб, где провели столько времени счастливые, как дикари и дети; благополучно миновали знакомый путь, только пролежавши сутки в одном сугробе вследствие бури, и, наконец, счастливо добрались в колонию, не заблудившись. Мы думали, что там нас ожидает старая, тихая, теплая жизнь уже в цивилизованной обстановке, без лишений, но оказалось, что там ждало нас горе.

Оказалось, что пришли туда нехорошие вести с Карского, знакомого нам с Яхурбетом берега. Туда еще с осени ушли самоеды, чтобы набить оленя, но олень ушел куда-то, кочуя по острову. Есть стало самоедам решительно нечего; дожидаясь промысла, они поели даже свои шкуры; море тоже оказалось негостеприимным на этот год: ни открытой воды, ни полыньи даже не было видно с возвышенности, с высокого горного мыса.

Все пришли оттуда, воротились в колонию голодные и озябшие, некоторые семьи схоронили своих детей, погибших от голода; на лицах самоедов были следы тяжких голодовок и болезней, и они выглядели, как выходцы с другого света — так доняли их голод и холод.

Это было бы еще ничего: все воротились живыми. Но горе было в том, что там остался старик со старухою и молодым сыном, который, несмотря на голод, ни за что не хотел оттуда идти, все дожидаясь зверя и промысла.

Это был несчастный Фома с сыном Ваней и со старухою, которой я еще только этой осенью подарил прехорошенького маленького пса, привезенного из Архангельска, и с которым она никогда не расставалась.

Старику просто было тяжело подниматься на старости и перевалить хребет; он не хотел по гордости сознаться товарищам в старческой немощи, и вот он остался.

Все каждый день поджидали его, все каждый день присматривались, не покажутся ли с востока санки. Но санок не было, ревели одни бури. Страшные ревели бури, особенные какие-то в этот год, беспрестанные и сильные; тяжелые поленья плясали у наших стен, двери двигались от сотрясения большого дома, лампадка качалась, распространяя колеблющийся свет в моей комнате, портреты шевелились. А печь так вздрагивала от напора сильного вихря, что на это отзывались жалобно часы и не во-время били.

И порой самоеды, сидя у меня в гостях, среди разговоров вдруг задумывались, и на их глазах навертывались нескрываемые слезы...

— Где-то Фома теперь со старухою? Уж жив ли? — другой раз скажут они, и все замрут в каком-то тяжелом предчувствии и сразу затихнут.

XII

Как вдруг однажды ночью вбегает ко мне самоедка.

— Фома пришел! — а сама дрожит вся от ужаса и стучит даже зубами. Яхурбет даже завыл страшным голосом, как бы предчувствуя горе.

Накинул я на себя скорее малицу и побежал в другую избу.

Смотрю — огонь. Смотрю — толпа, и в переднем углу, обгладывая кость, сидит старик в ужасном виде. Глаза навыкате, лицо обросшее; голое тело покрыто сажею и представляет какие-то рубцы; руки худы, ноги — одни кости. Весь трясется. Трясется и только мычит в ответ, занявшись костью, окруженный расспрашивающими самоедами. Я даже пошатнулся от ужаса; а он, увидев меня, хотел улыбнуться, но не мог и заплакал. Слезы побежали из его глаз, и он сказал: «Пропали, барин!»

В другом углу возились женщины, раздевая притащенного им на плечах несчастного Ваню.

Он был неузнаваем и только дико смеялся. От прежнего мальчика остались только одни голубые, задумчивые глаза, остальное все превратилось в какой-то скелет.

Я дал им вина и стал расспрашивать старика, но он поведал одно, что они голодали страшным образом, и, не попадись им олень, заблудившийся какой-то олень, они умерли бы все от голода, не выбившись так, из далека.

— Где же старуха? — спрашиваю я про знакомую бабушку с собачкой.

Старик только махнул рукой, как бы говоря нам, что она погибла.

Но оказалось, она была живой: он оставил ее еще живую на Карском берегу, предварительно закопав ее с собачкой в снегу, укрыв там шкурами, которые она ела, и сказав ей, что если они дойдут до колонии, то барин спасет ее, пославши отыскивать с собаками.

— Давно? — спрашиваю я. — Далеко? — тормошу я старика.

— Верст сотню будет, а оставил, не помню сколько дней, — все в голове попуталось от ужаса и голода. Мы две недели ничего, пожалуй, не ели с Ваней. Он отощал так, что я притащил его волоком по снегу и сугробам.

Мысль, что старуха одна на берегу, еще живая, ждет

спасения, как будто ударила меня по сердцу. Я собрал людей и отправил их немедленно на розыски; но утром заревела буря, и они, ночевав ночь в горах, явились вновь в колонию, говоря, что сбились с дороги.

Решено было отправить других разведчиков, как только утихнет буря; но она ревела еще несколько дней, пока погода не кончилась и не стало в горах тихо.

Мы отслужили молебен за здравие бедной бабушки и снова послали с монахом на розыски новые санки. Так как не было довольно сильных собак, я пожертвовал Яхурбетом в упряжку. Бедное животное жалобно смотрело на меня, как бы спрашивая, куда гоню я его зимой, полярной ночью, далеко в горы? В его глазах была какая-то тревога, соединенная с покорностью; но я махнул ему рукой и сказал самоедам, чтоб они берегли его, и санки тихо скользнули с нашего сугроба и скрылись.

Скользнули и исчезли сейчас, словно потонув в сумерках полярной ночи.

Они воротились через несколько дней с полуживою старушкой, которая, дожидаясь, голодная, поела не только свою одежду, но даже свою собачку; но с ними не было, к ужасу моему, Яхурбета.

— Где он? — спрашиваю я и чувствую, как сжимается мое сердце. Самоеды отвечают мне жестоко:

— Остался где-то в хребте! Убежал, как поднялась буря! И с тех пор, как ни кричали его — не видали! Должно быть, пропал!

В первый момент я не показал и вида жалости, но почувствовал, что сердце упало. Но ночью не выдержал и зарыдал и плакал всю ночь, запершись от людей в кабинете.

Ночью поднялась буря. Дом затрясло, как вагон на железной дороге, лампадка даже потухла от движения воздуха; в трубе страшно завывало, и мне показался голос этот таким знакомым, живым, что я даже выбежал было на улицу, в надежде увидать там собаку.

Но там только визжало от ветра и вихрей; погода словно хотела натешиться над чьим-то страданием; глаза и лицо мгновенно запорошило, и я воротился в здание и с дикими глазами забился на кровать, чтобы забыться.

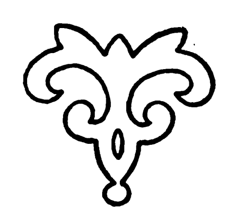
Всю ночь мне представлялся пес; всю ночь я слышал его лай, то вой, то слабые повизгивания; казалось,

он замерзал и просил меня спасти его; но страшно было и подумать об его спасении...

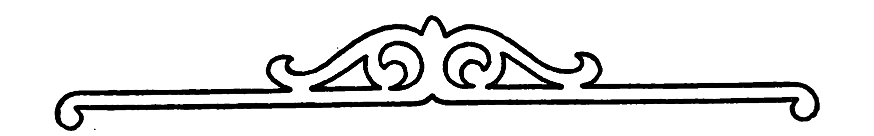
Буря, как на грех, не утихала целую неделю, и я ходил по комнате и все прислушивался, проклиная ее и этот несчастный суровый полярный остров.

Самоеды заходили и говорили мне в утешение: одни говорили, что пес найдет весною дорогу; другие уверяли, что он превратится в дикое животное, как уже превратилось много собак на этом острове, отставши и после одичавши; третьи говорили, что он найдется, отыщется случайно каким-нибудь самоедом.

Однако я прожил еще год на этом острове, получаю до сих пор с него весточки и не слыхал слова об Яхурбете.



П. И. ЗАЯКИН-УРАЛЬСКИЙ



В ПЛЕНУ У ЖЕЛЕЗА

I

Все это было недавно, и в памяти еще ничего не потускнело, все отчетливо рисуется воображению, и многое чувствуется остро, до боли.

Передо мной, как наяву, знакомая картина: большой зеркальный пруд с отлогими берегами, где растут, отражаясь в воде, камыши и ивы; широкая плотина с рулем и перилами со стороны пруда, а с другой стороны — неуклюжий и закопченный доменный корпус, высокий дощатый забор и торчащие из-за него черные заводские трубы; дальше, на горе, небольшая белая пятиглавая церковь, полукаменный управительский дом с большим тенистым садом и стройные ряды однообразных обывательских домиков с палисадниками перед окнами.

Это родной завод на Урале. Здесь я родился, вырос и провел юношеские годы. И много здесь пережито...

Жизнь на заводе тянется лениво, монотонно и скучно. Всякий новый день бывает повторением предыдущего. Сегодня, как вчера; вчера, как сегодня. Сходство людей тоже поразительное.

Рабочие с характерными для заводских людей красными лицами, грязные и угрюмые, как старые, так и молодые, кажутся автоматами, прыгающими около раскаленного железа под грубые окрики мастеров и смотрителей.

Служащие нудно и однообразно тянут лямку: кто в

цехе, наблюдая за рабочими, кто в конторе, щёлкая на счетах или скрипя пером, и только по внешности отличаются некоторой опрятностью костюмов, но их лица, как и лица рабочих, буднично хмуры и не одухотворены.

Но три-четыре раза в течение года заводская жизнь выходит из рамок однообразной обыдёнщины: завод затихает, не дымят черные трубы, не кричит гудок и не спешат в цеха рабочие. Огромные корпуса стоят мрачные и тихие, как будто грустят о прекратившемся в них шуме и грохоте и о покинувших их рабочих. Только одна доменная печь, действующая безостановочно по два-три года, дымится и пышет пламенем, и только к ней тянутся возы с рудой и углем. Бывает это на рождестве, на пасхе да в летнюю страду.

Причастный с детства к этой жизни, но теперь оторванный от нее, воскрешаю в памяти прошлое, уношусь мыслью в родную глушь, где была колыбель первых проблесков моего сознания и могила светлых снов моей ранней юности, уношусь и с грустью думаю: «Как близко и как далеко все это. Оно пережито и ушло без возврата... Передо мной другая жизнь — огромная, шумная и яркая... Но так живо все родное».

II

Воспоминания, как белые лебеди, проносятся вереницей, одни образы и картины сменяются другими, знакомые лица улыбаются тепло и приветливо.

Отчетливо рисуется старый, сгорбившийся, седовласый дед, и вспоминаются его тихие ласки и рассказы о старине, всегда завлекательные, хотя и грустные.

Сидим с дедом на меже у полосы золотистой пшеницы. Незаметно угасает знойный и яркий день. Ласково сияет голубое небо, начавшее темнеть. Перед нашими взорами блестит, как шлифованная сталь, спокойный, задремавший пруд в зеленых берегах. Дед сидит молча, устремив мутный старческий взор в синюю даль, и тихо ласкает меня осторожным прикосновением руки к голове. Я тоже молчу и изредка посматриваю на него с тайным желанием в душе начать разговор. На берегу пруда пищат кулики и квакают лягушки, а в хлебах, чувствуя приближение ночи, трещат коростели.

— Дедушка, расскажи что-нибудь! — робко говорю я, выводя деда из задумчивости.

— О чем же рассказать? — спрашивает, встрепенувшись, старик и любовно глядит на меня.

— О чем-нибудь давнишнем...

— Да о чем?

— Расскажи, как строили завод?

— Ну, ладно, слушай.

Припадаю головой к груди старика, предвкушая удовольствие от рассказов, а он дряхлой рукой гладит мои волосы и начинает повествовать:

— Завод построен давно — старики этого не помнят. Знаем только, что рабочие как-то взбунтовались и все фабрики разорили. Случился взрыв домны, и газом людей сожгло. Человек пятьдесят пострадало. Некоторые дотла сгорели — косточек не осталось. Рабочим обидно стало — подняли бунт. Не любили завод.

Когда началась постройка завода, то всех здешних закрепостили владельцу. Но рабочих все-таки не хватало, и тогда стали высылать к нам людей из других губерний. Приедут высланные и все жалуются, что их насильно в работу послали. Случалось, приходили беглые, которые от помещиков убегали, и их тоже брали в работу. Эти думали, что найдут жизнь лучше, а попадали из огня да в полымя. Наши тоже жаловались, что воли лишились и в кабалу попали. Так все стон стоном стоял. Ну, а как подошел случай,— пошли громить. Все разрубили. Корпуса, печи и машины были разрушены. Плотину водопольем размыло. Сам помню развалившиеся стены да сломанные шестерни и колеса. Над развалинами стояла одна высокая черная труба.

Этого широкого пруда не было. Бежала только узкая речка Синеструйка. По берегам ее росли камыши и кустарники. Много водилось в этих камышах всяких птиц.

Селение было небольшое, с кривыми улицами и покосившимися избами. В окнах вместо стекол вставлялась брюшина. Теперь у купцов да у служащих полукаменные дома с зелеными крышами да с резными крашеными ставнями. Прежде таких построек не было. Завод нынче стал как город, а прежде был как худая деревушка.

Торговцев у нас прежде не было, а служащие жили так же бедно, как и рабочие. Положение для всех было одинаково — все были крепостные. Бывало так: сегодня

служащий в конторе за столом сидит, а завтра его отправят на домну флюсовый камень дробить. Сделает какой-нибудь проступок — и в наказание в работу отдают.

Крепостной народ жил беднее, скромнее и тише. Отец мой и все старики рубили в курене дрова на урок — пятина в день. Если кто не выполнял урока,— стегали розгами и били палками. Ленивых и неисправных в солдаты сдавали. От солдатчины многие скрывались. Убегут в лес и не выходят с месяц. Пройдет время сдачи — и остаются дома.

За побег, конечно, пороли розгами. Расправа была крутая и жестокая, часто пороли и без вины. Я испытывал это на себе. Меня взяли на работу в рудник четырнадцати лет и заставили из штольни руду таскать.

Носилка с рудой была тяжелая, не под силу мне, и за то, что я не мог ее полной нести, надсмотрщик бил меня палкой. Как бил? Ударит — армяк треснет. Весь съежишься, слезы брызнут из глаз, взглянешь на палача плачущими глазами, чтобы не бил, а он снова хлещет. Плачешь, из сил выбиваешься, но все-таки несешь груз. Да, были времена, каких не дай бог!

Растроганный дед обрывает речь и, тяжело вздохнув, смотрит на меня грустными глазами, но в его взоре, кажется, светится радость, что такие жестокости больше никогда не повторятся, его малолетнего внука не заставят нести непосильный груз и не станут бить палкой.

— Вот приехал к нам из Питера доверенный владельцев. Начали поднимать и устраивать заброшенный завод. У нас все были рады — работа будет дома.

Пока завод не действовал, всех наших рабочих отсылали в курени, в рудники и на другие заводы, верст за пятьдесят. Дороги были плохие, и провизию приходилось доставлять с трудом. Рабочие нередко сидели там голодом по двое, по трое суток, а один раз жили в курене без хлеба целую неделю. Служащие были неграмотные, писать не умели, только на дереве — рубежи назывались — вырезали знаки. Куренный мастер послал на завод с рубежом за провизией, а там его рубеж не поняли и провианта не отпустили. Ну, рабочим и пришлось голодать, пока мастер сам съездил на завод.

Вот такое темное время было! Прежде школ не знали, учиться негде было, да никто и не думал об ученьи. Я вовсе неграмотен, а детей своих учил. Нанимал пономаря

обучать их читать псалтырь. Нынче вот хорошо — для всех есть школы...

Дед помолчал, занятый мыслями, и снова полилась его речь:

— Нынче все грамотны, а люди хуже стали. Прежде друг за друга крепко стояли. Мне отец рассказывал, как весь округ против тиранства заводчиков восстал. Народу сенатские указы объявляли, чтобы все на работу шли. А народ отвечал: «Много мы слыхали указов, в них только наши провинности объявляют, а о том, сколько заводчик крестьян насмерть истерзал да голодом заморил, ничего не говорится». После этого войска пригнали с ружьями да с пушками. Народ тоже вооружился топорами, вилами, косами, оглоблями. Стали переговоры вести. Ничего не вышло. Все говорят: «Хоть головы рубите, а на работу не пойдем». Тогда генерал приказал схватить человек десять да сечь плетями. Народ на войско бросился, началась свалка, много было избитых. Потом те и другие отступились, а на другой день снова сражение пошло. Войско из пушки палило. В конце концов крестьяне сдались. Человек триста в тюрьму свезли. С год держали их в тюрьме, а потом отпустили. Все вышли худые, избитые, заморенные, рассказывали, что в тюрьме их били, пытали, на хлебе и на воде держали, терзали немилосердно.

— Ну, а как завод?

— Эх, заговорился я, миленький! Ну, слушай дальше. Завод пустили в действие. Я к тому времени вырос и женился. Работал на фабрике. На завод приехал управляющий — немец и ввел строгие порядки. Приказал обнести завод забором саженной высоты. Выстроил ворота и сторожевые будки. Всех рабочих, выходящих из завода, начали обыскивать. У каждых ворот поставили сторожей. Они обшаривали людей с головы до ног. Так и поныне ведется. Ничего не поделаешь.

Работал я на прокатной машине — железные полосы в валках прокатывали. Получался большой «угар» железа. За него наказывали рабочих розгами. По сто ударов и больше всыпали. Драли и меня за этот «угар». Но мы были не виноваты: железо горело оттого, что печи были плохие. Наказывали нас на эшафоте. Помост из досок так назывался. Положат на него человека, притянут голову, руки и ноги ремнями да порют, не на живот — на смерть. Был приказчик, по-нынешнему управитель, Ки-

реев, в работе ничего не понимал, а взыскивать умел. Закурит сигару и скажет: «Пока не кончу курить — порите его!» И пороли! Тело, как лапша, излоскутится, и кровь ручьями течет, а все хлещут. Если приказчик заметит, что удары дают легкие, жалеют, то прикажет отдуть и самих палачей. Ну, они и стараются, не щадя никого. Иного так высекут, что недели две потом не может ни сидеть, ни лежать, пока раны зарубцуются. А перед волей, если кто скажет, что скоро волю дадут, того схватят и бьют чуть не до смерти. Вот как пороли!

Тяжело было жить. Приказчики жестокие, работа каторжная, заводское устройство плохое... Нынче у печей не так жарит, как прежде, и у прокатных машин легче работать. Прежде люди сгорали у печей, а у машин надсаживались. Нынче все новое устройство. Заслонки да блоки — и хорошо. Заработки нынче сносные. Мы получали за работу по шесть гривен на ассигнации в месяц. На ассигнации — гривна, а серебром — три копейки. Старики поговорку сложили: «По три денежки на день—куда хочешь, туда день». Выдавали, кроме денег, провиант. Но мука зачастую была такая, как песок, а хлеб испекут — кирпичи, а не хлеб. И вот как вспомнишь прежнее житье, истязания, увечья, так и перекрестишься.

Старик истово крестится, а на глазах его блестят слезы, но он, быстро смахнув их с ресниц, начинает с оживлением рассказывать о воле.

— Вскоре потом вышла воля. Вот была радость народу! Было так же весело, как в христов день. Многие из нас, пожалуй, не знали, как будем жить, но все были рады. Старики от радости плакали. Молебны служили. После манифеста к нам приезжал владелец Николай Николаевич. Собирал народ и говорил, что желает жить мирно, просил работать на заводе, предлагал новые платы, обещал устроить нас землей и лесом. Но за землю был назначен большой оброк, и его нужно было отработать на заводе.

Прошла молва, что владелец заманивает народ под новую зависимость к себе, а пользу народу не сделает. Через это все взволновались, да и прежние обиды еще не были забыты. Старики отказались от земли, не послушали увещания владельца, не поверили ему и осрамили его. Он разговаривал с ними, а они ему кричали: «Уйди от нас! мы не твои теперь. Уйди, черный ворон!» Он разгневался

и сказал: «Я доведу вас до того, что вы на три дома будете иметь один топор». А народ ему: «Не прежнее время — стегать не положишь!» И уехал он, оставив нас ни с чем.

Завод с месяц стоял, а потом, как жить стало нечем, мы просили пустить его в действие. С той поры опять работаем на владельца и живем без своей земли и без своего леса. Во всем завод полный хозяин — и лес рубит и землей распоряжается. Вот нынче здесь на поле хлеб посеян, а на будущий год, может быть, это поле завод займет под рудничную свалку или под склад леса. Говорят, что скоро землю и лес нарезывать станут, а чем нас наделят? Кругом на десятки верст лучший лес вырублен и вся земля изрыта заводскими разведками. За двадцать верст от завода надел не примешь. Выгон у нас хороший, но на одном выгоне не проживешь. Ох, что-то будет?

Дед спадает с восторженного тона, которым начал рассказ о воле, и, уныло поникнув головой, говорит о современной жизни, о природе и людях, изменяющихся и вырождающихся, как все на свете.

— Не стало леса, обмелели речки, растительность плохая, не стало ни рыбы, ни зверья, ни птиц. Народ стал плохой, измельчал и ослабел телом. Старики были крепче, бодрее и дольше жили. Нынче много вражды и мало добрых дел. Прежде друг друга блюли и не выдавали. В праздничный день нынешняя молодежь пьянствует, шляется с гармониками, дерется, стекла в домах бьет, ворота мажет, всячески озорничает... И мальчишки-подростки туда же тянутся. С малых лет начинают табак курить, водку пить, сквернословить... А песни какие скверные поют! Срам слушать! Нет, прежде этого не было... Мы табаку и водки не знали, не дрались, а только с девушками хороводы водили. В праздничный день — все в красных рубахах и в красных платьях — выйдем на луг к речке и гуляем тут до ночи. Гармоник у нас не было, а веселье было какое! Весь народ соберется бывало, смотреть на нашу игру. Песню запоем, хором, все заслушаются. Ушло время. Не то нынче, совсем не то!

Безнадежно махнув костлявой рукой, дед умолкает, погружается в недолгое раздумье и вдруг начинает подниматься с земли, чтобы идти домой.

Медленно движемся по берегу пруда. Вокруг темнеет. В воздухе разливается прохлада. Над прудом стелется пеленой молочный туман. В траве звонко квакают лягушки. В темном небе вспыхивают золотые звезды. Грудь дышит легко. Но в воображении встают картины и образы былого и будят грустные чувства.

III

Дед, работавший с детства до старости на заводе и выслуживший на инвалидные годы пенсию в один рубль двенадцать копеек в год, сходит в могилу на вечный покой под зеленым холмом и черным крестом.

Не стало деда и многих других, подобно ему проводивших всю жизнь в плену у завода, в плену огня и железа, уставших от долгого труда, от нечеловеческих мук, уставших и уснувших на кладбище вечным сном, а широко раскинувшийся, с закопченными стенами корпусов и высящимися над ними черными трубами неприглядный завод, как огромное чудовище, шумно дымит, пыхтит и гудит сотнями голосов, требуя новых сил и новых жертв... И новое поколение идет на смену отошедшим служить властелину-заводу.

Прошла пора светлых детских иллюзий, и настала суровая действительность.

Не без волнения первый раз спускаюсь с горы к шумящему чудовищу. Передо мной дымятся десятки труб и блещут сотни разноцветных огней. Одни вспыхивают, потухают и снова светятся; другие горят ровным, ослепительно-белым, чуть-чуть колеблющимся пламенем; третьи ежеминутно меняют цвета. В воздухе стоит немолчный гул, уносящийся кверху вместе с дымом и расплывающийся в небе.

На домне черные от угольной пыли углевозы и краснобурые от пыли обожженной руды засыпщики бросают в печь ее каменноугольную пищу. Из-под огромного железного колпака над колошей, кратером вулкана печи, пышет большое фиолетовое пламя. В тот момент, как поднимается воротом колпак и ссыпанные на него руда и уголь проваливаются в печь, над колошей взвивается огненный столб и уносится вверх по трубе и целым фонтаном искр рассыпается по окрестности.

«Как это красиво,— думаю я.— Точно огненные бабочки летят...»

— Газ водородистый, не яркий,— чугун будет серый, а нам нужен для отливок белый или половинчатый,— замечает, сокрушенно вздохнув, старик-мастер, представляющий странную фигуру в картузе, кожаной куртке, широких плисовых шароварах и больших сапогах.

— Вы это узнаете уже заранее?

Он улыбается, разглаживая бороду на желтом суровом лице, смотрит на пламя и затем медленно, растягивая слова, говорит:

— Тридцать пять лет хожу за домной-матушкой, так как же мне не знать, какой у нее норов?.. Надо все примечать, тогда все будешь знать, что для чего, к чему и отчего... Вот если дым не идет кверху, а стелется по земле, то будет дождь... Так и у нас на заводе есть свои приметы...

По винтовой лестнице, обогнув мрачные дымящиеся рудообжигательные печи, спускаемся в нижний корпус.

Здесь переплетаются мрачные трубы, глухо гудящие, и только там, где фурмы, сверкают огненные очи доменной печи.

Мастер предлагает через особую призму посмотреть внутрь печи, где плавится чугун — на светлом огненном фоне видны сгустки темного цвета. Они быстро тают, как лед на солнце, и превращаются в огненную жидкость.

— Ну, ребята, открывай горн! — командует мастер.

Рабочие, в блузах и в лаптях с деревянными колодками, готовясь к выпуску чугуна, надевают фартуки из кошмы, чтобы лучше защититься от нестерпимого жара.

Несколько человек берут большой железный лом и пробивают им отверстие внизу горна.

Чугун бежит ослепительно сверкающей огненной лавой по песчаной канавке, вливаясь в посыпанные песком чугунные формы — изложницы. Быстро, одна за другой, изложницы наполняются. Порой там, где песок сырой, лава взрывается. Сотни мелких разноцветных брызг жидкого металла огненным дождем взлетают вверх и, рассыпаясь, мгновенно потухают.

Но выпуск окончен, горн засыпается песком, остывающая лава краснеет и меркнет.

Прокатный цех полон бурлящей жизни. Рабочие в лаптях, кошомных фартуках и с металлическими сетками на лице. Все охвачены суматохой, кричат, бегают и прыгают около раскаленного железа. Каждый чем-нибудь вооружен: кто клещами, кто рычагом. Одни подставляют нагретые добела куски железа под удары гигантского молота, от которых дрожат стены и гудит в ушах, а другие направляют такие же куски в валы прокатной машины, где со страшной быстротой и могучим гулом вертится огромное колесо — маховик. Нагретое добела, почти расплавленное железо, попав под молот или в машину, слепит глаза огненным дождем отделяющихся от него мельчайших частиц. Куски под молотом плющатся, обращаясь в форму лепешек, а из кусков, пропущенных в валах машины, вытягиваются длинные полосы, которые тут же ползут, как змеи, под пресс, мгновенно кромсающий их на куски.

Другие заводские корпуса кажутся тоже каким-то сказочным калейдоскопом, где мелькают закопченные каменные стены, печи, трубы, валы, колеса, блестит пламя, шипит пар, лязгает железо, мечутся и неистово кричат рабочие, а надо всем и всеми висит мрачный полог железной крыши.

И невольно рождаются в мозгу мысли: какое величие картины, какой мощный труд. Печи, станки, лебедки, ремни, сотни людей, тысячи голосов... Здесь выкатывают полосы, балки и проволоку, а из них где-то далеко будет сооружен мост через реку, огромный, красивый, точно сотканный из паутины, и по мосту будут бегать паровозы с десятками вагонов. В одном цехе выковывают скелет, в другом — мускулы, в третьем — отливают сердце, в четвертом — нервы, а соберут все — выходит живой двигатель... О, сколько тут пролито пота и растрачено сил во имя чужого счастья.

Но, вступив в завод, отдаюсь обычному круговороту: являюсь по зову свистка на службу и по его же сигналу оканчиваю занятия...

Летят дни за днями, беспрестанно дымится и гудит завод, выжимая соки из тех, чьи предки проливали здесь же пот и кровь, стонали под ударами розог, калечились, попадая в колеса, обжигались при взрывах газа в печах и увеличивали число безвременных могил.

IV

Самая крупная власть среди администрации — управитель завода. Это — альфа и омега всего совершающегося в стенах завода и в его общественной атмосфере, это — центр, от которого все исходит и к которому все стекается. Влияние управителя на жизнь заводского района огромно и неотразимо.

Живой пример этого — управитель Сухоруков, или Димушко, как прозвали его рабочие, выражая неуважение к нему за те милые качества, которыми он одарен от природы.

Его неуклюжая фигура с длинными ногами, узкие, как будто слегка прищуренные, хищные глаза и гнусавый голос производят отталкивающее впечатление. Но крайне неприятен он в минуты возбуждения, когда, раскрасневшись и брызгая слюной, орет на рабочих или служащих нечеловеческим визгливым голосом и отвратительно бранится.

Все знают, что Димушко вышел в управители из мелких служащих, что он мещанин и низшего образования, но сам он тщательно скрывает свое происхождение и в сведении об образовательном цензе собственноручно пишет: «реальное».

Изображая большого барина, он и жизнь ведет широкую. В доме держит целый штат прислуги: дворников, лакеев, горничных и гувернанток. Знакомство и хлеб-соль водит только с теми служащими, у которых красивые и ветреные жены, а всех остальных держит в «ежовых рукавицах».

И как трепещут перед ним все служащие и рабочие, скромные и терпеливые люди, искони живущие оседло и боящиеся шевельнуться.

Он видит все это, самодовольно улыбается и для острастки подчиненных говорит:

— Я служу и угождаю владельцам завода, как никто другой. На должности сижу прочно, никого и ничего не боюсь. Против себя не позволю ни слова, ни шагу. Врагу своему никогда не прощу и не забуду, а согну его, сломлю, задушу!..

И как говорит, так и действует. На других заводах платы рабочим выше и рабочих часов в день меньше, а Димушко назначает низкие платы, и режим на заводе до

крайности суров и своеобразен. Все сжаты и принижены. Кому терпеть этот гнет невмочь, те бегут, а остальные, не находя исхода, склоняют покорно выи.

Когда Димушко идет по заводу, ему открывают двери сторожа, рапортуют служащие, кланяются все рабочие, а он только щурится и, помахивая палкой, гнусавит или визжит.

И о нем сложили правдивую частушку:

Управитель ходит чинно,
А штрафует беспричинно;
Управитель — барин важный,
Но его ругает кажный.

Если во время обхода завода подходят к нему просители, то он их коротко и надменно обрывает:

— В контору!

В конторе люди томятся по целым часам, ожидая иногда и напрасно приема.

Какое бы ни было дело, Димушко сразу никогда его не решает, а обыкновенно говорит:

— Подумаю... Приди завтра... или послезавтра... Торопиться некуда...

Когда приходят вторично, он опять отвечает:

— Еще не решил... Приди дня через два... Надо подумать...

И заставляет приходить по три-четыре раза и требует, чтобы это было непременно с особым почтением и унижением перед его особой.

Служащие свои доклады и просьбы излагают письменно, по установленной форме, в рапортах и прошениях, а Димушко пишет на них резолюции: «заслуживает уважения» или «нельзя — кризис». Слово «кризис» — его конек. Просят ли у него денег в ссуду или железа на кровлю по номинальной стоимости — он, если не желает удовлетворить просьбы, отвечает: «кризис». Часто его резолюции носят грубый, насмешливый и циничный характер, и нередко в них пестрят слова из уличного лексикона. Случается и так, что ему покажется что-либо неправильным, он подчеркивает эти места цветным карандашом и возвращает бумагу просителю. Что именно не понравилось, в каком смысле нужно исправить прошение, он не объясняет. Об этом проситель должен сам догадаться. И нередко бумага путешествует в кабинет и

обратно к просителю по нескольку раз, пока последний не догадывается, что именно от него требуется.

Желание «все знать» развито у Димушки не менее, чем у любой свахи, и он, чтобы стоять в курсе всех событий заводской, общественной и частной жизни, окружил себя сворой — частью из служащих и частью из рабочих — клевретов и холопов. Они шпионят и доносят ему обо всем, где и что делается и говорится. За это он к ним всячески благоволит: увеличивает жалованье, выдает наградные, разрешает поделки в мастерских, отпускает бесплатно железо. Они, чтобы больше извлечь личной пользы, стараются нести ему возможно больше слухов и сплетен, измышляя их порой сами.

Он слепо верит им и расправляется со всеми по их доносам. Даже лица, совсем непричастные к заводу, но неугодные вершителю судеб, терпят от него гонения и бывают вынуждены уходить за пределы его «досягаемости». Осведомленный обо всем приспешниками, он через них же влияет, как ему угодно, на все явления общественной жизни, а также на отдельных лиц, во все вмешивается и всюду вносит струю своего режима. Ни выбор на сходе старосты, ни приглашение в школу нового учителя, ни свадьба среди служащих и рабочих не минуют его участия и не обойдутся без его влияния на ход дела.

Хроника завода полна грубостей и дикой расправы Димушки с подчиненными.

Вызывает он одного из самых забитых служащих Абрамова и подает ему объемистую тетрадь.

— Вот перепиши это к вечеру.

Абрамов, как трусливый раб, берет дрожащими руками тетрадь и робко замечает:

— Не успею, пожалуй, большая работа...

— А, так ты отказываешься? Вот тебе, вот тебе!..

И несколько увесистых пощечин сыплется в лицо Абрамова.

Идет Димушко на завод и встречает рабочего с шкворнем железа в руках.

— Стой!

Рабочий останавливается и обнажает голову.

— Где взял железо?

— С разрешения смотрителя...

Палка в руках Димушки взвивается и, визгливо рас-

секая воздух, падает на спину рабочего, пораженного ударом на полуслове.

Рабочий спасается бегством, а гневный сатрап вслед ему исторгает непечатную брань.

Занимается он хлебосеянием. У мещанина, конечно, нет для этого земли. Но человеку с его положением набрать в аренду земли сколько угодно — нетрудно.

В период посева хлеба он, не щедрый обыкновенно на слова, вдруг начинает с рабочими заговаривать. Спрашивает: «Как живешь? Сколько имеется земли? Сколько сеешь хлеба? Не сдаешь ли в аренду землю?» Рабочие догадываются, в чем дело, и предлагают землю. Малоземельные рабочие, уступая ему свои пашни, сами остаются без посева, а он разводит «сельскохозяйственную культуру» в обширных размерах.

Пахать, сеять, боронить и, наконец, сделать уборку хлеба опять ему легко, опять все сделают рабочие бесплатно или за плату от завода — он умеет провести в отчетах этот расход под другими наименованиями — и хозяйственные операции удаются ему блестяще.

Собранный хлеб сбывается по двойным против рыночных ценам заводским подрядчикам, служащим и рабочим, покупающим его не за наличные деньги, а с вычетом из жалованья, чем и привлекаются покупатели и оправдывается повышение цен.

Но не только практические дела увлекают Димушку, а подчас он любит и повеселиться, но и это делает с присущим ему своеобразием.

Любя конный спорт, он держит на конюшне «бегунцов».

Вечерами, когда к нему собираются на пирушку его присные, он отдает распоряжение подать к подъезду несколько троек. И затем, когда обильные возлияния жизненного эликсира настроят гостей на сонный лад, Димушко предлагает им освежиться прогулкой на лошадях.

Шумной ватагой они вываливаются из квартиры, размещаются в экипажах, и тройки уносят их под звон бубенцов в живописные окрестности завода.

Димушко не любит тихой езды и, садясь в экипаж, кричит кучеру:

— Катай!

Кучер хлещет лошадей, и лошади несутся стрелой.

Иногда Димушко садится на последнюю тройку в кавалькаде. Вначале спокойный, он постепенно увлекается и, наконец, выхватывает у кучера вожжи и сворачивает лошадей в сторону с дороги. Под ударами кнута лошади бешеным галопом летят вперед, обгоняя передние тройки, а Димушко, как настоящий кучер, время от времени воодушевленно выкрикивает:

— Эй вы, голуби!

Так потешает он гостей и свою натуру. И на заводе говорят:

— Загулял Димушко! Развернулся!

Если возникают хорошие начинания, то Димушко, как ярый мракобес, их тормозит и губит в самом зародыше.

Собираются передовые рабочие, говорят о своей разобщенности, решают сплотиться и открыть библиотеку.

Докладывают об этом Димушке, а он, ухмыляясь, говорит:

— Рожна в бок вам надо? Разврат один будет. Начитаются да умников корчить начнут. Идеи разные появятся. Если желаете развлечений — будут: летом — кегли, а зимой — каток. Это позанятнее вашей библиотеки и для здоровья лучше...

Новаторы невольно молча соглашаются с мнением сатрапа и мирно ретируются.

Так владычествует Димушко долгие годы.

И, наблюдая его деяния, всегда с краской смущения на лице вспоминаю о том, как в первые дни на заводе трепетал перед старшими служащими, ошибочно думая, что чем выше положение занимает человек, тем он совершеннее...

V

Неожиданно вспыхивает заря новой жизни, наступает светлая пора — дни скоротечных свобод.

Известие о манифесте создает восторженное настроение. Объявление свобод на заводе празднуют торжественно.

Многолюдная толпа служит на площади молебен.

Димушко проходит на площадь и, пошептавшись с отцом Иваном, облаченным уже в ризу, прячется среди группы, состоящей из торговцев, заводских смотрителей и мастеров.

Отслужив молебен, отец Иван произносит слово с призывом не злоупотреблять дарованными свободами. Для всех становится ясным, что́ нашептывал управитель священнику. Отец Иван, покорный влиянию Димушки, исполнил только его волю.

Вслед затем перед толпой выступает оратор, доселе скромный конторщик Веснин, с горячей речью о значении свобод. И как восторженно и смело звучит его голос, и с каким благоговением слушает его толпа! Слушая эти новые крылатые слова, толпа стоит, не шелохнувшись, но едва умолкает оратор, как вспыхивает движение, точно по ней бежит какой-то ток, и тысячи голосов покрывают пламенную речь могучим «ура».

Льются новые речи, и вдруг над толпой взвиваются флаги, и она, наэлектризованная, свободная и счастливая, направляется по улице с флагами и песнями.

Димушко выходит из толпы и удаляется по направлению к заводу.

Шествие по улицам продолжается до вечера.

Завод в этот день остается пустым — в нем дежурят только старики-сторожа да разгуливает мрачный одинокий Димушко.

А вечером, возвращаясь с завода, Димушко видит толпу манифестантов и, бледный и встревоженный, наблюдает за шествием, за развевающимися по ветру флагами. И слова свободных песен его пугают, как страшит суеверного раскат грома. Он немедленно призывает до десятка холопов и не отпускает их от себя до поздней ночи, думая, что рабочие, пожалуй, учинят над ним какое-нибудь насилие, хотя его страхи оказываются напрасными: все его игнорируют.

Канул в вечность памятный светлый день.

С этого дня Димушко совершенно изменяется, точно перерождается и становится новым человеком. Со служащими ласков и добр. На рабочих штрафов не налагает. Но все понимают, что он делает это из страха перед реваншем за прошлое и из желания казаться готовым идти в унисон с жизнью.

Целый месяц рабочие, улучив свободную минуту, собираются в кружки и сговариваются, как «выставить» управителя, чтобы навсегда избавиться от несправедливых обид и притеснений. Путь борьбы избирается самый мирный. Рабочие и служащие совместно составляют че-

лобитную и, собрав сход, подкрепляют ее еще общественным приговором.

— Уберем Димушку! Будет, потешился! — уверенно говорят молодые.

— Это неплохо бы было... Да крепко он сидит... Корни пустил глубоко...— скептически замечают старики.

— Ничего! — храбрится молодежь.— Вон в Чермозе управителя в тачке вывезли... А мы что? Хуже, что ли?

Наконец, челобитная рабочих отсылается с депутатами к управляющему округом заводов, но тот отказывается принять ее и за требование удаления Димушки с должности грозит остановкой завода.

Рабочих это ошеломляет.

Старики, упав духом, ворчат:

— Вот заварили кашу! Закроют завод — голодать придется...

Молодые тоже приуныли, но не сдаются и говорят:

— Завод не закроют: мы не бастуем, беспорядков не делаем, а честью просим избавить нас от деспота.

Димушко, поддерживаемый управляющим, воспрянув духом, ведет борьбу с зачинщиками похода против него.

Завод переживает тревожные дни. То и дело вспыхивают пожары. В одну неделю насчитывают до двадцати поджогов. Не успеют потушить один пожар, как в набатный колокол уже снова звонят и облака зловещего дыма плывут по небу то в одном, то сразу в двух местах. Это стараются клевреты Димушки.

А сам он, рассчитывая на темные массы, пускает слух, что поджигают те, кто занимается «политикой». К разряду этих людей он относит всех, к кому не благоволит или кого считает своим врагом.

И вот по заводу бежит стоустая молва:

— Политика поджигает!— говорят старики да бабы, в воображении которых политика — своего рода баба-яга, колдунья и от дьявола.

— А вы ее, политику-то, видели? — насмешливо спрашивает молодежь.

— Мы-то не видали... Но говорят, что у нас многие записались к политике... Оттого и бунт затеяли... Политика против управителя идет...

Народ, всполошенный пожарами и доведенный до паники, теряется и не знает, что предпринять.

Димушко, не меняя тактики, доносит начальству: пожары, бунт, погибаю!

Рано утром завод оглашает бой барабана — в него вступает воинская команда. Вслед за ней прибывают власти: окружной инженер, судебный следователь, исправник и отряд урядников и стражников. Власти останавливаются в доме управителя, а для постоя солдат и стражников отводится свободное заводское здание.

Солдаты с ружьями на плечах разгуливают по заводу, а стражники-ингуши в папахах, с плетками гарцуют на конях по улицам.

Завод замер и ждет событий.

Все рабочие собираются в прокатном цехе и твердо решают никого единично не выдавать.

— Дело общее, и если придется пострадать, так пусть всех карают.

Приезжие власти являются в заводскую контору и начинают требовать туда для допроса рабочих поодиночке. Рабочие посылают к ним депутацию с докладом, что будут отвечать только все или изберут для этого уполномоченных, за показания которых будут отвечать все.

Тогда власти в полном блеске своих мундиров и под охраной солдат чинно выходят к рабочим.

В толпе рабочих водворяется жуткая тишина.

— Стрелять будут! — кричит кто-то в толпе.

Но одинокий голос смолкает, и рабочие, не шелохнувшись, как бы застыли на местах.

Приближаются власти и видят не только мирных, а даже трепещущих перед ними рабочих, и дело приходит к концу.

— Из-за чего у вас беспорядки? — спрашивает окружной инженер.

Из толпы рабочих выделяются двое и отвечают:

— Никаких беспорядков нет.

— А зачем собрались?

— Просим управителя уволить.

— За что?

Вся толпа, как один человек, гремит:

— Житья нет... Замучил... Издевается над нами...

— Тише! Тише! — кричит пристав.

А рабочие гудят в голос:

— Уберите его! Он — поджигатель... Все мы извелись

через него. Он — взяточник... Нам житья от него нет... Уберите его!..

— Хорошо, будет у вас новый управитель,— говорит окружной инженер.

Власти поворачивают обратно и удаляются, а рабочие тоже расходятся по домам.

Димушко уничтожен.

Через несколько дней приезжает его заместитель.

Завод оживает, снова дымят трубы, звонко кричат гудки, рабочие берутся за труд.

VI

Около месяца на заводе течет тихая жизнь, и народ отдыхает от пережитых тревог и многолетнего гнета. Затем веет холодом реакции, и начинается возвращение к старому режиму, а полицейские власти делают обыски, аресты и высылки. Передовые и лучшие люди из заводского персонала покидают родину...

Чем дальше уходит время от светлых и радостных событий, тем мрачнее и безотраднее становится жизнь на заводе.

Подъем духа среди темных в массе и необъединенных рабочих быстро падает. Каждый прячется, как улитка, в свою скорлупу. Начинается рознь там, где нужен дружный отпор.

Заводские власти не дремлют, верно учитывая момент.

Сокращается действие завода, уменьшаются расценки, более сознательные рабочие выкидываются за борт, а объяснение всему — кризис, беспорядки, забастовки...

Жизнь течет тихо, как сонная река, рабочие рабски покорны, а на заводе зачем-то учреждается охрана из ингушей.

Передовые рабочие и двое-трое из служащих стараются внести бодрость, вдохнуть энергию, но усилия пропадают, разбиваясь, как волны об утес.

— Зачем пали духом?

— Ничего теперь не сделаешь... Жмут кругом... На их стороне сила.

— Не сдавайтесь, а действуйте... Союз устраивайте...

— Узнают — уволят... А ингуши? Такой покажут союз...

На этом все и оканчивается.

Подходит событие — двухвековой юбилей завода.

Ожидается приезд на празднество одного из владельцев завода и какого-то сановника министерства.

Экскурсии на Урал владельцев, министерских чиновников, иногда целых комиссий повторяются ежегодно и вносят в серенькую, монотонную заводскую жизнь некоторое разнообразие.

Приезд на завод столичной персоны составляет событие: прежде всего — помпезные встречи, затем прогулки по заводу, поездки по рудникам, выдача рабочим «на водку», обеды с музыкой и финал — торжественные проводы.

Известие о приезде производит на администрацию более сильное действие, чем предупреждение о приближающейся опасности от холеры. Всюду начинается чистка годами накопленных нечистот и мусора. Идут приготовления также к приему. Десятки рыбаков ловят в пруду больших щук и поставляют их на управительскую кухню, где готовятся обеды для сановных гостей. Жены служащих с болью в сердце приносят на кухню откормленных индюшек, которым прочилась совсем не такая участь.

То же повторяется и на этот раз. Очищается и подбеливается грязный и мрачный завод, скачут в город курьеры с поручениями, волнуется инженерия, и хлопочет вся служилая мелкая сошка.

Дороги, где непролазная грязь, рытвины, ухабы и провалившиеся мосты, по которым быстрее пешехода без боязни за целость себя и экипажа нельзя было ездить, усыпаются заводским шлаком и песком, а вместо гнилых мостов строятся новые прочные мосты.

Для выезда выписываются из города два хороших экипажа с резиновыми шинами, кучеров одевают в кафтаны и шляпы, лучших лошадей достают из окрестностей и наряжают в дорогую сбрую.

Серая провинция, у которой много всяких изъянов, хочет блеснуть перед столичными гостями благоустройством в виде усыпанных шлаком дорог да кучеров в кафтанах.

Приготовления, наконец, завершены, а сановник из министерства не приехал, и владелец вместо себя прислал директора главного управления.

Все немного разочарованы, но заражены праздничным настроением.

В день торжества нарядно одетый народ с утра толпится на плотине завода. Плотина приняла необычайный вид. У перил со стороны пруда и у дощатого забора со стороны завода устроены декорации из свежесрубленных деревец, и над ним развеваются флаги.

В центре плотины высится арка из зелени, расцвеченная флагами, украшенная вензелями — инициалами с датами под вензелями «17» и «19...» и с обозначением наименования завода. Наверху арки поставлен двуглавый орел со скрещенными под ним молотами — эмблемой горного дела.

После обедни густая толпа во главе с духовенством в белых ризах торжественно, при колокольном звоне, с хоругвями и иконами, высыпав из храма на плотину, совершает церемониальное шествие по заводу.

День солнечный и яркий. Медленно, с легким гулом движется нарядная процессия, протянувшаяся длинной лавиной. Несется переливчатый звон и тает в воздухе. Блестят и трепещут хоругви, зелень и флаги. Все нарядно и красиво. Заводские цеха украшены пихтой, и в каждом цехе устроены для угощения рабочих стойки с пирогами, белым хлебом, колбасой, водкой и пивом.

Хоругвеносцы после молебна в главном корпусе завода возвращаются под благовест со святынями в храм, а весь народ, участвовавший в шествии, долго остается на заводе.

Женщины и дети, не допускаемые в обычное время на завод, с любопытством осматривают печи, котлы и машины, не успевшие еще охладиться.

— Молотище-то бо-ольшущий! — слышится в толпе у парового молота.

— А колесо-то какое? — дивятся у маховика.— Повернуть, так забегает!

— Иди-ко поверни, богатырь... оно тыщу пудов весом...

— Катыши-то, ребята, медные! — восторгается группа детей, осматривая шары регулятора машины.

Идет по цехам управитель завода в мундире горного инженера и говорит рабочим речи о благах, которые приносит населению завод, выражает надежду на успешное продолжение дела. Рабочие кричат «ура» и спешат к стойкам с угощением.

Собирается большая толпа, теснится и шумит.

Заводские уставщики выступают на празднике в роли виночерпиев, а рабочие по очереди, «в затылок», подходят к столам, выпивают чарку и берут кусок хлеба и закуску. Этот круговорот повторяется несколько раз. Вскоре толпа хмелеет, и шум ее усиливается. Угрюмые, красные от огня лица рабочих становятся пурпуровыми, фуражки у многих сползают на затылок, и гул растет и растет. Местами вспыхивают перебранки и завязываются драки. Под конец начинается неистовство.

Все это напоминает странные, давно забытые ежегодные первомайские попойки, устраивавшиеся заводом для рабочих, с обычным финалом — драками, убийствами и смертью от водки.

И думается, что это не двухсотлетие завода, не праздник труда и промышленного прогресса, а какая-то тризна в духе язычников по двухвековым жертвам завода.

Служащие празднуют юбилей особо торжественным обедом в конторе. Все они налицо, в сюртуках и манишках, чистенькие и веселые. Директор главного управления, толстый немец, во фраке, при орденах, произносит на ломаном русском языке речь, с грустью вспоминает былые годы, когда завод давал большие дивиденды, отмечает тяжелое время, кризис, забастовки и волнения, просит служащих работать на общую пользу и быть солидарными с управителем завода. Управитель держит ответную речь, а служащие кричат «ура». Затем выступают с речами и тостами другие, пьют, рассыпаются лестью, качают на руках директора и управителя.

И это тоже напоминает попойку и тризну, с той только разницей, что там, в цехах, предаются пьянству одурманенные темные люди, а здесь, в конторе,— служащие, носящие название интеллигенции.

Вечером на площади у клуба, как финал торжества, устраивается гуляние при иллюминации.

Арка на плотине освещена разноцветными огнями, такие же огни сверкают и в окнах клуба, а площадь перед ним покрыта тысячной толпой, шумящей, как море. Подвыпившие рабочие пытают счастье в спортивных развлечениях.

Некоторые карабкаются по намазанному салом столбу, но сваливаются, не достигнув его вершины, где подвешен заманчивый подарок. Другие стараются пройти по гибкой жерди, но теряют равновесие и падают в яму с

водой. Третьи пытаются балансировать по канату, но то и дело кувыркаются и растягиваются по земле. И те, и другие, и третьи все это проделывают с азартом, прибаутками и бранью.

Зрители этих сцен громко хохочут и острят над неудачниками:

— Растянулся, теленок!

— Грохнулся, увалень!

Тут же в толпе оркестр импровизированных музыкантов и хор певчих из любителей поочередно терзают слух нестройными, крикливыми волнами звуков.

Зажигается фейерверк, взвиваются кверху ракеты, как огненные птицы, и с треском рассыпаются разноцветными, мгновенно потухающими искрами в высоте.

Толпа любуется, взвизгивает, мечется и гудит без конца пьяным гулом.

VII

Через несколько дней, хотя день воскресный, завод снова дымит. В клубе любители устраивают спектакль и ставят драму «Степной богатырь».

Собираемся с конторщиком Итоговым смотреть пьесу, но перед самым спектаклем меня охватывает хандра, я отказываюсь от посещения спектакля, беру только что полученную из города книгу и долго жадно читаю.

Передо мной происходит историческая картина горнозаводского рабства. Пионерами горного дела на Урале были местные старожилы, бежавшие от помещиков крестьяне внутренней России и раскольники, искавшие свободы духа. Но недолго пользовались они свободой труда и совести. В конце XVII столетия вольные старатели превращаются в горнообязанных рабочих. И нигде в России крепостное право не достигало такого гнета, как на Урале.

Крестьянин-земледелец хотя иногда был относительно свободен, над горным же рабочим всю жизнь стоял надсмотрщик с плетью. Трудом горнозаводских крепостных сооружены эти высокие домны, построены мощные плотины и созданы громадные пруды. На всех уральских заводах упорно хранится сказание, что домны обыкновенно закладываются на костях крепостных. Но лишь только распоряжением казны и египетским трудом крепостных

были сооружены заводы, как их «для пользы горного дела» расхватали по рукам предки теперешних лэндлордов.

И с той поры для рабочих наступила жизнь — сплошная каторга. Не разгибая спины, с детства работали по шестнадцать-семнадцать часов в сутки у горнов, в глубоких рудниках и на куренях, а плетка свистала по согнутым спинам. Били для разнообразия распаренной лозой, солили лозу — выдерживали несколько часов в соленой горячей воде и опять били. В Невьянске до сих пор сохранился застенок с орудиями пыток, в Нижнем Тагиле существует нечто вроде подобного музея, в Усолье контора на соляных промыслах все еще именуется «расправой».

Наиболее смелые рабочие потянулись на Волгу и в Сибирь, потому что Урал стал хуже всякой сибирской каторги. В письме к Петру I начальник Урала де-Геннин доносил, что «пытавшихся бежать рабочих он вешает, которые подговаривают других к бегству, он поступает еще жестче». Видимо, у владыки Урала было в запасе средство еще более устрашающее, чем виселица.

Но горное дело все-таки развивалось. Велись разведки новых минералов.

Все открытия в этой области были сделаны большей частью рабочими-рудознатцами. У самих промышленников горных чиновников не было для этого ни знаний, ни опытности. Награда за обнаружение богатств в недрах была своеобразная. Только один вогул Чумпин удостоился постановки ему памятника на горе Благодати близ Кушвы и то потому, может быть, что был на костре сожжен сородичами за открытие магнитного железняка, а остальных били да истязали.

Открывшая случайно первые золотые россыпи на Урале девочка Катя Богданова была жестоко выпорота. Нашедший хромистый железняк в дачах Алапаевских заводов «розмысл» вскоре «скоропостижно» скончался. Девочка Настя, случайно наткнувшаяся на первые изумруды, была запорота, чтобы слух о новых богатствах не распространился и казна не отобрала дачу.

Человеческая душа ценилась дешевле скотской. Еще теперь на многих заводах сохранились конные дворы. Там кормили и лечили заводских лошадей, а людей приводили туда для порки и истязаний. Но и при такой каторжной жизни люди все-таки плодились. Промышленни-

ки заботились, чтобы родилось больше мужской рабочей силы. Начальник Уральского хребта спросил рабочего, есть ли дети, и, узнав, что нет, распорядился: «чтобы через год был мальчик, сам буду крестить».

Провинившихся рабочих вывозили на рынок. Нижегородская ярмарка служила рынком для сбыта крепостных. Они сплавлялись с караваном железа и затем «по случаю» продавались, часто вместе с баржей, якорями и снастями.

И я думаю: там историческая картина, а лучше ли современная? Вот Лихов, смотритель рудника. Приходит к нему от артели рабочий и просит прибавки платы, пустяшной прибавки, а он зовет полицейского, и рабочего арестовывают за агитацию к стачке... Управитель, его помощник, бухгалтер и юрисконсульт — друзья-приятели. Составляют одно целое — «тройку и кучера». Управитель — «коренной», бухгалтер — «правая пристяжная», юрисконсульт — «левая пристяжная», а помощник управителя, старопечатный Егорша,— «кучер». Управляет больше он один. Что он скажет, то и сделают остальные. А власть, можно сказать, неограниченная. Весь завод с людьми и землей и лесом у них в руках, и они полные хозяева жизни.

В прошлом году прокатные рабочие просили маленькой прибавки. Администрация уперлась и отказала. Рабочие забастовали. Завод закрыли, зачинщиков арестовали, а остальные, чтобы не голодать, сдались... Родионов, надзиратель, что творил... И вместо того, чтобы остановить этого субъекта и взять за ушко за его махинации, у нас начали искать корреспондента... Двоих невинных в этом «грехе» уволили... Вот как расправляются!

Вода в реке испорчена стекающим с машин жиром, смолой и другими отбросами. Пить вонючую воду вредно. Врач говорил, что эпидемия тифа от воды. Был составлен протокол. Судил земский начальник. Заводский поверенный изрек, что пьет эту воду тридцать три года и здоров. Судья решил, испорченность воды не доказана. Тех, которые требовали составления протокола, уволили с завода и не принимали целый год. Что это такое?

Был случай, двоих рабочих машиной искромсало. Мертвецов с почестями схоронили, а вдовам да сиротам по червонцу дали. Этим дело и окончено. Трудно пред-

ставить себе, что должны испытать и вытерпеть сироты-дети, живя на улице и побираясь.

Населения на заводе более десяти тысяч. А что сделано? Имеется хорошая больница? Открыта заводская школа? Устраиваются чтения? Заведена библиотека? Застрахованы рабочие от несчастных случаев? Нет и нет!

Вот самый животрепещущий вопрос — землеустройство. При освобождении, чтобы иметь дешевую рабочую силу, оставили крестьян без земли и привязали к заводу. Не хочешь умирать, так будешь работать. Так как жить, кроме заработка, нечем, то рабочий служит заводу. За такую плату, какую назначат. Повсеместный избыток рабочих тоже на руку заводам.

Земельная нужда назрела. Крестьяне расчищали пашни самовольно, и за это их сажали в тюрьму и штрафовали. Нужда заставляла расчищать пашни и нести кары. Здешние крестьяне столько заплатили штрафов, что теперь землю решено нарезать им без выкупа. И это будет акт простой справедливости. Но что же видим? Оспаривание угодий да урезки. Выгон, тысячи десятин, которыми владели крестьяне сто лет, завод отнимает у них.

Итогов служит в бухгалтерии пятый год, работает, как вол, по десять часов в сутки, а получает тридцать рублей в месяц. Бухгалтер наш, сухой и деревянный, приехал из столицы, дела не знает, работает по два часа в день, а получает три тысячи в год!

Пусть все это частности. Какова же общая картина жизни Урала? Богатый край, золотое дно. В недрах — золото, платина, серебро, медь, свинец, железо, асбест, нефть, уголь, мрамор, самоцветы... Богатейший край! Но люди, добывающие и обрабатывающие эти богатства с риском для здоровья, живут в нужде, голодают, болеют тифом да цынгой... Через золото слезы льются...

Говорят — кризис! Нелепость! Кто виноват, что техника отстала, печи и машины старой конструкции, все рынки перешли к конкуренции? Почему владельцы, наживающие миллионы, не хотят сделать затрат на лучшее оборудование заводов? Ведь они целые века брали и ничего не давали. Жили за границей, ездили летом в санях по усыпанной солью дороге, самодурствовали без границ. Отчего видим одно обирательство кругом? Расхищаются земляные богатства, истребляется лес, безбожно эксплуатируются рабочие? Потому все это, что строй никуда не

годится, все устарело, все прогнило и все безнадежно. Теперь вокруг видишь тупых, равнодушных людей, трудящихся без отдыха, видишь сотни безработных, ищущих труда, но не находящих его и голодающих, видишь детей, подрастающее поколение, в невежестве и голоде. Между тем все это могло бы быть совершенно иначе: вместо нищеты при наименьшей затрате труда, сил и времени — обеспеченность, вместо невежества — свет знания, вместо принижающего труда — труд свободный, любимый и одухотворяющий... И все это будет...

Ко мне входит Итогов и начинает длинно, с ненужными подробностями рассказывать о спектакле.

— Играли себя и аплодировали себе,— замечаю я.

Но он не понимает, продолжает речь, говорит утомительно долго, неинтересно и, наболтавшись вволю, умолкает, зевает, прощается и уходит в свою комнату.

Слышу, как Итогов раздевается и ложится на скрипучую кровать. Скоро он уснул. В доме стало тихо. Слышу, как дышит Итогов и как тикают часы.

Становится невыносимо грустно. Тоска, как тисками, сжимает грудь. Кажется странным, как можно быть таким флегматичным и спокойно-спокойно спать, как способен на это Итогов? Закипает в сердце ненависть к тупым людям, острое отчаяние закрадывается в душу и хочется громко закричать:

— Как душно! Какая глушь!

Подхожу к окну и, приникнув головой к холодному стеклу, всматриваюсь в непроглядный мрак и прислушиваюсь к мертвой тишине за окном. Тихо-тихо вокруг, только издалека доносится глухой методический гул завода, похожий на рычание зверя. Мне чудится в нем торжествующий смех чудовища, всесильного властелина над ничтожными рабами.

«И это чудовище,— думаю я,— создано, выхолено и доведено до такой степени могущества потом и кровью предшествующих поколений — прадедов, дедов и отцов — будет властвовать над их потомками — детьми, внуками и правнуками».

Но тотчас же встает новая мысль:

— Нет, придет время, оно уже близко: мрак уступит свету, восторжествует братская солидарность в труде, и тогда завод будет не чудовищем, выжимающим соки из рабочих, а источником сил для грядущих побед!

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

I

Без меры в ширину, без конца в длину тянутся дремучие верхотурские леса, шумят зеленокудрыми вершинами и, как сказочные богатыри, охраняют от холодного дыхания севера изредка разбросанные, затерявшиеся в горах и лесах малые и большие поселки и деревни, бедные и богатые заводы.

Чиж и Юрла — переселенцы из Подолья, где черноземная и плодородная полоса принадлежит помещикам и где тучными нивами и фруктовыми садами владеют только магнаты, а простые хлеборобы всю жизнь влачат в батраках у них,— долго стремились на «новые места», в этот благодатный уральский край.

Он рисовался им таким богатым и привольным, каким они увидели его, когда начал близиться конец их бесчисленным, как мытарства, этапам и когда в тусклом и маленьком окне битком набитого вагона с надписью «40 человек — 8 лошадей» замелькали горы и леса в синей дымке.

Изможденные долгим путем, голодные и оборванные, окруженные такими же жалкими и несчастными, в убогих рубищах, женами и детьми, они забывали пережитые страдания, и хотя в волосах у них проступала седина, но в тусклых глазах вспыхивал огонек чисто детского восторга и порой на ресницах блестели слезы.

Чиж целыми часами стоял на скамье у окна, гладя всклоченную рыжеватую бороду и прислушиваясь к мер-

ному громыханию поезда, впивался жадным взором в ежеминутно менявшуюся панораму красивой гористой местности, а Юрла брал на руки трехлетнего чумазого исхудалого сына, подносил его к окну и, вспоминая рассказ об этом крае ходока-переселенца, начинал улыбаться и мечтать вслух:

— Вот, Егорушка, на новую родину едем... Смотри, какие горы, какой лес, какие поля. Помнишь, что Петр Исаич, который ходоком был, рассказывал. Первое занятие здесь — охота. Птица разная боровая... белки, медведи... Бей, сколько хочешь, только собаку имей такую, чтобы за хозяина заступалась и зверю ходу не давала... Здесь есть такие сосны, что под корень ее двоим не обхватить, ствол прямой, чистый, без единого сучочка, желтый, как свечка, а вершина в самое небо упёрлась. Отойдешь от такого дерева шагов на сто, поднимешь голову, чтобы на вершину взглянуть, и видишь — на самой вершине белка сидит и хвост, как вехоть, распустила. Из такой сосны три бревна выходит, а из вершины — жердь, да такая, что на конюшенную стену годится...

Чиж слушал и от умиления кивал головой, а поощренный этим Юрла горячо продолжал:

— Второе дело — рыболовство. В горах есть большие озера, глубиной аршин по десять, а вода такая чистая, что все дно видно, и видно, как рыба плавает. Большим неводом сразу сотни пудов достают. Пропитание на целый год... Ну, а расчистить пашню и покос да купить лошадку и коровушку, так век живи без нужды и горя... Молоко будет, Егорушка, каждый день... А случай какой — бери лопату, рой землю, добывай золото... Или на фабрику иди — тоже себя и семью прокормишь без горя...

Чиж вскидывал на Юрлу влажные глаза и снова кивал одобрительно головой, а Юрла умолкал, прижимал к груди Егорушку, весело улыбавшегося, и, помолчав, опять начинал речь о хорошем будущем.

II

Вечером поезд остановился у большой станции, загроможденной вагонами, со множеством путей и огнями семафоров.

Все переселенцы знали, что близок конец их долгому

путешествию, но никто из них не знал, мимо каких станций проползли, где делали остановки, на какой станции теперь стоит поезд, придется ли ехать дальше, или путешествие окончилось и нужно выходить. Железнодорожное начальство в лице кондукторов, проходя мимо вагонов, на все расспросы переселенцев, желавших разъяснить томившие их вопросы, отвечало надменным молчанием или грубо бранилось:

— Сидите, дьяволы, в своем телятнике. Везут вас — и ладно... Какого черта надо. Привезут куда следует, так всех выбросят...

И затем сыпалась отвратительная брань, и они всё безмолвно сносили, сидели в своем «телятнике», почти задыхаясь от духоты и тесноты, и терпеливо ожидали конца утомительного и изнурительного, как египетская пытка, переезда.

Порой их поезд, обгоняемый другими поездами, шел, тихо, медленно, часто останавливался и стоял на станциях по полусуткам, томя и раздражая самых терпеливых; в эти минуты им казалось, что громоздкий поезд, двигаясь черепашьим шагом, умышленно замедляет ход, чтобы отдалить счастливый момент их прибытия туда, куда они так пламенно и с такими светлыми упованиями стремятся. Теперь же, когда близость конца этой пытки создала у них повышенное настроение, они при всякой остановке начали смело выходить из вагона и настойчиво расспрашивать всякого, кто попадал на глаза, об обетованной для них земле.

Видя много загроможденных путей, Чиж открыл выдвижную дверь вагона и, высунув наружу голову, стал осматриваться вокруг. Перед ним высился красный кирпичный корпус станционной водокачки и тянулись стройными рядами зеленые, красные, бурые и серые вагоны. С вокзала, заслоненного поездами и едва видневшегося, доносился неясный гул, и где-то далеко время от времени пронзительно кричал свисток маневрировавшего паровоза.

Жадно втягивая в измученную грудь свежий, влажный воздух, Чиж несколько минут стоял у двери с высунутой наружу головой и вдруг выпрыгнул и быстро пошел, подлезая под вагоны, по направлению к вокзалу.

— Наведаться? — крикнул ему Юрла, тотчас занявший его позицию у двери.

— На-а-до,— ответил он на ходу, не оборачиваясь.

Смешавшись с толпой на перроне, Чиж заметил около дверей, ведущих в зал первого класса, фигуру жандарма и начал проталкиваться к нему. Приблизившись, он обнажил голову перед голубым мундиром и стал расспрашивать: какая станция, где оканчивается путь переселенцев и что ожидает их впереди. Жандарм строго выслушивал Чижа и свирепо поводил щетинистыми усами, но отвечал на все его вопросы обстоятельно.

— Здесь для вас конечная станция, и нужно всем вам выходить... Направо от станции, около леса, бараки, туда и ступайте.

Сердце Чижа запрыгало в груди, и он, окончив расспросы, отвесил последний низкий поклон, а строгий страж снисходительно улыбнулся, приложил к козырьку фуражки холеную руку в белой перчатке и, переступив с ноги на ногу, звякнул шпорами.

— Все узнал... Выходить надо... Собирайтесь,— радостно кричал Чиж, влезая в вагон.— Вот тут близко, за полотном, у лесу, бараки... Бог даст, переночуем, а завтра — на участок.

Последние слова он прокричал, захлебываясь от восторга и взвизгивая.

Весь вагон мгновенно всполошился и загудел, как улей, и все — старики и дети — начали хватать мешки и узлы со скарбом и, весело галдя, толкаясь и слегка перебраниваясь, потянулись один за другим к выходу, на простор и на свежий воздух.

III

Тихая и сумеречно-таинственная ночь незримо спускалась на землю, заволакивая мутной волной прозрачные дали. Ясный голубой купол неба темнел, и в его глубине робко вспыхивали первые вечерние звездочки. В воздухе разливался легкий ночной холодок, и над землей расстилался белыми льняными волокнами сырой туман.

Чиж и Юрла, обремененные ношами, шли впереди, как вожаки, к баракам, а за ними тянулись вереницей с мешочками и кузовками в руках их жены и дети.

За полосой отчуждения, невдалеке от шумного вокза-

ла, у тихой опушки соснового леса стояло длинное, сколоченное из досок, похожее на сарай, неуклюжее здание. Железная крыша, крашенная дешевой охрой, была раскинута над ним на один скат, несколько черных труб торчали поверх нее, как обгорелые пни, а небольшие квадратные окна в стене по фасаду смотрели слепо и хмуро.

Этот знакомый вид летнего переселенческого барака напомнил искателям новых мест и лучшей доли о десятках зданий такого же типа, встречавшихся им на пути, и в их памяти быстро промелькнуло все, что они видели, ютясь в таких бараках во время продолжительных остановок.

Вспомнилось, как были всегда переполнены бараки народом и как люди, хотя тут находились и женщины, и дети-младенцы, и старики, лежали тесной повалкой на грязных нарах, а если нары были заняты, валялись на земляном полу.

К напуганным грозными окриками в пути и сбившимся в кучу истомленным переселенцам изредка заглядывали в барак чины в разных мундирах и поворачивали вспять, едва переступив за дверь, или проходили по всему бараку, шагая через тела отдыхающих или больных, брезгливо морщась и глядя в потолок с видом важных и чем-то озабоченных людей.

Здесь отражался, как в капле воды, весь строй жизни, и всеми чувствовались страдания одних и безучастность других, но никто не смел громко выразить протеста или неудовольствия.

Подойдя к бараку, Юрла сбросил с плеч на землю ношу и, облегченно вздохнув, открыл входную дверь. На него сразу пахнуло теплом и духотой, от которой у свежего человека щекочет в носу и кружится голова, и он в нерешительности остановился в дверях. Затем, заглянув внутрь барака, растерянно попятился назад и, оборачиваясь к столпившимся у двери спутникам, с отчаянием в голосе сказал:

— Полным-полно... Не лучше вагона...

— Что поделаешь,— ответил Чиж,— ночевать надо...

Он первым вошел в барак, за ним потянулись остальные, а Юрла со своей ношей ввалился последним.

Переполненный барак жил своей жизнью. Люди в лохмотьях валялись по всему бараку во всевозможных положениях. Истомлённые и больные лежали в беспамят-

стве, стонали и бредили. Женщины возились с детьми, укладывая их спать, но засыпали только те, кто совсем обессилел, а остальные просили есть или пить и плакали. Старики сидели и лежали по двое, по трое вместе, разговаривали, курили трубки и отплевывались в сторону. От несмолкаемого гула и духоты звенело в ушах и теснило грудь.

— Давайте устраиваться,— скомандовал Чиж своим оторопевшим спутникам.

И они, подостлав кто что мог, легли среди барака на пол, прислушиваясь к говору вокруг, но думая только об одном, как бы поскорее забыться и уснуть.

IV

Утром, едва забрезжила в окнах заря, в бараке началась возня, и полился говор.

Чиж и Юрла после пробуждения долго молча присматривались и прислушивались. Из разговоров улавливалось, что вокруг сбились в кучу выходцы отовсюду — с западной окраины Поволжья, южных губерний, крайнего севера — вся матушка-Русь в лицах. Все сплошь в лохмотьях, в лаптях, грязные и изнеможенные.

Чумазый украинец с большими усами, флегматично попыхивая трубкой, жиденьким голоском плаксиво жаловался, не обращаясь ни к кому определенно, а бросая слова в пространство, точно вслух размышлял:

— Що теперь робыть? Казалы — и землю дадут, и гроши, а прибув — заховали у барак.

Но его никто не слушал, и жалоба осталась без ответа.

Большое внимание уделялось рассказу молодого словоохотливого вятича. Одетый в суконную, хотя и засаленную поддевку и обутый в новые сапоги, он сидел на нарах, оседлав мешок, набитый хозяйственным скарбом. Его угреватое лицо, опушенное рыжей бородкой, ежеминутно сжималось в гримасы, а бойкие, с огоньком, карие глаза бегали по сторонам, пронизывая всех. Все окружающие к нему прислушивались, и никто не смел перебить его плавную речь.

— Сибирь уже вся распланирована, все удобные места заняты, остались только болота да тайга непроходи-

мая. Мы бывали, так знаем, какое там положение. У реки Оби лето жили и реку Иртыш тоже видали. Большие реки, многоводные, а вольной земли около них нет. В Тобольской губернии два года бродили, а добрых угодьев не нашли. Старожилы хорошо ведут хозяйство, земли у них много, а нас не пускают, не дают ничем обзавестись. В Оренбургских степях селились, да с башкирьем ужиться не могли. Бунтуют, грабят, поджигают, зорят. Получали пособие: деньги, лошадей с телегами и упряжью, плуги. Не могли удержаться и всего лишились. Был у меня товарищ, да в дороге умер. Схоронил я его в сибирской деревне. Семейный был: жена, ребятишки. Жена плакала, плакала да с горя с ума сошла. Отправили ее в город в больницу, а ребят в приют сдали. Натерпелись, несчастные, горя...

Слушающих охватывало волнение, одни горестно вздыхали, другие вставляли короткие замечания:

— Вот какое несчастье...

— Только там, видно, хорошо, где нас нет...

— Горькая наша доля.

Перечислив все посещенные местности и обрисовав общее положение скитающихся из края в край переселенцев, вятич перешел к личным переживаниям, и в его голосе звучало много горечи, когда он говорил о себе:

— Шесть лет мыкаюсь, а все без толку. Придешь на место — нужда заедает. Начнешь лес продавать да пни корчевать. Побьешься так, побьешься, и станет невмоготу. Бросишь все и пойдешь опять куда глаза глядят...

— А на новых местах опять землю отводят и деньги выдают? — спросил Чиж.

— А то как же? Без земли да без способья все пропадем. Чем мы должны жить? Вот здесь, я уже знаю, как только займем участки, так нам и способье рублей по полсотни. Это на первый раз, а потом еще дадут. Можем лес в продажу пустить. Прежде казна лес снимала, но переселенцы взбунтовались, потребовали, чтобы лес оставался; начальство уступило, и теперь мы можем лес с участков продавать. Тут в округе много лесопилок, и сколько хочешь, скачаешь лесу. Бревна и доски отсюда сплавляют по реке к морю, а через море в Англию идут и там с большим барышом продаются. Здешние лесоворы Корчемкины да Болотовы тысячи тысяч нажили. Лес

здесь богатый, строевой, а цены на него сбиты, все за гроши скупается. Вот мы примем участки и начнем лесом торговать. Сумеем продать — будем с деньгами. Жить и устраиваться будет легче.

— А мисто тут гарное? — спросил украинец.

— Всем известно — горы, лес, поля. Удобной земли, конечно, немного. Не приглянется местность — вперед пойдем. Зимогором тут не останемся.

— Колы и землю и гроши дают, рушиться с миста на мисто не треба.

Вятич презрительно покосился на украинца и хотел возражать ему, но в барак влетел, как мячик, невзрачный человек в пестрядинной рубахе, посконных шароварах и лаптях и неистово крикнул:

— Начальник проехал... Ступайте на участки... Там начальник...

Барак загудел, как потревоженное осиное гнездо, все зашевелились, забегали, собирая пожитки.

Вскоре длинная вереница людей с мешками и узлами рассыпалась по поляне.

И каждый, кому удавалось выбраться из духоты и зловония барака под открытое небо, уйти от закопченных стен, грязных нар и заплеванного пола, чувствовал себя, как вырвавшийся из склепа узник, жадно вдыхая ароматный лесной воздух.

V

Пока толпа переселенцев сделала переход от барака до речки, к большому сосновому бору, где остановился все время катившийся вперед экипаж с начальником, на востоке загорелась заря, и в глубине могучего леса защебетали птицы, без умолку звеня чистыми и ясными голосами.

И радостно всем было видеть, как выходило из-за леса солнце, роняя на землю потоки горячих лучей, а на зеленой лужайке, на берегу речки, точно на изумрудном гигантском ковре, сверкали и переливались алмазные блестки росы.

Некоторые, дотащившись до речки, сбрасывали ноши, спускались по косогору к руслу, черпали пригоршнями и пили холодную воду, а другие стремились к повозке с кожаным, наполовину приподнятым верхом, из-за кото-

рого виднелись тулья и околыш форменной фуражки да несколько перьев от дамской шляпы.

Кто подходил близко к экипажу, тот видел уже не только головные уборы седоков, но и бритое, лоснящееся лицо чиновника, курившего папиросу, и с неясными чертами под вуалью лицо молодой дамы, сидевшей в мечтательной задумчивости, но ярче всего бросался в глаза ямщик, в белой поярковой шляпе, кумачовой рубахе и белом фартуке, ходивший вокруг взмыленной тройки, оправлявший сбрую и потрепывавший по спине то одного, то другого, то третьего коня.

Докурив папироску, чиновник обернулся к толпе, встал на ноги в экипаже и громко сказал:

— Слушайте. За речкой остолбована местность. Выбирайте места, кому где любо, и селитесь. Затем приходите в город в канцелярию.

Переселенцы завозились и придвинулись к повозке.

Чиновник равнодушно посмотрел вокруг и спросил:

— Вы поняли?

Сразу несколько голосов дали утвердительный ответ.

Он продолжал:

— Так вот селитесь. Места здесь дивные, жить будет хорошо. Можно скоро наладить хозяйство...

— Благодарим, ваше благородие.

— Вот я служил в Сибири. Местность называется Кулундинской степью. Там тоже хорошо устраиваются. В два года образовалось двести поселков и водворилось пятьдесят тысяч душ. В мертвой прежде пустыне начинает биться пульс жизни. При скрещении колесных путей, близ озера Секачи, возник торговый центр — Славгород. Год тому назад там, в пустыне, находилась одна жалкая землянка. Теперь же имеются церковь, волостное правление, две мельницы, установлены базары и ярмарки... Намечены к открытию две школы, отведено место для опытного поля... Эта зарождающаяся жизнь воочию заставляет убедиться, какое увеличение народного богатства дает удачное переселение... И вот желаю вам так же счастливо устроиться, как живут переселенцы в Сибири.

— Благодарим, ваше благородие.

Он сделал рукой под козырек и сел, а ямщик занял свое место, ударил вожжами по лошадям, и экипаж покатился обратно.

Переселенцы разбрелись по лесу.

Чиновник ехал и говорил своей даме, что переселение — великое культурное и государственное дело, через него легко разрешается аграрный вопрос, уничтожаются козни социального недовольства и укрепляются позиции государства на окраинах.

VI

Чиж и Юрла долго шли около речки, усталые, потные, с ношами за плечами, а за ними кое-как плелись их жены и дети. Вокруг теснился большой дремучий лес, и в нем царил полумрак, хотя солнце заливало воздух в вышине ярким светом и рассыпало огненные стрелы по хвойным ветвям. Наконец, они остановились на зеленом холмике, в том месте, где речка сделала крутой поворот в сторону и скрылась в кустах ивняка, черемухи и смородины.

— Вот здесь, под сосной,— указал Чиж,— хорошо отдохнуть.

И все повалились на сочную траву, под тень гигантского дерева с корявой корой, толстыми корнями, торчавшими над землей, и каждый, облегченно вздохнув, растягивался на траве.

Чиж лежал и все время рассматривал местность. С холма открывался широкий горизонт. Вокруг, мощно раскинувшись, расстилался лес.

Далеко на горизонте синели вершины горной цепи. Все дышало мощью и незыблемым покоем.

— Место тут веселое,— сказал он Юрле,— не остановиться ли нам здесь?

Юрла осмотрелся кругом и неторопливо задумчиво ответил:

— Мне тоже это место приглянулось.

— Так пойдем осматривать.

И они оба быстро встали и пошли вглубь леса.

Чиж на ходу сказал женщинам:

— Разведите костер... Котелок поставьте на огонь... Чайник вскипятите...

Прошло часа два, они возвратились на привал и объявили женщинам, приготовившим у костра похлебку, о решении поселиться на этом месте.

Женщины покорно и молчаливо согласились.

— Удобное местечко облюбовали,— радостно говорил Юрла,— весело здесь и к воде близко.

— Вот и займем, пока оно свободно,— отозвался Чиж,— а прежде всего надо поклониться земле-матушке.

И все они чинно, один за другим, младшие подражая старшим, упали на колени, как на молитву, и, припадая к земле, целовали ее, а старшие вместе с тем и орошали слезами радости.

— Кланяйся, Егорушко, земле-кормилице,— говорил Юрла сыну,— твоя она, на всю жизнь тебе дается, тебя она будет поить-кормить, а нам, старикам, может быть, только кости успокоит...

И усердно кланялся маленький Егорушко, смутно сознавая смысл всего происходящего, а остальные смотрели на него и плакали.

Все плакали, но всем было легко и радостно, каждый знал, что пришли к земле, и в сердце каждого уже зарождалась вера в лучшее будущее. С этой верой они бодро взялись за работу.

Юрла срубал небольшие деревца и очищал стволы их от прутьев. Женщины и дети таскали заготовленный материал к месту привала. Чиж ставил наклонно к стволу сосны одну возле другой жерди и сверху набрасывал хвою. И общими трудами сооружался шалаш наподобие юрты.

Мимо проходили расселявшиеся по лесу группы. Чиж и Юрла спешили всем объявить, что выбрали место и строят временное жилище.

Вечером все сидели за сосной у костра, перед шалашом, и, отдыхая, слушали непрерывный гул, которым наполняли лес люди-пришельцы, и трели звонкоголосых птиц, щебетавших в кустах над речкой.

VII

Ночью темный лес угрюмо молчал, и его покой сторожили ласково сиявшие небесные лампады — звезды в лазурной вышине.

Семьи Чижа и Юрлы ночевали в шалаше, а сами они эту ночь провели у костра и почти совсем не спали, обсуждая все мелочи предстоявшего им устройства.

Ясно сознавая, что разрозненными силами справ-

ляться труднее, они твердо решили вести вместе одно хозяйство: лес не продавать, вырубить только десятины две леса, выкорчевать пни и подготовить огород и пашню к весеннему посеву, а из срубленных бревен построить избу, сарай, конюшню, чтобы было где самим жить, вещи сложить, лошадь и корову держать.

Рано утром, как только просветлело небо, погасли звезды и в лесу стала вместе с зарей пробуждаться жизнь, они вскипятили чайник, напились чаю и, разбудив жен, сказали, что собрались пойти в город, и ушли.

Выбравшись из леса, направились по поляне мимо бараков и железнодорожной станции, вышли к широкой реке, спокойно катившей волны в крутых каменных берегах, и долго шагали по берегу, пока показался город и засверкали кресты и главы церквей.

В городе блуждали по пустынным улицам, спрашивали у редких встречных канцелярию переселенческого начальника, следовали по их указаниям дальше, вышли на площадь к собору, перевалили через овраг, обогнули мимо монастыря с каменной стеной и башнями, прошли по базару и, наконец, увидали дом с вывеской, гласившей о том, что им было нужно.

Канцелярия переселенческого чиновника была закрыта.

Они стали ждать, когда ее откроют, и сели на ступеньках крыльца.

Подходили и присоединялись к ним другие переселенцы. Начинали разговаривать о своих делах, о нужде и горе.

Дверь канцелярии открылась только около полудня, когда солнце уже подходило к зениту, и на крыльце появился тот же чиновник, который накануне приезжал в лес, и переселенцы, обнажая головы, обступили его.

— Места выбрали... Можно ли устраиваться?

— Селиться можете, кто где пожелает, но земля будет укреплена и документы на нее будут выданы только через два года...

— Нельзя ли способье получить?

— Ссуды будут выдаваться скоро, но точно время, когда пришлют деньги, неизвестно...

— Можно ли лес рубить и продавать?

— Земля и лес отданы вам, распоряжайтесь, как хотите...

Сыпались робкие и молящие вопросы и просьбы и следовали сухие и краткие ответы на них.

Затем чиновник сказал, чтобы его не задерживали, распорядился всем передать писцу в канцелярию свидетельства и документы, какие у кого имеются, повернулся и ушел.

Переселенцы повиновались и покинули канцелярию.

При возвращении Чижа и Юрлы из города, по дороге в лес, их нагнал ехавший верхом на вороной сытой лошади краснолицый купец и вступил с ними в разговор:

— Где поселились?

— В бору у речки.

— А лес продаете?

— Нет...

— Хорошую цену дам... Рублей двадцать за десятину...

— Не продаем...

— Ну, как хотите... Покаетесь... Потом за десять продадите...

Они молчали.

И купец, точно рассердившись, ударил по лошади и быстро помчался вперед.

А Юрла сказал Чижу:

— Будем хранить лес... Без нужды не размотаем... С лесом жить будет легче...

И Чиж одобрительно кивнул головой и добавил от себя:

— Как решили, так и будет...

VIII

Весь участок, предназначавшийся к заселению, заняли переселенцы, и в лесу закипела новая жизнь: с утра до вечера стучали топоры, раздавались голоса людей, пылали негаснущие костры, сосновый бор с каждым днем редел, на расчищенных местах, среди пней, вырастали постройки — нарождалась деревня.

Раз в неделю приезжали из города священник и дьякон, служили молебны, «святили места», собирали дань, давали «благословения», поучали и уезжали обратно.

Лесопромышленники стекались на участок, как воронье на добычу, целой стаей и начинали скупать лес.

Большинство переселенцев продавали, а немногие воздерживались.

— Что же вы не продаете лес? — спрашивали их скупщики.— Продайте, пока мы хорошую цену даем... Потом цены падут — за дешевку уйдет... На пособие не рассчитывайте — не скоро его выдадут.

— Вы платите за лес двадцать рублей за десятину, а десятина леса стоит в пять раз дороже,— возражали переселенцы.— Нет, уж лучше подождем пособия...

— Ждите, ждите,— с иронией говорили скупщики и добавляли: — Не скоро дождетесь...

Но секрет успеха скупщиков состоял в том, что они ежедневно привозили из города в бочонках водку и угощали тех, кто продавал лес, и после каждой продажи-купли начиналось пьянство, в которое втягивались и непричастные к делу, а под хмельком легко заключались новые сделки.

Чиж и Юрла держались в стороне от этой вакханалии, лес не продавали, а снимали сами, сооружая избу и другие постройки.

Время от времени, пользуясь праздничными днями, они, как и другие переселенцы, ходили в город за получением пособия, но писец в канцелярии переселенческого чиновника неизменно повторял им одну и ту же фразу:

— Деньги еще не ассигнованы.

Они смущенно переминались и робко говорили:

— Жить становится нечем...

Писец цедил сквозь зубы:

— Как нечем? А лес продаете?

— Нет.

— Почему?

— Дешево дают скупщики... Да и беречь его надо...

— Так... Ваше это дело.... А денег пока нет...

Многократно приходили и уходили они с пустыми руками, и всякий раз кто-нибудь побуждал их то прямыми, то косвенными советами к продаже леса, но они оставались твердыми в своем решении.

Только в конце лета была выдана им небольшая ссуда, но тогда же чиновник предупредил их:

— Вот вам пособие... Устраивайтесь... Зимой выдач не будет... Весной еще получите...

Заявление это заставило их крепко задуматься.

Год выдался неурожайный, тяжелый для всех, а для переселенцев — гибельный.

Лето стояло жаркое, засушливое, без дождей. Окрестности были окутаны тяжелым, едким дымом, застилавшим все, как завесой. Лесные пожары, никем не локализуемые, разливались в море огня и не прекращались по целым месяцам. Горел лес, горели торфяники, а иногда горело селение, охваченное подкравшимся огнем. Днем плавала в воздухе дымная пелена, а ночью отражались в небе красные зарева. Поля были опустошены засухой. Вся растительность без дождей и росы зачахла и умерла. Солнце спалило и выжгло все до корней. Там, где весной зеленели всходы, летом чернела земля, точно ничего не росло на ней, а на лугах, где пестрел ковер из цветов и трав, желтела засохшая трава. И в полях к концу лета не было стогов и скирд. Местные старожилы страшились за будущее, а переселенцы совсем не знали, как будут жить.

IX

Чиж и Юрла, чтобы не упустить времени обеспечить себя на зиму, пошли искать заработка на ближайший Чернушинский прииск.

Сотни лет спокойно катилась в каменных берегах речка Чернушка, но пришел золотоискатель с ковшом, зачерпнул со дна ее песку, покружил ковш в воде, смывая песок, и блеснул на дне ковша желтый металл.

И пошла молва:

— На Чернушке золото.

И вскоре стеклись на речку сотни людей, и начались в ее берегах и русле поиски богатства.

Долго шли Чиж и Юрла по берегу Чернушки, покрытому остроконечными темнозелеными елями, а речка внизу, среди каменных утесов, сверкала серебристой полоской.

И, когда они очутились на месте добычи золота, поверхность речки сплошь занимали плоты с вашгердами и воротами, и по речке неслись звонкие песни, говор, смех и лязганье железных скребов о решетки вашгердов и гальку.

Приближаясь к месту работ, они заметили в одной из

многочисленных дудок на берегу старика, усердно рывшегося в земле, и подошли к дудке.

С минуту они стояли молча, а старик, в рубахе с расстегнутым воротом, безостановочно копал землю, тяжело и отрывисто дыша в унисон каждому взмаху кайлы в руках.

— Бог на помощь,— сказал Юрла.

Старик приостановил работу, поднял голову и, еле переводя дух, глухо прохрипел:

— Спасибо.

Затем выронил из рук кайлу и начал карабкаться по стенке дудки кверху.

Сели на траву и повели разговор.

— Работать пришли?

— Нанимаемся.

— В породах понимаете?

— Нет.

— Плохое дело... Вот я тоже не знаю, как золото искать. В руднике работал... Поверил молве, что золото богатое... Двух рабочих нанял... Две недели рылись — ничего нет... Рабочие ушли... Один остался... Сто рублей прорыл... разорился...

Пораженные убитым горем стариком и его печальным рассказом, они молчали, а старик упал на траву и зарыдал, как ребенок.

— Не горюй, дед,— утешал его Чиж,— может быть, вернешь все...

— Несчастье,— простонал старик.— Не один я здесь разорился. Недаром сказано: «Либо золото мыть, либо голосом выть...»

Долго они стояли над стариком, а он все продолжал плакать.

И странно было видеть горе и слезы там, где столько светлой поэзии и радости вокруг: оживленный прииск, бодро трудящиеся люди, голубое небо, зеркальная речка, зеленошумный лес, на горизонте горы в синей дымке...

X

С прииска они пошли на завод.

По дороге к заводу перед селением, где оканчивался лес, стоял огромный, тихий, точно застывший, зеркальный

пруд, только изредка около берега металась рыба и по воде бежали серебристые круги.

— Какое озеро! Сколько воды! — удивлялись они.— И рыбы много, а никто не ловит.

Но недоумение их рассеялось, когда они достигли завода.

За высоким дощатым забором чернели огромные каменные корпуса со множеством высоких труб, беспрестанно дымивших, и каждый корпус гудел сотнями голосов.

Это подействовало на них, никогда не видавших завода, ошеломляюще, и они, прежде чем пройти на завод, остановили рабочего, вышедшего из цеха, и приступили к расспросам:

— Как на фабрику попасть?

— Посторонних не пускают.

— Нам нужно... Работы ищем...

— А что умеете делать?

— Все можем... таскать что-нибудь... убирать... дрова рубить.

Рабочий усмехнулся.

— Дрова рубят в курене, а здесь выделывается железо. Рабочих здесь и без вас хоть отбавляй... Да не таких, как вы, а мастеровых...

Они окончательно оторопели:

— Может быть, что и найдется?..

— Ничего нет... Кризис... Рабочих много, а дела мало... Заказов на железо нет. Поняли?..

И они поняли не только данные им объяснения, а также и ошибочность своего представления о возможности найти здесь заработок.

— Нынче год тяжелый... С завода многие бегут... Заработки плохие... Неурожай... Жить нечем... Все бросают и бегут... Да и как не бежать?.. Скотина с голода мрет... Люди от голода хворают... Стон стоит вокруг.

— А мы-то думали, что у вас легко: хорошие угодья, земли много, озера с рыбой, фабрики...

— Много земли, да не наша, а казенная да заводская. Рыбу ловить нельзя — пруд заводский, а не наш и арендуют его кулаки... Работать приходится по три дня через две гулевых недели... Рабочих много, и распределяют их так, чтобы всем работа была.... Вот вам и жить легко...

Все замолчали.

Рабочий кивнул головой и пошел своей дорогой, а они постояли на месте, как оцепеневшие, и повернули обратно.

XI

Через неделю после бесплодных поисков работы Чиж и Юрла возвращались по железной дороге в свой поселок.

Мчался поезд, и развертывалась дивная панорама. Мелькали зубчатые горы, обвитые темным бором, мелькали фабрики, поселки, дома, трубы. Над синеющими обрывами чернели, как средневековые замки, причудливые грозные скалы. В долинах сверкали стальной гладью озера, живописным картинам не было конца.

Просвещенный турист, обозревающий из окна вагона зеленеющие леса, дымящиеся заводы, многолюдные промысла, видит кипучую жизнь на них, поддается внешнему впечатлению и невольно думает:

«Чего-чего в этом богатом крае не создала мать-природа и не хранит в мощных недрах сыра земля? Как не быть здесь баловнем судьбы и не испытывать радостного сознания силы и власти над всемогущей нуждой, сгибающей подчас человека в три погибели и заставляющей его биться, как рыба об лед? Как не быть здесь, наряду с материальным довольством и сытостью желудка, истекающих из множества источников, довольства внутреннего и удовлетворения духовного и как поэтому не ощущать культурного творчества и не иметь храмов для его помещения? Здесь только трудись — и все будет дано. В девственных лесах живет пернатое и пушное царство: рябчики, куропатки, глухари, белки, лисицы, соболи. Вековые кедровники дарят плодами — орехами. В земле лежат горы золота и руды, вызвавшие к жизни столько промыслов и заводов. Здесь ли не простор, не широкое раздолье? Вот где привольная, обеспеченная истинно человеческая жизнь».

Но для Чижа и Юрлы край был уже не таким обильным и благодатным, как кажется на взгляд; они знали, что нет привольной жизни, все богатства взаперти, есть власть капитала и покорные ей рабочие, к тому же в

вагоне вокруг слышались речи о голоде и о разных грядущих бедствиях.

И дома их встретили жены рассказами о том, что несколько семей переселенцев, страшась голодовки на чужбине, снялись с места и поехали обратно на родину.

— Тоскливо нам здесь, — говорили женщины, — лучше бы обратно. Но Чиж и Юрла твердили:

— Никуда не пойдем. Пришли к земле и не пойдем от земли. Умрем, да не пойдем.

К зиме поселок совсем почти опустел,— большинство переселенцев покинуло его навсегда.

Чиж и Юрла остались, держась за землю, как за якорь спасения.

Но, в их лесу, так ревниво оберегавшемся, тоже застучали топоры.

ТРЯСИНА

I

Супруги Голосовы сидели за утренним чаем.

Иван Ефимович, белокурый толстяк, в сером английском пиджаке, с копной волос на голове и большими усами на брюзглом лице, озабоченный и мрачный, пил чай торопливыми глотками, часто тер рукой лоб и изредка обтирал салфеткой подмоченные усы.

Мария Васильевна, блондинка, с тонкими чертами лица, ясными голубыми глазами, в белом капоте, сидела, склонив голову, неподвижно, задумчиво и не дотрагивалась до чашки, стоявшей перед ней на столе, с дымившимся горячим напитком.

Супруги порой мрачно посматривали друг на друга, но упорно молчали, как немые, и в этой атмосфере напряженного молчания чувствовалось что-то гнетуще тяжелое.

Первым нарушил молчание муж.

— Сколько времени?

— А твои часы?

— Не завел вчера.

— Давно десятый.

Не удовлетворяясь этим ответом, Голосов поморщился, нахмурился и, немного помолчав, повелительным тоном произнес:

— Узнай точно время.

По лицу Марии Васильевны скользнула легкая тень неудовольствия, но все же она быстро встала и, уходя в

другую комнату, чтобы узнать время по часам, печально думала: «Опять злится и рычит, как лев в клетке. Но кто же виноват в том, что голова трещит с похмелья?»

В отсутствие жены Голосов допил стакан чаю, тщательно обтер салфеткой в последний раз губы и усы, выпрямился на стуле, потер рукой лоб и тихо сказал про себя:

— Каждую ночь играть до пяти утра — тяжело, надоедливо и скверно. Голова тяжелая, как будто чугуном налита, и побаливает, черт возьми!

Он еще раз потер лоб и задумался.

Мелькнула мысль о необходимости что-нибудь предпринять, чтобы ввести жизнь в нормальное русло и исправиться.

Жизнь была страшно бесцветна.

Пять лет уже он служил фельдшером в заводской больнице, занимаясь регистрацией больных на приеме врача в амбулатории и визитацией к тяжелобольным на квартирах. Его день замыкался скучным кругом: утром пил чай и уходил в больницу, по возвращении — обедал, часа два тратил на послеобеденный сон, затем отбывал визитацию, а вечером, после чаю, отправлялся к комулибо из знакомых, если очередь падала не на его дом, играть в преферанс или в вист, а иногда — и в волка, играл до полуночи и дальше. Все это повторялось изо дня в день с ненарушаемой методической последовательностью.

Случайно задумавшись теперь над заколдованным кругом тупого и пошлого прозябания, он ужаснулся бессодержательностью своей и точно такой же жизни окружавших его людей, именующихся заводской интеллигенцией, и у него невольно вырвалось горькое восклицание:

— Гадко, мерзко!

Но его размышления были прерваны шумом шагов жены.

Возвратясь в столовую, Мария Васильевна подошла к нему, положила на его плечо руку и, ласково заглянув ему в лицо, с улыбкой сказала:

— Три четверти десятого.

Он к этой ласке жены отнесся безразлично и, промычав что-то невнятное, продолжал сидеть неподвижно на стуле.

Затаив в душе обиду отвергнутой нежности, она тот-

час отошла от него и села на стул на противоположной стороне стола, но после недолгого молчания, в то время как он взглянул на нее, обратилась к нему грустным и мягким тоном:

— Когда ты перестанешь пить и играть? Ведь это, Ваня, ужасно! Каждый день без передышки, без просыпу...

Увещание жены его тронуло, он печально улыбнулся, но, желая, отшутиться, громко сказал:

— Когда у зайца черное с ушей сойдет.

Этот игривый ответ на ее серьезное, почти молящее обращение ее возмутил. В глазах у нее вспыхнул огонек, а лицо покрылось румянцем. И она с жаром начала возражать:

— Полно, Ваня, дурачиться! Ведь ты прежде всего расстраиваешь здоровье. Подумай, к чему это приведет...

Но он спокойно, слегка улыбаясь, перебил ее:

— После поговорим.

И, поднявшись со стула, пробормотал про себя:

— Надо спешить в больницу. Амбулаторных, наверно, полный коридор.

Она молча подчинилась его желанию прекратить разговор на докучливую, но неизбежную и важную тему.

Пройдясь задумчиво по комнате, он подошел к столику, стоявшему в углу, где лежала коробка с табаком и гильзами, чтобы взять папирос, и, заглянув в коробку, повышенным голосом, в котором слышались нотки недовольства, произнес:

— Опять папирос нет! Трудно тебе набить их на досуге? Мне надо спешить, а тут...

Она повернулась лицом к нему и смущенно, как уличенная в проступке, ответила:

— Папиросы были, но их, наверное, взяла мама.

— Кто бы не взял их, для меня — безразлично, — гневно, весь раскрасневшись, оборвал он ее.

В этот момент в столовую вошла мать Голосова, Олимпиада Алексеевна, высокая, худая, с бронзовым выцветшим лицом, с отвисшей трясущейся нижней челюстью, с белой повязкой на левом глазу, вся в черном, мрачная старуха.

Подозрительно оглядываясь и прислушиваясь, она прошлась, как черный призрак, по комнате, остановилась и глухим, надтреснутым голосом спросила:

— Что это у вас такое? Опять какая-то ссора?

— Ничего,— с раздражением, не глядя на нее, ответил Голосов.

— Старая мать, видно, опять вам помешала... Тяжело покоить-то меня... Надоела, видно, вам... — с желчью произнесла старуха и, окинув испытующим взором сына и сноху, медленно опустилась на стул.

— Полноте, мама, — мягко возразила, стыдливо потупясь, Мария Васильевна.

Голосов брезгливо посмотрел на мать, повернулся лицом к жене, торопливо сунул в карман портсигар, закрутил усы и хмуро пробурчал:

— Иду в больницу.

Мария Васильевна, думая, что муж плохо выспался, нервничает, а потому легко раздражается, решила не обижаться и в ответ на его слова, ободрительно кивнув головой, посмотрела на него светлым, мягким взором.

Он, как бы не замечая этого, бросил на нее мимолетный холодный взгляд, порылся у себя в карманах, торопливо чиркнул спичку и закурил папиросу, взял со стола шляпу и трость и, попыхивая на ходу папиросой, шумно и быстро направился в переднюю.

Обе женщины сначала сидели неподвижно на своих местах и прислушивались к шороху в передней. Они слышали, как замерли звуки шагов, как щёлкнул замок двери, как с легким скрипом открылась и шумно закрылась дверь. Когда стало совсем тихо, они, облегченно вздохнули, начали пить чай. Некоторое время провели молча, а затем свекровь начала допрос снохи:

— Что у вас вышло?

— Ничего особенного. Папирос не оказалось набитых. Ваня сердится. Впрочем, он сердится больше потому, что проспал.

Старуха злобно вперила в невестку мутный незрячий глаз, а трясущаяся челюсть у нее запрыгала еще сильнее, выдавая ее волнение, и она, с трудом сдерживая пыл, поучающе, с оттенком горечи, произнесла:

— Приготовляла бы все заранее, так не стал бы сердиться.

Мария Васильевна приняла такой вид, как будто ничего не слыхала, и добродушно обратилась к свекрови:

— Как спали ночью?

Старуха нахмурилась и нехотя ответила:

— Ничего.

И после короткой паузы неожиданно, без всякого повода, громко и строго закричала:

— Ты, как я погляжу, время проводишь только за книгами да за музыкой, следишь за тем, чтобы пыли в зале не было, а на кухню для присмотра за стряпкой, чтобы зря добро не изводила, выйти не изволишь. Я прежде, когда нужно было семью кормить да дом сдомить, никого не нанимала: сама пол мыла, сама стирала...

— Оставьте, мама, — кротко взмолилась Мария Васильевна.

Но старуха озлилась и не унималась. В ней клокотала застаревшая злоба к снохе, которая не пришлась по нраву и с которой не о чем было поговорить, как только упрекнуть образованностью, занятием музыкой, чтением книг, любовью к чистоте и опрятности. И она, входя в азарт, продолжала:

— Не нравится, когда дело говорю! Не на худо учу, матушка. Эх вы, молодые! Жить вы не умеете. Почему у вас из-за пустяка, из-за папирос, и то ссора?

— Папиросы были приготовлены, но вы, может быть, их взяли.

При последних словах старуха вскочила, как ужаленная, лицо ее исказилось негодованием, она вся затряслась и, задыхаясь, визгливо закричала:

— Я взяла? Не брала и не возьму никогда. Не хочу попреков слышать. Если захочу курить — сама набиваю...

Мария Васильевна мысленно пожалела, что сорвались с уст неосторожные слова, и примиряюще перебила свекровь:

— Успокойтесь! Ничего особенного не случилось. Пустяки! — И, тяжело вздохнув от волнения, добавила про себя: — Как глупо все это!

Старуха начала всхлипывать и с неостывающим пылом продолжала злобно кричать:

— Не говори про меня напраслину. Вы оба — ты и муж — меня изводите, как старую собаку. Он со мной обходится не как сын, а как чужой. Я его в сиротстве воспитывала, учила на медные гроши, а он... Теперь он барином стал, живет и сыт, и пьян, и нос в табаке, а мое старание забыл. У меня на квартире жил мировой судья, тридцать рублей платил... Я деньги трудом добы-

вала да его учила, старалась в люди вывести, а он... И ты, гордая! Мне не очень нужно, что ты — поповна, образованная... Я тоже век жила не зря, не как-нибудь.

Поток бессвязных упреков произвел на Марию Васильевну такое действие, как будто ей пришлось выслушать бред безумного, и, почувствовав жалость к старухе, она еще больше смягчилась и начала ее успокаивать:

— Полноте, мама! Что вы говорите? Не волнуйтесь напрасно. Мы вовсе не хотим вас обижать. Вы это напрасно думаете. Уверяю вас!

Старуха сразу стихла, как бы проникнувшись ее убеждениями, сделала костлявой рукой какой-то непонятный жест и, утирая слезы платком, медленно, точно плывя, удалилась из столовой.

Мария Васильевна грустно посмотрела ей вслед, бессильно опустилась на стул, закрыла лицо руками, чтобы скорее успокоиться, и с тоской и болью в сердце думала: «Как вульгарно и глупо все это! Когда все это кончится?»

II

Еще не успела Мария Васильевна оправиться от тяжелого впечатления сцены со свекровью, как в комнату вошел знакомый заводский техник Александр Гаврилович Юношев.

При его появлении она, стараясь оживиться, быстро встала и с улыбкой протянула ему руку.

Юношев добродушно улыбался и кланялся и в то же время сыпал вопросами:

— Как ваше здоровье? Почему-то давно нигде вас не встречал? Что у вас хорошего?

Мария Васильевна попросила его сесть и, когда он опустился на первый попавшийся стул, начала отвечать на его вопросы.

Она говорила и улыбалась, но причиной появления улыбки были совсем не ее слова, а вызвало улыбку воспоминание о том, как Юношев ухаживал за ней всюду при встречах.

— Стаканчик чайку выпьете? — предложила затем она, вспомнив о роли хозяйки.

— Благодарю, благодарю,— ответил он тоном, не имевшим и намека на отказ, и пересел к столу против нее.

Она поставила перед ним стакан с чаем, кивнула головой в знак приглашения, и он начал пить.

Взор ее скользнул по его наружности. Вид у него был цветущий. Юношески свежее, полное, жизнерадостное лицо и добрые, детские, серые глаза придавали ему облик взрослого ребенка. От всей его фигуры веяло здоровьем. Заметно проглядывали, невольно располагавшие к нему скромность и простота. Она знала, что среди заводской интеллигенции он выделялся оригинальностью, сводящейся вообще к полной опрощенности, и ее не удивило, что он явился в своем обычном костюме — серой шерстяной блузе, черных узких брюках и высоких ботфортах. Это теперь ей даже почему-то понравилось.

После недолгого молчания, извинившись за раннее посещение, Юношев стал объяснять цель своего прихода.

— Дело в том, что хотел вас, Мария Васильевна, а также и Ивана Ефимовича видеть вместе.

— Муж уже ушел в больницу.

— Жаль, что не застал. Впрочем, все равно, поговорю с вами.

— Пожалуйста.

— Хочется на празднике дать спектакль. Времени, правда, еще много. Но, чем раньше все оборудовать, тем лучше. Прошу вас не отказаться от роли. То же самое хочу предложить и Ивану Ефимовичу.

— Если роль подойдет, то я согласна, а мужа попросите.

Он начал благодарить ее, но она остановила его и спросила:

— Какую пьесу намечаете?

— Желательно из народной жизни, а в заключение что-нибудь веселое. Выбор сделаем на общем собрании участвующих.

— Отлично.

Он оживился и, забыв о стоявшем перед ним недопитом стакане, пустился в рассуждения.

— Так вот, стало быть, спектакль устроится. Похлопочу, встряхнусь... Жизнь до того сера и однообразна, что, право, в конце концов изленишься, опустишься и, пожалуй, одурь возьмет. Утром идешь на завод. Там —

духота, пыль, дым, гул машин, стук молотов, крики рабочих. Сами рабочие — потные, грязные, с охрипшими голосами, с красными от огня лицами. Все это действует на нервы. Уходишь с завода издерганным и усталым, а отдохнуть, душой отдохнуть негде. Вечерами, сидя в четырех стенах квартиры, почитаешь, побрянчишь на гитаре — и только. Если подойдет ночная служебная неделя, тогда совсем не живешь, кроме завода. Уходишь вечером на завод, а утром возвращаешься, пьешь чай и ложишься спать на целый день. Но ведь этого мало, чтобы чувствовать себя человеком. Хочется жить сознательно, делать что-нибудь полезное, наконец, хочется с кем-нибудь поговорить по душе, обменяться мыслями, развлечься. А этого-то и нет совсем. Иногда думаю: «не удрать ли отсюда?» Наше общество только и знает — карты, выпивку, сплетни. Не только журналов, даже газет, кроме молодежи, никто не читает. Разве порой заинтересуются обличительной корреспонденцией... Нет сплоченности, нет инициативы, нет желания сделать полезное. Играют в карты — и довольны! Но я неспособен так убивать время. Мне нужно что-нибудь осмысленное, освежающее душу... Спектакль меня расшевелит, ободрит, а потом опять как-нибудь можно будет тянуть.

Говорил он тихо, плавно и увлекательно. Голос его был мягкого тембра, с задушевными нотками. Это действовало подкупающе.

В беседах со знакомыми Юношев держал себя спокойно и уверенно. В то время как другие горячились, он оставался хладнокровным и не отводил серьезного взора от собеседников. Не всякий мог понять, о чем он говорил серьезно и о чем — шутливо или иронически. Но беседы с ним были приятными и захватывающими.

Так это повторилось и теперь. Сначала Марии Васильевне казалось, что он говорит лишь для того, чтобы не сидеть молча, а затем беседа ее увлекла. Его слова совпадали с ее мыслями. Она думала, что он говорит правду, только не верила в возможность сплочения заводской интеллигенции для культурной работы, и откликнулась лишь на последнюю его фразу.

— Да, вы правы. Но что станете делать? Надо же как-нибудь жить...

— Да, жить надо, но еще мыслить надо и, главное, повторяю, делать что-нибудь общественное, полезное

надо. Вот теперь кооперативное движение всюду, а мы спим да спим. Нельзя всецело погружаться в себя, в свои личные и мелкие интересы. Мы на заводе передовые люди, за нами стоят рабочие, большей частью темные. Мы и должны сделать что-нибудь для них. Нет, мы ушли в свои мелочи и забылись! Разве это не сон — жизнь без мысли, без деятельности? Разве нормально играть в карты, просиживая целые ночи, а днем ходить, как угорелым? Мы интеллигенты, нам «много дано», на нас лежит обязанность «делать дело». Но мы ничего не делаем. Ленивые рабы, зарывшие таланты в землю!

Вопрос общественной розни и бездеятельности для нее был близким и больным. Заговорив на эту тему, он коснулся самых чутких струн ее души. И она сочувственно заметила:

— Да, это правда. Глушь и яма у нас.

Он, поощренный этим, с увлечением продолжал:

— Глушь и яма. Рознь у нас страшная. Это наш бич. Вот, например, мы с Глушковым служим вместе, делаем одно дело, а какой страшный между нами антагонизм! Он исповедует принцип: «нанялся — продался». Скажите, разве обязательно нужно быть таким слугой капитала, что ради него должно забыть все, что с детства внушалось, что и сам считаешь священным? Служишь или работаешь — продаешь ум, знание, силу, но не продаешь свою честь, свои убеждения. Не так ли?

Под впечатлением его страстной речи, впервые услышанного в мертвой глуши живого слова она встрепенулась, как разбуженная от сна, и с чувством безграничного доверия к нему начала сама высказываться.

— Это вопросы серьезные, но, мне кажется, вам труднее разрешить их не в теории, а на практике, в жизни.

— Да, в жизни труднее, особенно в нашей трясине...

— Я уже давно подметила, что вы, скажу откровенно, не подходите к среде, окружающей вас.

— Я это чувствую. Удирать нужно отсюда. Здесь меня все как-то давит и гнетет...

И он вдруг, спохватившись, тревожно произнес:

— Я слишком заговорился. Извините, Мария Васильевна, что занимаю вас таким, может быть, для вас неинтересным разговором. Невольно как-то вышло...

Это извинение ей не понравилось и даже кольнуло ее самолюбие, как женщины чуткой и не зарывшейся толь-

ко в пучине мелких домашних дел и интересов. Беседуя, как ей казалось, с человеком, ее понимавшим, захваченная искренностью речей, она почувствовала потребность высказаться больше, полнее и заявила:

— Как видите, с удовольствием слушаю. Разве со мной нельзя поговорить серьезно! Сознаюсь, когда оканчивала гимназию... Эх, какое это было время! Сколько было стремлений, желаний, волнений!.. Да что вспоминать? Скажу только, что и теперь живы во мне те чувства, и я не люблю эту жизнь... Почти задыхаюсь в этой атмосфере... А Ваня? Когда мы с ним встретились, то в нем было много порывов, огня, была жажда знания, было желание работать, приносить пользу. Он был намерен продолжать образование, я — тоже... Но теперь... Эти карты, эта выпивка, эти люди, тупые, без жизненных интересов, без мысли погрузили его в тину, в которой давно сами погрязли... Он, несмотря на мои протесты и увещания, превратился в буржуа, опустился... И у нас с ним мало общего, мало говорим, почти нет духовной жизни. Но что станешь делать?

Наступило минутное молчание. Она поникла головой и думала о своем невыносимом положении. Он почувствовал глубокую нежность и доверие к ней. Прежде она была ему симпатична только внешним обликом, а теперь он увидел в ней близкую и родную душу. Огневое чувство пробудившейся любви охватило его. Как пылкий юноша, он был не в силах противостоять порыву. В затуманенной страстью голове мгновенно созрело смелое решение. И он, не раздумывая, сказал:

— Нужно найти выход... Боюсь сказать... Но вы поймете...

— Есть, знаю... Но пока... Впрочем, скажите...

Он немного смутился, но, быстро овладев собой, просто и прямо ответил:

— Вы знаете меня... Я знаю вас... Мы можем... сумеем... понять друг друга... Уедемте отсюда... ну, на Кочкарь, что ли...

Это неожиданное предложение ее удивило и взволновало. В первую минуту она не знала — верить ли тому, что услыхала. Они сразу умолкли. Он сидел, слегка побледневший, и наблюдал за ней. От его внимания не ускользнуло, как она нервно поводила бровями, как по ее лицу разлился густой румянец, как высоко вздыма-

лась ее грудь, как она поднимала и опускала стыдливые взоры, точно боясь взглянуть на него. Он ни о чем не думал, а только с нетерпением ожидал ее ответа, готовый, если она не отвергнет его предложение, упасть на колени и целовать ей руки. Но она упорно молчала. Кроме удивления и смущения, ее охватило еще какое-то смутное, томительно-приятное и робкое чувство. Ей казалось, что внезапно налетела какая-то волна, подхватила ее и несет куда-то, не давая ей опомниться. Она забыла о муже, о свекрови, обо всем, а только старалась понять, какое чувство овладело ею, и думала о том, как ей поступить. И вдруг, не решив еще ничего, она тихо сказала:

— Нет, это не то!

Он вздрогнул, как от укола, воззрился на нее и хотел что-то сказать, но осекся.

В комнату внезапно вошла Олимпиада Алексеевна и, метнув на него недружелюбный взгляд, обратилась к снохе грубо-крикливым тоном:

— Сходи на кухню — посмотри творог.

При этих словах им казалось, они упали в бездну.

Мария Васильевна, не глядя на свекровь, тихо ответила:

— Хорошо.

Юношев, с пылавшим лицом, оробевший, не считая возможным больше оставаться, встал, тихо простился и поспешно ушел.

— Наконец-то уходит! — сердито проворчала ему вслед старуха и ушла обратно.

Мария Васильевна, встревоженная, трепещущая и вместе с тем настроенная так, как будто в ее душу заглянуло солнце и спугнуло царивший там мрак, долго ходила по комнате и все думала:

«Что это он? Неужели обдуманно и серьезно? Все-таки это не то, что мне нужно... Хотя у него живая душа и он близок мне по духу».

III

Все время, пока Юношев с Марией Васильевной сидели в столовой, Олимпиада Алексеевна стояла в соседней комнате около двери и подслушивала разговор. Но по старческой глухоте из целых фраз улавливала только

бессвязные слова и была не в состоянии их понять и осмыслить. Утомленная и озлобленная долгим и безрезультатным подслушиванием, вся кипевшая гневом, придумала повод к прекращению беседы и, когда ей это удалось, уходя из столовой, торжествующе ворчала:

— Теперь выпроводила, а на другой раз совсем не пущу. Скажешь сыну — смеется. Это, говорит, по-вашему, по-старушечьему, не годится, а по-нашему, по-современному, так следует. Как так следует? Нет, подожди, еще поговорю!

При этом, угрожая мысленно, инстинктивно грозила в воздухе пальцем.

Вскоре к ней явилась соседка, теща заводского смотрителя Глушкова, толстая, как бочка, с жирным лицом, седая старуха, Анна Ивановна, с которой они всегда делились свежими сплетнями.

Олимпиада Алексеевна была рада поболтать с приятельницей и, приветствуя ее, мягко и вкрадчиво говорила:

— Милости просим, Анна Ивановна! Садитесь. Давненько не заглядывали к нам.

Гостья села и начала объяснять:

— С внучатами вожусь. Глаз и глаз за ними нужен. Подрастают. Балуют. Нельзя без присмотра оставить.

Олимпиада Алексеевна, все еще кипевшая гневом к Юношеву и Марии Васильевне, выслушав ее, разразилась тирадой:

— Счастливы те, у кого есть дети. У нас — никого. Поповна и не знает, что ей делать. За хозяйством не смотрит. Книжки читает. Вот Юношев был. С ним чуть не час высидела. Разговоры какие-то. Не глядела бы!..

При упоминании имени Юношева Анна Ивановна вспыхнула негодованием.

И обе старухи с жаром начали злословить:

— Юношев был? Голубушка, остерегайтесь! Опасный человек. Речами засыплет, ульстит, проведет. Он — политика. Зять вместе с ним служит, так знает...

— Да, уж видно его сокола по полету. Я его на порог бы не пустила. Сынок-то слушать не хочет. Ты, говорит, стара стала и ворчишь.

— Хоть стара-стара, а хочу добра. Вот что ему скажите. Юношев — опасный человек. Не водитесь с ним.

— Вот поговорю еще сыну.

— Поговорите. Опасный человек. Добра не будет. В политику замешает. Да и снохе-то нечего с ним лясы точить. Разврат, увидите, разврат...

— И я то же говорю, да разве послушает!

Обе немного помолчали.

— А что она у вас варит варенье-то?

— Нет. Где ей! Некогда. Музыка да книги. Только и дела!

— Так... А у нас уже четыре банки наварили: вишневое, смородиновое, земляничное... Нина платье шьет... Голубое, грудь открытая, со шлейфом. Отделает стеклярусом... Прелесть!.. Целых полсотни вскочит.

— А у Елизаветы Ивановны новое-то платье двести рублей стоит.

— Ну, так ведь она — управительша.

— Да... Что поделываете?

— Вяжу. Здоровье-то скверное. Плохо вижу.

— А мы все шьем. Ребят одеваем.

И гостья вдруг, вспомнив о своих домашних обязанностях, озабоченно залепетала:

— Ой, засиделась! Пойти надо. Ребята расшалятся без меня. Засиделась!

Олимпиада Алексеевна попыталась ее задержать:

— Посидите. Редко ходите. Поговорим.

Но Анна Ивановна решительно заявила:

— Нет, пойду.

И, тотчас же простившись, направилась к выходу, но еще остановилась около двери и сообщила несколько заводских дрязг и только после этого уже ушла.

Олимпиада Алексеевна, довольная тем, что отвела душу, оставшись одна, сидела и думала: «Вот и другие то же самое, что я, говорят об этом хлыще. Поговорю еще с сыном. Поймет, не поймет — все равно».

И, вспомнив о кухне, отправилась туда, чтобы покричать на подвластных ей кучера или кухарку.

Но, столкнувшись в столовой с Марией Васильевной, снова набросилась на нее с упреками и бранью.

Мария Васильевна долго терпеливо выслушивала ворчание свекрови и, наконец, истощив запас терпения, схватилась руками за голову и выбежала во двор.

Ясный полдень дышал зноем. Под навесом важно расхаживали пестрые индюшки, а около них прыгали и чирикали воробьи. Слышалось непрерывное гудение за-

вода, и откуда-то доносился лай собаки. В вышине сиял клочок глубокого голубого неба.

Мария Васильевна села в тени на завалинку дома. Сердце ее сжималось и ныло от обиды. И у нее невольно, вместе с хлынувшими из глаз слезами, сорвалось с уст:

— И вчера, и сегодня, и завтра — одно и то же: пьяный муж, злая свекровь, сцены из-за папирос, из-за творогу! Точно кошмар какой-то... Эх, как хочется разбить все это!

И она плакала, чувствуя, как слезы и тишина облегчают душу.

IV

В час дня Голосов уже возвратился из больницы. Вид у него был больного или полупьяного человека. Лицо побагровело и приняло тупое животное выражение. Глаза округлились и налились кровью. Длинные усы беспомощно опустились. Походка стала нетвердая.

Олимпиада Алексеевна, открывшая ему дверь, заметила ненормальное состояние сына и тревожно спросила:

— Что с тобой?

— Голова болит.

— Лекарство бы принял.

Он горько улыбнулся.

— Мое единственное лекарство — сливки от бешеной коровы. Не понимаешь? Дай водки и закуски.

— Батюшки! Да у тебя опять, верно, запой начинается? Вот беда!

— Не запой, а нужно опохмелиться. Скажет тоже — запой! Принеси поскорее водки.

Она с сожалением посмотрела на него.

— Принесу. Только ты лег бы, так лучше было бы. Право!

И, не дождавшись ответа, ушла на кухню.

Голосов разделся, прошел в столовую, сел к столу и, поставив на него локти и опустив на руки голову, думал про себя: «Эх, как трещит голова! Надо вывести из-под черепа этих проклятых кузнецов. Гадко, мерзко... Скверно сложилась жизнь... Самому противно так жить, а исправиться не можешь...»

Он снова, как и утром, задумался о том, как бы ис-

править жизнь, хватит ли на это силы воли, а если не хватит — не лучше ли подумать о развязке.

Эта мысль пришла ему в голову внезапно, как являются непрошенные гости в дом, и он на минуту остановился на ней, решая вопрос, дурно это или хорошо, и затем, испугавшись ее, решил ни о чем не думать и стал рассматривать обстановку комнаты.

В столовой царила чуткая тишина. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь парусиновые шторы в окнах, трепетно ложились золотистыми бликами на желтом полу и отчетливо чеканились узкими полосками на белых стенах и потолке. Стены были украшены небольшими олеографиями и гравюрами в рамках. Возле стен тянулись рядами столы и стулья и на столах лежали молочно-белые скатерти. На полках ютившейся в углу этажерки с стеклянными дверцами красовались серебряные бокалы, хрустальные вазы, фарфоровые чашки и разные изящные безделушки. Самовар и посуда на буфетном столе, стоявшем среди комнаты, и венские стулья около него были расставлены в строгом порядке. На всем лежала печать заботливости об убранстве, все ласкало взор чистотой и поблескивало, точно улыбаясь яркому дню, сиявшему за занавешенными окнами.

«Как тихо, как светло, как хорошо! — подумал он.— Нет, еще стоит жить на свете!»

Олимпиада Алексеевна принесла графин с водкой и тарелку с хлебом и сыром.

Он благодарно посмотрел на нее.

— Вот спасибо. Добрая старуха! Сейчас поправлюсь.

— Много-то не пей. Опять перепаратишь.

Он тотчас же взял дрожащей рукой графин, налил немного водки в чайный стакан, глубокомысленно поглядел в него и горьким тоном сказал:

— Эх ты, проклятущая!

Олимпиада Алексеевна стояла сзади, наблюдая за ним, и печально качала головой.

Когда он выпил водку, она ему предложила:

— Ты лег бы, так лучше.

Он, прожевывая закуску, глухо и невнятно ответил:

— Посижу немного.

В комнату вошла Мария Васильевна, с недоумением остановилась, долго смотрела то на мужа, то на свекровь и, наконец, заговорила:

— Что это ты, Ваня, колобродишь опять?

Он бросил на нее осовелый взгляд и ответил развязным тоном:

— Пустяки. Знаешь, как это поется:

На свете все пустое —
Богатство и чины...

Но она энергично его перебила:

— Не дурачься, Ваня, а поговорим серьезно. Зачем ты пьешь? К чему это приведет? Катишься и катишься по наклонной плоскости...

Последние слова были произнесены таким грустным, мягким и подкупающим тоном, что ему стало жаль ее и совестно перед ней, и он стал серьезно говорить:

— Мне и самому тяжело так крутить, да что станешь делать? Пью потому, что я — фельдшер, который в медицине — ни рыба, ни мясо... Чтобы работать на этом поприще, нужно иметь диплом врача, иначе, будь ты хоть семи пядей во лбу, тебя будут держать в тисках... И еще пью потому, что мне все надоело и сам себе я надоел...

Она печально посмотрела на него и продолжала:

— Вот так-то ты и погружаешься в тину. Будь силен, остановись, вернись к сознательной жизни. Помнишь, о чем мы с тобой прежде мечтали, к чему стремились?.. Как далеко ушло все это!

— Да, невозвратное время! — грустно отозвался он.

Она подошла к нему. Взор ее вспыхнул нежной лаской. Он тоже ласково посмотрел на нее и виновато улыбнулся. Она горячо возразила:

— Почему невозвратное? Нет, мы можем встать на прежний путь, только нужно взять себя в руки. Ты обещаешь мне это?

Тронутый ее участием, он тепло и мягко ответил:

— Когда ты говоришь об этом, то я верю, что это возможно.

Олимпиада Алексеевна, молча наблюдавшая за ними, нетерпеливо вставила замечание:

— Лег бы лучше.

Голосов взял графин, снова налил водки в стакан, повернулся лицом к матери и сказал:

— Еще выпью и тогда лягу.

Водку он выпил залпом, закусил с ножа сыром и, встав на ноги, обратился к матери и жене:

— Вот теперь хорошо. Теперь пойду спать.

Когда он удалился, Олимпиада Алексеевна, глубоко вздохнув, проворчала:

— Не дай-то бог такую напасть!

Мария Васильевна, сидевшая в задумчивом оцепенении, услыхала только последнее слово и спросила:

— Какую напасть?

Старуха с раздражением ответила:

— А если у него запой...

Мария Васильевна задумалась и грустно произнесла:

— Он кончит, пожалуй, скверно. Сгубит его это болото.

V

На следующий день вечером супруги Голосовы должны были пойти к управителю завода Заверткину: он — на очередной вист, а она — на чашку чаю.

В дом управителя полагалось являться «в одеждах брачных». Поэтому Голосов надел новый пиджачный костюм, завил усы и надушился, а Мария Васильевна, по его же настоянию, надела шерстяное платье со шлейфом и сделала красивую прическу, подходившую к ее мраморному лицу со вздернутым слегка носом. Сборы их были продолжительны, но все сошло, против обыкновения, мирно.

Проходили они по безлюдным улицам. Вечер был теплый, светлый и тихий. На западе угасали последние вспышки зари, а на востоке из-за волнистой горной цепи всходила медноликая луна. Жизнь в селении замирала, вокруг все безмолвствовало, только завод непрерывно гудел. И они шли в этом приятном сумраке, безмолвно, без всяких размышлений, отдыхая душой и телом.

Парадную дверь в управительском доме открыла им горничная Оля, высокая женщина с лоснящимся лицом, в черном платье и белом фартуке, а в переднюю, пока они раздевались, вышли встречать их сами хозяева.

— Милости просим! — протяжно гудел Заверткин, высокий, худощавый, с подстриженными кружком волосами, в дымчатых очках, с рыжеватой бородой лопаточкой, в длиннополом сюртуке и широких брюках.

— Пожалуйте, пожалуйте! — тихо и жеманно приглашала хозяйка, Елизавета Ивановна, высокая, полная, с рыхлым лицом, большими синими глазами, широким носом, тонким разрезом рта, двойным подбородком и высокой грудью, одетая в голубое с дорогими прошивками платье.

Управитель и его жена, считая себя особами высшего ранга на заводе, держались с своеобразной важностью и достоинством. Все движения Заверткина отличались медленностью, и говорил он медленно и тягуче густым басом. Но, как автодидакт, достигнувший высокого положения на заводе по протекции, он не обладал внешним лоском, и в нем проглядывали те характерные для людей этого класса черты, которым дано название «мужиковатость». Елизавета Ивановна держала себя строго, говорила мало, смеялась очень редко, и улыбка ее всегда выходила натянутой и уродливой. Такие манеры были привиты ей, как считавшиеся обязательными, в доме ее отца, бывшего управителя, и предписывались, как она думала, настоящим ее положением.

Когда гости разделись и обменялись с хозяевами приветствиями, все направились в богато и роскошно обставленную гостиную.

Здесь все было на барскую ногу: дорогая мебель, ковры, бронза, фарфор, бархат, картины, цветы... Только убранство комнаты по случаю предполагавшегося карточного вечера было необычайным. В одном углу стоял диван с малиновой бархатной обивкой, а в другом — массивное пианино и пюпитр для нот. Один стол был сервирован для чая, на втором были выставлены вина и закуски, третий — карточный — стоял среди комнаты, на четвертом — лежали цитра и гитара. Резные стулья, обитые малиновым бархатом, стояли правильными рядами около стен и чайного стола. Вокруг карточного стола были расставлены венские стулья. В центре потолка висела зажженная электрическая люстра с матовыми колпачками и заливала комнату ровным мягким светом.

Заверткин и Голосов сели на диван, под сень высоких темнозеленых фикусов и трепетно-нежных араукарий, стоявших около дивана, и оба закурили по папиросе, обмениваясь в то же время свежими заводскими новостями. Дамы ушли к чайному столу. Хозяйка начала перетирать дорогую изящную посуду белоснежным поло-

тенцем и затем, слегка гремя фарфором и серебром, стала наливать чай. Говорила она о вкусном варенье, приготовленном по рецепту бабушки, и предлагала гостье попробовать этого прелестного лакомства. Окончив приготовления к чаю, сиявшая удовольствием от обилия угощения, она пригласила всех к столу.

За чаем Заверткин начал рассказывать о посещении завода управляющим, с гордостью подчеркнув свою дружбу с ним. Но его речь в самом начале прервали звенящие и клокочущие звуки электрического звонка, донесшиеся откуда-то издалека. Он поспешно встал и направился в переднюю. За ним же последовала и Елизавета Ивановна, жеманно обратившись к гостям:

— Извините, господа, на минуточку.

Голосов, оставшись наедине с женой, любовно и нежно взглянул на нее и с грустью сказал:

— Вот придут — и начнется опять... Не хотелось бы, право, пить, а нельзя... Как ты думаешь?

Мария Васильевна ласково посмотрела на него и тихо ответила:

— Воздержись... Играй, но не пей... Все-таки лучше...

Через минуту гостиная наполнилась гулом голосов и раскатами веселого смеха вошедших вместе с хозяевами новых гостей.

Первым вошел заводский врач Егор Дмитриевич Петров, маленький, коренастый, с черными вьющимися волосами и черной бородкой на смуглом лице, в сиреневой вышитой косоворотке, темносиней суконной поддевке и лакированных сапогах.

Он, слегка улыбаясь, подошел к Марии Васильевне, поклонился, пожал ее руку и медленно, как бы неохотно выпуская ее из своей руки, осведомился:

— Здоровы ли? Как поживаете?

Она также с едва заметной улыбкой ответила:

— Благодарю вас... Ничего... Помаленьку...

Он снова поклонился ей и, подавая руку Голосову, сказал:

— Еще раз...

Затем вошли в комнату заводский смотритель Николай Петрович и его жена Нина Петровна Глушковы, сопровождаемые приветливо встретившими их хозяевами, все разом говорившие и громко смеявшиеся.

Нина Петровна, маленькая, худенькая, с завитыми

черными волосами, выцветшим лицом, черными, как ягоды смородины, глазами, тонкими и бескровными губами, была в черном платье, с большой золотой брошкой и золотой массивной цепью на груди.

Она, не переставая разговаривать с Елизаветой Ивановной и улыбаться ей, небрежно и сухо поздоровалась с Голосовыми и увлекла хозяйку, усиленно тараторя с ней, на противоположную сторону стола.

Глушков, высокий, с рябоватым, обросшим лицом, кривой на левый глаз, в тужурке и ботфортах, покачиваясь огромным телом и разглаживая на ходу большую рыжую бороду, подходил поочередно к присутствующим, протягивал руку и развязно говорил:

— Доброго здоровья! Наше вам... с кисточкой!.. Как поживаете?

В то время как Петров, за чаем, рассказывал дамам о своей охоте на глухарей, Глушков завел с управителем деловой разговор.

— Вынужден вам доложить: третьего дня уволил за пьянство подмастерья Крупина, а сегодня Юношев его принял, без моего согласия, на работу.

Заверткин неприятно поморщился и сказал:

— Ах, уж этот Юношев! Вечно создает неприятности... Надо как-нибудь от него отделаться...

Глушков, торжествуя, продолжал:

— Крайне неудобно: я увольняю, а он принимает. Этим дезорганизация вносится в дело.

— Да, неудобно, — подтвердил Заверткин и добавил: — сделаю ему внушение.

Довольный таким результатом кляузы, Глушков сразу умолк, а Заверткин, вслушиваясь в разговор Петрова с дамами, заинтересовался и спросил:

— Начали, Егор Дмитриевич, охотиться?

— Да, был сегодня на охоте и убил двух глухарей... Завтра пожалуйте глухариного супа откушать...

— Благодарю, благодарю...

— Завтра ведь у меня играем...

В разговор вмешался Глушков:

— Вы, Егор Дмитриевич, велите-ка одного-то глухарика зажарить да на закусочку подать... С горчичкой очень хорошо... Люблю, грешный человек...

Петров, добродушно улыбаясь, сказал:

— Хорошо, велю зажарить и подать с горчичкой...

— Ты уж опять насчет закуски заботишься,— вставила замечание по адресу мужа Нина Петровна.

Глушков, тряся бородой, громко засмеялся и ответил:

— Так, между прочим, не мешает...

Но жена уже не слушала его, увлеченная разговором с хозяйкой.

— Газеты опять начинают писать о войне, — сказал после паузы Петров.

— Нынче постоянно порохом пахнет в воздухе... — авторитетно отозвался Заверткин.

— Ерунда, сплетни... Не будет войны...— уверенным тоном возразил Глушков.

— Почему? — мягко спросил Петров и, помолчав, добавил: — Помните, перед японской войной также не верили в возможность столкновения, а оказалось...

И он многозначительно посмотрел на собеседника.

Глушков начал горячо объяснять:

— Тогда было совсем другое. дело. Тот народ, японский, народ энергичный, сумевший в несколько десятков лет превратиться из полудикого состояния в культурную нацию. Там, на востоке, война была неизбежна. Японцам жить было тесно, а мы в Корею, под самый нос к ним, забирались. Вот и вспыхнула война. Теперь нет таких комбинаций, да и в войну играть теперь — дело рискованное. Прежде артиллерия да пулеметы разрушение наносили, а теперь снаряды с аэропланов будут бросать, это будет не война, а бойня...

Петров, чтобы остановить разошедшегося оратора, шутливо заговорил:

— Ну, успокойтесь, успокойтесь, патриот и политик, не спорю.

— Ради этого, — сказал давно жаждавший выпивки Глушков, указывая на стол с винами и закусками, — охотно успокоюсь....

Заверткин быстро встал и, тоже указывая на буфетный стол, пригласил выпить и закусить.

Глушков и Петров разом поднялись с мест, а Голосов, помедлив несколько секунд, уловил грустный взгляд жены, горько улыбнулся, махнул рукой, встал и подошел к буфетному столу.

— Не начать ли с коньячку, господа? — спросил Заверткин.

И, не дожидаясь ответа, начал наполнять рюмки.

Протестов не было.

Все взяли рюмки, чокнулись и выпили.

— Икорка чудесная! Пробуйте-ка, господа. Чудесная, — говорил Глушков, с аппетитом прожевывая закуски.

— Да, вкусная икра,— отозвался Заверткин.

— Вчера из Екатеринбурга артельщик привез по заказу...

— Ну, господа, в картишки не пора ли? — предложил вопросительно Петров.

Глушков одобрительно заметил:

— Давно следовало начать. Поздно начинаем.

Но Заверткин возразил:

— Нет, господа, предварительно прошу вас...

И указал рукой на выпивку.

— Это можно, это хорошо, — одобрил Глушков. — Отчего не выпить? Добрые люди между первой и второй не дышат, а мы поговорить успели.

— Нет, очень круто будет, — начал протестовать Голосов.

— Знаете поговорку: первая — колом, а вторая — соколом, — урезонил его Глушков.

И они, чокнувшись рюмками, снова выпили.

VI

От буфетного стола компания перешла к карточному столу.

Глушков разорвал обертки с двух колод карт, ловким взмахом руки рассыпал их по столу полудугой, крапом кверху, и предложил брать карту.

Все взяли по карте, определяющей место за столом каждого партнера, и сели за стол.

Глушков начал тасовать карты и обратился к партнерам:

— Знаете, господа, как нашу игру живописует кухарка Егора Дмитриевича?.. Интеррес-сно, интересно!..

Петров улыбнулся и сказал:

— Да, это курьезно, господа.

— Раздадут, говорит, карты, — продолжал Глушков, — и сидят и перекликаются: три пик, четыре треф...

Потом молча выбрасывают карты на стол. И, как только ни у кого карт на руках не останется, тотчас все разом начинают кричать, спорить, ругаться...

При последних словах Глушков громко захохотал. Смеялись, раскачиваясь на стульях, также и остальные.

Заверткину понравился этот курьез, и он решил рассказать тоже нечто комичное.

— Знаете рабочего, старика Павла Старцева? Такой ядреный старик. Еще в крепостной зависимости работал. С кочергой бегал за приказчиком. Драли его сильно. С ума, говорят, сходил. И теперь он все такой же шалый. Старик крепкий, говорит басом, ругается... Так вот его судил на днях земский. Лесообъездчики взяли его на дороге с двумя кряжами дров. В протоколе по ошибке сказано: «два воза». Земский, конечно, читает, как написан протокол. И вот, как только упомянул «два воза», — Старцев вскочил, глаза с кровью, уставился на земского и ляпнул: «Турусь давай! У меня и лошадь-то одна! Откуда два-то воза?» Земский оторопел. Публика хохочет. Курьез!

И снова все засмеялись.

— Ну-с, приступимте, с легкой руки,— сказал Глушков.

Взяли карты и начали играть.

Во время хода Заверткин несколько раз бил карту Глушкова.

— Ну, Николай Петрович, — кричал потом, смеясь, Глушков, — сказывайте спасибо, что хороший прикуп достался, а то остались бы без двух...

— Спасибо, спасибо! — улыбнулся Заверткин. — Целых две поденщины стоят... Не баранья рожа!

И он опять пригласил всех «воодушевиться», и все встали, выпили и начали закусывать.

Глушков, взглянув в окно, заметил зарево, быстро подошел к окну и с тревогой упавшим голосом сказал:

— Господа, где-то пожар!.. Большое зарево светится...

Все сразу переполошились, бросились к окнам, зашумели и начали выкрикивать:

— Где пожар?

— Что горит?

— Далеко отсюда?

— Это, кажется, начинают гореть заводские дрова,— высказал предположение Заверткин.

— Да, пожалуй, горят дровяные склады,— согласился с ним Глушков.

— Нужно бежать туда. Идемте скорее, господа! — крикнул Заверткин и первый направился к выходу.

Тотчас же за ним последовали сначала Глушков и Голосов, а затем не устоял и Петров.

Остались одни дамы. В гостиной сразу затихло. Но исход пожара интересовал и дам. Они столпились у окна и молча наблюдали за розовым пятном, напоминавшим отблеск зарева на темном ночном небе. Зарево сначала розовело и разрасталось, а затем начало меркнуть и уменьшаться. Постепенно отблеск пожара на небе исчез совсем. И дамы, утратив интерес, отошли от окна, сели к столу и начали разговаривать.

— Я ужасно боюсь пожаров,— говорила Елизавета Ивановна.— Жутко делается, когда зазвонят да свисток заорет. Стала бояться с тех пор, как у нас дом сгорел.

— Я тоже боюсь,— вторила ей Нина Петровна.— Как услышу этот противный свисток, эти протяжные, с перерывами, плачущие звуки, так и в дрожь меня бросает.

Мария Васильевна вставила замечание:

— Пока еще не слышно набата. Зарево померкло. Авось, пожар быстро погасят...

Но ни та, ни другая из дам-подруг не отозвались на ее слова. Она встала, подошла к окну и начала смотреть на темное с редкими звездами небо. В душе у нее вспыхнуло желание немедленно уйти отсюда, уйти чуждой от чуждых людей, но сделать этого она не решалась из-за нареканий на мужа. А подруги-сплетницы в это время вполголоса злословили о ней.

— Я уже слышала это...— говорила Нина Петровна.— Олимпиада Алексеевна маме сказывала...

— Как вы думаете? — спрашивала Елизавета Ивановна.— Правда это?

— Не знаю... Может быть... Юношев — ловкий, хитрый... Муж его знает...

Мария Васильевна обернулась и, желая сказать что-нибудь, не раздумывая, безотчетно произнесла:

— Скучно тянется время. Точно не живешь, а прово-

дишь день за днем, как во сне. Нет у нас общественной жизни. Вот это плохо...

Нина Петровна презрительно взметнула на нее глазами и резко сказала:

— У меня вон четверо ребят, так некогда скучать... Возишься, возишься с ними — дня недостает...

Елизавета Ивановна, поддерживая единомышленницу, таким же тоном отозвалась:

— У меня все время уходит на хозяйство. Везде нужно досмотреть, обо всем позаботиться...

Мария Васильевна молча, не глядя на них, села на стул.

С минуту царило тяжелое молчание.

— Давайте выпьемте еще по чашке чаю,— предложила хозяйка обеим гостьям.

И снова начали, изредка перекидываясь короткими фразами, пить чай.

VII

Врач Петров возвратился первым с пожара.

— Пожар потушен, — сказал он. —Сторожа его заметили раньше нашего и вытребовали пожарных. Я вернулся, не доходя до места пожара.

— Что горело? — спросила Елизавета Ивановна.

— Заводские дрова.

— Где же остальные? — осведомилась Нина Петровна, чувствуя животный страх за мужа, нелюбимого, как она знала, рабочими, которые на пожаре легко могли причинить ему какое-либо зло.

— Сейчас все вернутся,— успокоил ее Петров.

Вскоре шумно вошли в комнату Голосов, Глушков и Заверткин.

Сели, кто где мог, и не переставали шуметь.

— Надо завод остановить,— злобно кричал Заверткин,— остановить да проморить всех хорошенько, тогда не будут поджигать.

— Да, черт возьми, пожар мог бы быть здоровенный! — трагически восклицал Глушков.

Мария Васильевна вмешалась в разговор:

— Вы, господа, думаете, что был поджог? Может быть, искру от домны занесло — и дрова загорелись.

— Не может этого быть! — авторитетно возразил Глушков.

— Что же еще, как не поджог? — с горячностью вскричал Заверткин. — Ничего другого предположить нельзя. Мстит какой-нибудь мерзавец за штраф или увольнение...

— Дерзкий и грубый народ! — воскликнул Глушков.

— Да, действительно, грубые нравы, — подтвердил Голосов. — Ежедневно в числе амбулаторных больных бывают избитые, израненные. Один приходит с разбитой головой, так что мозг видно, другой — с распоротым животом и вывалившимися внутренностями... И все это делается ведь под хмельком, в такую минуту, когда руки чешутся.

— Удивляюсь,— воскликнул Заверткин,— как это до сих пор полиция не просит в помощь казаков или ингушей! Это славные ребята! Где они — там смирно...

— Это было бы полезно, — подобострастно согласился Глушков. — Теперь у нас драки, стеклобитие, резня... С казаками этого не было бы.

Мария Васильевна, волнуясь, с плохо скрываемым негодованием сказала:

— Нет, господа, этой мерой ничего существенного не достигнется.

— Почему? — спросил у нее муж.

— Потому, что это — грубая сила, потому, что это — паллиатив.

Слова «грубая сила» и «паллиатив» она подчеркнула растянутым произношением.

— Это правда,— вмешался Петров. — В одном конце селения будут стоять казаки, а в другом — может происходить резня. Казаки — паллиатив.

Мария Васильевна, поддерживая спор, горячо продолжала:

— Нужно научить людей уважать себя, научить каждого уважать в другом человека, дать истинное понятие о добре и зле. Образование, воспитание — вот вопросы, около которых стоит биться.

Глушков тоном мудрого человека заявил ей:

— У нас нет школ и учителей, чтобы всех учить. Да все-то и не будут учиться. Укрощать же дикие нравы нужно...

В это время Елизавета Ивановна и Нина Петровна

начали бросать в сторону Марии Васильевны иронические взгляды и предательски шептаться.

Она заметила это и, еще больше разгораясь, возразила:

— Прививайте культуру и этим будете укрощать дикие нравы.

Глушков, желая придать больше весу своим словам, от общих рассуждений перешел к фактам.

— Грубость всюду страшная. Вчера, например, сделал замечание рабочему, а он мне ответил дерзостью. Что тут прикажете делать? Вот казачок-то и нужен...

— Да, распущенность ужасная! — подтвердил Заверткин.— Когда объявили свободу, так все — на кого и плюнуть жаль — с флагами ходили, с нами козырем держались, на тачках из цехов вывозили, а теперь, как прижали их, так снова за прежнее ремесло — за пьянство да буянство. Бьют и режут друг друга. И все это творится ведь только ради дебоширства. Бьют за здорово живешь! Другие заводы из-за кризиса закрылись, рабочие по миру пошли, голодают, а наш завод действует, у нас все сыты, пьянствуют, поджигают...

Но Мария Васильевна не сдавалась и продолжала:

— Отчего грубые нравы? От невежества, от невоспитанности. Вот и нужно направлять все силы на борьбу с этим. Нужны школы, спектакли, чтения...

Глушков сделал гримасу и насмешливо возразил:

— Так-то вас и поймут эти чурбаны.

Она с еще большим пылом говорила:

— Не смейтесь... Конечно, поймут. Ведь вы не пробовали еще подать руку этим темным, но зачастую хорошим людям, чтобы так отзываться о них. Они тоже не выродки, а люди как люди.

Глушков хотел свести весь спор на шутку и шутливым тоном сказал:

— Эта миссия не для меня... Мое дело на заводе... Болваночку приготовлять да за болванами наблюдать...

При этих словах, считая свой каламбур остроумным, он громко расхохотался. Начали смеяться также Заверткин и дамы. Но врач Петров вдруг серьезно заговорил:

— Действительно, господа, знание — великая, благодетельная сила. Вы,— обратился он к Глушкову,— сказали сегодня, что японцы в полсотню лет из полудикого состояния превратились в культурную нацию. В чем же

секрет такого чудодейственного превращения? Почему мы с вами не идем бить стекла? Это сделало просвещение — великий фактор к облагороженню и возвышению человека. России, пережившей столько зол, нужнее всего просвещение. Мы перешли от абсолютизма к представительному строю. Чтобы упорядочить этот строй, нужна всеобщая культура. Будет свет — будет все. Исчезнут голодовки, эпидемии, создадутся условия лучшей жизни. Теперь о рабочих. Чем культурнее рабочий, тем продуктивнее его труд. И жить легче с культурными рабочими. За границей, на Западе, это опытом доказано.

После этой речи все смутились и замолчали, только Глушков пробормотал:

— Нужен свет, да мрак кругом. И ничего не сделаете...

Заверткин, как бы спохватившись, указал на выпивку и пригласил:

— Господа, заговорились, прошу вас...

— С удовольствием! — откликнулся Глушков. — Во рту сухо стало от полемики с Марией Васильевной.

Подошли к столу, выпили и начали закусывать.

Глушков сказал:

— Я, с разрешения хозяина, ввиду большого антракта, повторил бы.

— Отлично, все выпьем, — отозвался Заверткин.

Глушков взял рюмку, отошел на середину комнаты, высоко поднял руку, державшую рюмку, и торжественно проговорил:

— За искоренение поджигателей!

— А я бы другой тост произнесла... — сказала Мария Васильевна.

— Выпьемте, господа, — провозгласил Заверткин, — за хорошее железо, за тех, кто его делает, и за всех присутствующих!

— У-р-р-а! — крикнул неистово Глушков.

— У-р-р-а! — подхватили все остальные и прокричали три раза.

— После тоста нужно еще выпить, — сказал Заверткин.

И снова все выпили.

Петров подошел к столу, где лежала гитара, взял ее, начал брать аккорды и, выверив строй, заиграл польку.

Голосов направился к Елизавете Ивановне, поклонил-

ся и пригласил ее на тур. Она встала рядом с ним и положила ему на плечо руку. Он деликатно обхватил ее талию. И они, легко и плавно, выделывая ногами па, закружились по комнате.

Все остальные, весело улыбаясь, наблюдали за ними.

Покружившись минут пять, танцующие остановились, Голосов проводил даму до стула и почтительно отошел.

— Это что! — задорно воскликнул Глушков. — Вот я попробую вспомнить старинку...

И вышел на середину комнаты.

— «Барыню!» — крикнул он Петрову.

Гитара загудела веселый плясовой мотив.

Глушков сделал руки в бедра, повел плечами, топнул ногой и пустился в пляску. Сначала он засеменил на носках, мягко шурша о пол, затем прошелся как-то боком-боком, начал делать ногами чудовищные выверты, начал приседать и кружиться. Казалось, что это не человек, а огромный волчок, и, если бы не дробь, отбиваемая подборами по полу, можно было бы подумать, что он носится в воздухе, не касаясь пола. Плясал он долго и, наконец, весь раскрасневшийся, с выступившим на лице потом, сделав несколько приседаний, покружился и сразу в такт музыки остановился.

— Вот, молодец! Ай, молодец! — гудел Заверткин.

Все остальные тоже восторгались и громко выражали одобрение.

Глушков, ни на кого не обращая внимания, махнул рукой, повалился на диван, достал из кармана платок, начал отирать пот и, испустив тяжелый вздох, сказал:

— Стар стал. Не так выходит, как прежде бывало. Ушло время.

И долго комната наполнялась оживленным разговором и раскатами смеха.

VIII

В самый разгар веселья в гостиную вошла горничная с докладом:

— Барин, рабочие пришли.

— Какие рабочие? — спросил Заверткин.

— Дозорный, сторожа и еще один.

— Сейчас выйду.

Горничная ушла.

Заверткин оставался после доклада горничной среди веселящихся гостей еще с полчаса, а затем уже вышел в переднюю к рабочим.

Здесь, при его появлении, дозорный, высокий, с военной выправкой, с большой седой бородой, в желтом пальто, выступил вперед и вкрадчиво доложил:

— Барин, мы Швецова у дров взяли...

— Не у дров, а на дороге, — перебил его, тоже выступая вперед, невзрачный, с лохматой головой, бойкими карими глазами, длинной черной бородой, в синем с опояской армяке рабочий Швецов.

— Как? Швецова? — громко переспросил Заверткин.

— Так точно, — подтвердил дозорный. — Иду я после пожару и вижу — человек на камне сидит. Подхожу — Швецов. Ты, говорю, что делаешь? Ничего, говорит, сижу...

Заверткин круто повернулся и пошел в гостиную.

Здесь он сообщил, что дозорный привел поджигателя. И, довольный, ликующий, снова направился в переднюю.

Глушков стремительно выбежал за ним. Вслед за Глушковым повскакали с мест остальные и тоже пошли в переднюю.

Все они столпились у дверей и внимательно слушали допрос.

— Зачем ты был у дров? — резким тоном допрашивал Заверткин.

— Я, барин, с поля шел, — объяснял Швецов.— Лощадь в поле водил. Вот и узда.

При этих словах он судорожно вынул из-за опояски узду, демонстративно потряс ремнями перед собой и с жаром продолжал оправдываться:

— Вот видите! С поля шел. Сел отдохнуть около дороги, а ваш дозорный да сторожа подошли и взяли меня. У нас, говорят, пожар был. Ступай к управителю. А я и сном дело не знаю.

— Зачем у дров был?

— У дров не был. Напрасно это говорят. На камне около дороги сидел. Если бы знал, что у вас пожар был, так я далеко бы обошел, лишь бы в подозрение не попасть. Сам себе не враг.

— Вы где его взяли?

— У дров сидел.

— Не у дров, а около дороги. Дорога проходит мимо дров. Шел и присел отдохнуть. Чего зря говорить.

— Где вы его взяли?

Дозорный замялся, посмотрел на стоявших сзади него сторожей, упорно молчавших, и нерешительно ответил:

— Сидел.

— У дров сидел?

— Недалеко.

— Спички есть у него?

— Не обыскивали.

Швецов лихорадочно начал развязывать опояску и забормотал:

— Нет ни спичек, ни табаку, хоть обыщите.

Глушков подошел вплотную к Швецову и, грозя пальцем, сердито сказал:

— Ты, молодец, смотри, живо сподобишься в Сибирь!

— Что смотри-то?.. — с раздражением ответил Швецов. — Человек с поля шел, а ваши сторожа поймали и таскают по начальству. Ни в чем не виноват.

— Отведите его к уряднику, — распорядился Заверткин, обращаясь к дозорному.

— Барин, ночь на дворе, а вы человека мучаете! — взмолился Швецов.

— Урядник разберет. Проваливайте! — крикнул Заверткин.

— Вот наказание-то! — воскликнул Швецов.

— Что разговаривать, пойдем! — сказал дозорный.

Дозорный, сторожа и Швецов направились к выходу, а веселящаяся компания возвратилась в гостиную.

— Дело как будто раскрывается, — говорил Заверткин.

— Мы не ошиблись, — вторил Глушков. — Поджог был. Уж это наверно.

Мария Васильевна тоже внесла замечание:

— Вот вы, — сказала она Глушкову, — говорите, что я полемизирую с вами. Но я должна сказать вам, что вы голословны. У вас одно предположение, а улик — никаких. Удивляюсь, как можно ни с того, ни с сего взять человека и водить по начальству, допрашивать... Я бы протестовала самым энергичным образом.

— Не беспокойтесь, — возразил ей Заверткин, — следствие все выяснит... Я отправил его к уряднику, а тот разберется.

— Я сильно подозреваю, — сказал, смеясь, Глушков, — что Мария Васильевна состоит в рабочей партии...

Заверткин его перебил:

— Забудемте, господа, эту неприятную историю. Прошу выпить и закусить.

— Сейчас будет готов ужин, — заявила Елизавета Ивановна.

— Прошу, господа, прошу! — повторил Заверткин.

И снова все начали выпивать.

И веселье их больше ничем не омрачалось.

IX

Через несколько дней после первого посещения Голосовых Юношев вторично пришел к ним. На этот раз он избрал вечерний час. Но самого Голосова опять не застал дома и снова был принят Марией Васильевной.

С большим смущением в душе он переступал порог дома Голосовых, боясь, что Мария Васильевна обижена предложением уехать с ним от мужа, а Олимпиада Алексеевна, если ей удалось подслушать разговор, настроена совсем враждебно к нему.

Но дверь ему открыла прислуга. Олимпиада Алексеевна не показывалась, а Мария Васильевна встретила его чрезвычайно любезно, пригласила в гостиную и, усадив на диван, сама села против него в кресло, стоявшее у преддиванного стола.

Она в момент встречи с ним тоже чувствовала легкое смущение, навеянное воспоминанием о его признании и предложении.

Но после первых же слов взаимного приветствия гнетущее чувство мгновенно покинуло их обоих, и они снова вели беседу непринужденно и искренно.

— Дома ли Иван Ефимович? Я пришел для переговоров об устройстве спектакля. Мы условились с Иваном Ефимовичем.

— Он ждал вас сегодня. Говорил, что будем роли читать. Но его экстренно вызвали в больницу. Обожгло, говорят, рабочего Ковалева...

— Ковалева?.. Как жаль! Сознательный рабочий... И душа у него хорошая...

— Вот как.

— Он — литейщик, начитанный, умный, трезвый. Среди рабочих весьма популярен. Известен под кличкой «Выкладчик». Это значит сочинитель.

— Как сочинитель?

— Случится что-нибудь экстраординарное — он тотчас сложит стихи.

— Вот как.

— Был инженер Иллеро, гуманный, не штрафовал рабочих, и был земский начальник, народник, Акаро, оправдывавший на суде крестьян по протоколам за лесные порубки около пашен и покосов. Ковалев и сочинил стихи:

Инженер Иллеро
Не штрафует ничего,
А судья Акаро
Не карает никого.

Есть у него стихи, где описывается, как добывается в руднике руда, как заготовляются в лесу дрова и уголь, описан весь процесс обработки металла на заводе, и в заключение выражается слава труду... Но я не так бы написал. Все мы живем в заколдованном кругу производства железа и страшно порабощены железом. Промышленность оживляет край и делает его жизнь интенсивной, но заводом расхищается природа, а рабочие калечатся, надрывают силы и здоровье. Железо полезно людям, оно облагодетельствовало мир, но там, где его делают, слышатся стоны, гибнет все — природа, люди...

— Вы — поэт,— сказала Мария Васильевна.

Оба помолчали, отдавшись размышлениям, а затем Юношев снова продолжал:

— Жаль мне Ковалева. Хороший, симпатичный... О рабочих говорят, что это тупой, грубый и развратный класс людей. Это неправда. Среди рабочих много людей, которые умеют понимать, мыслить и чувствовать...

— Конечно, все люди как люди...

— Мы слишком чуждаемся рабочих, и они от нас далеки, то есть в свою очередь чуждаются нас. Хмурыми их делает тяжелый труд, скудный заработок, нужда... Но я знаю, что и они тоже стремятся жить высшими интересами, верят в добро, в справедливость, в людей... И это при том, когда в их жизни столько лишений, нужды и горя!..

Он умолк и внимательно посмотрел ей в глаза, как бы желая заглянуть и в ее душу, а затем робко и тихо сказал:

— Мария Васильевна, позвольте вернуться... к объяснению с вами...

У нее в глазах блеснул огонек, лицо зарделось, она метнула вспыхнувший взор на него и тихо заговорила:

— Я много думала. Ничего хорошего не выйдет. Лучше всего — простая дружба. Я недовольна настоящей жизнью. Но, если брошу мужа и сойдусь с вами, моя жизнь мало изменится. Знаю, что в общежитии всякий мужчина ставит себя в привилегированное положение над женщиной. Терпеть унижение от вас или от другого для меня — безразлично. Если хочешь освободиться, то нужно быть независимым ни от кого.

Юношев выслушал ее с упавшим сердцем, и каждое слово ее речи ложилось камнем на его сердце. Чтобы не выдать себя, он быстро сорвался с места и, протянув руки, смущенно забормотал:

— Надеюсь, вы... поймете... Я был искренен... Понимаете... До свидания!

Она долго пытливо смотрела на него, а он, волнуясь, сжимал ее руку и пятился к двери. Проводив его до передней, она возвратилась, села на диван, где сидел он, и думала:

«Как смутился! Волнуется... Очевидно, любит... Говорит обо всем... Раскрыл всю душу... Чуткий, отзывчивый, хороший!.. Но уйти от мужа и сойтись с ним было бы безрассудно. Если нужна эмансипация, так эмансипация полная!»

X

Было за полночь. В доме Голосовых спать еще не ложились, ожидая возвращения Голосова.

Мария Васильевна, не зажигая лампы, лежала на диване в темной гостиной. Уныние и тоска, как тяжкий груз, давили ей грудь. Вспоминалось светлое прошлое, и, как темная ночь, угнетало настоящее. Хотелось порвать паутину, покинуть удушающую атмосферу и унестись легким облачком к новой жизни и к счастью.

Олимпиада Алексеевна сидела в столовой. Перед ней горела на столе лампа с зеленым абажуром. Она, худая, вся в черном, с повязкой на глазу, вязала чулок, протяжно зевала и бормотала про себя:

— Каждый вечер пропадает... Сиди да жди, а когда

придет — неизвестно... Хорошая жена удержала бы мужа дома... Никуда бы не ушел... А наша — кто!.. Ох-хо-хо!

Время тянулось медленно-медленно.

На заводской конторе пробило два часа. Мелодичные звуки небольшого медного колокола дрожащими и плачущими волнами разлились по окрестности. Тотчас в разных концах завода начали раздаваться короткие, как стон, удары сторожей в чугунные доски. Вскоре отбивание часов прекратилось, и вокруг стало мертво и тихо.

И вдруг тишину безмолвного дома прорезали резкие трели звонка.

Олимпиада Алексеевна сорвалась с места и засеменила по направлению к передней.

Через минуту она возвратилась в столовую, а вслед за ней вошел, пошатываясь, пьяный и весь какой-то встрепанный Голосов.

Он грузно опустился на стул и, тяжело отпыхивая, рявкнул:

— Ух!

— Где ты был? Кто тебя так накачал? — спросила его мать.

Он взглянул на нее осовелыми глазами, ухмыльнулся чему-то, поправил усы и заговорил заплетающимся языком:

— Кто накачал? Сделал перевязку больному, которого обожгло, и ушел играть в карты. Мне страшно везло сегодня. Прошлый раз проиграл сто рублей, а сегодня воротил их. Ух, как везло! Говорят: «Кто несчастлив в любви, тому везет в карты». Правильно, мама, это? Юношев был? Долго сидел?

Олимпиада Алексеевна окинула его презрительным взглядом и как бы нехотя ответила:

— Долго...

Но затем поспешно вполголоса заговорила:

— Он всегда подолгу сидит... Разговоры какие-то все. Говорю тебе, а ты не слушаешь... На порог бы его не пустила.

Голосов зачмокал губами, криво усмехнулся, потер лоб и сказал:

— Мама, Елизавета Ивановна спрашивает: почему Мария Васильевна дома сидит? Я говорю: сегодня к нам пришел Юношев, предполагали роли читать, но меня экстренно вызвали в больницу, а из больницы я домой

уже не заходил. Она протянула: гм-м!.. Но как, мама, она это «гм-м» произнесла! Мне неловко стало... Мама, неужели?..

— Что неужели?!. Говорю тебе, что не принимай его...

В столовую вошла Мария Васильевна. Ее удивленный взор встретился с осовелым и злобным взглядом Голосова. Она вздрогнула, сделала шаг назад и тихо сказала:

— Что это такое? Где это ты, Ваня, так...

Голосов взметнул на нее свирепыми стеклянными глазами, ударил кулаком по столу и, сжимая кулаки, начал приподыматься и дико крикнул:

— Молчать! Вон отсюда! Вон, дрянь!

Мария Васильевна, с полными слез глазами, круто повернулась и почти бегом скрылась из столовой.

— Полно! Надо трезвому... Брось!— наставительно сказала Олимпиада Алексеевна.— Ступай-ка лучше спать...

— Мама, я не пьян... Нет, не пьян! Мама, уйди от меня. Иди спать, иди!..

— И уйду... Ложись сам-то... Проспись...

При этих словах Олимпиада Алексеевна поспешно вышла из столовой.

Голосов потер лоб, сжал кулак и, грозя им в воздухе, пробормотал:

— Управительша... говорит... дает понять.

И, плюнув злобно на пол, встал и нетвердой походкой направился в спальню.

Мария Васильевна в это время стояла у окна в темной гостиной и мысленно решала грозный роковой вопрос.

«Какая мерзость!— думала она, утирая обильно катившиеся из глаз слезы.— Сердце разрывается... Что делать? Нет, больше так жить нельзя! Уйду. Пошла сплетня... Нелепая, глупая... Глупая, как все здесь... Да что! В этой яме только и жди... Здесь одна грязь... Кругом — пьяные, глупые, подлые... Бежать отсюда! Бежать немедленно!»

Она тихо пошла в слабо освещенную ночником спальню. Голосов лежал на кровати, не раздетый, с закрытыми глазами. Торопливо и осторожно, стараясь не потревожить его, она взяла со стола часы, ридикюль, альбом с фотографиями и, открыв гардероб, хотела за-

хватить еще некоторые принадлежности туалета. Голосов закашлял, открыл глаза и, увидев ее, начал подниматься с кровати. Она опрометью кинулась из комнаты в переднюю, схватила на ходу пальто и, хлопнув дверью, мгновенно очутилась на улице.

Голосов с матерью долго ходили по комнатам и осматривали все углы, под столами и диванами.

— Мария!.. Мария!..— кричал Голосов.

— Она ушла,— говорила ему мать.

— Ушла! Куда ушла? Нет, она дома!

И снова начинался осмотр комнат.

Олимпиада Алексеевна в конце концов разгневанно крикнула:

— Она ушла... Но никуда не девается — придет. Тогда поговоришь с ней, как следует...

Произнеся последние слова угрожающим Марии Васильевне тоном, она ушла спать, а Голосов долго еще ходил по комнатам и все твердил про себя:

— Она ушла! Хорошо сделала! Ушла, и отлично!

Злоба к жене и обида, нанесенная ею, жгли его грудь. В пьяной голове у него снова явилась мысль о самоубийстве. Вспыхнув теперь в отравленном мозгу, она уже не испугала его, а навеяла соблазнительную для больного воображения картину грядущих событий. Жена ушла, чтобы оскорбить его, навлечь насмешки со стороны знакомых, унизить его в их глазах... Все скажут, что уходят не от пирогов, а от батогов. Но дело примет другой оборот, когда найдут его мертвым. Жена поймет тогда, что он любил ее, что ему была тяжела разлука с ней и он не вынес и отравился. Она будет жалеть, будет страдать и плакать. Знакомые тоже будут жалеть его и схоронят его с большой торжественностью. Жить ему все равно будет тяжело. Жена, если верить молве, изменила и ушла. Он опустился, спился и, пожалуй, скоро будет настоящим алкоголиком. Нет, чем так жить, лучше умереть!

И он, пошатываясь, подошел к шкафу, где была домашняя аптечка, открыл дверцу шкафа, взял с полки маленькую коробочку, трясущимися руками снял крышку, достал порошок, поставил, не закрывая, коробочку обратно на полку, возвратился с порошком к столу, всыпал его в рюмку с водкой и поставил рюмку на стол перед собой.

— Вот приму — и готово!

Ночь уходила. Начинался рассвет. Первые лучи зари розовым отблеском отражались на стеклах окон. В доме становилось светло. Голосов, потрясенный и обессилевший, все еще сидел в столовой, в голове у него путались обрывки пьяных мыслей, а округлившиеся стеклянные глаза его ежеминутно закрывались отяжелевшими веками.

Ведя неправильную жизнь, никогда не задумываясь серьезно о том, в чем истинный смысл жизни, утратив в угаре похмелья правильный взгляд на жизнь, как на высшее, даруемое природой благо, он разрешил вопрос о жизни так, как пришло в голову пьяному. И вот, мучимый чувством злобы и обиды, он тупо глядел в рюмку с отравой и тихо бормотал:

— Ушла! Пусть! Выпью — и готово! Пусть!

И, протянув дрожавшую руку к рюмке, вылил в рот смертоносную жидкость и, глотая отраву, шептал:

— Теперь усну!.. Крепко усну!..

Сначала ему казалось, что сам он и все, что было вокруг него, куда-то поплыло. И это было ему приятно. Но вскоре затем он почувствовал боль в груди, и распухшее от большой дозы выпитой водки лицо его исказилось мукой.

— Ах, что-то кольнуло! — крикнул он.— Пусть! Крепко усну!

И это были его последние слова.

Вскоре с ним начались судороги, и он, хватаясь руками за грудь, повалился на пол.

В доме все спали.

А Мария Васильевна, выйдя из дома, очутившись на улице в объятиях теплой летней ночи, шла по сонному селению, робко осматриваясь кругом. Предутренняя свежесть приятно веяла с полей. Черные дома слепо смотрели темными очами — окнами. На окраине гудел и дымился завод. Над прудом от похолодевшей воды поднимался, как кисейная ткань, молочно-белый туман. Со станции железной дороги доносились визгливые свистки маневрировавшего паровоза. Окончилось селение, и она быстро зашагала по дороге, ведущей на станцию, и чем дальше уходила от своего дома, тем легче становилось у нее на душе.

«Три года жила в этом омуте!— думала она.— Боже,

сколько пережито!.. И зачем жизнь дарит такие сюрпризы?.. Через час — на станции, а завтра — у брата... Там все устроим... Сюда никогда... никогда не вернусь!..

Заря разгоралась все ярче и ярче, охватив пожаром полнеба, когда со станции отходил поезд, в котором уезжала Мария Васильевна. Свисток паровоза пронзительно и торжествующе ухал. И отъезжавшей Марии Васильевне слышалось в этом бешеном крике:

— К жизни! К свету!..

XI

Завод был взволнован самоубийством Голосова и внезапным отъездом в роковую ночь его жены. Всяких толков и пересудов в всколыхнувшемся болоте было много.

Олимпиада Алексеевна, не предвидевшая такой трагической развязки своей интриги, растерялась и, убитая горем, причитала:

— Прогневался бог! Наложил на себя, милый сын, рученьки! Смутил его дьявол!

На вопросы любопытствующих об отсутствии Марии Васильевны она уклончиво отвечала:

— Уехала куда-то... бог ее знает...

— На похороны-то приедет?

— Ничего не знаю... Прогневался бог... Согрешили перед создателем...

Злая и сварливая старуха, пришибленная разразившимся над ее головой несчастьем, ударилась в ханжество, тяжело вздыхала и приносила покаяние.

Через несколько дней после освидетельствования и вскрытия тело Голосова было опущено в могилу. Устроенные на заводский счет похороны отличались пышностью и многолюдством. Гроб от квартиры до церкви, где служилась заупокойная обедня и совершалось отпевание, и от церкви до могилы несли на руках служащие. От заводской интеллигенции был возложен на гроб металлический венок с надписью: «Все будем там, дорогой товарищ!» Олимпиада Алексеевна шла в толпе за гробом и громко жаловалась на свою судьбу раздирающим душу речитативом. Толпа выражала ей соболезнование и злословила про Марию Васильевну, не прибывшую на похороны и бесследно исчезнувшую с заводского горизонта.

Юношев в день похорон Голосова находился на заводе, заменяя Глушкова и Заверткина, отдававших последний долг трагически скончавшемуся партнеру и собутыльнику.

Этому обстоятельству Юношев был рад: ему удалось избежать участия в скучной церемонии, а также избавиться, если бы он присутствовал на похоронах, от двусмысленных взглядов недоброжелателей, пустивших молву об его романе.

Завод дымился и гудел. В отверстиях огромных печей выбрасывались яркие языки пламени. Гулкие удары молотов потрясали воздух. Сыпался огненный дождь от нагретых кусков железа во время обжимки их под молотами или прокатки в валах.

Юношев спокойно прохаживался по заводу, холодно и деловито осматривая вырабатываемые продукты, отдавал распоряжения рабочим, наблюдал за манометрами у паровых котлов, показывающими давление пара, и записывал результаты работы.

Так переходил он из отделения в отделение и из корпуса в корпус.

Работа на заводе до полудня шла обычным порядком, и не было никаких приключений.

После полудня, когда Юношев находился в кирпичной фабрике, где женщины-кирпичницы сушили глину и песок, приготовляли замятки и прессовали огнеупорный кирпич, в толчейной машине случилась поломка чугунной шестерни.

Заметив нарушившуюся регулярность в работе машины, он приказал ее остановить, осмотрел механизм, нашел повреждение нескольких зубьев и, объяснив причину этого свойством чугуна, отдал нужные распоряжения и спокойно удалился.

Но этот самый ординарный случай в заводской жизни, неожиданно для Юношева, привел его к крупному конфликту с Глушковым.

Глушков, явившись на завод, заподозрил в поломке машины злой умысел работниц и объявил всем им штраф. Работницы обратились за покровительством к Юношеву. И он, немедленно разыскав на заводе Глушкова, вступил с ним в объяснение.

Долго спорили они о причинах, вызвавших поломку шестерни, и никак не могли придти к соглашению.

— Если вы не отмените штраф кирпичницам, то я отказываюсь от службы, — заявил разволновавшийся Юношев.

Глушков тайно порадовался этому и, чтобы сильнее разозлить Юношева, иронически воскликнул:

— Что это вы выдумали? Если вы уйдете, то мы теряем весь цвет нашей интеллигенции. Это обидно: один — отравился, другая — уехала, третий — уходит...

Юношев вспыхнул негодованием и злобно крикнул:

— Что вы смеетесь! Прошу без оскорблений!

Глушков улыбнулся и тем же тоном возразил:

— Я серьезно... Мне жаль, если вы...

Но он не успев докончить фразу, почувствовал, как ему, точно тисками, сдавили горло.

Юношев, мгновенно подскочив к Глушкову, схватил его за ворот, крепко сжал шею и, двигая руками, начал трясти его, но, видя огромные, полные животного ужаса, безумные глаза, вдруг с силой оттолкнул его, и огромное тело грохнулось на пол.

Группа рабочих, свидетелей события, ринулась в разные стороны, и когда Глушков встал на ноги, то около него уже не было ни Юношева, ни рабочих.

И он, пугливо озираясь, отправился в контору к Заверткину, чтобы доложить ему о случившемся.

Юношев немедленно ушел из завода на квартиру. Он еще дорогой раскаялся в душе, что сильно погорячился, но не жалел о нанесении оскорбления Глушкову. И сколько затем он ни размышлял, но приходил к одному решению, что ему оставаться на заводе больше не следует. Глушков и Заверткин после этого инцидента обратятся в непримиримых врагов. Начнется травля. Будут травить на всяком шагу, не брезгуя никакими мелочами и средствами. Придется уйти, может быть, с крупным скандалом. Чем ожидать худшего, лучше уйти теперь.

Он решил немедленно уехать.

Поздно вечером, когда Юношев уложил дорожный чемодан и уже лег в кровать, постучали в дверь его комнаты.

— Кто там?

— Урядник.

— Что нужно?

— Экстренное дело.

Юношев встал и, не одеваясь, открыл дверь.

Урядник гигантского роста, с лоснящимся бритым лицом и закрученными усами, в серой шинели, при шашке и револьвере, с портфелем в руках и несколько стражников, вооруженных с ног до головы, заняли комнату.

Вслед за ними вошла с лампой в трясущихся руках перепугавшаяся квартирная хозяйка, высокая женщина, с широким морщинистым лицом, одетая в черное платье.

Юношев сел на кровать, накинул на себя одеяло и вызывающе обратился к уряднику:

— Обыск делать?

— Приказание получил.

— Жаль, что поздновато. Если бы часом раньше, так было бы удобнее. Только что чемодан сложил.

Урядник беспомощно развел руками, оглядел комнату, потрогал лежавший на полу чемодан и сказал:

— Что тут искать? Все у вас на виду.

Юношев улыбнулся и сказал:

— Дело ваше, но я бомб не изготовляю, денег не подделываю, прокламаций не пишу...

— Мы протокол все-таки должны составить,— сказал урядник.

После этого он разделся, вынул из портфеля бумагу, сел к столу и начал, скрипя пером, писать.

Стражники молча переминались с ноги на ногу и смотрели то на урядника, нагнувшегося над столом, то на Юношева, сидевшего на кровати в задумчивой позе.

— Подпишите,— сказал урядник, окончив составление протокола.

— Слушаю,— ответил Юношев.

Он механически, не читая, подписал протокол.

Урядник, извинившись перед Юношевым за беспокойство, подал ему на прощание руку и вышел, а вслед за урядником, громко топая ногами, удалились и стражники.

Хозяйка квартиры, проводив нежданных посетителей, долго вздыхала и охала за стеной, а Юношев лежал и думал:

«Вот когда обнажилась вся их душа! Не могут ничем сами отомстить, так к полиции обратились! Эх вы, мелкие душонки!»

Ночью Юношев спал плохо. Короткая летняя ночь была не менее светла, чем в хмурый осенний день. Свет

мешал спать, да и расстроенные нервы долго не могли успокоиться.

Утром, когда он крепко уснул, его разбудили стуком в дверь.

Оказалось, что ямщик подал ему лошадей, заказанных еще с вечера, чтобы поехать на станцию железной дороги.

Он встал, торопливо умылся и оделся, а затем позвал ямщика вынести вещи.

Молодой ямщик, в коротком пальто, белом переднике, в фуражке набекрень, вынес и уложил в экипаж связанный ремнями чемодан и несколько пузатых узлов и свертков.

Хозяйка квартиры вздыхала и охала за стеной, ожидая, когда войдет к ней уезжающий квартирант.

— Ну, желаю всего хорошего!.. Чем обидел — забудьте. Лихом не поминайте!

— Жаль вас будет всем тут, да что станешь делать: плетью обуха не перешибешь! — сказала хозяйка и заплакала.

Юношеву стало тяжело, он круто повернулся, вышел на двор, сел в ожидавший его коробок и приказал ямщику выезжать.

Пара резвых лошадей, в наборной сбруе, весело звеня бубенчиками и колокольчиками, как на крыльях, понесла его из завода.

Юношев с грустью глядел в последний раз на маленькие пестрые домики, на спокойный, как огромное зеркало, пруд и на дымившиеся заводские трубы.

Вспомнилось ему, как два года назад приехал он в этот, покидаемый теперь, глухой и невзрачный завод, какие завязывались здесь знакомства, как проводил дни и ночи на заводе, как страдал от сознания одиночества в глуши и хотел разбудить «уснувших в тьме глубокой». В воображении мелькнуло несколько приятных лиц, и среди них встал в светлом ореоле обожания симпатичный образ Марии Васильевны. И ему вдруг стало радостно, радостно, потому, что, как она, так и он, не застряли в этой трясине. Кто знает, может быть, еще встретятся...

— Это хорошо, это хорошо, — повторял он мысленно.

А колокольчики у дуги весело звенели и рассказывали ему приятную сказку о новой жизни.

XII

Ровно через две недели после отъезда Юношева на завод одновременно прибыло двое новых служащих: фельдшер Родион Семенович Козлов и техник Исак Исакович Пупков.

В день их приезда вечером у Глушкова собрались гости. Здесь были супруги Заверткины, врач Петров и еще двое конторских служащих. Сюда же были приглашены и вновь прибывшие Козлов и Пупков.

Каждое новое лицо в провинции возбуждает в ее аборигенах большой интерес и приковывает к себе всеобщее внимание. Если его появление было желательно, обращаются с ним мягче и деликатнее, чем принято в обычной жизни, и выказывают к нему расположение. В то же время, подстрекаемые любопытством, стараются выведать о нем возможно больше, чтобы затем, в силу добытых данных и собственного анализа их, отвести ему подобающее место в жизни.

Оба вновь прибывшие среди гостей Глушкова долго были центром внимания. Их буквально забрасывали перекрестными вопросами. Даже чопорная управительша осведомилась об их семейном положении.

Сначала гости, беседуя, угощались чаем в столовой, а затем компания перешла в зал. Здесь была выставлена на столе выпивка и закуска и был уже приготовлен карточный стол. Но винтеры играть не спешили. Причиной такого настроения были новые гости.

Козлов и Пупков произвели на всех самое благоприятное впечатление. Обитатели трясины видели в них именно таких людей, которые были нужны и могут нравиться им.

Козлов был маленький, чрезвычайно юркий, с длинным скуластым лицом и хитрыми узкими глазами, очень часто хихикавший и забавно трясущий маленькой черной бородкой. Когда с ним говорил управитель или врач, то он почтительно вытягивал шею, был весь внимание и подобострастно кивал головой.

Пупков отличался необыкновенной полнотой, был флегматик, с тупым брюзглым лицом, обросшим неровными клочьями черной бороды, говорил мало, но иногда отпускал острые словца.

Из расспросов выяснилось, что оба они играют в

карты, выпивают и любят в этом смысле общественную жизнь. Все их поведение не оставляло никаких сомнений в полном их слиянии впоследствии с окружающими.

Глушков ходил по шумному залу петушком. Он ликовал, что избавился от неприятного сослуживца Юношева, приобретя, повидимому, в новом технике союзника. И у него в голове засела мысль отомстить Юношеву за обиду насмешкой, хотя и заочной.

Улучив момент после того, как Заверткин рассказал, что судебный следователь распорядился освободить арестованного урядником по подозрению в поджоге заводских дров рабочего Швецова и направил к прекращению по недостатку улик возбужденное о нем дело, Глушков с явным злорадством заявил:

— А я имею вести о другом нашем герое, достопочтенном Александре Гавриловиче Юношеве.

— Какие? — спросил Заверткин.

— В литературу пустился. За полной его подписью напечатана в газете «Песня о железе». Море ума и чувств! Не хотите ли послушать?

И он, не дожидаясь ответа, быстро достал из кармана номер газеты и начал громко читать.

Песня начиналась описанием нетронутых красот Урала, пока еще нога человека не проложила следа через горы, леса и ущелья. Но вот пришел человек, приведший за собою рабов, и дрогнул старый Урал от ударов в его грудь. Прошли годы, люди разбрелись по лесам и горам, за работой слышались песни тоски и неволи. Прошли еще годы, в горах закричали свистки паровозов, к небу вместо гигантских сосен и лиственниц стали вздыматься вершинами заводские и фабричные трубы. Человек стал властелином всех гор, рек, озер и лесов, начал перековывать горы в железо и сталь. Промышленность быстрым темпом пошла вперед. Человек торжествовал, но природа разрушалась и гибла. Заканчивалась песня грустным аккордом: «Все будет подвергнуто разрушению, все погубит людская, неразборчивая жадность. О, как будет человек искать эти горы, леса и озера, когда их не будет!»

Глушков умолк и торжествующе посмотрел вокруг.

— Красиво написано,— сказал Петров.

Лицо Глушкова вспыхнуло злобой, и он с нескрывае-

мым раздражением, сильно жестикулируя, начал кричать:

— Не нахожу, чтобы это было красиво. Жалкие словеса! Разве умно жалеть о том, что в лесу стало меньше волков? Разве не культуру несет промышленность, когда на болотах и в дремучих лесах создаются целые городки? Разве не прогресс иметь школу и больницу? Все это появилось только благодаря заводу. Человек может и должен эксплуатировать природу. Нет, ерунду пишут и печатают такие литераторы, как наш достопочтенный Юношев!

Все немного помолчали.

— Писака! — с презрением твердо отчеканил Пупков.

Это было нисколько не смешно, но почему-то все засмеялись.

Затем Глушков, спадая с повышенного тона, пригласил гостей к буфетному столу. Так приняла трясина новичков в свои темные недра.

КАТЕРИНУ ПРОПИЛИ

Заводский рабочий Яков Старцев, бодрый старик, отработав очередную смену на заводе, приходил домой, тщательно мылся, переодевался, меняя грязную одежду на чистую, и тотчас же садился пить чай.

За стол вместе с ним садились его дети: Екатерина, шестнадцати лет, высокая, стройная, с красивым лицом, тонкой талией и длинной шелковистой косой; Александра, лет одиннадцати, такая же миловидная, как ее старшая сестра, и десятилетний Петр с розовым полным лицом и белокурой головкой, резвый и беспечный.

Жены у Старцева не было — она умерла, когда на заводе свирепствовала эпидемия тифа, и жениться второй раз он не решился: ему уже перешло за пятьдесят лет, в голове и бороде у него седые волосы и, главное, дети становятся взрослыми.

После смерти матери роль хозяйки в доме сразу взяла на себя Екатерина и исполняла ее отлично, отец всегда оставался доволен и, поощряя дочь, часто говорил ей:

— Ты, Катерина, не хуже матери правишься... Везде успеваешь. Молодчина, право!

Однажды, возвратившись с завода, Старцев нашел дома все в порядке: в комнате чисто прибрано, над столом, за которым семья будет пить чай, горит висячая лампа, а на столе уже расставлена посуда и стоит, шипя и попискивая, блестящий, как месяц, медный самовар,— только не было Екатерины.

Старцев удивился отсутствию дочери и, немного подумав, решил про себя: «На дворе, верно, работает».

Сняв рабочий костюм и приведя себя в порядок, он сел к столу, с минуту угрюмо помолчал, а потом спросил:

— Где Катерина?

— Не знаю,— уклончиво ответила Александра.

Он нахмурился, но спокойно, как будто удовлетворенный ответом дочери, придвинул к самовару стакан и сказал:

— Ну-ка, Александра, налей...

Девочка наполнила стакан чаем и передала его отцу. Он отлил из стакана в блюдце немного чаю и, бережно кусая сахар, начал медленно пить. Александра и Петр тихо сели за стол и тоже начали пить чай. Пили долго и все время молча. Когда дети напились и в знак этого положили чашки, опрокинув на блюдечки, то долго еще, по принятому обычаю, сидели за столом и ждали, пока также положит стакан на блюдце их отец.

Окончив пить чай, Старцев утер рукавом рубахи выступивший на лбу пот, разгладил седую бороду и длинные седые усы, посидел некоторое время в задумчивости и опять хмуро спросил:

— Где же Катерина?

Александра изменилась в лице, встревоженная настойчивым допросом отца, но бойко ответила:

— Не знаю, где она. Пошла закрывать ставни и не возвращалась. Куда-нибудь ушла...

«Она знает»,— подумал Старцев, но ничего не сказал, а только угрюмо сдвинул брови.

Он начал догадываться, что Екатерина пошла «убегом» замуж. Недавно у него были сваты, но он им отказал. Пользуясь освященным веками обычаем, сваты, конечно, склонили Екатерину пойти замуж «убегом». Она ушла в дом жениха, и там будут сделаны нужные приготовления к свадьбе. Долгое отсутствие дочери из дома укрепляло его в этом предположении.

В таком раздумье Старцев сидел минут пятнадцать, храня суровое молчание, а затем перешел от стола к печке, лег на скамью и задремал. Александра начала мыть посуду. Петр забился в темный угол и стал выслеживать тараканов на стене, которые выбегали из щелей и важно поводили усиками, как будто поддразнивая мальчика.

Вдруг отворилась дверь, пахнуло холодом, и в комнату вместе с ворвавшимся облаком морозной пыли вошли трое мужчин и две женщины, одетые нарядно, как на праздник. Александра и Петр замерли на месте, а Старцев приподнялся на скамье, и лицо его выразило не

то удивление, не то удовольствие. Вошедшие столпились у дверей, и один из них выразил приветствие:

— Здорово живете, Яков Иванович!

Старцев сел на скамье и солидно ответил:

— Милости просим... Проходите... Садитесь...

— Не усеживать, а уезживать мы пришли, Яков Иванович,— бойко заговорил стоявший сзади мужчина с небольшой рыжей бородой.

— Проходите,— снова пригласил хозяин.

— Загрезили мы, Яков Иванович, и пришли к вам с повинной,— сказал тот же мужик.

— Заворовались у вас,— пискнула дискантом женщина.

— Должны открыться: Катерину Яковлевну налаживаем за Ивана Федорыча,— пролепетала другая.

Старцев встал со скамьи и, как будто ни к кому не обращаясь, произнес:

— Свадьбу-то справлять мне не в пору... Заработок плохой. Да и то опять — с кем останусь? Катерина у меня настоящая хозяйка.

— На свадьбу ничего не потребуется, а насчет хозяйства — Александра уж на возрасте,— бойко затараторила женщина.

— Всего еще двенадцатый год... Рано еще ей заботу знать,— ответил Старцев.

Гости стояли в нерешительности у дверей, и он снова пригласил их:

— Проходите... Что там стоять... Садитесь...

Компания начала раздеваться. Александра загремела посудой, убирая ее со стола. Старцев обернулся к ней и сказал:

— Не убирай посуду, а подогрей самовар для гостей.

В эту минуту в душе Старцева происходила напряженная борьба. Было жаль расстаться с дочерью, как с хозяйкой и работницей, но в то же время было выгодно и не противиться ее свадьбе. Жених был завидный, из богатой семьи, трезвый, а дочь, выходя «убегом» замуж, не требует на свадьбу больших затрат. Важно было и то: чем скорее дочь выйдет замуж, тем лучше для него и для нее: может «избаловаться». И, наконец, он знал, что сегодня же, если он согласится, предстоит угощение.

Колеблясь в решении вопроса, Старцев в конце концов не мог устоять против смущения дальнейшей участью дочери и соблазна угощением и вдруг приказал сыну:

— Петя, иди к дяде Николаю и пригласи его и тетку Клавдию сюда.

Мальчик, не говоря ни слова, быстро вскочил на ноги, надел какое-то пальтишко, взял шапку в руки и скрылся за дверью.

Гости разделись и сели на места. Они убедились, что Старцев сдался. Начался оживленный разговор о предстоящей свадьбе, о невесте и женихе, которым пророчилась счастливая будущность.

Дядя Николай и тетка Клавдия явиться не замедлили.

Николай был лет сорока пяти, здоровый, коренастый, с красным от заводского огня лицом, с небольшой русой бородкой, а жена его была лет сорока, с румяным лицом, еще не утратившим свежести, живая и веселая.

— Ну, Николай Иванович, дело вышло: Катерину мою сманили, — сказал Старцев, указывая рукой на гостей.

Николай весело заговорил:

— Выходит, что они заворовались... Будем их судить, только не так, как Шемяка... Уж мы их нашпарим!

— Что же делать? Отвечать приходится,— с улыбкой отозвался один из гостей.

— Да уж возьмем с вас дань, ощиплем вас, как репку,— сыпал шутками Николай.

Все смеялись.

Одна из женщин вышла в переднюю, где лежал кузов, в котором находилось то, что называлось «повинной», взяла его и возвратилась в комнату, оглашаемую взрывами смеха от новых шуток Николая.

На столе возле самовара вмиг появились бутылки с водкой и домашними настойками и тарелки с незатейливой закуской.

Началось угощение, усердное и бесконечное.

— Уж вы, Яков Иваныч, за родную дочь свою пейте всю... Ни капельки не оставляйте... Бог счастье пошлет...— лепетала женщина.

— Хозяйка она у меня была... Не хуже покойной матери правилась,— говорил Старцев и пил «всю».

— Как же не пить? — шутил Николай, — Яков дочь пропивает, а я — племянницу!

И он тоже осушал рюмки.

Вскоре все захмелели, стали очень веселы, начали громко говорить и кричать.

Николай, слегка подвыпивший, запел свою любимую песню:

Вечор поздно из лесочка
Я гусей домой гнала...

Его чистый и приятный тенор мягко звучал и красиво вибрировал, разливаясь по комнате, и чувствовалось что-то родное всем в каждом звуке песни.

Я спускалась к ручеечку,—

продолжал певец, и ему уже вторила звонким дискантом его жена. Потом голоса их слились и наполнили комнату переливавшимися волнами звуков, передававших грусть и волнение девушки-крестьянки, которой суждено выйти замуж за барина, хотя она любит крестьянина Ванюшку.

Песня оборвалась и замерла. Начали снова выпивать. Потом опять запели и уже все — хором.

И долго не смолкало пение заунывных народных песен, порой трогавших до глубины души самих поющих.

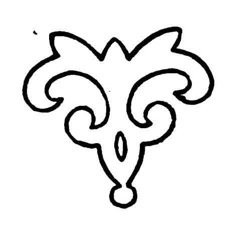
Часа в четыре утра гости ушли. Старцев остался один. Дети уже давно спали. Ему спать не хотелось, и он ходил по комнате, думая о судьбе дочери и о разлуке с ней. И грустно становилось ему, точно камень наваливался на грудь.

В комнате было неуютно, тихо и мрачно. На столе, догорая, слабо мерцала свеча, а рядом с ней стояли опорожненные бутылки и тарелки с остатками закуски. И все веяло, казалось, какой-то пустотой.

Старцев окинул мутным взором комнату, остановился в немом раздумье, затем сел на скамью и, склонив голову, тихо и печально забормотал:

— Не будет у меня Катерины... Хозяйка была — не хуже матери. Та все умела сделать своими руками... Дом вместе сдомили... Детей на ноги поставили... Век изжили любя... Катерина — вся в мать... Не будет ее у меня... Катерину пропили!..

И он заплакал.





ПРИМЕЧАНИЯ

А. А. КИРПИЩИКОВА

Анна Александровна Кирпищикова родилась 2 февраля 1838 года в Полазнинском заводе на Каме. Ее отец, Александр Григорьевич Быдарин был крепостным служителем заводовладельцев Абамелек-Лазаревых.

Ей не удалось получить систематического образования. Грамоте она научилась у матери да в возрасте двенадцати лет брала уроки у пятнадцатилетнего ученика заводского училища.

Подлинными учителями будущей писательницы были книги и живая жизнь народа. С детства она прониклась глубоким чувством уважения к людям труда. Она видела тяжелую «огненную» работу, трудовой ритм большого завода, любовалась силой и ловкостью мастеровых, ворочающих в огне тяжелые крицы. Для нее это были близкие люди. Их беды и радости волновали девушку.

В феврале 1854 года А. А. Кирпищикова вышла замуж за крепостного же учителя заводской школы в Чермозе, человека демократических взглядов. Помощь, которую оказывал ее муж рабочим в борьбе против заводовладельца после реформы 1861 года, привела к увольнению его с работы.

А. А. Кирпищикова тоже хотела помочь народу. Именно этим желанием было определено начало ее творчества.

В 1864 году она направила в передовой революционно-демократический журнал «Современник» первый рассказ «Антип Григорьич Мережин». В письме Некрасову она писала: «Все мои симпатии находятся на стороне народа». Рассказ был напечатан в январском номере журнала за 1865 год.

В том же году Кирпищиковы переехали в Пермь. Отсюда писательница послала в «Современник» второй рассказ «Порченая» и начала работу над повестью «Как жили в Куморе», предназначенною для того же журнала. Но наступление реакции привело к закрытию боевого органа революционной демократии, и повесть была напечатана в майской и июньской книжках «Отечественных записок» А. Краевского за 1867 год.

Материальное положение семьи было тяжелым. А. А. Кирпищикова вынуждена заниматься шитьем. Писать она не могла. Только в середине 70-х годов А. А. Кирпищикова снова вернулась к литературной деятельности. К 1876 году ею была написана большая авто-

биографическая трилогия, состоящая из очерков «Прошлое», «Недавнее» и «Двадцать пять лет назад», и послана М. Е. Салтыкову-Щедрину в «Отечественные записки». В 1876 году в декабрьской книжке «Отечественных записок» было напечатано «Прошлое», а в августе 1877 года — вторая часть — «Недавнее». Третья часть трилогии не могла быть принята по цензурным условиям и опубликована только в 1889 году в «Екатеринбургской неделе». Салтыков-Щедрин напечатал в своем журнале следующую повесть Кирпищиковой «Петрушка Рудометов».

С 1879 года писательница часто помещает свои произведения в газете «Екатеринбургская неделя». Здесь был опубликован рассказ «Луховский мельник», в 1880 году «Искатели», в 1888—1892 годах — рассказы «Горькая доля», «Из-за куска хлеба», «Катерина Алексеевна» и повесть «К свету и жизни».

Неопубликованная при жизни писательницы повесть «Фельдшер Крапивин», повидимому, также относится к 90-м годам. После этого творческая деятельность Кирпищиковой почти совсем прекращается.

В 1902 году вышел первый том ее «Повестей и рассказов». Второй том издан не был.

А. А. Кирпищикова умерла на девяностом году жизни 17 июня 1927 года в Молотове. В мае 1926 года шестидесятилетие ее творческой деятельности было отмечено общественностью города. Перед концом жизни престарелая писательница, основной темой творчества которой был народ, увидела, с какой теплотой и любовью относится к ее заслугам перед литературой и общественным движением новый советский читатель.

* * *

Борьба за крестьянскую демократическую революцию определяет содержание той эпохи, когда развернулось творчество Кирпищиковой.

Борьба за передовую идейность, глубокую безусловную правду в искусстве, его народность обусловили направление развития демократической литературы. Писатели этого толка — Н. Успенский, Левитов, Слепцов, Решетников и другие — стремились раскрыть жизнь трудящихся масс, сказать о народе «правду без всяких прикрас» (Н. Г. Чернышевский). Революционно-демократическая критика требовала от беллетристов, изображавших народ, отказа от либерально-снисходительного отношения к нему. Чернышевский и Добролюбов выступили с требованием «прямого воззрения» на народ, что предполагало правдивое раскрытие быта, включая все неприглядные его стороны, глубокое проникновение в мировоззрение народа, понимание его скованных сил.

Анализ социального и политического положения народа, выяснение заложенных в нем возможностей давали ответ на основной волнующий вопрос эпохи о качествах главной движущей силы общественного развития.

Большое внимание передового демократического лагеря привлекала проблема героя, руководителя массы. Общее решение этой темы предполагало также глубокое раскрытие истоков, процессов формирования разночинной интеллигенции, связанной с народом.

Эти идейно-тематические особенности демократической литературы нашли выражение в творчестве А. А. Кирпищиковой. Рядовой боец литературного фронта 60—70-х годов, она была зорким, чутким и душевным художником.

В первых же рассказах А. А. Кирпищиковой «Антип Григорьич Мережин» и «Порченая» ярко выразилась демократическая точка зрения автора. Любовь к народу заставляла говорить о темных сторонах его быта, об «очень тяжелых событиях его жизни». Оба рассказа посвящены положению женщины в крестьянской семье.

Сказовая форма рассказа «Антип Григорьич Мережин» (повествование ведется от лица деревенской старухи) позволила автору естественно передать не только события жизни народа, но и характер отношения народа к этим событиям.

В рассказе освещается одно из самых отвратительных явлений жизни — снохачество. Трагическая судьба простой русской женщины Варвары, подвергающейся преследованию свекра, кулака и деспота в семье, рисуется как закономерно вытекающая из общего бесправного положения народа. Но Кирпищикова изображает не только темноту, невежество, бесправие. Она показывает, что в Варваре живо чувство достоинства, чести. Стойкость ее, нежелание подчиниться насилию должны были дать читателю представление о том роднике «живых сил», который был в народе.

Этот рассказ построен на материале жизни деревни лазаревского имения, где выросла Кирпищикова. Тема жизни собственно заводских мастеровых воплощена в следующих произведениях писательницы: повестях «Как жили в Куморе» и «Петрушка Рудометов».

Большая повесть из заводской жизни «Как жили в Куморе» вводила в литературу новые типы — рабочих крепостного завода. В ней подвергалась анализу крепостническая система общественных отношений. Актуальность повести определялась тем, что реформа 1861 года не отменила полностью прежней системы эксплуатации. События, развертывающиеся в повести, относятся к 40—50-м годам, но они характерны и для более позднего времени.

Герои повести — рабочие еще не поднимаются до сознания единства классовых интересов и понимания угнетения как системы, но ненависть к насилию, безответственности, произволу управителей и приказчиков отмечена чутким автором-реалистом.

Заглавие повести определяет ее композицию. Автор свободно вводит отдельные эпизоды «жизни в Куморе», связывая их в нескольких сюжетах, имеющих самостоятельное значение, объединенных лишь единством героев.

В самой форме повести Кирпищикова следует своим современникам, писателям демократического лагеря, стремящимся воспроизвести жизнь в зарисовках, эскизах, очерках, где вымысел занимает минимальное место.

В повести наиболее интересен и содержателен образ кричного мастера Набатова, переживающего сложную душевную драму. Он поднимается от ненависти к приказчику Чижову, как виновнику его личного несчастья, до осознания несправедливости царящих на заводе социальных порядков, до отрицания такой системы отношений, при которой «они», хозяева, «пьют кровь рабочих».

Набатов выступает защитником общих интересов рабочих в их столкновении с Чижовым из-за введения работы по воскресеньям. Кирпищикова в 60-х годах еще не видела иных, развернутых форм протеста, но, раскрывая психологию рабочего, она весьма убедительно нарисовала процесс постепенного формирования сознания рабочих, еще не сложившихся в класс. Этот процесс не был прямолинейным, он осложнялся особенностями капиталистического развития на

Урале, где рабочие были и после 1861 года привязаны к заводу кошечными участками земли, что создавало иллюзию некоторой независимости, возможности жить не одним только заводским трудом. На самом же деле, давая рабочим земельный участок, заводовладельцы, пользуясь привязанностью рабочих к заводу, снижали им заработную плату. Кирпищикова, не понимая характер этого и отражая сознание самых патриархальных рабочих масс, вместе с своими героями Гришей и Груней мечтает о соединении заводского труда с работой «на своей земле».

Рисуя рабочую молодежь, Кирпищикова не романтизирует своих героев, как это делали народники в 70-е годы; она неизменно остается реалистом как в описании быта, так и в раскрытии характеров людей.

Тема жизни рабочих разработана Кирпищиковой в 70-е годы в повести «Петрушка Рудометов».

Рудничный рабочий Петр Рудометов показан вначале одаренным, мягким, добрым человеком. Он тонко чувствует природу, его влечет искусство. Он талантлив в труде, если его вдохновляет цель. Но работа неосмысленная, подневольная вызывает в нем тоску, желание уйти в мир природы, отвлекающий от тяжелых мыслей о неудачной, полуголодной жизни. Постоянное чувство обиды, вызываемое несправедливостью, толкает Рудометова на стихийный бунт в одиночку. Он бессмысленно растрачивает силы, опускается, начинает пить.

Типические явления тяжелой, безрадостной жизни, уродующей человека, правдиво раскрыты писательницей.

Если народническая беллетристика 70-х годов видела лучшее выражение народных черт только в крестьянине, а к образу рабочего обращалась только затем, чтобы показать «растлевающее» влияние фабричной жизни, то Кирпищикова сумела увидеть и показать положительные черты в человеке из рабочей среды.

В 1876 году писательница начала печатать цикл очерков под общим заголовком «Из записок управительской дочери». В них много автобиографического, живых воспоминаний детства и юности. Здесь Кирпищикова развивает две основные темы: тему зарождения и развития разночинной интеллигенции из крепостных и тему положения рабочих, где она обращает внимание не только на их угнетение, но и пробуждение в них чувства протеста. Глубокой симпатией и уважением к рабочим, преданностью их интересам овеяны образы «Прошлого» и «Недавнего».

В последней части трилогии писательница рисует дальнейший рост и формирование провинциальной интеллигенции, воспитывающейся на идеях революционной демократии. Кажется, она единственная в русской литературе дала такую яркую картину отражения великого движения 60-х годов в глухой провинции, в заводском уральском округе. Прекрасно зная эту среду, сама пройдя такой же путь формирования трудовой демократической идеологии, Кирпищикова раскрывала не только внешние проявления процесса, но и живые человеческие эмоции, психологию честных демократических деятелей второго этапа русского освободительного движения.

Рассказы «Из-за куска хлеба», «Горькая доля» и «Катерина Алексеевна» посвящены судьбе женщины в тяжелых условиях буржуазно-крепостнического общества.

Из-за куска хлеба гнет спину на кулака батрачка Федосья, полу-

чая «благодеяния» в виде рваной кофточки или стоптанных башмаков. Встреча с таким же одиноким, когда-то изувеченным на работе Степаном изменяет ее дальнейшую судьбу. Чувствуя его поддержку, она смело выступает против кулацкой эксплуатации, отказывается безмолвно повиноваться тем, кто грабил ее. Выйдя замуж за Степана, Федосья уходит в город.

Эта супружеская пара пополняет ряды городского пролетариата. Рост возмущения даже самой забитой части населения — женщин отмечает в рассказе писательница. Она правильно раскрывает один из источников пополнения пролетариата России полумастеровыми-полукрестьянами, порывающими с прежними местами крепостнического прикрепления и уходящими в широкий коллектив рабочих, не знающих территориальной замкнутости.

Рассказ «Горькая доля», социально менее значительный, интересен острым психологическим конфликтом. Писательница рисует душевную драму простой женщины, которая, защищая своих детей, свое человеческое достоинство, вынуждена пойти на преступление — убийство мужа.

Психологическая задача выдвинута на первый план и в другом произведении Кирпищиковой — повести «К жизни и свету», рассказывающем о сложном пути женщины, стремящейся к свету, знаниям, жизни на благо людей. Ложная народническая идея о «малых делах», как единственном долге интеллигенции, утверждение мысли о возможности изменения жизни путем просвещения помешали писательнице в этой повести отразить жизнь правдиво и глубоко.

Рассказ «Горькая доля» и повесть «К жизни и свету» в художественном отношении значительно слабее других произведений Кирпищиковой. Но это еще не говорит об угасании таланта писательницы. В 90-х годах ею были созданы превосходные вещи — глубокие по мысли и интересные по мастерству.

Таков, например, рассказ «Катерина Алексеевна», написанный как и «Антип Григорьич Мережин», в сказовой форме.

Здесь Кирпищикова создает сильный, четко очерченный в социальном смысле характер властной и своевольной дочери управляющего вотчинами. Губительное влияние крепостнических отношений на судьбу человека показано в событиях, полных драматизма.

Из не напечатанных при жизни писательницы произведений сохранилась повесть «Фельдшер Крапивин», посвященная, как и ряд других повестей ее, формированию революционно-демократической интеллигенции в практической борьбе за интересы рабочих. Особенно ценно в повести изображение борьбы рабочих за свои права, борьбы, в которой уже проявляется рост сознания и организованность рабочей массы еще в ту крепостническую эпоху.

Кирпищикова в 90-е годы не смогла подняться до понимания исторической роли рабочего класса, но она отразила постепенный рост его сознания на втором, революционно-демократическом этапе освободительного движения.

Чуткий художник-реалист, серьезно относящийся к жизни, она старалась воспроизвести ее в развитии, в тенденциях движения.

Внимательные читатели обнаружат в рассказах и повестях Кирпищиковой отдельные несовершенства: иной раз вялое развитие сюжета, длинноты, элементы натурализма в языке, отсутствие яркой поэтической детали. И при всем этом они не могут не почувствовать в ней своеобразного художника, умевшего создавать запоминающие-

ся человеческие характеры, отражать важные явления современной действительности.

Отошла в прошлое тяжелая жизнь русского народа, изнывавшего в условиях крепостничества и капитализма. Но демократическая литература, одной из представительниц которой является А. А. Кирпищикова, ярко и правдиво выразившая стремление народных масс к истинной свободе, боровшаяся с антинародными и антигуманными формами социального бытия, остается живой и близкой советскому народу.

КАК ЖИЛИ В КУМОРЕ

Первоначально напечатано в журнале «Отечественные записки», 1867, май-июнь. Печатается по сборнику «Повести и рассказы», изд. С. Дороватовского и А. Чирушникова, книга 1. М. 1902.

Текст при переиздании подвергся правке со стороны языка. В журнальной публикации отражались все фонетические особенности речи героев.

Под Кумором здесь подразумевается — Полазна, родина писательницы. Упоминающиеся в повести Кужгорт — Чермоз, Алакшинские рудники — Кизеловские рудники.

Стр. 14. *Поторжные* — поденные.

Стр. 22. *Регис* — испорченное регистр; здесь — список работников завода, обязанных выходить по нарядам на определенные работы.

Стр. 26. *Кричная фабрика* — цех старого металлургического завода, где из чугуна путем горячей проковки под молотами получали железо. Теперь кричный способ не употребляется.

Стр. 27. *Пониток* — верхняя одежда из домотканной полушерстяной ткани.

Стр. 27. *Запон* — мужской рабочий фартук.

Стр. 40. *Класс служителей* — крепостные горных заводов делились на мастеровых, крестьян и служителей. Последние занимали в производстве места организаторов, вели счетную работу и др.

Стр. 57. *Уставщик* — главный мастер какого-либо цеха на старых уральских заводах.

Стр. 62. *Ягал, ягать* — кричать, ругаться.

Стр. 79. *Китайчатая шуба* — шуба, покрытая простой бумажной тканью — китайкой.

АНТИП ГРИГОРЬИЧ МЕРЕЖИН

Печатается по первой публикации в журнале «Современник», 1865, № 1.

Стр. 102. *Килы он мастер привязывать* — мастер лечить грыжу.

Стр. 104. *Помстило* — показалось.

Стр. 104. *Блазнит* — мерещится.

Стр. 104. *Скудилась* — была нездорова.

Стр. 107. *Куть — угол* в избе, обычно отгороженный занавеской, где стоит кровать.

ФЕЛЬДШЕР КРАПИВИН

Повесть печатается по рукописи, хранящейся в библиотеке Молотовского педагогического института [1]. Часть листов II главы и начала III утрачены.

Стр. 114. *Новый завод* — здесь Кизеловский завод.

Стр. 121. *Ретирады* — уборные.

Стр. 122. *Отправляться в Елисейские поля...* — умереть. В греческой мифологии Елисейские поля (Элизиум) — место вечного успокоения душ умерших.

Стр. 128. *Хлебный запасчик* — на уральских горных заводах в прошлом человек, ведающий заготовкой, хранением и выдачей продуктов питания для крепостных.

Стр. 140. *Персона грата* — буквально, приятная особа, в переносном смысле — лицо, пользующееся особым расположением или привилегией.

Стр. 194. *Поезжане, тысяцкий, «бояре»* — гости на свадьбе, родственники, свита жениха.

КАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Печатается по тексту, опубликованному в литературном отделе «Екатеринбургской недели». Екатеринбург. 1892.

В повести село Воскресенское — прозрачный псевдоним села Ильинского, центра громадных имений Строгановых на Каме. Здесь, действительно, в 30—50-х годах существовал театр, в котором играли крепостные служащие управления имением. Женские роли исполнялись мужчинами. О театре в селе Ильинском см. «Пермский краеведческий сборник», в. 2. Пермь. 1926.

Стр. 222. *Кросна ткать* — ткать домашний холст.

Стр. 230. *«Филатку и Мирошку» поставили бы...* — «Филатка и Мирошка — соперники, или Четыре жениха, одна невеста» — водевиль П. Григорьева. Напечатан в 1833 году.

---

[1] Подготовлена к печати М. М. Верховской. Опубликована впервые в издании сочинений А. А. Кирпищиковой Молотовским книжным издательством.

К. Д. НОСИЛОВ

Константин Дмитриевич Носилов родился 17 октября 1858 года в селе Маслянском, Шадринского уезда, в семье священника.

Закончив Далматовское духовное училище, он поступил в Пермскую духовную семинарию, откуда был исключен, как неуспевающий.

«Не успевал» Носилов только в предметах богословского характера. Зато в географии и геологии он самостоятельно сумел приобрести глубокие и обширные знания, позволившие ему, после исключения из семинарии, осуществить серьезные геологические изыскания в Верхотурском уезде.

Страсть к путешествиям проявилась у Носилова уже в юношеские годы, и с конца 70-х годов он всецело отдается своему призванию.

В 1879 году он совершает поездку в верховья Камы, и в газете «Екатеринбургская неделя» появляются его «Путевые заметки».

Как истинный путешественник и ученый, Носилов неутомим в своих исканиях. Он дважды предпринимает экспедиции по установлению путей сообщения между Обским и Печорским речными бассейнами, три года, в тяжелых условиях полярной ночи, зимует на Новой Земле, изучая метеорологические условия, движение льдов и животный мир Заполярья; исследует верховья реки Конды и полуостров Ямал.

Проблемы освоения Севера России всегда глубоко волновали Носилова. Справедливо считая Север краем несметных природных богатств, писатель потратил много сил и энергии на разработки проектов искусственных водных путей, высоко оценивая их значение в экономике страны.

Бывал Носилов и на Алтае, в Крыму, на Черноморье, в Туркмении, Сибири и в Восточном Казахстане.

В 90-х годах он путешествует по Греции, Египту, Палестине, Германии, Китаю. Длительное время живет во Франции, где познакомился с известным географом Элизе Реклю.

Круг вопросов, интересующих писателя, очень велик: геологические изыскания и опыты с посевом зерновых культур в полярном крае, вопросы судоходства в северных морях и развитие золотопромышленности, исторические памятники манси и животный мир тундры.

Однако, какие бы задачи географического и экономического по-

рядка ни ставил перед собой Носилов, в центре его внимания всегда оказывался человек, его жизнь и нужды. Продолжая прекрасные традиции русских путешественников — Миклухи-Маклая, Пржевальского, Козлова и других, Носилов внимательным и дружелюбным отношением к людям быстро завоевывал любовь и доверие представителей различных национальностей, с которыми ему приходилось встречаться. Он был желанным гостем в юртах киргизов и ненцев, манси и хантов.

Перед глазами писателя развертывалась картина чудовищной эксплуатации и беспросветной нищеты народностей Севера, обреченных в условиях царской России на голод и вымирание.

Глубокие впечатления, полученные во время путешествий, дали толчок для развития литературного дарования Носилова.

Он начинает выступать в печати не только как автор географических и этнографических статей, но и как автор очерков и рассказов. В 1895 году в журнале «Русская мысль» был напечатан рассказ Носилова «История одного самоеда». (Впоследствии этот рассказ в переработанном и сокращенном виде был широко известен под названием «Юдик»).

В 1897 году Носилов опубликовал очерк «Из жизни вогулов» («Вогульский театр»). В нем он рассказал о своеобразном театральном представлении, свидетелем которого ему случилось быть. Очерк обратил на себя внимание А. П. Чехова и Л. Н. Толстого, который в статье «Что такое искусство?» привел его почти целиком.

Очерк был излюбленной жанровой формой Носилова, и он достиг в нем большого художественного мастерства. Очерковый характер носят и многие из его рассказов.

С конца 90-х годов Носилов становится постоянным сотрудником прогрессивных детских журналов: «Всходы», «Детское чтение» и «Юная Россия», где печатаются его лучшие рассказы.

Подлинный демократизм и гуманизм, которым проникнуты произведения Носилова, глубокая заинтересованность в событиях, о которых он повествует, и живое, увлекательное изложение сделали его в короткий срок писателем необычайно популярным. Только за период с 1900 по 1915 год вышло из печати более 20 сборников произведений Носилова: «В снегах», «На охоте», «Золотое время», «В лесах», «На диком севере», «За полярным кругом» и многие другие, причем рассказ «Таня Логай» и сборник «В снегах» выдержали по девять изданий.

В последние годы жизни Носилов отошел от литературной работы. Он снова занялся географическими исследованиями, совершил ряд поездок в различные части России.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла перед писателем новые возможности и перспективы. Он принимает деятельное участие в общественной жизни: выступает с публичными лекциями, печатает статьи об освоении Севера, готовится к новой полярной экспедиции.

Пошатнувшееся здоровье помешало осуществить задуманное. Третьего февраля 1923 года Носилов умер в причерноморском местечке Пиленкове, где жил последние годы.

Творческий путь Носилова-беллетриста начался в годы, предшествующие первой русской революции.

Напряженная борьба пролетариата с царским самодержавием способствовала оживлению демократических настроений в различных

слоях населения и нашла свое отражение в демократической литературе конца 90-х годов XIX и начала XX века.

К. Д. Носилов выступил как писатель-реалист, поднимавший в своих рассказах многие важные вопросы жизни народа в условиях самодержавной России. Его творчество вливалось в поток той демократической литературы, к которой так внимательно относился А. М. Горький, как к силе, способствующей борьбе пролетариата против царизма.

Уже в своих первых очерках «В защиту обских инородцев», «Обдорская ярмарка» и «Ясак» Носилов выступил как ярый обличитель царской России — тюрьмы народов.

В цикле очерков «У вогулов», «На Новой Земле» писатель горячо и правдиво рассказал о людях, которых успел полюбить за прямоту, чистосердечие и гостеприимство. Очерки были проникнуты чувством величайшего уважения к человеку и его труду. Разоблачая сущность колонизаторской политики, Носилов нарисовал выразительные образы русских купцов, представителей администрации и духовенства, которые грабят, обманывают и развращают придавленных нуждой, невежественных и суеверных людей. Очерки Носилова во многом перекликаются с рассказами Короленко, Чехова, Мамина-Сибиряка, в центре внимания которых также стоял маленький человек и его нужды.

Образам буржуазных хищников писатель противопоставляет простых тружеников, честных и скромных, но поставленных в невыносимые для жизни условия и обреченных на лишения.

Носилов был свидетелем военных событий в Маньчжурии в 1900 году. В рассказах, посвященных военным темам, писатель выступил как ярый противник войны, ярко показывая ее ужасы и убедительно доказывая, что война не нужна трудовым слоям населения России и Китая, связанных давними узами взаимной дружбы и симпатии.

Однако и в очерках и рассказах Носилова сказалась некоторая ограниченность его мировоззрения. Оставаясь в течение всего своего творческого пути писателем критического реализма, Носилов не сумел понять необходимости социальных преобразований, хотя и был свидетелем революции 1905 года.

Тематика рассказов Носилова разнообразна: в них находит отражение жизнь многих народностей, населяющих Россию, военные события, свидетелем которых он был, разнообразные охотничьи приключения. Значительное место занимают рассказы, рисующие труд, быт крестьян и природу родного писателю Приуралья. Многие из них навеяны воспоминаниями детства.

Произведения Носилова воспитывали в читателях глубокое сочувствие к угнетенному народу, гуманное отношение к природе и людям, будили интерес к знаниям.

Во многие рассказы вошли эпизоды или мотивы очерков. Но, бережно относясь к впечатлительной душе ребенка, Носилов в детских рассказах почти не выводит отрицательных персонажей, конкретных носителей зла. Зато все свое художественное мастерство писатель направляет на создание образов положительных героев, которыми всегда у Носилова являются представители народа.

Один из самых талантливых и задушевных рассказов Носилова «Дедушка-вогул и его внуки». Писатель создает обаятельный образ слепого старика, прожившего тяжелую и трудную жизнь. Носилов

показывает, что голод и нужда не убили в нем тонкого и глубокого восприятия красоты и поэзии природы, не погасили в нем бодрости и любви к людям. Таким же душевным теплом овеян образ беглого бродяги в рассказе «Бродяга».

Много внимания в своих рассказах Носилов уделяет детям, создавая светлые детские образы. Юные герои Носилова живут и действуют в различных условиях, различны и их характеры, но всех их роднит одно — участие в трудовом процессе взрослых.

Носилову чужда мораль торжествующей добродетели: на долю и детей и взрослых выпадают тяжкие испытания, им приходится переносить глубокое горе, некоторые из них гибнут.

Несмотря на то, что содержание некоторых рассказов трагично, они продолжают оставаться жизнеутверждающими, полны веры в лучшее будущее.

Носилов не был единственным писателем, стремившимся показать жизнь национальных меньшинств. Его ближайшим предшественником был В. Г. Короленко, творчество которого и особенно рассказ «Сон Макара» оказали значительное влияние не только на выбор тем и на формирование мировоззрения Носилова, но и на его художественную манеру.

Одновременно с ним с очерками о народностях Сибири выступил в печати Елпатьевский, рассказы из жизни чукчей писал этнограф Тан-Богораз.

Однако очерки Носилова значительно отличаются своей художественностью от очерков Елпатьевского, написанных сдержанно и суховато.

В противоположность Тану, насыщавшему свои рассказы этнографическими материалами и бытовыми подробностями, Носилов строго отбирал только те детали, которые способствуют раскрытию психологического образа действующего лица. Выгодно отличается и язык произведений Носилова. Воспроизводя с большой точностью национальный колорит, писатель почти не пользовался национальными словами и областными выражениями. Очень живо передает он разговорную народную речь, сохраняя ее красоту и выразительность, умело использует фольклорные материалы.

Рассказы Носилова не только художественны, но и познавательны. Будучи великим знатоком природы, писатель воспитывал в своих читателях чувство хозяина земли, чувство любви к родине и ее необъятным просторам.

Произведения писателя-демократа, относившегося с уважением к простому народу, наблюдательного художника, не утратили своего значения и в наши дни.

БРОДЯГА

Печатается по журналу «Юная Россия», 1916 г., март.

Стр. 245. *Губница* — похлебка из грибов.
Стр. 246. *Тапанцы, топаки* — род обуви.

ЗА САРАНКАМИ

Печатается по журналу «Детское чтение», 1899 г., июнь.

Стр. 254. *Козны* — бабки.
Стр. 254. *Саранки* — растение, корни которого съедобны.

КАТЯ БОГДАНОВА

Печатается по журналу «Юная Россия», 1914 г., январь.

ДЕДУШКА-ВОГУЛ И ЕГО ВНУКИ

Печатается по тексту журнала «Детское чтение», 1901 г., март, с небольшими купюрами.

Стр. 272. *Вогульский край — вогулы-манси* — народность северного Приуралья. Населяют западные районы Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области и отчасти северо-восточные районы Свердловской области.

ЮДИК

Первоначально напечатано в журнале «Всходы», 1899 г., № 3. Печатается по отдельному изданию 1911 года, с небольшими купюрами.

Стр. 295. *Люрик и чистик* — новоземельские птицы.

ТАНЯ ЛОГАЙ

Первоначально напечатано в журнале «Детское чтение», 1895 г., июнь-июль.

Печатается по книге К. Д. Носилова «В снегах», издание журнала «Юная Россия», 1914 г.

ЯХУРБЕТ

Печатается по книге К. Д. Носилова «На диком севере». Первый сборник рассказов. Издание журнала «Юная Россия». 1913 г.

Стр. 330. *Яхурбет* — дьявол *(арабск.)*

Стр. 342. *Консервы* — очки с цветными стеклами, которые надеваются для защиты глаз от слишком яркого света.

Стр. 342. *Лахтак* — ластоногое животное семейства настоящих тюленей, то же, что морской заяц.

П. И. ЗАЯКИН-УРАЛЬСКИЙ

Павел Иванович Заякин — коренной уралец. Родился он в 1877 году в семье коновозчика Верхне-Синячихинского завода, Верхотурского уезда, Пермской губернии.

Десяти лет маленький Паша окончил заводскую начальную школу, а с двенадцати стал работником — возил руду на завод. Однажды груз опрокинулся, и мальчику сломало ногу. После выздоровления он поступил переписчиком в заводскую контору. Затем служил в Нейво-Шайтанском заводе и, наконец, в одном из старейших заводов Урала — Алапаевском. В 1898 году он был взят в армию. После трех лет военной службы возвратился в Алапаевск, где оказался в самой гуще разгоравшегося революционного рабочего движения.

К этому же времени относятся и первые литературные шаги. В Варшаве, где Заякин проходил военную службу, вышел в 1903 году первый его сборник «Рассказы и песни уральца». Заякин впоследствии сам признавал слабость этих первых творческих попыток. Действительно, на всем сборнике лежит печать подражательности, незрелости. Особенно ясно это обнаруживается в стихах.

Недовольство окружающей действительностью, перерастающее в социальный протест, находит отражение главным образом в прозаической части сборника. Например, в рассказе «Дерзость» автор безоговорочно становится на сторону рабочего, который в порыве отчаяния бросается на управителя, готовый его задушить. Рабочего увольняют с завода. Невеселые думы бродят у него в голове: «Как буду жить с семьей? Что мне делать? — Ответа не было». К этому времени и сам писатель еще не знал, что ответом могло быть только организованное революционное действие.

Он глубоко чувствовал недовольство рабочей массы существующими порядками, недовольство всем общественным строем, который принижал и давил рабочего человека, лишая его условий человеческого существования.

Несмотря на всю свою литературную незрелость, эти ранние произведения Заякина уже отличало активное отношение к действительности, постановка общественных вопросов и защита интересов трудового народа. Характерно, что в стихотворениях он подражал поэтам некрасовской школы. Это следование традициям демократической поэзии типично было для дореволюционной рабочей поэзии.

В революции 1905 года Заякин принял активное участие. Он явился организатором первой стачки на Верхне-Синячихинском заводе.

В 1906 году Заякин переезжает в Екатеринбург. Здесь он знакомится с журналистами-большевиками (А. Быков, Викторов), сотрудничает в местных газетах («Уральский край», «Уральская жизнь»).

В 1908 году в частной типографии Доброхотова готовилась к изданию вторая книга Заякина «Северная муза». Книга не вышла в свет, так как была конфискована полицией и сожжена, а сам автор — арестован.

Он вынужден был надолго покинуть родной Урал. Очутившись в «черном списке» журналистов и литераторов, Заякин скитается по городам в поисках работы. Продолжая журнальную практику, он организует в Перми издательство «Урал и Кама». Недолгое время работает в Омске, в редакции газеты «Омский телеграф».

Новый период творчества Заякина начинается с 1909 года, когда он переезжает в Петербург. Здесь он часто посещает Мамина-Сибиряка, участвует вместе с ним и другими писателями-уральцами (Погорелов, Булычев, Мурашев) в «Уральском сборнике». В том же году выходит новая книга его стихов «Облачко».

Особый интерес в этом сборнике представляют два цикла: «Уральские песни» и «Песни неволи». Кровно связанный с пролетарским Уралом, поэт дает ряд острых реалистических картин заводского быта. Так, в стихотворении «Завод» он рассказал историю закабаления уральских крестьян Демидовыми и довел ее до эпохи капитализма. Ужасом веет от простых слов, которыми поэт-рабочий описывает судьбу своих братьев по классу.

Еще более скорбным настроением проникнуты «Песни неволи». Мысль поэта, сердце его с теми, кто пострадал в борьбе за народ. Песни неволи — это лирика тюремных камер.

Скорбный тон сборника, однако, отнюдь не являлся выражением «философии отчаяния», беспросветного пессимизма, интеллигентского нытья.

Социальные мотивы звучат в этой книге с прежней силой. В частности, это относится к стихам, посвященным деревне.

В 1912 году Заякин становится активным сотрудником «Правды», печатает стихи, очерки, рассказы.

Февральская революция застала Заякина в городе Карачеве, Орловской губернии, где часть, в которой он служил, находилась на формировании. Заякин вошел в состав Карачевского Совета рабочих и крестьянских депутатов и одновременно работал в местной газете.

После демобилизации в 1918 году Заякин поступает добровольцем в красногвардейский отряд и едет сначала в Котлас, затем в Оренбург, вступает в партию большевиков.

В Оренбурге он работает редактором первой в этом крае советской газеты «Коммунар». Все силы, всю энергию писатель-коммунист отдает строительству новой жизни, новой советской культуры. Организует литературный кружок, журнал «Красные зори», который и редактирует.

В одном из писем жене он признавался: «Мне приходится здесь много работать, но я доволен. Меня с утра до ночи тянут во все стороны. В этом я нахожу удовлетворение».

Творческий и жизненный путь П. И. Заякина-Уральского оборвался сравнительно рано: 20 октября 1920 года он скончался от тифа.

Творчество Заякина-Уральского проникнуто революционным настроением, боевым оптимизмом, верой в свои силы.

В одном из ранних своих стихотворений поэт говорит:

Много терний легло на пути,
Но я их не хотел обойти,
Шел я прямо всегда и твердил:
«Ничего, лишь хватило бы сил».
...Я боролся, покоя не знал,
Часто падал и снова вставал,
Много горьких утрат пережил,
Ничего, лишь себя закалил.

Несмотря на все несовершенство формы, первые произведения Заякина-Уральского отражали нарастание революционной грозы. Произведения периода 1905—1907 годов — это боевая, наступательная лирика, сигнал к атаке.

Еще более глубокое содержание, силу и крепость обрело литературное дарование П. Заякина-Уральского, когда он стал писать в «Правду». Именно здесь он по-настоящему понял, о чем и как нужно писать.

«Правда» родилась в годы нового революционного подъема. Поднимая и организуя рабочий класс для генерального штурма помещичье-буржуазного строя, газета большое внимание уделяла вопросам литературы.

За два с небольшим года в «Правде» было напечатано около семисот стихотворений и около ста рассказов. «Правда» стала настоящим воспитателем пролетарских литературных кадров, идейным штабом грядущей революционной бури, породившей литературу социалистического реализма — литературу великого Октября.

Политическая поэзия была основным видом художественной литературы в «Правде». Широко и многогранно освещалась в ней тема труда и тема борьбы рабочих за свободу труда, против его эксплуатации, против каторжных условий существования трудящихся.

Заякин-Уральский печатал в «Правде» не только стихотворения — свои песни труда и неволи, но и прозаические произведения.

Первый рассказ «Начало карьеры», напечатанный в № 5 «Правды» за 1912 год, изображает мытарства начинающего писателя и обличает царящие в редакциях буржуазных газет и журналов нравы.

Из крупных рассказов и очерков напечатано было три: «В плену у железа», «Кризис» и «Переселенцы».

В первом из них дается картина типичного горного завода на Урале с отсталой техникой производства, с пережитками крепостничества в экономике и в быту. Очерк густо насыщен фактическим и документальным материалом. В основу его легли личные воспоминания автора о Верхне-Синячихинском и Алапаевском заводах. Описывая тяжелые условия труда, мрак и невежество, автор приходит к выводу, что «строй никуда не годится, все прогнило и все безнадежно...» А заканчивается очерк бодрой ноткой.

«Нет, придет время, оно уж близко: мрак уступит свету, восторжествует братская солидарность в труде, и тогда завод будет не чудовищем, выжимающим соки из рабочих, а источником сил для грядущих побед!»

Очерк «Кризис» также посвящен теме индустриального Урала. В нем реалистически правдиво показан уральский завод, задыхающийся в тисках длительного экономического кризиса. Острыми штрихами нарисованы портреты представителей заводской администрации. Показана пресловутая «экономия» на кожаных обрезках, система штрафов, безжалостное отношение к рабочим. Автор зовет к выводу: чтобы перестроить жизнь, нужно рабочему самому быть хозяином завода, хозяином своей жизни.

Рассказ «Переселенцы» рисует одно из обычных явлений дореволюционной России, когда вконец разоренное столыпинской реформой крестьянство устремилось на поиски «свободных» земель. Переселенцы попадали в еще худшие условия, продавали свои земельные участки, шли в батраки, на завод. О мрачной эпопее подлиповцев XX века и рассказывает Заякин. На земле, где сотни тысяч людей могли бы жить счастливой и привольной жизнью, царят нужда и горе. «Все богатства взаперти, есть власть капитала и покорные ей рабочие». И в этом рассказе писатель заставляет задуматься над вопросом: почему так устроена жизнь и разве нельзя ее переделать в интересах миллионов тружеников.

Характерным для прозаических произведений Заякина является изображение социальной действительности, защита прав рабочего человека, публицистическая заостренность и трезвый, суровый реализм Симпатии его на стороне угнетенной массы рабочих и близко к ним стоящих мелких служащих.

Так, например, в рассказе «Трясина» он повествует о судьбе одного из заводских интеллигентов — техника Юношева. Молодой, полный искреннего порыва к живому общественному делу, он мужественно вступается за оштрафованных работниц и в конце концов бросает ненавистную службу на заводе.

Рельефно изображен затхлый мещанский быт заводской служилой интеллигенции: карты, пьянство, сплетни — вот содержание жизни этих провинциальных обывателей. «Уходишь вечером на завод,— жалуется Юношев,— а утром возвращаешься, пьешь чай и ложишься спать на целый день. Но ведь этого мало, чтобы чувствовать себя человеком». Это трясина, и в ней тонет фельдшер Голосов, слабовольный, жалкий человек. В минуты просветления его охватывает страх перед этим застойным бытом.

«Случайно задумавшись теперь над заколдованным кругом тупого и пошлого прозябания, он ужаснулся бессодержательностью и точно такой же жизнью окружающих его людей, именующихся заводской интеллигенцией, и у него невольно вырвалось горькое восклицание:

— Гадко! Мерзко!»

Однако у Голосова не хватает моральной силы вырваться из «заколдованного круга», и он кончает самоубийством. Автор не жалеет Голосова, он с теми, кто не хочет тонуть в трясине, хотя он и изображает этих людей не столько в процессе борьбы, сколько в поисках верного жизненного пути. Он знает, что этот путь приведет их к столбовой дороге революционной борьбы пролетариата.

В архиве писателя сохранился небольшой эскиз «Катерину пропили», относящийся, очевидно, к этому же периоду. Он проникнут тонким юмором и свидетельствует о художественной зоркости писателя, способного в маленьком эпизоде бытового характера раскрыть социальное содержание.

Очерки и рассказы Заякина-Уральского периода его сотрудничества в «Правде» знаменуют новый этап в развитии его писательского дарования. Если в ранних его рассказах преобладали бытовизм, углубление в мир личных переживаний, то теперь круг представлений и образов раздвинулся очень широко.

Проникнутая гражданским пафосом поэзия и проза Заякина-Уральского, тесная связь поэта с жизнью народа и его борьбой — все это дает ему право на уважение широким кругом читателей.

В 1913 году «Правда» писала: «Строителем нового искусства может стать только тот, кто болеет одними муками и живет одной верой со строителями великого будущего человечества».

Одним из строителей этого нового искусства был Павел Иванович Заякин-Уральский.

В ПЛЕНУ У ЖЕЛЕЗА

Впервые опубликовано в «Правде», 1912, №№ 36—43. Печатается по тексту этой публикации с исправлениями, внесенными самим автором. Вырезки из «Правды» с правкой, сделанной рукой писателя, хранятся в Свердловском областном краеведческом музее.

Стр. 378. *Курень* — место выжига древесного угля для металлургического производства.

Стр. 378. *пятину в день* — одну пятую кубической сажени.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Первая публикация в газете «Правда», 1912, №№ 72—76. Печатается по тексту в книге Заякина «На горах и в долинах». Сборник рассказов. II. 1916.

ТРЯСИНА

Печатается по публикации в газете «Уральская жизнь», 1911, 11, 14, 18, 25 сентября, 1 и 6 октября с исправлениями, внесенными писателем. Вырезки из газеты с авторской правкой хранятся в Свердловском областном краеведческом музее.

Стр. 438. *Автодидакт* — человек, получивший знания путем самообразования, самоучка.

КАТЕРИНУ ПРОПИЛИ

Печатается по машинописной копии, подписанной автором, хранящейся в Свердловском краеведческом музее.

Стр. 470. *Судить, только не так, как Шемяка.* Шемяка — неправедный судья, персонаж сатирической народной сказки.

Стр. 471. *«Вечор — поздно из лесочку»...* — песня, сочиненная крепостной графа Шереметьева П. Н. Кузнецовой-Горбуновой.

Издательство сочло необходимым сопроводить тексты небольшими биографическими и литературно-критическими справками о писателях, представленных в настоящем издании. Эти справки написаны И. А. Дергачевым (о Кирпищиковой), К. В. Боголюбовым (о Заякине-Уральском), Т. Н. Мыслиной (о Носилове).

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства 5

А. А. КИРПИЩИКОВА

Как жили в Куморе, *повесть* 9
Антип Григорьич Мережин, *рассказ* 100
Фельдшер Крапивин, *повесть* 114
Катерина Алексеевна, *рассказ* 207

К. Д. НОСИЛОВ

Бродяга, *рассказ* 243
За саранками, *рассказ* 256
Катя Богданова, *рассказ* 264
Дедушка-вогул и его внуки, *рассказ* 274
Юдик, *рассказ* 289
Таня Логай, *рассказ* 315
Яхурбет, *рассказ* 333

П. И. ЗАЯКИН-УРАЛЬСКИЙ

В плену у железа, *очерк* 377
Переселенцы, *очерк* 404
Трясина, *повесть* 423
Катерину пропили, *рассказ* 469
Примечания 475

Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала

Редактор Т. Раздьяконова
Художник Д. Шимилис
Художественный редактор В. Квитка
Технический редактор Л. Носова
Корректор Н. Лузина

*

Подписано к печати 18/IX 1956 г.
Уч.-изд. л. 26,12. Бумага 84×108/32 =
7,75 бумажного — 25,42 печатного листа.
Тираж 30000. Заказ 2850.
НС16261. Цена 9 р. 35 к.

*

Типография издательства
«Уральский рабочий»,
Свердловск, ул. имени Ленина, 49.

*

9 р. 35 к.